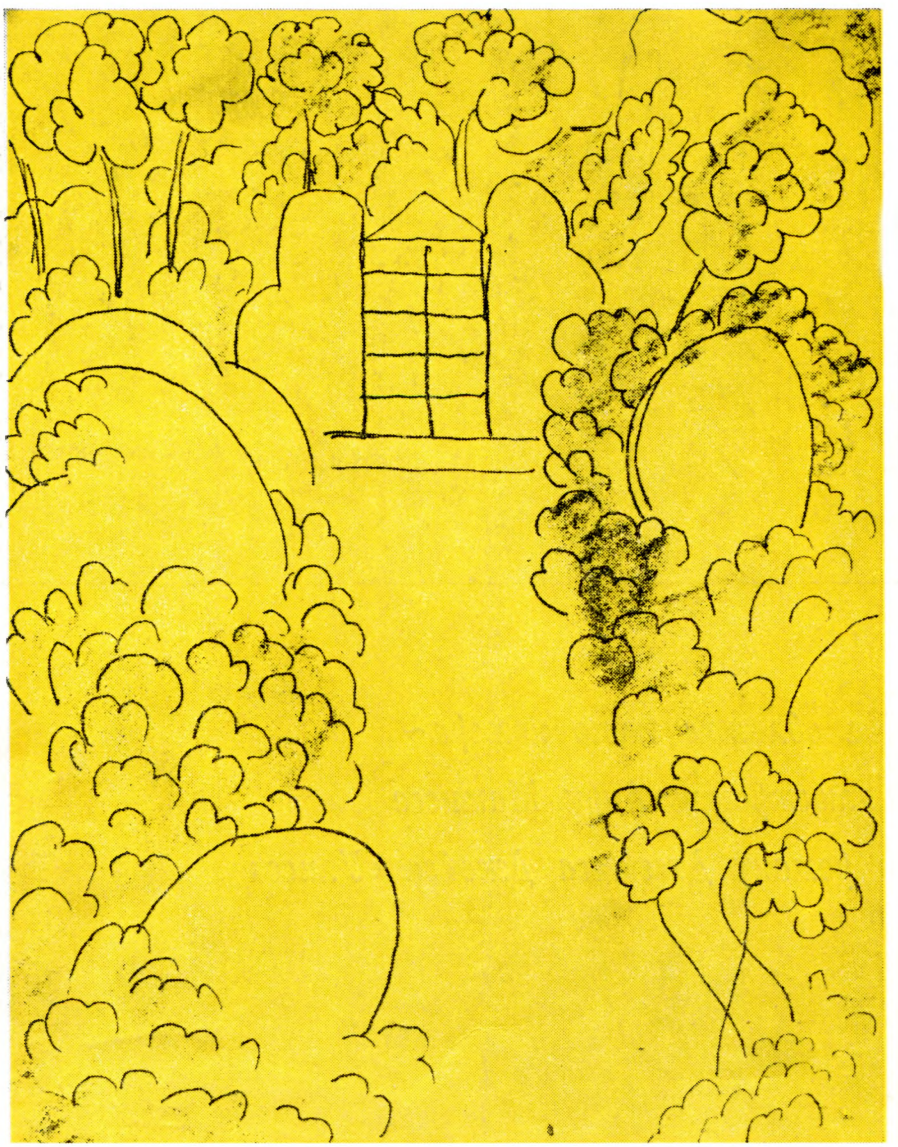
ISSN 0130 – 6545

6. 1989

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



На обложке этого номера — иллюстрации Анри Матисса к роману Джеймса Джойса «Улисс»

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА

Международный
общественный совет
журнала «Иностранная литература»

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ (СССР)

Главный редактор — председатель Совета

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия)
ЭРВЕ БАЗЕН (Франция)
КРИСТА ВОЛЬФ (ГДР)
ГРЭМ ГРИН (Великобритания)
ТОНИНО ГУЭРРА (Италия)
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания)
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа)
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (ФРГ)
АРТУР МИЛЛЕР (США)
АНАНТА МУРТИ (Индия)
КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония)
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария)
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения)
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба)
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал)
МАКС ФРИШ (Швейцария)
УМБЕРТО ЭКО (Италия)

Редакционная коллегия

С. С. АВЕРИНЦЕВ
А. М. АДАМОВИЧ
Н. А. АНАСТАСЬЕВ
Первый заместитель главного редактора
О. С. ВАСИЛЬЕВ
Заместитель главного редактора
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА
Т. П. ГРИГОРЬЕВА
Ю. В. ДАШКЕВИЧ
Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ
Г. П. ЗЛОБИН
И. Ф. ЗОРИНА
Т. П. КАРПОВА
Т. Л. МОТЫЛЕВА
П. В. ПАЛИЕВСКИЙ
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ
Ответственный секретарь
Е. В. СТОЯНОВСКАЯ
К. А. ЧУГУНОВ
Заместитель главного редактора

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

6 ИЮНЬ 1989

СОДЕРЖАНИЕ

ИСМАИЛЬ КАДАРЭ — Генерал армии мертвых *(Роман. Перевод с албанского В. Тюхина. Послесловие Вячеслава Кондратьева)* 5

Из румынской поэзии

НИКОЛАЕ ПРЕЛИПЧАНУ. ИОАН АЛЕКСАНДРУ. ЛУЧИАН АВРАМЕСКУ. ДАН ЛАУРЕНЦИУ. МИРЧА ФЛОРИН ШАНДРУ. МИРЧА ДИНЕСКУ *(Перевод Льва Беринского. Вступление Кирилла Ковальджи)* 117

ЗИГФРИД ЛЕНЦ — Рассказы *(Перевод с немецкого Б. Хлебникова)* 127

Из классики XX века

ДЖЕЙМС ДЖОЙС — Улисс *(Роман. Продолжение. Перевод с английского В. Хинкиса и С. Хоружего)* 143

Е. Гениева — Комментарии 182

К нашим иллюстрациям

Р. Мусина, Н. Антонов — Искусство опускать подробности 186

Публицистика

РАИСА ОРЛОВА — Двери открываются медленно *(Фрагменты книги)* 189

Антирубрика

СПАЙК МИЛЛИГАН — Грюши *(Стихи. Вступление и перевод с английского Г. Кружкова)* 209

Критика

Советская проза в современной культуре.
Глазами писателей Запада

Габриэла Мистраль. Альбер Камю. Итало Кальвино. Виктор Соден Притчетт. Альберто Моравиа. Франсуа Мориак. Флаинери О'Коннор. Пьер Паоло Пазолини *(Составление и послесловие М. Ландора. Перевод с испанского Е. Лысенко, с французского Мориса Вакснахера, И. Истратовой, с итальянского Н. Кулиш, с английского А. Николаевской, М. Ландора)* 213

Читальный зал

Новые имена, новые книги

Открытие 80-х: Исабель Альенде *(Представляет Н. Богомолова)* 222

ИСАБЕЛЬ АЛЬЕНДЕ — Два слова *(Рассказ. Перевод с испанского Н. Богомоловой)* 227

Вне жанра

АЛЕКСАНДР НИЛИН — Апелляция таланта к таланту 231

Резонанс

БОРИС АСОЯН — Зеркала или окна 236

На анкету «ИЛ» отвечают зарубежные русисты

Деминг Браун (США), Витторио Страда (Италия), Такуя Хара (Япония), Вольфганг Казак (ФРГ), Пал Э. Фехер (Венгрия) 242

Курьер «ИЛ» 249

Авторы этого номера 255

© «Иностранная литература», 1989.

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.**
Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 27.03.89. Подписано в печать 12.05.89. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая. Бумага книжно-журнальная. Усл. печ. л. 22,4.
Усл. кр.-отт. 23,8 Уч.-изд. л. 26,07.

Тираж 420 000 экз. (1-й завод: 1 — 350 000 экз.) Зак. 1193.

Ордена Трудового Красного Знамени
типография «Известий Советов народных депутатов СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

ИСМАИЛЬ КАДАРЭ

Генерал армии мертвых

РОМАН

Перевод с албанского В. ТЮХИНА

Этот роман албанского писателя И. Кадарэ, написанный более двух десятилетий назад, принес его автору мировую известность. Он переведен на многие языки, а в 1983 году итальянский режиссер Лучано Товоли, известный советским зрителям, в частности, как оператор ленты «Профессия: репортер», снял по нему фильм с Марчелло Мастрояни и Мишелем Пикколи в главных ролях. Фильм с успехом прошел на европейском экране.

На русский язык произведения И. Кадарэ, поэта, прозаика, еще не переводились.

Примите.
Это был нелегкий труд.
И там все время лил дождь.

Часть первая

Глава первая

На чужую землю падал дождь вперемешку со снегом. Снег таял, едва коснувшись бетонного поля аэродрома, крыш зданий, мокрого асфальта автострады. Склоны холмов превратились в грязное месиво, а это было только самое начало осени. Монотонный дождь навеял бы тоску на кого угодно, что уж говорить о генерале, летевшем в Албанию, чтобы собрать разбросанные по разным ее уголкам останки солдат, погибших во время последней войны. Переговоры между двумя правительствами начались еще весной, но контракт был заключен только в начале августа, как раз в то время, когда начинаются затяжные дожди. И вот уже осень — время безраздельного господства дождя. Готовясь к поездке, генерал прочитал много книг об Албании. Он узнал, что осень здесь сырая и дождливая. Но даже если бы в этих книгах было написано, что осень в Албании сухая и солнечная, дождь не был бы для него неожиданностью. Наверное, под влиянием книг или фильмов он считал, что подобная миссия может быть выполнена только в такую погоду. Как бы то ни было, полет над горами в этот угрюмый день поверг его в еще большую меланхолию.

Не в силах оторваться от иллюминатора, он смотрел на угрожающую панораму гор. Их острые вершины, казалось, вот-вот проткнут брюхо самолета. Земля, вставшая на дыбы, пробормотал генерал. Здесь, похоже, и одной ногой-то встать некуда. В этих расщелинах, на этих склонах, открывающихся на какой-то миг и снова заволакивающихся туманом, под проливным дождем покоились солдаты, могилы которых он должен был найти. На мгновение задача показалась ему невыполнимой. Но он взял себя в руки. Тягостное чувство, вызванное угрожающим и враждебным видом гор, сменилось гордостью за свою миссию. Тысячи матерей там, на родине, ждут, когда он привезет им останки их сыновей. И он их привезет.

Он с честью выполнит свой святой долг! Он сделает все возможное. Ни один погибший не должен быть забыт, ни один не должен остаться в чужой земле. О, это воистину великая миссия! Во время полета он вновь и вновь повторял про себя слова, сказанные ему перед отъездом одной почтенной высокопоставленной дамой: «Как гордая одинокая птица, полетишь ты над этими зловещими, проклятыми богом горами и вырвешь из цепких когтей их ущелий наших несчастных сыновей».

И вот теперь полет подходил к концу. Когда горы остались позади и они полетели над долинами и полями, генерал вздохнул с облегчением.

Самолет покатил по мокрой посадочной полосе. Красные огни, зеленые. Опять красные, опять зеленые. Военный в шинели. Еще один. От здания аэропорта несколько человек в плащах направились к самолету.

Генерал сошел с трапа первым. За ним — сопровождавший его священник. Мокрый ветер сильно хлестнул им в лица, и они подняли воротники. Через четверть часа их машины уже мчались к Тиране.

Генерал повернулся к священнику. Тот сидел, уставившись в окно. На лице его застыло безразличие. Генерал понял, что тот не расположен разговаривать, и закурил сигарету. Снова посмотрел вдаль. Увидел резкие контуры чужой земли, чуть размытые струями стекавшей по стеклу воды.

Они въехали в Тирану. Вечерело, сквозь туман, висевший над землей, проглядывали огоньки, угадывались очертания дворцов, силуэты облетевших деревьев в городских парках. Через окно машины он рассматривал спешащих под дождем прохожих. Здесь очень много зонтиков, подумал он. Он хотел заговорить со священником, молчание уже наскучило ему, но не знал, что сказать. Из своего окна он увидел церковь, чуть дальше — мечеть. С другой стороны высились недостроенные дворцы, одетые в леса. Подъемные краны шевелились в тумане, как фантастические чудовища с красными светящимися глазами. Генерал обратил внимание священника на церковь и мечеть, но тот не проявил к ним ни малейшего интереса. Значит, его трудно чем-либо заинтересовать, подумал генерал. Настроение генерала вроде бы улучшилось, но поговорить было не с кем. Сопровождавший их албанец сидел впереди, а депутат Народного собрания и представитель министерства, встречавшие их в аэропорту, ехали сзади в другой машине.

В отеле «Дайти» генерал, уже в хорошем расположении духа, поднялся в свой номер, побрился и переоделся. Затем спустился в холл и заказал телефонный разговор с домом.

Генерал, священник и три албанца ужинали вместе. Они разговаривали о разных пустяках, избегая политических тем. Генерал был вежлив и чрезвычайно серьезен, давая понять, что главный здесь он, а не молчаливый священник. Он рассуждал о прекрасных традициях погребения воинов. Упомянул о греках и троянцах, хоронивших убитых с невероятной пышностью в перерывах между боями. Он очень воодушевлен своей миссией. Он с честью выполнит нелегкий, но святой долг. Тысячи матерей ждут своих сыновей. Вот уже двадцать с лишним лет длится это ожидание. Теперь они, конечно, ждут не так, как ждали живых, но ведь и мертвых тоже ждут. Он вернет матерям останки их сыновей, которыми дураки-генералы бездарно командовали во время войны. Он гордился, что это поручили именно ему. Он сделает невозможное.

— Господин генерал, телефон...

Генерал энергично поднялся.

— Прошу прощения, господа,— и широкими, величественными шагами он направился вслед за портье.

Вернулся он столь же величественным. Он весь сиял. Принесли коньяк и кофе. Разговор оживился. Генерал снова дал понять, что он здесь главный, потому что священник, хотя и имеет звание полковника, в данном случае всего лишь представитель церкви. Он был главным и мог поддерживать разговор на любую тему: о коньяках, столицах, сигаретах. Он чувствовал себя превосходно, ему все нравилось — этот зал гостиницы, эти тяжелые портьеры, эта чужая, даже слишком чужая, музыка. Ему всегда нравились цивилизация и комфорт. И поездки в другие страны. Поездки помогали ему полнее ощутить всю прелесть размеренной семейной жизни. Было что-то завораживающее во всем этом — в международных отелях, в дальних авиарейсах, в гаванях со множеством флагов, в чужой речи.

Генералу было весело. Очень весело. Он и сам не знал, отчего его вдруг захлестнула волна веселья. Это была радость путника, обретшего пристанище после долгой опасной дороги, да еще в плохую погоду. Маленькая золотистая рюмка коньяку все дальше отгоняла от него угрюмую, угрожающую панораму гор, даже здесь, за столом, все еще возникавшую перед ним тревожным видением. «Как гордая одинокая птица...» Он вдруг почувствовал себя могущественным. Тела десятков тысяч солдат столько лет дожидались его в земле, и вот он явился, чтобы они восстали из грязи и вернулись к родным и близким, явился, как новый Христос, но вооруженный картами, списками и точными данными. Другие генералы вели бесконечные колонны солдат к неудачам и гибели, а он явился, чтобы вырвать у смерти и забвения их останки. Он будет идти от могилы к могиле, по всем бывшим полям сражений, чтобы найти всех павших и забытых. В своей битве с цепкой глиной он не будет знать поражений, ведь он вооружен магической силой точных, тщательно проверенных данных.

Он представляет здесь великую цивилизованную державу, и миссия его благородна. В ней есть что-то от величия греков и троянцев, что-то от воспетых Гомером погребальных церемоний. И вы откроете рты от изумления, вы, албанцы, не выпускающие из рук зонтиков!

Генерал выпил еще рюмку. С этой самой ночи, каждый день, каждый вечер, там далеко, на его родине, все, кто ждут, будут говорить о нем: он сейчас ищет. Мы ходим в кино, в рестораны, гуляем, а он бредет по чужой земле и ищет наших несчастных сыновей. Ох, и тяжелая у него работа, но он справится. Не зря мы послали его. Да поможет ему бог!

Глава вторая

Кирка издала глухой звук. Священник перекрестился. Генерал отдал честь. Старый рабочий высоко поднял кирку и снова вонзил ее в землю.

Генерал с волнением наблюдал, как первые влажные комья земли отлетают к его ногам. Это была первая могила, которую они вскрывали, и все замерли в ожидании. Албанский эксперт, стройный светловолосый юноша, что-то помечал в своем блокноте. Двое рабочих из министерства коммунального хозяйства курили сигареты, третий сосал трубку, а самый молодой из них стоял и задумчиво наблюдал за происходящим, облокотившись на кирку. Они должны были ознакомиться с процедурой проведения раскопок, поэтому стояли и внимательно следили за вскрытием первой могилы.

Генерал не мог отвести взгляда от горки земли. Комья были черные, мягкие, от них шел пар.

Вот она, чужая земля, сказал он себе. Земля как земля. Та же черная грязь, что и везде, те же камешки в ней, те же корни и такой же пар. И тем не менее чужая.

У них за спиной время от времени с ревом проносились машины. Кладбище было рядом с шоссе, как и большинство солдатских кладбищ. По ту сторону дороги паслись коровы, их мычание иногда нарушало тишину долины.

Генерал нервничал. Груда земли все росла, через четверть часа рабочий стоял в яме уже по колено. Он немного передохнул, пока другой рабочий выгребал лопатой разрыхленную землю, затем снова принялся за работу.

Высоко в небе летела стая диких гусей.

По шоссе шел крестьянин, ведя лошадь под уздцы.

— Бог в помощь! — сказал крестьянин, который, кажется, не понял, чем они занимаются. Никто из стоявших вокруг могилы не ответил ему, и крестьянин пошел дальше.

Генерал смотрел то на разрытую землю, то на лица рабочих-албанцев. Они были спокойны и серьезны.

О чем, интересно, они думают? — задал он себе вопрос. Эти пятеро должны извлечь из земли целую армию. Неужели им нравится эта работа?

Но по лицам рабочих ничего нельзя было понять. Двое из них снова закурили, третий все еще сосал свою трубку, а самый молодой продолжал стоять, опершись на ручку кирки, и мысли его, похоже, были далеко отсюда.

Старый рабочий теперь уже был по пояс в яме, и эксперт что-то объяснял ему.

— Что он говорит? — спросил генерал.

— Я не расслышал,— ответил священник.

Остальные стояли молча, как на похоронах.

— Хорошо еще, что дождя нет! — сказал священник.

Генерал поднял глаза. Горизонт был затянут туманом, и далеко, очень далеко, вверх вздымались не то горные вершины, не то клочья тумана.

А рабочий долбил землю киркой. Генерал смотрел на его седую голову, двигавшуюся в такт ударам кирки, ему показалось, что тот удивительно похож на Жана Габена.

Видно, опытный рабочий, подумал генерал. Не зря его назначили бригадиром. Генералу хотелось, чтобы рабочий копал быстрее, чтобы все могилы были раскопаны как можно скорее и как можно скорее были найдены все павшие. Ему хотелось, чтобы и остальные рабочие принялись копать. Тогда он достанет списки, и в списках будет появляться все больше крестиков, а каждый крестик — найденный солдат.

Удары кирки теперь доносились издалека, словно с того света, и генерал всем своим существом ощутил тревогу.

А вдруг солдата там нет? — подумал он. Если карты неточны, мы будем вынуждены копать в двух местах, в трех, в десяти — чтобы найти одного-единственного солдата?

— А если мы здесь ничего не найдем? — спросил он священника.

— Будем искать в другом месте. Заплатим вдвое.

— Дело не в деньгах. Главное — найти.

— Должны найти,— сказал священник.— Не можем не найти.

Генерал с беспокойством заглянул ему в глаза.

— Такое впечатление, что тут никогда и не было войны,— сказал он,— а эти бурые спокойные коровы здесь пасутся с незапамятных времен.

— После войны прошло двадцать лет,— сказал священник.

— Действительно, прошло много времени. Поэтому я и беспокоюсь.

— Не беспокойтесь,— сказал священник.— Земля здесь надежная, что в нее попало, она хранит долгие годы.

— Это правда. Но мне почему-то не верится, что они где-то здесь, рядом, на глубине всего двух метров, под нашими ногами.

— Это потому, что вы не были в Албании, когда шла война,— сказал священник.

— Было страшно?

— Страшно.

Теперь старый рабочий почти целиком скрылся в яме. Все еще теснее сгрудились вокруг нее. Эксперт, склонившись над ямой, что-то говорил ему, указывая куда-то рукой.

В земле было множество маленьких камешков. Кирка, натыкаясь на них, глухо скрежетала. Генералу вспоминались обрывки историй, рассказанных ему ветеранами войны,— они приходили к нему домой перед его отъездом, чтобы сообщить сведения о могилах своих друзей, разбросанных по Албании.

Кинжал натыкался на мелкие камни, царапал их с ужасным скрежетом. Я долбил землю изо всех сил, но почва была глинистая, и от кинжала было мало проку. Я выковыривал им горсть грязи и говорил себе: ах, если бы я был сапером и у меня была бы лопата — я копал бы быстро, быстро, быстро. Потому что рядом со мной лежал — ноги в канаве с водой — мой самый близкий друг. Я и у него снял кинжал с пояса и стал копать сразу двумя руками. Я пытался выкопать ему глубокую могилу, как он и хотел. Если я умру, часто говорил он мне, закопай меня поглубже, я боюсь, вдруг меня раскопают собаки или шакалы. Ты помнишь, что натворили собаки в Тепелене? Помню, говорил я, затягиваясь сигаретой. А теперь, когда его убили, я бормотал, копая землю: не беспокойся, я вырою глубокую яму, очень глубокую. Когда я все закончил, то разровнял как мог землю и не оставил сверху никакой отметки, никакого камня, ведь он боялся всяких отметок, боялся, что его найдут и выроют из земли. Я ушел в ночь, в ту сторону, где не слышно было пулеметной стрельбы, и, пока шел, оглядывался во мрак, в котором я оставил своего друга, и думал: не бойся, тебя ни за что не найдут.

— По-моему, здесь ничего нет,— сказал генерал, пытаясь скрыть беспокойство.

— Неизвестно,— ответил священник.— Посмотрим.

— Во время войны не хоронили так глубоко.

— Может быть, его потом перехоронили,— сказал священник.— Часто случалось, что хоронили во второй раз, а то и в третий.

— Возможно. Но если все могилы будут такими глубокими, мы никогда не закончим раскопки.

— Будем нанимать иногда и временных рабочих,— сказал священник.— Мы можем нанять хоть двадцать человек, если понадобится.

— Не исключено, что нам понадобится и больше,— сказал генерал.

— Вполне возможно.

— Может быть, придется нанять целую сотню.

— Кто знает...

— А эти пятеро будут у нас постоянно?

— Да, так записано в контракте.

— Ну, что там у них? — спросил генерал.— До сих пор ничего нет?

— Глубина уже предельная,— сказал священник.— Сейчас должны найти, если там вообще что-нибудь есть.

— Похоже, рассчитывать на удачу нам сегодня не приходится.

— Может, почва сдвинулась,— сказал священник.

Эксперт еще ниже склонился над ямой, а остальные подошли поближе.

— Нашел,— сказал старый рабочий, и голос его донесся глухо, еле слышно из глубины ямы.

— Нашел,— сказал священник.

Генерал с облегчением вздохнул. Рабочие задвигались. Самый молодой, тот, что стоял, опершись на кирку, попросил у товарища сигарету и закурил.

Старый рабочий начал поднимать на лопате кости. В них не было ничего пугающего. Они были облеплены мягкими комьями глины и походили на кусочки сухого дерева. Вокруг приятно пахло свежевскопанной землей.

— Дезинфектант! — крикнул эксперт.— Принесите дезинфектант!

Двое рабочих бросились к грузовику, стоявшему позади легкового автомобиля на обочине.

Среди костей эксперт обнаружил какой-то небольшой предмет.

— Вот медальон,— сказал он и, захватив пинцетом, показал его генералу.— Не прикасайтесь к нему, пожалуйста.

Генерал нагнулся, всматриваясь в изображение Святой Марии.

— Медальон наших солдат,— медленно проговорил он.

— Ты знаешь, зачем у нас этот медальон? — спросил он меня однажды. Чтобы найти наши трупы, если нас убьют. И усмехнулся. Ты думаешь, они и в самом деле будут искать наши кости? Ну хорошо, предположим даже, что будут. Думаешь, это для меня большое утешение? Нет большего лицемерия, чем искать кости после того, как кончилась война. Для себя лично я не желал бы подобного одолжения. Пусть уж меня оставят там, где я погибну. Этот паршивый медальон я в конце концов выкину. И однажды он его действительно выбросил.

После дезинфекции эксперт измерил несколько костей и принялся что-то высчитывать в своем блокноте.

— Рост — метр семьдесят три,— сказал он наконец.

— Точно,— сказал генерал, сверившись со списком.

— Упакуйте кости,— сказал эксперт рабочим.

Генерал взглянул на старого рабочего, тот, сидя в стороне на придорожном камне, достал табакерку и принялся неторопливо разминать сигарету.

— Интересно, почему этот человек так на меня смотрит? — пробормотал про себя генерал.

Рабочие принялись копать в пяти местах одновременно.

Глава без номера

— Тут какая-то ошибка,— сказал генерал,— мы зашли в тупик.

— Взглянем еще раз на карту.

— Ничего не могу понять. Перепутаны обозначения высот.

— По-моему, план расположения могил набросали наспех, в разгар отступления.

— Может быть.

— Перекопаем еще раз, немного правее. Куда ведет проселочная дорога?

— На территорию кооператива.

— Попробуем еще раз, вон там.

— Бесполезно.

— Чертова глина.

— Все равно нужно попробовать еще раз, правее.

— Эта дорога никуда нас не приведет.

— Черт знает что!

— Ну и грязь!

— И все без толку!

Их шаги и обеспокоенные голоса стихли в поле.

Глава третья

Через три недели они вернулись. Был вечер. Их защитного цвета автомобиль остановился у входа в отель «Дайти», под высокими елями. Генерал вышел первым. Вид у него был усталый, измученный. У него даже заострились черты лица, по крайней мере, так казалось в красном свете гостиничной рекламы. Его взгляд упал на машину. Хоть бы грязь стерли, с неудовольствием подумал он. Но ведь они только что спустились с гор, и шофер не был виноват. Он знал это и все-таки не мог скрыть раздражения.

Генерал быстро взбежал по ступенькам, взял письма, пришедшие на его имя, заказал телефонный разговор с домом и направился в свой номер.

Священник тоже пошел к себе.

Через час они сидели за столом в зале первого этажа. Оба приняли ванну и переоделись.

Генерал заказал фернет [1]. Священник попросил какао. Была суббота. Снизу, из таверны, доносилась музыка. Время от времени в конце зала показывались молодые парочки. Они проходили через зал в таверну и обратно. В холле тоже было людно. Темные шторы и массивные кресла придавали залу солидность.

— Вот и кончился наш первый маршрут,— сказал генерал.

— Слава богу.

— Как вы думаете, мы успеем завершить все это за год, как предусмотрено?

— Неизвестно, с какими трудностями мы еще столкнемся и какая будет погода,— ответил священник.— Но как бы то ни было, через год к этому времени мы уже должны закончить.

— И я на это надеюсь,— сказал генерал.— Сначала обследуем пригородные зоны, но тяжелее всего нам придется в селах, особенно в дальних горных краинах [2].

— Вам лучше знать,— сказал священник.

— В горах нам придется туго.

— Я тоже так думаю.

— Им тоже туго пришлось в горах.

— Это верно.

— Завтра я снова займусь картами и составлю план нашего второго маршрута.

— Лишь бы погода не испортилась!

— Ничего не поделаешь. Осень.

Священник неторопливо пил какао.

А он красив, подумал генерал, украдкой разглядывая чеканный профиль священника: неужели, черт возьми, у него что-то было с вдовой полковника? Между ними наверняка что-то было. Она была красива, а на пляже казалась просто ослепительной. Когда он упомянул имя священника, она покраснела и опустила глаза. Что же между ними было? — снова спросил себя генерал, не отводя глаз от лица священника.

— А ведь полковника Z мы так и не нашли,— сказал он с беспокойством.

— Может, еще найдем,— сказал священник и потупился.— Я верю, мы найдем его.

— Это трудно, обстоятельства его исчезновения неизвестны.

---

[1] Легкий алкогольный напиток темного цвета с горьковатым привкусом. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Территориально-административная единица Албании.

— Трудно,— сухо согласился священник,— но мы ведь только начали. У нас еще достаточно времени.

Что же у него было с вдовой полковника? — подумал генерал. Любопытно, насколько далеко может зайти этот святой отец в отношениях с женщиной?

— Мы должны найти останки полковника во что бы то ни стало,— сказал генерал.— Он единственный из старших офицеров, чей прах не перевезен на родину. Остальных давно уже нашли. Его семья так этим обеспокоена, особенно супруга.

— Да,— сказал священник,— она очень обеспокоена.

— Вы видели прекрасный мраморный склеп, который воздвигла полковнику его семья?

— Да,— сказал священник,— мне показали его перед нашим отъездом в Албанию.

— Величественный памятник, вокруг красные и белые розы,— сказал генерал.— Только самой могилы нет.

Священник не ответил.

Они помолчали. Генерал пил фернет. Он вдруг почувствовал себя одиноким. Одиноким среди солдатских могил. Черт побери, как раз о братских могилах-то он и не хотел вспоминать. Довольно они со священником насмотрелись на все это за три недели. Теперь ему нужно забыть о них, не думать об этом. Он хотел расслабиться, развлечься. Но как можно развлечься, когда напротив сидит и молчит мрачный, как ворон, священник? Он бы, например, с удовольствием вечером потанцевал, но это невозможно. Ведь он — генерал иностранной армии и, кроме того, выполняет возложенную на него правительственную миссию. И какую скорбную миссию! Его охватило уныние. А может, он просто устал. И какие вообще могут быть для него танцы в стране, с солдатами которой бились насмерть его солдаты. Да, он очень устал. От всех этих разбитых, ужасных дорог, от залитых водой могил — одиноких или образовавших целые кладбища, от всей этой осточертевшей грязи, полуразрушенных укреплений. От дотов, да и от солдат, остались одни скелеты. Вдобавок путаница с могилами солдат других армий, протоколы, квитанции для представителей министерства, подтверждения в банк о переводе валюты. Как все перемешалось! Особенно трудно было различить убитых из разных армий. Свидетели часто противоречили друг другу, старики путали события разных войн. Точных данных не было. Только земля знала правду.

Генерал опрокинул еще рюмку.

— Большая армия,— сказал он медленно, словно самому себе.

Огляделся вокруг. Напротив сидела парочка — похоже, жених с невестой. Они больше смотрели друг на друга, чем разговаривали. У юноши был череп правильной формы, большой выпуклый лоб и довольно массивная нижняя челюсть. Альпийский тип, подумал генерал.

За стойкой стоял официант. Его круглая голова, казалось, застыла между двумя блюдами с апельсинами и яблоками.

Вошел невысокий мужчина с портфелем в руках и сел за столик рядом с радиоприемником.

— Как всегда,— сказал он официанту.

Пока официант варил кофе, невысокий мужчина достал из портфеля толстую тетрадь и принялся писать. Когда он затягивался сигаретой, щеки у него западали, четко обрисовывалось строение челюстей. Нижняя челюсть была не тяжелая и не выдавалась вперед.

— Да, вот они, албанцы! — сказал генерал, словно продолжая прерванный на полуслове разговор.— Совершенно обычные люди. Даже трудно представить, что во время войны они становились похожи на диких зверей.

— О, видели бы вы их на войне!

— Подумать только — ведь их так мало!

— Не так уж и мало,— сказал священник.

Вошел еще один человек с выпуклым лбом.

— Что за чертова работа выпала на нашу долю? — сказал генерал.— Когда я смотрю на человеческое лицо на улице или в кафе, то невольно отмечаю особенности строения черепа. Вы меня понимаете? Очень часто на плечах у людей я вижу не головы, а черепа. Что же это за чертова работа, а?

— Простите, но мне сдается, вы пьете несколько больше, чем нужно,— участливо сказал священник и посмотрел на него. Серые глаза священника напоминали генералу экран телевизора, стоявшего в конце зала. Словно телевизор, который никогда не включают, подумал генерал.

Он принялся разглядывать прозрачную рюмку, вертя ее в руках.

— А что мне, по-вашему, делать? — спросил он нервно.— Что вы мне посоветуете? Может быть, мне позировать перед фотоаппаратом, чтобы потом, когда вернусь, показывать жене фотографии? Или завести дневник и записывать интересные случаи? Что скажете? А?

— Я не говорил ничего подобного. Я только сказал, что вы много пьете.

— А мне непонятно, почему вы не пьете. Просто странно.

— Я никогда не пил спиртного,— сказал священник.

— Тогда странно, почему вы не начали пить сейчас. Пить каждую ночь, чтобы забыть увиденное днем.

— А зачем мне забывать то, что я вижу днем? — спросил священник.

— Потому что у нас одна родина с этими несчастными,— генерал ткнул пальцем в свой портфель.— Вам их не жалко?

— Не оскорбляйте меня,— сказал священник.— Я тоже патриот.

Генерал улыбнулся.

— А знаете что,— сказал он,— я заметил, что наши разговоры напоминают скучные диалоги современных драм.

Священник тоже улыбнулся.

— Ничего не поделаешь. Так или иначе любые разговоры напоминают отрывки из драм или комедий.

— Вам нравится современный театр?

— В общем, да.

Генерал посмотрел ему в глаза.

— Бедные мои солдаты,— сказал он неожиданно, словно проснувшись.— У меня болит душа за них. Словно я подобрал чужих брошенных детей. Таких детей иногда любят сильнее, чем своих. Что я могу сделать для них? Как отомстить?

— И у меня болит душа,— сказал священник.— Она просто выжжена ненавистью.

— Мы бессильны, несмотря на все наши списки и протоколы. Мы бредем и бредем вслед за их смертью. Выискиваем их по одному. Как могло случиться такое?

— Судьба!

Генерал кивнул.

Опять словно в драме, подумал он.

Этот священник, похоже, сделан из металла. А все-таки очень любопытно знать, насколько стоек он был с очаровательной вдовой полковника, пробормотал он про себя, не сводя глаз с его лица. Он попытался представить, как мог себя вести священник с такой женщиной, как она, как он снимал свое черное одеяние... Священник ей действительно нравился или это был просто флирт? Если между ними что-то было... А какое мне дело, в конце концов?

Он прислушался к звукам радиоприемника, стоявшего в зале. Албанский язык казался ему грубым. Он столько раз слышал, как

говорят албанские крестьяне, помогавшие им вскрывать могилы. И все эти убитые наверняка слышали этот роковой язык, подумал он. Теперь, похоже, передавали новости, потому что диктор повторяла знакомые слова: Тель-Авив, Бонн, Лаос.

Много на свете разных городов, подумал он, и снова ему вспомнились солдаты других армий, воевавших в Албании. Проржавевшие жестяные таблички, кресты, камни, криво нацарапанные имена. Многие могилы были без табличек. У большинства вообще не было могил. Их сваливали в общие ямы, прямо в грязь. Часто неизвестно было даже, где эти ямы находятся, убитые значились только в списках.

Останки одного солдата они обнаружили в музее крошечного городка на юге страны. Музей организовали несколько энтузиастов. В древней городской крепости, в подземелье, они нашли, помимо прочего, останки человека. Во всех городских кофейнях доморощенные археологи выдвигали самые разнообразные гипотезы по этому поводу. Двое из них даже написали довольно смелую, хотя и не очень убедительную статью и собирались опубликовать ее в каком-нибудь журнале, когда в городок прибыла группа, занимающаяся поисками останков военнослужащих. Эксперт случайно заглянул в музей и сразу опознал скелет по медальону. (В статье археологов об этом медальоне высказывались две гипотезы: медальон — либо украшение, либо монета римских времен).

Спор был решен экспертом после посещения музея. Одно было непонятно: как мог забраться солдат в глухие лабиринты крепости и зачем?

— Кто же был этот солдат? — спросил генерал.

— Какой солдат?

— Ну тот, из крепости.

— Ах, да. Мы ведь опознали его,— сказал священник.

— Опознали,— сказал генерал,— но мне хотелось бы знать, не было ли на него персонального запроса семьи?

— Нас о многих персонально просили,— сказал священник,— разве всех упомнишь?

— Это верно. Там множество похожих имен. Я просто не в состоянии держать в голове все эти бесконечные списки.

— Обычный солдат,— сказал священник.

— Да и зачем мне все эти имена и ненужные подробности? — спросил генерал.— В конце концов, какое может быть имя у груды костей?

Священник кивнул, словно соглашаясь с ним.

— У них и имена должны быть одинаковы, как и медальоны,— продолжал генерал.

Священник не ответил. Из таверны доносилась музыка, генерал курил не переставая.

— Они убили ужасно много наших,— сказал генерал, как сквозь сон.

— Несомненно.

— Но и мы тоже много убили.

Священник промолчал.

— И мы тоже убили достаточно,— повторил генерал.— Их могилы повсюду. Если бы тут были могилы только наших солдат, какой это был бы позор для нас!

Священник покачал головой, и трудно было понять, согласен он или нет.

— Хоть какое-то утешение,— сказал генерал.

Священник снова покачал головой.

— Я вас не понял,— сказал генерал,— разве это не утешение для нас?

Священник развел руками.

— Я верующий,— сказал он,— я не могу одобрить убийство.

— О! — протянул генерал.— Дрались мы с ними насмерть. Воевали они, черт возьми, здорово.

— Это вполне объяснимо,— сказал священник.— Это вовсе не сознательная храбрость. Все дело в их психике.

— Не понял,— сказал генерал.

— Очень просто,— продолжал священник.— На войне одни повинуются разуму, другие — инстинкту.

— Да.

— Албанцы — отсталый и дикий народ. Новорожденному кладут в колыбель ружье, так что ружье со дня рождения становится неотъемлемой частью их бытия.

— Похоже, что они и зонтики носят, словно винтовки,— сказал генерал.

— Оружие с самого детства — часть их бытия,— продолжал священник,— оно чуть не с колыбели формирует психику албанца.

— Это интересно.

— И естественно, что человеку хочется свою любимую вещь употребить в дело. А для чего лучше всего можно использовать винтовку?

— Чтобы убивать людей,— сказал генерал.

— Вот именно. Албанцы всегда испытывали удовольствие, когда убивали сами или когда убивали их. Когда им не с кем было воевать, они убивали друг друга. Вы слышали про их обычай кровной мести?

— Да.

— Воевать их заставляет древний инстинкт. В мирное время они становятся вялыми и сонными, словно змеи зимой. Только на войне они в полной мере демонстрируют свою жизнеспособность.

Генерал кивнул.

— Война — нормальное состояние для этой страны. Албанцы на войне злобны, агрессивны и чрезвычайно опасны.

— Другими словами, этот народ, со своей жаждой уничтожения или самоуничтожения, обречен на вымирание,— сказал генерал.

— Разумеется.

Генерал выпил еще. Язык у него заплетался.

— Вы ненавидите албанцев? — вдруг спросил он.

Священник печально улыбнулся.

— Нет. Почему вы так решили?

Генерал наклонился к нему. Священник поморщился, почувствовав запах спиртного.

— Как это почему? — тихо сказал генерал.— Мы оба их ненавидим, но пока не признаемся в этом...

Глава четвертая

Они пожелали друг другу спокойной ночи, и генерал, закрыв дверь своей комнаты, уселся возле торшера за маленький столик. Ему не спалось, хотя было уже поздно. На столе лежал портфель. Генерал машинально протянул руку и взял его. Достал списки с именами солдат и стал их перечитывать. Это была внушительная стопка бумаги, состоявшая из сшитых по четыре, пять или десять листов вместе. Он перелистывал их, бегло просматривая, уже, наверное, в сотый раз написанные наверху большими буквами названия: «Полк «Слава», «Вторая дивизия», «Второй корпус», «Железная дивизия», «Батальон горных стрелков», «Специальное подразделение № 3», «Четвертый гвардейский полк», «Третий горнострелковый батальон», «Дивизия «Победа», «Седьмая пехотная дивизия», «Голубой батальон (карательный)»... Последнее название привлекло его внимание. В самом начале списка он увидел имя полковника Z и ниже — имена солдат, по ротам и по взводам. «Голубой батальон» — красивое название, подумал он.

Он отложил в сторону основные списки и достал другие, с пометками и красными крестиками на полях. Это были черновые, рабочие списки. Имена в них были сгруппированы не по воинским частям, а по месту гибели и рядом с каждым именем стояли координаты захоронения, а также были отмечены рост солдата и характерные особенности зубов. Уже найденные были помечены красными крестиками. Но крестиков пока было мало.

Нужно перенести крестики в основные списки, подумал генерал, и подвести предварительные итоги.

Не зная, чем бы еще заняться, он вновь принялся перелистывать бумаги. В рабочих списках географические названия были даны на двух языках; эти названия рек, ущелий, городов, плоскогорий, долин звучали странно и пугающе. Ему казалось, что все они поделили между собой его солдат, кому-то досталось больше, кому-то меньше, а теперь он пришел, чтобы отобрать у них добычу.

Взгляд его снова остановился на одном из списков. Это был список «пропавших без вести», возглавляло его опять имя полковника. «Полковник, метр восемьдесят два, на первом зубе справа золотая коронка»,— прочитал он, затем просмотрел весь список. Метр семьдесят четыре, отсутствуют два передних зуба; метр шестьдесят пять, удалены верхние коренные зубы; метр девяносто, металлический мост на передних зубах; метр семьдесят один, зубы все; два метра десять. Этот наверняка самый высокий в этом списке, подумал он. Интересно, какой рост у самого высокого из всех списков? Самый маленький, тот известен: по уставу, метр пятьдесят один. А вообще самые высокие — из Четвертого гвардейского полка, а самые маленькие — горные стрелки. Какой ерундой я занимаюсь!

Он выключил торшер, но заснуть ему не удалось. Не надо было пить этот чертов кофе на ночь, пробормотал он про себя. Была бы сейчас рядом с ним жена! — подумал он, они бы лежали вот так, в темноте и тихо разговаривали, он рассказал бы ей все. Правда, она, наверное, испугалась бы, как тогда перед отъездом в Албанию.

Какие это были необычные дни, что-то новое, неведомое вторгалось в его жизнь. Как только началась осенняя непогода и он вернулся с курорта, к нему пришел первый посетитель. Генерал читал в своем кабинете, когда служанка сообщила, что кто-то дожидается его в гостиной.

Незнакомец стоял возле окна. Смеркалось, и деревья в саду казались большими стогами, сметанными из теней. Когда дверь отворилась, незнакомец повернулся и произнес: «Добрый вечер».

— Простите, что я вас беспокою,— голос у него был глухой, с хрипотцой.— Я узнал, что вы скоро отправляетесь в Албанию, чтобы вернуть на родину останки наших солдат.

— Да,— сказал генерал.— Через две недели.

— У меня к вам просьба,— продолжал незнакомец, доставая из кармана потрепанную, затертую карту Албании.— Я был солдатом и воевал в Албании два года.

— В каких частях? — спросил генерал.

— «Железная дивизия», пятый батальон, пулеметная рота.

Незнакомец склонился над картой.

— Вот здесь во время крупной зимней операции наш батальон был разбит албанскими партизанами, и мы, те, кому удалось спастись, рассеялись ночью в разных направлениях. Со мной был раненый товарищ, и к рассвету он умер на околице брошенного села, куда я его доволок. Я похоронил его за маленькой церковью и ушел. О его могиле никто не знает, поэтому я и пришел к вам, чтобы вы, когда вам доведется проезжать через те места, откопали бы и его тоже, как и остальных, и привезли бы сюда.

— Его имя наверняка должно быть в списках пропавших без вести,— сказал генерал.— Списки очень точные, но, разумеется, вы

хорошо сделали, что пришли, потому что найти пропавших без вести почти невозможно, разве только случайно.

— Я сделал набросок,— сказал незнакомец и достал из кармана листок бумаги, на котором химическим карандашом было изображено нечто напоминающее церковь, от нее — две красные стрелки с надписью: «могила».— Тут рядом источник,— продолжал он,— а дальше, справа, два кипариса, вот тут.— И он сделал еще одну пометку рядом с церковью.

— Хорошо,— сказал генерал.— Благодарю вас.

— Это мне нужно вас благодарить,— ответил посетитель.— Он был моим лучшим другом.

Он хотел еще что-то добавить, может быть, вспомнил какую-то подробность или какой-то эпизод, но строгий, официальный тон генерала остановил его.

Незнакомец ушел, и генерал даже не узнал, кто он, как его зовут. Но это было только начало. Потом, каждый день, после обеда в гостиной, его дожидалось множество незнакомых людей. Жены, старики родители, ветераны — все они робко сидели на длинном диване и ждали генерала с одним и тем же выражением на лице. Стали приезжать люди и из других городов и провинций страны. Они еще больше волновались, сидя в гостиной, и генералу еще труднее было с ними разговаривать, потому что их сведения о погибших в Албании родственниках были приблизительными и недостоверными.

Генерал делал пометки в специальном блокноте и всем повторял одно и то же:

— Не беспокойтесь, списки, составленные военным министерством, очень точны, по этим спискам мы должны найти всех. Тем не менее я записал ваши сведения, может быть, они нам помогут.

Они благодарили его и уходили, а на следующий день приходили новые посетители. Они беспокоились, внесены ли в списки, не забыты ли их погибшие родственники. Были и такие, что показывали телеграммы, полученные во время войны от командования, и в телеграммах были дата и место, где солдат «пал за Родину», а некоторые, особенно старики родители, не верили, что их сыновей найдут по каким-то спискам, но все равно умоляли генерала сделать для этого все возможное и невозможное.

Каждый посетитель приходил со своей историей, и генерал был вынужден выслушивать всех — и женщин, вышедших второй раз замуж и теперь втайне интересовавшихся своими первыми мужьями, и двадцатилетних юнцов, никогда не видевших своих отцов-солдат.

В последнюю неделю посетителей стало еще больше. Теперь, когда он возвращался из штаба, гостиная была уже заполнена людьми, они напоминали ему больных, терпеливо ждущих своей очереди к врачу, только здесь было намного тише. Люди молча сидели, часами разглядывали узоры на ковре и поднимали головы, только когда входил очередной посетитель и усаживался где-нибудь в углу.

У крестьян, приехавших издалека, были с собой торбы, которые они ставили у ног, а снаружи, у ворот, стояли прислоненные к железной ограде велосипеды и очень редко — автомобиль, припаркованный у тротуара. Когда генерал проходил через гостиную, пропахшую тяжелым запахом промокшей крестьянской домотканой одежды, к которому примешивался порой аромат духов какой-нибудь элегантной дамы, все почтительно вставали, не нарушая молчания.

— Папа,— спрашивали его дети, когда он, переодевшись, приходил в столовую,— кто все эти люди?

Генерал пытался отшутиться, но они настаивали.

— Папа, они что, собираются на войну? — спрашивал его сын.

— Нет, они уже были на войне.

— А зачем тогда они приходят сюда?

— Потому что у них есть родственники в армии, и они хотят передать им письма и посылки.

Потом, пообедав, он шел в гостиную и выслушивал всех по очереди. Как похожи были их рассказы! И истории погибших солдат были похожи одна на другую, генералу казалось, что все это он уже слышал вчера или позавчера. Женщины, потерявшие мужей или сыновей, не могли сдержать рыданий. Генерал нервничал. На одну посетительницу он даже накричал:

— Прекратите! Нечего здесь оплакивать покойников. Хватит. Ваш сын пал на боле боя, там, куда его послала родина. Он погиб как герой.

— Будь проклято это геройство! — воскликнула женщина.

В другой раз высокий мужчина, едва перешагнув порог, заявил:

— Вся эта затея — сплошное лицемерие.

Генерал побледнел от гнева.

— Так могут говорить только подлецы. Вон отсюда!

Как-то раз среди других посетителей он увидел очень старую женщину с маленькой девочкой. Вид у старушки был совершенно измученный, и он сразу направился к ней.

— У меня там сын,— сказала старуха слабым голосом,— единственный сын.— Она достала платок и стала его разворачивать трясущимися руками. Развернув, она протянула генералу пожелтевшую от времени телеграмму. Он прочитал обычное извещение командования, сообщавшего о смерти ее сына, но взгляд его задержался на последней фразе: «пал за Родину под Сталинградом».

— Я еду не в Россию, я еду в Албанию,— стал медленно объяснять ей он.

Старуха посмотрела на него тусклыми глазами, но, похоже, ничего не поняла.

— Я тебя вот о чем попрошу,— сказала она,— ты уж узнай, где и как он был убит, кто был рядом с ним, когда он отдавал богу душу, кто его похоронил и что он завещал, умирая.

Генерал попытался было объяснить ей, куда он едет, но старуха ничего не поняла и снова повторила свою просьбу; сидевшие в гостиной молча переглядывались между собой.

— Идите, матушка,— наконец сказал ей ласково какой-то мужчина,— господин генерал все сделает так, как вы сказали.

Старуха поблагодарила и ушла, опираясь на палку и держась другой рукой за девочку. А еще как-то в телеграмме упоминалась Африка.

В один из дней мужчина мрачного вида дождался, пока уйдут все остальные.

— Я был генералом,— сказал он с вызовом,— и воевал в Албании.

Они смотрели друг на друга с явной неприязнью. Один — потому что видел бывшего генерала разгромленной армии, другой — потому что перед ним был генерал, получивший это звание в мирное время.

— Что вам угодно? — холодно спросил генерал.

— Собственно говоря, ничего,— ответил тот.— Да я и не жду от вас ничего особенного. Сказать по правде, я не верю в эту затею. Она мне кажется смехотворной. Но раз уж вы взялись за это дело, доведите его до конца, черт побери.

— Говорите яснее,— сказал генерал.

— Мне больше нечего вам сказать. Я только хотел бы предупредить, чтобы вы были осторожны. И не забывали про гордость. Не склонили бы головы перед ними. Они будут провоцировать вас, может быть, даже издеваться над вами, но вы должны суметь им ответить. Вы должны быть бдительны. Они попытаются осквернить прах

наших солдат. Я их хорошо знаю. Они часто насмехались над нами. Даже тогда насмехались. Представьте, что будет теперь!

— Я не допущу, чтобы произошло что-нибудь подобное,— сказал генерал.

Гость посмотрел на него с сожалением, словно хотел сказать «бедняга», и ушел не попрощавшись.

Три следующих дня, последних, в гостиной было не протолкнуться. Генерал устал, он хотел уехать как можно скорее. У его жены в последние дни совершенно сдали нервы.

— Отказался бы ты от этого,— сказала она ему однажды ночью, когда они лежали без сна,— мне кажется, что в наш дом вошла смерть.

Он успокоил ее как мог. В эту ночь он почти не спал, ему казалось, что он отправляется на войну.

Последних посетителей он встретил утром в день отъезда. В аэропорт нужно было приехать рано, и, генерал, выйдя в сад, чтобы открыть гараж, увидел двух человек. Завернувшись в домотканые одеяла, они спали у ворот, прислонясь к железной решетке. Это были дед с внуком, приехавшие из дальнего пограничного села. Они добирались много дней, и, приехав на последнем, ночном, поезде, не осмелились беспокоить так поздно, и улеглись спать прямо на асфальте.

Генерал повторил свое обычное: «Списки проверены, не беспокойтесь, мы его найдем». Старик крестьянин благодарно кивал, их одеяла валялись у решетки — они не успели их убрать, когда увидели генерала.

Глава пятая

Шел мелкий дождь. Уже несколько недель колесили они по суровой, с редкими селениями, местности. Легковая машина ехала впереди, за ней — грузовик с вещами и рабочими. На шоссе им попадались крестьяне в черной одежде из толстого домотканого сукна. Они шли пешком, ехали верхом, тряслись в кузовах грузовиков. Генерал внимательно рассматривал рельеф местности. Он пытался представить, как проходили сражения в этих местах, какой тактики придерживались противники и как вообще воевали албанцы.

В деревянном ларьке в центре селения продавались газеты. У маленького окошечка толпились люди. Кто-то читал, стоя рядом с ларьком, кто-то перелистывал газеты на ходу.

— Албанцы очень любят читать газеты,— сказал генерал.

Священник шевельнулся в своем углу.

— Что за чертов народ! — сказал генерал.— Похоже, силой их не покорить. Может быть, их можно покорить красотой?

Священник рассмеялся.

— Почему вы смеетесь?

— Вы рассуждаете не как генерал, а как философ.

Генерал разглядывал угрюмый пейзаж. Голое, ровное плоскогорье, множество мелких и больших камней, ковром устилающих землю. Уже две недели перед его глазами мелькали такие каменистые плоскогорья. В их суровой обнаженности ему мерещилась какая-то мрачная тайна.

— Трагическая страна,— сказал он.— Даже одежда у них траурная. Эти черные джокэ[1], а юбки! Посмотрите! Разве это не напоминает траурные одеяния?

— А вы послушайте, какие у них песни! Тоскливые, просто похоронные! И это не случайно. На протяжении веков судьба албанцев была печальнее, чем судьбы многих других народов. Они ожесточились.

[1] Албанская национальная одежда типа безрукавки.

— У них нет веселых песен?

— Мало. Очень мало.

Машина спускалась вниз по горной дороге. Похолодало. Время от времени наверх, им навстречу, с гудением проносились грузовики. На склоне горы строился большой завод. Место было пустынное, и в тумане строительная площадка казалась гигантской.

— Медеплавильный завод,— сказал священник.

Потом на перекрестках стали появляться доты — квадратные, круглые, шестиугольные, с узкими амбразурами, глядящими прямо на дорогу. Каждый раз, когда машина сворачивала, она попадала на несколько секунд в зону огня, и генерал не отрывал глаз от узких амбразур, из которых по капле сочилась вода.

Проехали, говорил он себе, когда машина выходила из сектора обстрела, но на следующем повороте дот снова вырастал из-под земли, и опять автомобиль на несколько секунд попадал в зону обстрела. Генерал смотрел на воду, струившуюся по стеклу, но как только он погружался в дремоту, ему тут же казалось, что стекло разлетается на тысячи осколков, и он в испуге открывал глаза. Но заброшенные доты безмолвствовали. Издали они были похожи на египетские изваяния с загадочным или с холодно-презрительным выражением лица, в зависимости от расположения амбразур. Если амбразура была вертикальной, у дота был суровый и угрожающий вид, как у злого духа; дот с горизонтальной амбразурой выглядел безразлично-пренебрежительным.

К обеду они спустились в долину, в расположенное вдоль шоссе село. Дождь прекратился. Как обычно, машину тут же окружили мальчишки. Громко крича, они сбегались к шоссе отовсюду. Позади, в нескольких метрах, остановился грузовик. Рабочие, спрыгнув один за другим на землю, принялись разминать онемевшие руки и ноги.

Крестьяне замедляли шаги и разглядывали иностранцев, по всей вероятности зная, зачем те приехали. Это было видно по их лицам. Особенно по лицам женщин. Генерал теперь хорошо знал это холодное выражение глаз местных жителей. Увидев нас, они вспоминают об оккупации, подумал он. И чем кровопролитнее были бои в этих краях, тем враждебнее их лица.

Посреди поля было множество могил. Кладбище окружала низкая, кое-где обвалившаяся стена. Здесь все наши, подумал генерал. Он плотнее закутался в длинный плащ. Священник издали походил на большой черный крест с мексиканской гравюры. Совершенно ясно, как они попали в окружение, подумал генерал. Наверняка они пытались прорваться через мост, там их всех и уложили. Как звали того идиота, офицера, который завел их сюда? На табличке имени командира не разобрать.

Эксперт приступил к выполнению обычных формальностей. Чуть дальше, совсем рядом с селом, было еще несколько могил, их венчали красные звезды. Генерал сразу узнал могилы павших героев, как здесь называли партизанские могилы. Здесь, где-то среди албанцев, были похоронены семь солдат, его соотечественников. На металлических табличках с красной звездой были выведены, со множеством ошибок, имена солдат, национальность и дата гибели, у всех одна и та же. А на каменной плите было высечено: «Эти иностранные солдаты сражались на стороне албанских партизан и пали в бою с «Голубым батальоном» 17 марта 1943 года».

— Опять «Голубой батальон»,— сказал генерал, прохаживаясь вдоль могил.

— Уже второй раз мы выходим на след полковника Z. В этом селе, судя по спискам, должны быть похоронены два солдата из его батальона.

— Нужно спросить о полковнике,— сказал священник. — Хотя в марте 1943 года он был еще жив.

— И все-таки нужно спросить.

Пока они заполняли расходные квитанции, к кладбищу приблизились несколько крестьян. Потом к ним присоединились женщины в национальной одежде. Дети подошли вплотную к ограде и о чем-то тихо шептались друг с другом, покачивая светловолосыми головками. В полной тишине все следили за действиями людей за оградой.

Неподалеку остановилась старая женщина с бочонком на спине.

— Они их заберут? — тихо спросила она.

— Заберут,— ответили ей; крестьяне стали перешептываться.

Старуха стояла, не снимая бочонка со спины, и вместе со всеми наблюдала за рабочими. Затем вышла вперед и обратилась к ним.

— Сынки, скажите им, чтобы они не смешивали этих с остальными,— сказала она.— Мы оплакали их по всем законам, как собственных сыновей.

Генерал и священник посмотрели на женщину, но она повернулась и пошла прочь, они видели, как покачивается у нее на спине бочонок, пока она не скрылась в переулке.

Крестьяне молча наблюдали за людьми, ходившими взад-вперед внутри ограды — словно они искали что-то и никак не могли найти.

— Раскопки на обоих кладбищах мы начнем завтра,— сказал генерал.— Сегодня будем искать двух солдат «Голубого батальона» и сбитого летчика.

О летчике знали все. Обломки сбитого самолета до сих пор виднелись в поле, а летчика крестьяне похоронили с другой стороны села, возле самолета. Но никаких следов захоронения, кроме большого камня, который, скорее всего, возложили на могилу над головой убитого, уже не осталось, один крестьянин рассказал, что они потихоньку сняли с самолета все мало-мальски ценное, начиная с резины и кончая тяжелыми металлическими деталями, годными для хозяйства.

Двое рабочих принялись копать, а крестьяне вернулись в село.

На дороге, разбитой тракторами и телегами, было много луж. По ту и другую сторону от нее стояли наполовину уже скормленные скоту мокрые стога сена. Вдали, между кипарисами, возвышалась колокольня старой церкви. Откуда-то из-за церкви доносился грохот трактора.

Пообедали они в машине, а затем зашли выпить кофе в клуб кооператива. В клубе было сильно накурено, почти все столики оказались заняты. Маленький радиоприемник работал на полную мощность. Крестьяне громко разговаривали. Видно было, что это жители долины. Выгоревшие на солнце волосы, обветренная кожа. И речь их звучала по-другому: более мягко, мелодично.

Генерал пил кофе и рассматривал лозунги на стенах, они были написаны большими красными буквами.

Последним в клубе появился эксперт, которого сопровождал юноша в коричневом пиджаке. Они приблизились к столику, где сидели генерал со священником, и эксперт представил их друг другу:

— Председатель кооператива. Генерал...

Юноша, слегка удивленный, оглядел иностранцев и посмотрел на эксперта.

— Дело в том,— сказал эксперт,— что на этой неделе мы будем производить раскопки двух солдатских кладбищ возле вашего села. У нас свои рабочие, но чтобы ускорить дело, было бы неплохо, если бы вы нам, по возможности, помогли.

— Вам нужны рабочие? — спросил председатель.

— Да.

Юноша замялся.

— Мы сейчас очень заняты,— сказал он.— С хлопком и табаком еще не управились, да и других дел хватает. Так что...

— Это займет всего несколько дней,— сказал эксперт.— К тому же учтите, что членам кооператива будут платить. Они,— эксперт кивнул в сторону генерала и священника,— платят тридцать новых леков за каждую вскрытую могилу и пятьдесят за каждую могилу, где будут найдены останки.

— Мы хорошо платим,— подтвердил генерал.

— Не в этом дело,— сказал председатель.— Я хочу сказать, одобрит ли правительство такую работу...

— Об этом не беспокойтесь,— сказал эксперт.— У меня есть бумага из Совета министров. Вот.

Председатель прочитал документ и задумался.

— Все равно вам нужно договориться об этом и в исполкоме краины.

— Разумеется,— сказал эксперт.— Мы сделаем это завтра же, когда поедем в город.

— Я могу дать вам десять человек дня на три-четыре, не больше.

— Очень хорошо,— сказал эксперт.

Генерал поблагодарил его, и председатель с экспертом ушли.

О двух солдатах «Голубого батальона», похороненных здесь, никто ничего не знал. Полковника старики помнили. Он прошел здесь со своим батальоном дважды и оба раза сжигал село. Молодые помнили только, как смотрели на горящие дома с вершины холма, куда сбежались крестьяне, бросив все свое добро.

О двух солдатах никто ничего не слышал. Скорее всего, их похоронили их же товарищи, пока в селе никого не было.

— Мы должны их найти,— сказал генерал,— на карте точно обозначено место захоронения, но я считаю, что все-таки нужно опросить крестьян. Их показания облегчат работу.

Больше часа они с экспертом искали, сверяясь с пометками на топографической карте, точное место захоронения и в конце концов нашли его. Оно оказалось под кооперативным телятником. Они направились туда вместе с крестьянами, и после того, как из телятника выгнали телят, рабочие начали раскопки. Телята смотрели на посторонних спокойными красивыми глазами. В телятнике вкусно пахло сухим сеном.

Летчика и двух солдат нашли еще до наступления вечера. Летчика нашли сразу, а из-за солдат пришлось перекопать весь телятник, и после того, как останки извлекли, там осталось множество воронок, словно после интенсивной бомбардировки.

Рабочие принялись закапывать ямы. Они не спешили. Ночевать они должны были в селе, а генерал, священник и эксперт решили отправиться в небольшой городок в тридцати километрах отсюда, чтобы на следующий день рано утром вернуться.

Когда они выехали, был уже вечер. Автомобиль на мгновение выхватывал фарами из темноты тополя вдоль дороги, возвращавшуюся с поля телегу, обнесенные высокими заборами дворы.

— Остановите машину,— сказал неожиданно священник, когда они проезжали мимо кладбища.

Водитель затормозил.

— В чем дело? — спросил эксперт.

Когда они вышли из машины, священник показал рукой на невысокую стену. На ней углем большими неровными буквами было написано: «Враги получили свое».

Эксперт пожал плечами.

— Кто-то написал после обеда,— сказал он.— Утром здесь ничего не было.

— Это мы и сами могли заметить,— сказал генерал,— нам хотелось бы получить разъяснение, с какими целями ваше правительство устраивает подобные постыдные провокации.

— Не вижу ничего постыдного,— спокойно ответил эксперт.

Священник достал блокнот и стал в него что-то записывать, наверное, переписывал фразу со стены.

— Как это нет ничего постыдного? — воскликнул генерал.— Ведь здесь могилы павших. Я этого так не оставлю. Это грубая провокация. Безобразная выходка.

Эксперт резко повернулся к нему:

— Двадцать лет назад вы писали фашистские лозунги на груди наших повешенных товарищей, а теперь вас возмущают слова, написанные наверняка каким-нибудь школьником.

— Мы говорим не о том, что было двадцать лет назад,— перебил его генерал.

— Вы не раз вспоминали греков и троянцев. Почему бы нам не вспомнить и то, что было двадцать лет назад?

— Нет смысла продолжать этот разговор,— сказал генерал.— Здесь такой сильный ветер.

Все трое быстро направились к машине. Шофер рванул с места. Но они не проехали и пяти минут, как за деревянным мостом дорогу им загородила телега, у которой отвалилось колесо. Возле нее суетились два крестьянина.

— Извините,— сказал один из них эксперту, вышедшему из машины.

— Ничего.

— Мы уже слышали, зачем вы приехали,— сказал крестьянин.— Сегодня бабы в селе весь день об этом болтают. Только и разговоров что о ваших машинах.

— Хватит языком молоть,— пробормотал другой крестьянин, насаживая колесо.

— Говорили, что они выкопают из могил своих солдат и отправят их на родину,— невозмутимо продолжал первый крестьянин,— а вместе с ними вытащат на свет божий и убитых баллистов [1] и их тоже отправят на запад, за границу. Это правда?

Эксперт засмеялся.

— Мы так слышали,— сказал крестьянин.— Чтобы они и мертвые были неразлучны. В те времена союзники и сейчас тоже. Так говорили.

Эксперт снова засмеялся.

— Это неправда,— сказал он.— Никто не собирается заниматься убитыми баллистами.

— Давай помоги лучше,— снова воскликнул второй крестьянин. Колесо никак не поддавалось.

Вдали лаяли собаки.

— Ты всем этим и занимаешься? — спросил крестьянин эксперта.

Тот кивнул.

Крестьянин глубоко вздохнул.

— Тяжелое это дело.

Колесо наконец встало на место.

Телега освободила дорогу, и автомобиль понесся по автостраде, пересекающей равнину.

Октябрьская ночь опустилась на землю. Лунный свет, просачиваясь сквозь пористую пелену облаков и тумана, медленно окутывал бескрайнюю равнину. Небо теперь жирно блестело, и от этого уходящая за горизонт долина и шоссе казались залитыми молоком.

Осенью бывали такие ночи, когда все небо заливал странный, печально-равнодушный, сводящий с ума свет луны Мы лежали на земле, и каждый из нас наверняка думал: мамочки, что же это за небо здесь такое!

---

[1] Баллисты — члены националистической фашистской организации «Баллы комбэтар».

Рытвины на дороге казались большими и черными в скользящем по земле свете фар.

Через час вдали показались огни города.

Глава шестая

Машина остановилась перед «Албтуристом». По мокрой улице, в неоновом свете витрин, торопливо шагали запоздалые прохожие. Ночной ветер бил в лицо, и генерал со священником поспешили войти в гостиничный холл. Свободных комнат было много — туристский сезон уже закончился.

— Желаете с видом на реку? — спросил администратор на ломаном английском.

— Да,— ответил священник.— Благодарю вас.

Служащий помог им отнести чемоданы.

— Река здесь красивая,— сказал священник, когда они поднялись в номер.

— Вы уже бывали в этом городе?

— Бывал,— ответил священник.

— Сколько раз вы были в Албании?

— Несколько раз в тридцать девятом, а потом еще — в середине сорок второго. Но при совершенно разных обстоятельствах.

Генерал подошел к окну и отдернул занавеску. Над равниной разливалась тревожная белизна лунного света. Он задернул занавеску и закурил.

— Спустимся в ресторан? — предложил священник.

— Давайте.

В коридоре они увидели эксперта, который выходил из своей комнаты с полотенцем в руке.

— Пойдемте ужинать,— предложил священник.

— Сейчас спускаюсь,— ответил эксперт.

— Внизу, в ресторане, ужинает тот генерал-лейтенант, которого мы встретили две недели назад в горах,— сказал священник.

— В самом деле?

— Они, наверное, тоже ищут своих в этом городе,— сказал эксперт.

Две недели назад, когда их машина ехала по шоссе, пересекающему широкое плоскогорье, перед глазами генерала, который дремал, откинувшись на заднем сиденье, вдруг возникла картина, показавшаяся ему совершенно нереальной.

Рабочие в спецодежде работников коммунального хозяйства копали землю сразу в нескольких местах. На шоссе стоял легковой автомобиль и за ним — крытый грузовик. Автомобиль и грузовик были точь-в-точь такие же, как и их автомобиль и грузовик. Возле защитного цвета машины стоял военный в плаще и спиной к шоссе еще кто-то, одетый в черное.

Что это? — подумал генерал, оцепенев. Уж не сон ли? Ему показалось, что он увидел на плоскогорье самого себя, священника и рабочих. На мгновение он зажмурил глаза, затем протер рукой запотевшее стекло. Все это было реальностью.

— Взгляните туда,— тихо сказал он священнику. Тот повернулся и не смог скрыть удивления.

— Остановите, пожалуйста,— попросил генерал шофера.

Шофер остановил машину. Генерал опустил стекло и показал рукой направо.

— Посмотрите туда,— сказал он эксперту.

Тот повернулся.

— Что они делают? — спросил генерал.

— Ищут погибших солдат.

— Как это так? Как они могут искать без нашего ведома?

— Они ищут своих,— ответил эксперт.

— Своих?

— Наше правительство заключило контракт с их страной на год раньше, но они сильно запоздали с подготовкой и начали только этим летом.

— Понятно. Он генерал?

— Генерал-лейтенант. И с ним глава муниципалитета.

Генерал улыбнулся.

— Не хватает только генерала с муллой,— сказал он.

— Возможно и такое,— улыбнулся эксперт.— Однажды и турки могут здесь появиться.

Пока они разговаривали те, двое, стоявшие на шоссе, повернулись в их сторону и с любопытством стали их разглядывать.

— Выйдем,— сказал генерал, открывая дверцу машины.— Это наши коллеги. Было бы неплохо с ними познакомиться.

— А зачем? — спросил священник.

— Можем обменяться опытом,— ответил, смеясь, генерал.

Когда они подошли, генерал заметил, что у генерал-лейтенанта нет левой руки. В правой он держал толстую черную трубку. А штатский оказался здоровяком, с большой лысиной.

Они поговорили немного на плохом английском, водители грузовиков в это время что-то спрашивали друг у друга, хлопали крышками капотов и, похоже, наконец выяснили все, что им было нужно.

Через десять минут генерал и священник распрощались со своими новыми знакомыми и уехали.

До сегодняшнего дня они с ними больше не сталкивались.

— Вон они где,— сказал генерал, входя в ресторан. Генерал-лейтенант и мэр тоже кивнули им в знак приветствия, они уже поужинали и расплачивались с официантом.

Эксперт со священником перебрасывались время от времени ничего не значащими фразами, а генерал сидел мрачный, будто его кто-то обидел. После ужина эксперт пошел наверх, в свой номер.

Поужинав, генерал со священником спустились в тихий холл отеля и увидели сидевших там генерал-лейтенанта и мэра, те курили.

— Каждый вечер сидим тут,— сказал мэр.— Уже целую неделю торчим в этом городе и не знаем, как убить время. А куда пойдешь? Летом, говорят, здесь красиво, есть несколько танцплощадок, а сейчас иностранных туристов нет, и с реки днем и ночью дует ледяной ветер.

— Мы могли бы прибыть в этот город намного раньше,— сказал генерал-лейтенант,— но до окончания футбольного чемпионата нам не разрешали производить раскопки на стадионе.

— Неожиданное препятствие, не правда ли? — сказал штатский.

— Мы могли начать с дальнего края стадиона, а не с футбольного поля,— сказал генерал-лейтенант,— хотя нам едва ли было бы приятно слушать вопли болельщиков во время вскрытия захоронений.

— И болельщикам вряд ли приятно смотреть на разрытые могилы,— сказал генерал.

— Как раз наоборот,— сказал штатский.— Они получили бы от этого большое удовольствие.

— Может, и получили бы,— сказал генерал-лейтенант.— И все же я не дал бы руку на отсечение, что это именно так.

Генерал посмотрел на его единственную руку, в которой он держал трубку, и на пустой рукав кителя, засунутый в левый карман. Наверняка отнята выше локтя, подумал он.

— Я не понимаю, как это можно было строить стадион на могилах! — сказал священник.— Это запрещено международным правом. Вы должны были протестовать.

— Мы протестовали,— сказал генерал-лейтенант,— но оказалось, что наших солдат хоронили не они, а наши собственные войска и к тому же хоронили ночью; никто об этом не знал.

— Я не верю, что такое возможно,— сказал штатский.

— Я тоже сначала не верил, но не могу дать руку на отсечение, что это ложь,— сказал генерал-лейтенант.

Взгляд генерала снова упал на его пустой рукав.

— С нами ничего подобного не случалось,— сказал он.

— Где вы сейчас ищете? — спросил штатский.

Генерал назвал место.

— Нам придется там пробыть несколько дней,— сказал священник.— Там два кладбища — одно большое, другое поменьше.

— У вас есть точные данные?

— Да.

— А у нас списки составлены на основании устных показаний.

— Можно сказать, ищем в тумане,— добавил штатский.

— Вам, должно быть, трудно.

— Чрезвычайно,— сказал генерал-лейтенант.— Наверняка мы найдем всего несколько сот солдат, да и то личность большинства из них установить не сможем.

— Да, это очень трудно установить личность, когда нет точных данных.

— Вам, конечно, известен рост каждого солдата, и есть данные о зубах?

— Да,— сказал священник.

— Кроме того, у всех ваших солдат был, насколько мне известно, специальный медальон.

— Верно. Это сильно облегчает нам работу, ведь с медальоном ничего не может случиться.

— А в наших списках не у всех отмечен рост, это очень мешает.

— Зато нам часто помогает пряжка от ремня,— сказал штатский.

В холл вошли два молодых человека и опустились в кресла возле больших стеклянных дверей, ведущих в сад, за которым виднелась река.

— Какой дезинфектант вы используете? — спросил штатский.

—«Универсальный-62».

— Хороший дезинфектант.

— Самый лучший — это земля.

— Верно, хотя бывают случаи, когда и земля подводит.

— Вам случалось находить неразложившиеся трупы?

— Конечно.

— И нам тоже.

— Они представляют большую опасность.

— Опасность заражения всегда есть. Иногда микробы много лет сохраняют жизнеспособность и под воздействием воздуха неожиданно активизируются.

— У вас не было несчастных случаев?

— Пока нет.

— У нас тоже.

— Тем не менее нужно быть осторожными.

— Насколько я заметил, рабочие у нас опытные.

— У нас тоже.

— Не хотите выпить кофе? — предложил генерал-лейтенант.

— Я — нет, благодарю вас,— сказал священник.— Я пойду спать.

— И я пойду наверх,— сказал мэр.— Мне еще нужно написать письмо.

Священник и мэр пожелали спокойной ночи генералам и поднялись по застеленной красным ковром лестнице. В холле было тихо.

Генерал смотрел на большие стеклянные двери, за которыми теперь простирался мрак.

— Мы устали,— сказал он.

— Скверная местность.

— Очень скверная местность. Раз уж я оказался здесь, то решил попутно изучить вопросы тактики ведения боя в горных районах. Однако пока не очень продвигается. Такая уж местность.

Его собеседник не проявил к этой теме ни малейшего интереса, и генерала это удивило.

— Вот что занятно,— сказал генерал-лейтенант,— на стадион, где мы сейчас копаем, каждый день приходит красивая девушка и ждет, пока у ее жениха закончится тренировка. В дождь она надевает голубой плащ и сидит в уголке под опорами трибуны, молча наблюдая за игроками. Пустой стадион кажется угрюмым и мрачным, бетонные трибуны блестят под дождем, а края футбольного поля совершенно изуродованы зияющими ямами. И только она прекрасна — в своем голубом плаще. Рабочие все копают, а я стою и смотрю на нее. Для меня здесь, в городе, это единственное развлечение.

— Она не испугалась, когда извлекали останки солдат? — спросил генерал.

— Ничуть,— ответил тот.— Она смотрела в другую сторону, туда, где ее жених гонял по полю мяч.

— Странно!

Они довольно долго молчали; курили, развалившись в тяжелых креслах.

— Мы самые лучшие в мире могилокопатели,— сказал, усмехнувшись, генерал.— Где бы ни были спрятаны наши мертвые солдаты, мы их найдем. Они от нас не скроются.

Генерал-лейтенант пристально посмотрел ему в глаза.

— Вы знаете,— сказал он.— Уже много ночей мне снится один и тот же сон.

— Мне тоже снятся кошмары.

— Будто я снова на стадионе, где мы сейчас копаем,— продолжал генерал-лейтенант.— Только он намного больше, а трибуны битком набиты людьми. Среди них и девушка в голубом плаще. И когда мы вскрываем очередную могилу, толпа взрывается бурными овациями, весь стадион встает и они выкрикивают имя убитого. Но я не могу его расслышать, рев толпы похож на раскаты грома, я ничего не могу разобрать; представьте только — мне это снится почти каждую ночь.

— Это все оттого, что вас слишком беспокоит проблема идентификации останков,— сказал генерал.

— Да, да, верно. Это для меня главное.

Генералу вспомнился его собственный сон, чем-то даже похожий. Будто бы он состарился и его назначили сторожем на кладбище, и именно туда, где были братские могилы привезенных им из Албании погибших. Кладбище огромное, просто бескрайнее, и между могилами бродят тысячи людей с телеграммами в руках. Они ищут своих близких, но, похоже, не могут найти их могил. Тогда они начинают угрожать ему — тысячи, много тысяч людей,— его охватывает ужас, и в этот момент священник бьет в колокол, и все они исчезают.

Генерал хотел было рассказать про свой сон, но передумал.

— Впереди у нас тяжелая работа,— сказал он.

— Да,— ответил ему генерал-лейтенант.— У меня такое чувство, что война для нас продолжается.

Они помолчали.

— Вы сталкивались с провокациями? — спросил генерал.

— Нет, не доводилось, за исключением одного случая.

— А что произошло?

— Мальчишки забросали нас камнями.

— Камнями?!

— Да.

— И вы стерпели такое оскорбление?

— Почему вы решили, что мы стерпели?

— Я просто возмущен,— воскликнул генерал.— Это же варварство!

— Все не так просто,— сказал генерал-лейтенант.— Мы вскрыли по ошибке несколько могил албанцев, которые приняли за свои.

— Как же это получилось?

— Идиотский случай. Даже вспоминать не хочется. Выпьем еще кофе.

— Мы до утра не сможем заснуть.

— Велика беда — не будут сниться кошмары.

Генерал кивнул.

— Это верно.

Они заказали кофе.

Глава седьмая

— Это случилось в начале войны,— начал на ломаном английском кафеджи [1]. Он несколько лет работал официантом в Нью-Йорке и говорил с сильным американским акцентом. Генерал попросил, чтобы историю проститутки ему рассказал кто-нибудь из жителей этого затерянного в горах, древнего каменного города. Все сошлись во мнении, что лучше всех об этом может рассказать кафеджи, хотя он и заикается, и по-английски говорит не очень хорошо.

На имя проститутки они наткнулись утром на военном кладбище, на городской окраине. Она была единственной женщиной среди найденных до сих пор погибших, и генерал захотел услышать ее историю. Может быть, он прошел бы равнодушно мимо ее могилы, если бы ему не бросилась в глаза мраморная плита с обычной надписью: «Пала за Родину».

Генерал еще издали заметил белую плиту. Она резко выделялась среди сгнивших и покосившихся крестов и ржавых касок, лежавших на могилах.

— Мраморная плита,— сказал генерал.— Какой-нибудь старший офицер? Может быть, полковник?

Они подошли к могиле и прочли высеченную надпись. На плите были написаны имя, фамилия и место рождения какой-то женщины. Генерал никому не сказал, что родом она из его города.

— Я одним из первых услышал эту новость,— сказал кафеджи.— Не то чтобы я уж очень интересовался подобными вещами, просто я работаю в кофейне и всегда раньше других узнаю о любом событии в городе. Так случилось и в тот день. В кофейне было полно народу, когда разнеслась эта весть, неизвестно даже, кто ее принес. Одни говорили, что солдат, направлявшийся на греческий фронт,— ночь он провел в городской гостинице и напился там до бесчувствия. Другие — что Ляме Спири, он всегда только о таких вещах и думал. Мы были так удивлены и так потрясены этим известием, что пьяный ли солдат его принес или этот бродяга Ляме Спири, для нас уже не имело никакого значения.

Вообще-то нас трудно было чем-либо удивить, время было военное. Узнавали мы теперь самые невероятные вещи. Когда мы в первый раз увидели в нашем городе пушки и зенитки с длинными стволами, которые проезжали по мостовым с ужасным грохотом, мы подумали: дома от этого грохота наверняка рухнут. А потом мы видели воздушный бой прямо над нашими головами; и чего только мы после этого не видели!

[1] Владелец кофейни.

Поговаривали, что какой-то крестьянин встретил в горном ущелье старого Бабай Али[1] с посохом в руке, и тот предсказывал всякие ужасы. И петушиные лопатки предсказывали только войну и кровь. Во время гадания они краснели, и люди, мрачнея, ждали еще больших бед.

А одно время только и было разговоров что о сбитом во время налета английском летчике. Я собственными глазами видел руку пилота — единственное, что от него осталось. Ее показывали народу на площади перед муниципалитетом вместе с обгоревшим куском комбинезона. Рука была похожа на желтую деревяшку, а на среднем пальце блестело кольцо — его еще не успели снять. Самолет, как я уже говорил, был сбит из зенитки, когда уже улетал, отбомбившись над городом. Одна из бомб попала в городскую тэке[2], и все говорили, что пилота настигла божья кара.

Так что мы действительно всякого наслышались и навидались, но слух о том, что у нас откроют публичный дом, потряс всех. Мы ждали чего угодно, но только не этого. Большинство даже и не поверили сначала. Город наш очень старый, помнит разные времена и обычаи, но к такому он не был готов. Это же просто позор! Древний город, проживший с честью всю свою жизнь,— и вдруг такое?! Все были совершенно растеряны. Что-то неведомое, страшное врывалось в нашу жизнь, будто мало нам было оккупации, казарм с чужими солдатами, бомбежек, голода. Мы не понимали, что это тоже часть войны, как бомбежки, казармы и голод.

На следующий день после того, как разнесся слух, делегация стариков направилась в муниципалитет, и той же ночью другая группа собралась в кофейне, чтобы составить письмо наместнику фашистского диктатора в Тиране. Они просидели очень долго, вон за тем самым столом, писали что-то, зачеркивали, снова писали, а все остальные, столпившись вокруг, заказывали кофе, курили, уходили по своим делам, снова возвращались и спрашивали, как продвигается письмо. Это непростое дело — написать такое письмо. У многих жены уже заволновались и посылали ко мне детей посмотреть, не перепились ли мужчины, и я помню, как заспанные детишки смущенно заглядывали в большие окна и убегали домой, ежась от ночной сырости.

Никогда я еще не закрывал кофейню так поздно. В конце концов письмо было написано, и кто-то его прочитал вслух. Я плохо помню, что именно было в этом письме. Знаю только, что перечислялось множество причин, по которым уважаемые граждане города просили наместника диктатора отменить решение об открытии публичного дома, дабы спасти честь нашего древнего города, настолько древнего, что его история терялась в глубине веков, города с такими прекрасными традициями.

На следующий день письмо было отправлено.

Надо сказать, нашлись люди, которые выступали против письма и вообще против каких бы то ни было писем и прошений оккупантам. Но мы их не послушались, надеялись, что письмо поможет. Ведь тогда, в начале войны, мы многого не понимали, многое видели в искаженном свете.

Нашу просьбу не приняли во внимание. Через несколько дней пришла телеграмма: «Публичный дом будет открыт поскольку имеет стратегический характер точка». Старик телеграфист, прочитавший телеграмму первым, сначала вообще ничего не понял. Некоторые уверяли, что это какой-то секретный шифр. Кто-то даже сказал, что речь идет об открытии второго фронта и что военные всегда мудрено выражаются. Но те, кто по ночам слушал радио, прекрасно знали, что значит выражение «стратегический характер». Скоро все

[1] Персонаж албанского фольклора.

[2] Мечеть мусульманской секты бекташей.

выяснилось: будет открыт действительно публичный дом, а не второй фронт.

Через несколько дней мы узнали подробности. Публичный дом откроют оккупационные войска, а *их* привезут из-за границы.

В те дни в городе ни о чем другом не говорили. Может быть, дома у людей и были какие-нибудь заботы, но в кофейне только об этом и говорили. Все хотели знать, каким будет это заведение и какими будут *они*. Те немногие из мужчин, которые ездили на заработки в другие страны, удовлетворяли любопытство остальных и за чашечкой кофе чего только не рассказывали. Каждый старался показать, что уж он-то человек бывалый и чего только не насмотрелся на своем веку. Они рассказывали о японских гейшах и португальских проститутках так, будто и страны эти знали как свои пять пальцев и были лично знакомы чуть ли не со всеми шлюхами в мире.

Слушатели осуждающе покачивали головами, они беспокоились за своих сыновей, особенно те, у кого сыновья были уже взрослые. А дома их жены наверняка волновались еще сильнее, и трудно сказать, за кого они больше волновались — за сыновей или мужей. Старики видели в происходящем мрачное предзнаменование и с тяжелым сердцем ждали от всевышнего еще более суровых испытаний. Впрочем, наверняка кто-то и радовался, люди-то всякие бывают, но никто не осмелился открыто показать свою радость, да и было таких мало. Конечно, некоторые мужчины не ладили со своими женами, были и неженатые парни, которые целыми днями читали романы про любовь, а вечерами не знали, чем заняться. Кто-то пытался утешить себя и других тем, что хоть теперь оккупанты не будут приставать к нашим девушкам, потому что у них будут свои собственные. Но это было слабым утешением.

Публичный дом еще не открылся, а уже начались всякие беды. Двоих арестовали за разговоры о том, что это делается для навязывания нам чужого образа жизни и для разложения Албании и что все это входит в обширный план денационализации страны и распространения в ней фашистской идеологии. В результате люди стали разговаривать шепотом, и только старики и старухи без всякой опаски громко ругались, когда речь заходила о будущем публичном доме.

Наконец прибыли *они*. Их привезли на зеленой военной машине. Как сейчас помню. Солнце только что зашло, и в кофейне было полно народу. Сначала я не понял, почему все вдруг вскочили из-за столов и кинулись к окнам, выходящим на муниципальную площадь. Кое-кто даже выбежал на улицу, а остальные растерянно спрашивали друг у друга, что происходит. Большинство столов опустело, впервые у меня столько людей ушло, не заплатив за кофе. Выскочил на улицу и я, не утерпел. И из другой кофейни, напротив, и из клуба охотников — отовсюду выходили люди, толпились на тротуаре. Машина подкатила к единственному в нашем городе памятнику, и *они* вылезли из машины и с удивлением стали оглядываться. Их было шестеро, усталых, вымотанных дальней дорогой. На *них* со всех сторон таращились, как на диковинных животных, а *они* казались совершенно спокойными и с улыбками перебрасывались какими-то фразами. Может быть, они изумлялись, как это они вдруг очутились в таком удивительном каменном городе, в сумерках наш город действительно кажется сказочным — крепостные башни и молчаливые, вздымающиеся ввысь минареты, шпили которых сверкают под лучами заходящего солнца.

Тем временем на площади уже было полно народу, мальчишки выкрикивали *им* какие-то иностранные слова, которым они научились у солдат. Взрослые отгоняли мальчишек и смотрели на них молча, и нам трудно было понять, что творилось с нами. Мы только поняли, что все эти рассказы о шлюхах из Токио или Гонолулу не име-

ли никакого отношения к ним, здесь было что-то совершенно другое, гораздо более сложное и печальное.

Их небольшая группа, сопровождаемая несколькими военными и служащим муниципалитета и преследуемая мальчишками, словно покорное стадо, направилась к городской гостинице. Там и провели первую ночь диковинные гостьи нашего города.

На следующий день *их* разместили в двухэтажном доме с садом, в самом центре города. У ворот вывесили небольшую табличку с расписанием — для гражданских и для военных. Эту табличку мы все только потом разглядели, потому что в первые дни улица опустела, словно во время чумы. Никто по ней не ходил. И даже позже, когда мы уже начали по ней ходить, эта улица казалась нам самой безобразной, самой кривой в городе, она стала для нас чужой, опозоренной навечно, словно падшая женщина. Затем один сотрудник милиции[1] принялся выслеживать тех, кто намеренно обходил эту улицу, и постепенно там снова стали ходить, сначала мальчишки, а затем и все остальные, потому что у людей и так дел хватает, чтобы еще кружить по переулкам. Но несколько стариков и старух заупрямились и никогда больше на этой улице не появлялись.

Для всех нас наступили мрачные и беспокойные дни. В нашем городе никогда не было женщин легкого поведения, а семейные скандалы на почве ревности или измены случались крайне редко. И вот теперь — такое заведение в самом центре города. Невозможно описать, сколь сильное беспокойство охватило всех теперь, когда публичный дом и в самом деле открыли. Мужчины теперь расходились по домам рано, и кофейня быстро пустела. Женщины просто места себе не находили от подозрений, если мужья или сыновья где-то задерживались. *Они* были как бельмо на глазу у всего города.

Понятно, что сначала туда никто не ходил, и наверняка *они* были очень удивлены и обсуждали между собой, что это за странный народ, который не интересуется женщинами. А может быть, они и сами поняли, что в этой стране они чужие, что они — всего лишь часть оккупационных войск, враждебных всем нам.

Первым, кто посетил публичный дом, был этот охламон Ляме Спири. Он зашел туда однажды после обеда, и известие об этом мгновенно облетело весь город, так что, когда он вышел оттуда, из всех окон на него уже таращились, словно на воскресшего Христа. Ляме Спири гордо шествовал по улице, нимало не смущаясь. Уходя, он даже помахал на прощанье рукой одной из *них*, сидевшей у окна. И как раз в этот момент какая-то старуха выплеснула на него из своего окна ведро воды, но — промахнулась. А проститутки вышли на балкон и удивленно наблюдали, посмеиваясь, за множеством людей, собравшихся у окон в домах напротив. Старухи аж в лице переменились, они проклинали *их*, отчаянно жестикулируя. (У нас в городе обычно трясут раскрытой пятерней в сторону того, кого проклинают.) Но *они*, похоже, ничего не понимали и смеялись.

Вот как оно сначала было. А потом и к этому все привыкли. Были и такие, что тайком посещали, выбрав вечер потемней, этот самый дом, доставивший нам столько беспокойства. Прошло еще какое-то время, и *они* вошли, если можно так выразиться, в нашу жизнь.

Часто *они* выходили на балкон, курили, рассеянно глядя на возвышающиеся со всех сторон горы, и наверняка вспоминали свою далекую родину. Они подолгу сидели так в полумраке, пока муэдзин с минарета монотонно тянул призыв к вечерней молитве, а горожане возвращались с базара домой.

К *ним* уже не испытывали прежней ненависти. Некоторые *их* даже жалели. Говорили, что *они* такие же мобилизованные, как и остальные солдаты, и содержат *их* на средства армии. Время от вре-

[1] Коллаборационистские вооруженные формирования в период оккупации.

мени по *их* вине случались разные несчастья. Арестовали, например, одного гимназиста за то, что тот употребил выражение «милитаризованные шлюхи». Но это было в порядке вещей.

Казалось, в городе начали привыкать к *их* присутствию. Теперь уже не закипали страсти, если кто-нибудь встречал их случайно в лавке или по воскресеньям в церкви, только старухи молились день и ночь, чтобы на этот проклятый дом упала «англицкая бомба».

Страна была оккупирована, многое нам приходилось терпеть, в том числе и это.

Но ведь и *им* было несладко!

Не так уж далеко от нас проходил итало-греческий фронт, и по ночам до нас доносился грохот пушек. В нашем городе останавливались и свежие войска, направлявшиеся на фронт, и возвращавшиеся с фронта.

Часто на воротах публичного дома висело объявление: «Завтра гражданские не обслуживаются», и все знали, что на следующий день на фронте будет передвижение войск. Объявление вешали совершенно напрасно, потому что ни один гражданский не входил в этот дом днем, тем более если там были солдаты, один Ляме Спири приходил в любое время, когда ему только вздумается.

Как-то мы пошли туда, чтобы посмотреть на вернувшихся с передовой солдат, выстроившихся в длинную очередь перед воротами публичного дома, немытых и небритых. Они не нарушали порядка в очереди, и наверняка их легче было выбить из траншей, чем из этой неровной, казавшейся бесконечной, печальной очереди. Они стояли так даже под дождем, отпускали похабные шуточки, вычесывали вшей, грязно ругались и ссорились, спорили, сколько минут каждый проведет там, внутри. Кто знает, каково приходилось *им*, но *они* должны были подчиняться, ведь *они* состояли на службе в армии.

Обычно к вечеру очередь заметно уменьшалась, а когда наконец уходил последний солдат, ворота закрывались и все затихало. На следующий день, после такой утомительной работы, *они* вызывали жалость своим изможденным видом — желто-серые лица, растерянные глаза. Казалось, всю окопную грязь, тоску, поражения солдаты оставляли у несчастных женщин и шли дальше уже налегке, довольные, сбросив тяжесть с плеч, а *они* оставались здесь, в нашем городе вблизи фронта и ожидали следующую партию солдат, чтобы до конца испить горький яд отступления.

Может, так оно и продолжалось бы и не случилось бы ничего особенного, потому что жизнь есть жизнь, в конце концов. Может быть, *они* прожили бы всю войну в нашем городе, засыпая после скучного дня под заунывный голос муэдзина, принимая и провожая из бесконечной очереди солдат, бог знает откуда заброшенных сюда судьбой. Может быть, все именно так и было бы, если бы в один прекрасный день сын Рамиза Курти не отказался от невесты.

Город у нас маленький, и подобные события — нечто из ряда вон выходящее. Тем более что вряд ли можно найти такой город или село, где было бы меньше разводов, чем у нас. Из-за разрыва сына Рамиза с невестой произошел скандал. Много ночей подряд в доме Рамиза Курти собиралась вся его родня, старики обсуждали случившееся и угрозами пытались заставить парня вернуться к невесте. Но тот уперся и никого не хотел слушать. Самое скверное было то, что он даже и не пытался как-либо объяснить свой поступок, и родственники понапрасну выпытывали у него причину упорства. Он все больше отмалчивался, но день ото дня худел и бледнел, словно на него напустили порчу.

Между тем семья девушки требовала объяснений. Ее родственники, а их было не меньше, чем у жениха, собрались на совет и дважды посылали гонцов к Рамизу Курти, чтобы узнать причину разрыва. Но выяснить ничего не удалось, и посланцы ушли, холодно

бросив на прощание, что не позволят марать свою честь. Это значило, что после слов заговорит оружие, и действительно, оружие заговорило, но не так, как все ожидали.

Именно в те дни, когда обе семьи завершали переговоры и стало ясно, что их старая дружба, рожденная при помолвке мальчика и девочки, когда те были еще в колыбели, вот-вот перейдет во вражду, во вражду долгую и грозную, все узнали подлинную причину разрыва. Причину простую и постыдную: сын Рамиза Курти ходил в публичный дом. Ходил он всегда к одной и той же.

Позднее мы часто ломали голову и пытались понять, что за отношения были у него с этой иностранкой. Может, он ее на самом деле любил? А может, и она его любила? Одному богу известно, что было между ними. Правду так никто и не узнал.

В тот день, когда об этом стало известно, сразу после захода солнца Рамиз Курти, желтый, как воск, без шапки, с палкой в руках, спустился из верхнего квартала и направился к публичному дому. Глаза его словно остекленели, он несомненно был в невменяемом состоянии. Вы только представьте, как, должно быть, удивились *они*, когда увидели бледного старика, который распахнул палкой железные ворота публичного дома и вошел внутрь. *Они* сидели на веранде, и, когда старик стал подниматься по ступенькам, одна из них захихикала, но смех почему-то застыл у нее на губах, и на веранде воцарилось гробовое молчание. Старик ткнул палкой в ту, к которой ходил его сын (говорят, он узнал ее по волосам), и она покорно направилась в свою комнату, подумав, что он — обычный посетитель. Старик пошел за ней. Затем, собираясь уже раздеваться, молодая женщина подняла голову и увидела его застывшее, словно маска, лицо. Она закричала от ужаса. Может, старик и не выстрелил бы из своего револьвера, если бы она не закричала. Крик словно вывел его из оцепенения. Старик трижды выстрелил, бросил револьвер и, шатаясь, как пьяный, вышел под визг женщин.

Рамиза Курти повесили через три дня. Сын его скрылся.

Это случилось в октябре, с гор днем и ночью дул ледяной ветер. Тем не менее убитую хоронили с почестями — музыка, венки, пальба из ружей. Фашисты согнали всех, кто был в это время на улице и в кофейне, и заставили сопровождать процессию до кладбища. Мы шли молча, и ветер обжигал наши лица. *Ее* повезли на военной машине, в красивом красном гробу. Оркестр играл похоронный марш, и ее подруги плакали.

Никогда еще наш город не провожал гроб с иностранкой, тем более с женщиной подобного сорта. Мы словно онемели, окаменели. Я смотрел на плывущие высоко в небе облака и вновь и вновь размышлял о ее судьбе. Кто знает, какие беды заставили несчастную забраться так далеко, вслед за солдатами в касках, бравшими одну линию обороны за другой, пока она не попала в наш город, где ей суждено было погибнуть, принеся и другим множество несчастий. Может быть, и она собиралась как-то устроить свою жизнь, потому что каждый надеется на лучшее в своей жизни, как бы тяжело она ни складывалась.

Ее похоронили на военном кладбище, среди «братских могил», как их называют, и на могилу положили ту мраморную плиту, что вы видели утром. На ней выбили обычные слова: «Пала за Родину», точно такие же, как и у всех солдат.

Через несколько дней пришел приказ, и публичный дом закрыли. Как сейчас, помню то холодное утро, когда *они* с чемоданами в руках стояли на площади и ждали машину, которая должна была *их* отвезти. Прохожие останавливались на тротуаре и смотрели на *них*. *Они* стояли, тесно прижавшись друг к другу, растерянные и жалкие.

Когда *они* забрались в кузов и машина тронулась, кое-кто помахал им на прощание рукой, так, вроде бы нехотя. И они тоже помахали, но не так, как обычно машут руками подобные женщины, совсем по-другому, устало, с отчаянием. Мы смотрели им вслед, пока они не скрылись вдали, но нам не стало легче оттого, что *они* уехали. Ведь мы всегда думали: вот уедут *они*, и это будет такой праздник для нас, мы такой пир закатим. Но все было совсем по-другому. Наша жизнь оттого, что *они* уехали, не стала лучше. Да и могла ли она быть лучше — повсюду шла война, и у нас хозяйничали фашисты.

Кто знает, куда *их* отправили, наверняка в какой-нибудь другой прифронтовой городок, где останавливаются на ночь войска, идущие на передовую, и войска, возвращающиеся оттуда. И наверняка их жизнь снова наполнилась бесконечными очередями усталых и грязных солдат, оставляющих им всю скорбь войны.

Глава восьмая

Генерал стоял у входа в палатку и смотрел на серый горизонт. Туман клочьями плыл над горными склонами. Иногда он опускался так низко, что касался верха палатки. Генерал поднял воротник шинели; у него за спиной палатка гудела, сотрясаясь от ужаса перед ледяным ветром.

В нескольких шагах от нее стоял автомобиль, а дальше, за палаткой рабочих,— грузовик. У кладбища не было четких границ: ручьи, как змеи, извивались вокруг него, вымывали землю и уносили ее с собой вниз, в долину.

Доносились ритмичные удары кирки о твердую землю. Время от времени все собирались вокруг одной из ям, и генерал знал — найден еще один солдат. Он знал, что сейчас они дезинфицируют кости и эксперт, склонившись над ними, измеряет длину скелета, а священник отмечает красным крестиком имя солдата в списке или, если длина не соответствует помеченной в списке, ставит знак вопроса.

Генерал в мельчайших подробностях представлял себе все происходящее там, среди этих людей, начиная с застывшего выражения лица священника и кончая действиями эксперта, вертевшего в руках металлический метр. Значит, они измеряют еще раз, подумал генерал, увидев, что никто не расходится. Значит, в списках будет еще один вопросительный знак.

Кто-то из рабочих побежал ко второй палатке и вернулся с красивым голубым мешком производства фирмы «Олимпия», изготовленным по специальному заказу. Эксперт, зажав в длинных пальцах пинцет, опускал медальон в металлическую коробку.

Однажды нас проверили — у всех ли целы медальоны. Кто-то донес, что он выкинул свой медальон. Где у тебя медальон? — спросил его лейтенант, когда он расстегнул гимнастерку. Не знаю, ответил он, потерялся. Потерялся? А мне сказали, что ты сам его выкинул. Сволочь. Сдохнешь, как собака, и никто даже твой труп не опознает. А отвечать за все нам. Марш в карцер, заорал он. Через два дня ему выдали новый медальон.

Если все расходились, это означало, что останки уже покоятся в нейлоновом мешке и сверху наклеена этикетка с именем солдата и порядковым номером по списку. Тогда один из рабочих возвращался в палатку с мешком в руках, а издали снова доносились ритмичные удары кирки по влажной земле.

Кто он, этот солдат, которого сейчас нашли? — спрашивал себя генерал, наблюдая, как люди снова собираются в центре кладбища. И каждый раз ему невольно вспоминалось множество лиц — молчаливых, мрачных, там далеко, в его доме, в гостиной в те дождливые

дни после его возвращения с курорта. Все посетители рассказывали о своих родственниках, некоторые приносили с собой пачки фотографий и писем, у других не было ничего, кроме короткой телеграммы военного министерства.

Генерал плотнее запахнул шинель и посмотрел на северо-восток. Памятник стоит там, сказал он себе, да, как раз там, где пересекаются две автострады и журчит поток воды, падающей с запруды старой заброшенной мельницы. При ясной погоде памятник можно было бы увидеть отсюда. А сейчас он скрыт в тумане.

Когда туман начал рассеиваться, ему показалось, что памятник вот-вот откроется, высокий, очень высокий, облицованный белым камнем, а за ним — стены разрушенного дома, развалины, груды черных камней и дальше, на околице села, сгоревшая, заброшенная мельница с журчащим ручьем — только его нельзя было сжечь и уничтожить. На фронтоне памятника было высечено большими буквами: «Здесь прошел недоброй памяти «Голубой батальон», который сжег и утопил в крови это село, убил женщин и детей, а мужчин повесил на телеграфных столбах. Народ воздвиг этот памятник, чтобы увековечить память о погибших». Новое село отстроили ниже, и только телеграфные столбы, старые, снизу вымазанные смолой, некоторые — с дополнительными опорами, те самые столбы, на которых полковник собственноручно, как рассказывали, вешал людей, стояли на прежних местах, одни выше, другие ниже,— местность была пересеченная, и провода уходили в бесконечность.

Но и телеграфные столбы покрывала белая пелена тумана, и в той стороне ничего не было видно. Казалось, на памятник, на телеграфные столбы, на старую мельницу и на полуразрушенные своды кем-то наброшено белое полотно, словно скрывающее памятник перед торжественным открытием.

— Вы простудитесь,— сказал священник, входя в палатку.— Воздух очень сырой, и ветер сильный.

Генерал зашел внутрь. Пора было обедать.

— Ну как дела?

— Хорошо,— сказал священник. — Если завтра придут еще наемные из заречного села, то думаю, через четыре дня мы отправимся дальше.

— Придут, я думаю, все, кроме женщин и стариков, которые считают грехом раскапывать могилы.

— Возможно, и женщины и старики тоже придут. Похоже, такая работа приносит им тайное удовлетворение.

— Не думаю,— сказал генерал. — Ну кто может испытывать удовольствие, раскапывая могилы?

— Для них это своего рода запоздалая месть.

Генерал пожал плечами.

— Кроме того, это выгодная работа,— продолжал священник,— мы хорошо платим. На деньги, заработанные у нас за несколько дней, они могут купить небольшой радиоприемник. Они очень любят слушать радио.

— Я это заметил,— сказал генерал. — Они всегда включают его на полную мощность. Кстати, было бы неплохо, если бы и мы взяли с собой транзистор.

— Вот это мы забыли.

— До чего же опостылела палатка.

— С каждым днем становится все холоднее. Надеюсь, мы в последний раз ставим палатку в этой зоне.

— Нет, есть еще одно место, высоко в горах, возле стратегического шоссе, теперь заброшенного.

— Да?

— Там похоронены солдаты, охранявшие дорогу или мост, не помню точно.

— Тогда их там, наверное, много,— сказал священник.

— Да, их много, я подумываю даже, не оставить ли их на следующее лето. Кто же суется в горы в это время!

Генерал достал термосы и сухой паек. После обеда генерал ляжет на раскладушку, а священник открыл книгу и стал читать.

Что же, черт побери, у него было со вдовой полковника? — спросил себя генерал.

Он подумал: если что и было, то давным-давно, а вовсе не в августе этого года, в один из тех чудесных вечеров, когда солнце краснеет, как огромный усталый глаз, и над горизонтом начинают дрожать первые вечерние тени, легкие и неясные, а по набережной гуляет толпа. Они сидели на террасе большого отеля и смотрели на заходящее солнце, на чаек и лодки, скользящие по морю. Они каждый день наблюдали заход солнца, и когда солнце тонуло в море и вспыхивали огромные рекламы отеля и дансингов по всему берегу, они вставали и шли гулять по берегу вместе с детьми или садились на скамейки у самой воды.

Днем на террасе было много народа, бутылки, пронизанные лучами солнца, сверкали и переливались пурпурным цветом. Трудно вспомнить, о чем, собственно, они говорили. Это были те разговоры, что начинаются с утра и продолжаются до вечера и после которых не остается ничего, кроме пустых бутылок на столе, длинногорлых бутылок из-под фруктового сока с разными яркими этикетками.

Однако он почувствовал, что за соседним столиком его кто-то упорно разглядывает. Он медленно повернулся и впервые увидел ее глаза, затем глаза какой-то престарелой дамы и еще чьи-то. Они, кажется, что-то сказали в его адрес и уставились на него в упор, а женщина улыбнулась.

Мужчина быстро поднялся и подошел к ним.

— Господин генерал!

Так он познакомился с семьей полковника. Они, собственно, для того и пришли на пляж. И молодая красивая вдова, и старуха мать, и два кузена.

— Мы узнали, что именно вам поручили эту святую и очень деликатную миссию,— сказала старая дама,— и мы счастливы, что познакомились с вами.

— Благодарю вас.

— Мы искали его всю войну,— продолжала старуха. — Трижды мы посылали людей, чтобы его найти, и трижды безрезультатно. В четвертый раз нас обманули, взяли деньги и скрылись. Когда мы услышали, что туда поедете вы, у нас снова затеплилась надежда. О, мы очень надеемся, сын мой, мы очень на вас надеемся.

— Я постараюсь. Я сделаю все возможное.

— Он был такой молодой, такой замечательный,— сказала старуха, и глаза ее наполнились слезами. — Все говорили, что он стал бы гением в военной области. Это же повторил и военный министр, когда пришел к нам с соболезнованиями. Он сказал, что это большая потеря, очень тяжелая для всех потеря. Но он был моим сыном, и больше всех горевала я, прости, Бети. Ты тоже, конечно, дорогая. Ты сохранила ему верность, ты оказалась достойной его. Ты помнишь, когда он приехал из Албании в двухнедельный отпуск? Всего на две недели, и свадьбу вашу справили второпях. У него было такое важное задание, что он не мог уезжать больше чем на две недели из этой проклятой страны. Ты помнишь, Бети?

— Да, мама, помню.

— Ты помнишь, как ты стояла у лестницы и плакала, пока он надевал мундир, а я пыталась успокоить тебя, да и себя саму тоже, и вдруг позвонили из военного министерства? Самолет вылетал через полчаса, и он сбежал по ступенькам, поцеловал тебя и меня и исчез.

Ох, простите, простите, я разболталась. Я сентиментальна,— старуха смахнула слезу,— и всегда была такой.

В последующие дни они еще больше сдружились, и семья полковника присоединилась к их компании. Они ходили вместе играть в теннис, купаться, кататься на лодках, по вечерам вместе танцевали в дансингах на берегу моря. Жене генерала не понравилось новое знакомство, но она не подала виду. Ей не нравилось, что он часто прогуливался с Бети по раскаленному песку, и, конечно, она оценила ее стройную фигуру, и золотистые волосы, и все остальное тоже.

— Интересно, о чем ты так долго с ней разговариваешь? — спросила его как-то жена.

— О полковнике,— ответил он. — Только о нем.

— Когда старуха целыми днями только о нем и говорит, это я еще могу понять,— сказала ему жена,— но чтобы она...

— Нехорошо так говорить. У них одна забота, они просят меня оказать им услугу. Нужно отнестись к этому по-человечески.

— Знаю я, что за забота у вдовы полковника,— сказала жена. — Весь курорт уже в курсе того, как она предана костям своего мужа. Она повсюду только об этом и говорит. И этой чрезмерной страсти к погибшему двадцать лет назад мужу, с которым она жила всего две недели, есть одно простое объяснение.

— Какое? — спросил он.

— Она дурит голову своей свекрови. Бедная старуха абсолютно уверена, что невестка верна ее сыну, и, естественно, радуется этому.

— Ну и что из того? — генерал делал вид, что не понимает.

— Как что из того? Старуха графиня невероятно богата, а наследников у нее нет. Она скоро помрет и должна написать завещание.

— Я не хочу слышать ни о чем подобном,— перебил он ее. — Меня не интересуют всякие сплетни. Я должен привезти останки полковника. Это мой долг.

— Черт бы побрал этот твой долг,— сказала жена.

Бети вдруг скрылась дня на два, а когда вернулась, он заметил, что взгляд ее стал холодным и усталым.

— Где вы пропадали? — спросил он ее, встретив возле отеля. Она была в купальнике и в темных очках от солнца, закрывающих пол-лица. Он увидел, что она покраснела.

Бети стала рассказывать, что свекровь непременно хотела сама попросить священника о своем сыне, и она в конце концов нашла его по адресу, но старуха стала беспокоиться и...

Он ее не слушал. Словно оцепенев, он смотрел на ее почти обнаженное тело и в первый раз спросил себя: что же у них было со священником?

Затем пролетело еще много солнечных дней, и старая мать полковника по-прежнему рассказывала о добродетелях своего сына, который был надеждой всего военного министерства, о древности своего рода, а Бети время от времени исчезала с курорта и, когда возвращалась, выглядела усталой и отрешенной, и он опять задавал себе все тот же вопрос.

Они опять всей компанией сидели днем на большой террасе, пили прохладительные напитки, а киноактриса, их недавняя знакомая, часто говорила ему:

— Вы, господин генерал,— самый таинственный человек из всех отдыхающих на этом курорте. Стоит мне только представить, что после этих чудесных дней вы поедете туда, в Албанию, собирать убитых, у меня от ужаса мурашки по спине пробегают. Вы мне представляетесь героем баллады одного немецкого поэта, мы проходили его в школе, я, правда, не помню его имени. Вы точь-в-точь как этот

герой, когда он встает из могилы и скачет при лунном свете. Иногда мне чудится, что ночью вы постучите мне в окно. О, это ужасно!

И он смеялся, думая о своем, остальные восхищались заходом солнца, и старая мать полковника повторяла одно и то же:

— Как он любил все прекрасное в этом мире! — и вытирала платком слезы.

А Бети была все такой же прекрасной и загадочной, как и раньше, а небо — таким же голубым, и только на горизонте время от времени стали появляться тучи, черные дождевые тучи, направлявшиеся на восток, в сторону Албании...

Генерал встал. Дождя не было слышно, и, вероятно, они снова работали. Он вышел из палатки. Сырой утренний туман все так же скрывал контуры земли. Он посмотрел на северо-восток, туда, где должен был стоять памятник и старые телеграфные столбы с исчезающими в бесконечности пространства проводами.

Глава девятая

Священник зажег керосиновую лампу и повесил ее над столиком. Их тени задрожали и стали двоиться на потолке палатки.

— Холодно,— сказал генерал. — Проклятая сырость до костей пронизывает.

Священник принялся вскрывать консервную банку.

— Нужно потерпеть до завтра,— сказал он.

— Скорей бы уж рассвело, и мы отправились бы дальше. Мы заросли грязью и одичали.

— Было бы хоть потеплее.

— Такую работу надо делать летом,— сказал генерал. — А пока мы вели переговоры, начались дожди.

— Погода действительно неподходящая, но мы ждали, пока закончатся правительственные переговоры.

— Чертовы переговоры,— сказал генерал.

Он развернул на столе подробный топографический план кладбища и что-то пометил на нем.

— Где сейчас, интересно, те двое?

— О ком это вы?

— О генерал-лейтенанте с мэром.

— Трудно сказать,— ответил священник.

— Может, они все еще раскапывают тот стадион.

— Тяжело им,— сказал священник. — У них какая-то неразбериха.

— А у нас кругом полный порядок. Мы лучшие в мире могилокопатели.

Священник промолчал.

— Только мы по уши в грязи,— добавил генерал.

Снаружи, из ночной тьмы, донеслась песня. Сначала голоса звучали приглушенно, затем песня все больше и больше набирала силу, и вот она уже взлетела и разбилась о палатку, как разбивается дождь или ветер в такую осеннюю ночь, и генералу показалось, что палатка вздрогнула от удара.

— Это поют рабочие,— сказал он, оторвавшись от карты.

Оба прислушались.

— В некоторых районах есть такой обычай,— сказал священник.— Если трое-четверо мужчин собираются вместе, они всегда поют. Древний албанский обычай.

— К тому же сегодня субботний вечер.

— Кроме того, они сегодня получили деньги и наверняка раздобыли где-нибудь бутылку ракии.

— Я тоже заметил, что они не прочь пропустить иногда по ста-

канчику,— сказал генерал. — Похоже, и их тоска взяла от такой работы! Столько времени вдали от дома!

— А когда выпьют, начинают рассказывать всякие истории,— сказал священник. — Старый рабочий рассказывает о войне.

— Он был партизаном?

— Наверно.

— Да, тогда он обязательно должен вспоминать о войне.

— Конечно,— сказал священник. — И песня для него в такой момент — потребность души. Может ли испытывать бóльшую радость старый боец, чем в тот момент, когда он раскапывает могилы своих бывших врагов? Война как бы продолжается.

Мелодия лилась медленная и протяжная, хор голосов словно укутывал ее со всех сторон теплой мягкой гуной [1], защищая от мрака и ночной сырости. Постепенно хор умолк, теперь звучал только один голос.

— Он,— сказал генерал.— Слышите?

— Да.

— У него неплохой голос. О чем эта песня?

— Старая солдатская песня,— сказал священник.

— Мрачная песня.

— Да.

— Вы можете разобрать слова?

— Конечно. В ней говорится об албанском солдате, погибшем в Африке. Когда Албания была под турками, албанцев посылали на военную службу в самые далекие края.

— Ах, да. Вы мне говорили.

— Если хотите, я переведу вам.

— Будьте любезны.

Священник прислушался.

— Трудно перевести точно, в ней говорится примерно следующее: я умираю, друзья мои, я умираю за мостом Кябэ.

— Понятно, песня о пустыне,— сказал генерал и невольно вспомнил бесконечную ослепительную пустыню, простиравшуюся перед ним, по которой он, еще лейтенант, брел четверть века назад.

— Пожелайте здоровья моей матушке,— продолжал переводить священник,— скажите ей, чтобы она продала черного вола.

Мелодия замирала, казалось, она вот-вот оборвется, затем оживала, поддерживаемая мощным хором,— под напором песни прогибались покатые стенки палатки.

— Если моя мать спросит вас обо мне...

— Ха,— сказал генерал,— интересно, что они скажут матери?

Священник снова вслушался.

— Смысл примерно такой,— продолжал священник,— если моя мать спросит вас обо мне, скажите ей, что твой сын взял в жены трех женщин, то есть в него попали три пули, и что на свадьбу его пришло много родственников и знакомых, то есть ворон и галок, которые начали клевать жениха.

— Какой ужас! — сказал генерал.

— Я же вам говорил!

Мелодия, набирая силу, взмыла ввысь и неожиданно оборвалась.

— Сейчас снова запоют,— сказал священник. — Если уж начали петь, конца этому не будет.

И действительно, в соседней палатке запели снова. Зазвучал один голос — громкий, дрожащий, проникновенный голос старого рабочего, затем к нему присоединился еще один, и, наконец, на плечи песни хор накинул гуну, и песня взметнулась высоко над ночью.

Какое-то время они слушали молча.

---

[1] Длинная бурка с капюшоном.

— А эта? — спросил генерал. — О чем эта песня?

— О прошедшей войне.

— Просто о войне?

— Нет. О том, как погибает коммунист, окруженный нашими войсками.

— Может, это тот, кто бросился на танк, памятники ему мы уже видели в нескольких местах

— Не думаю. Иначе в песне так и было бы сказано.

— Вы помните тот памятник? Ну, тому, что, как тигр, прыгнул на танк и пытался открыть стальной люк?

— Не помню,— сказал священник,— нам попадалось столько памятников.

— А я хорошо помню,— сказал генерал. — Мне сказали, что его застрелили из другого танка, когда он пытался открыть люк.

— Что-то смутно припоминаю.

В соседней палатке затянули новую песню.

— Есть что-то рвущее душу в этих заунывных, протяжных песнях.

— Вот именно — рвущее душу. Примитивные напевы первобытных племен.

— У меня от них мороз по коже. Вернее, они нагоняют на меня ужас.

— У них весь фольклор такой.

— Один черт разберет, какой смысл во всех этих народных песнях,— проговорил генерал. — Можно спалить их землю, но проникнуть в их души никому не дано.

Священник не ответил, они довольно долго молчали. Песня, все такая же заунывная, не смолкала, генералу казалось что она все плотнее обволакивает их.

— Сколько еще они будут петь? — спросил генерал.

— Не знаю,— ответил священник. — Может быть, до утра.

— Послушайте,— попросил генерал,— если они в какой-нибудь из своих песен будут намекать на нас, обязательно скажите мне.

— Хорошо,— пообещал священник и взглянул на часы. — Уже поздно.

— Мне не спится,— сказал генерал. — Давайте выпьем, может, тогда и нам захочется петь,— добавил он со смехом.

— Я не пью.

Генерал мрачно кивнул.

— Самое подходящее время начать пить. Зима. Палатка в горах. Одиночество.

Песня то затихала, то снова взмывала под небеса. Генерал достал из большой сумки бутылку.

— Ничего не поделаешь,— продолжал он,— буду пить один. — Его огромная тень металась по стене палатки, пока он наполнял стакан.

Священник лег спать.

Генерал выпил, встал, разжег примус, поставил на него джезве. Он уже привык сам варить себе кофе. Кофе показался ему горьким.

Он посидел немного, скрестив на груди руки, абсолютно ни о чем не думая, потом вышел из палатки. Накрапывал дождь. Ночь была такая тихая и непроглядно-темная, словно время и пространство исчезли. В соседней палатке на какое-то время все стихло. Может, они решили передохнуть, подумал он. А потом снова запоют.

И в самом деле, немного погодя песня вознеслась над мраком, словно неприступная башня. Голос старого рабочего выделялся из хора. Он поднимался все выше и выше и неожиданно оборвался, затерялся среди других голосов, как искра, упавшая обратно в очаг.

Где-то вдали сверкнула молния, и на мгновение генерал увидел невдалеке белую палатку и рядом с ней — огромный грузовик, который, казалось, вот-вот сползет вниз по крутому склону. Затем все вновь поглотил мрак.

Он слушал песню, протяжную и печальную, и пытался понять, о чем она.

Может быть, они вспоминают своих погибших товарищей, подумал генерал. Один из посетителей тогда, в гостиной, сказал ему, что они часто в своих песнях вспоминали погибших товарищей. Кто знает, о чем думает этот старый рабочий. Раскапывает могилу за могилой и воскрешает одно за другим свои военные воспоминания. Меня он наверняка ненавидит. Я вижу это по его глазам. Мы с ним смертельные враги, но я, со своей стороны, его просто презираю. В конце концов, он всего-навсего подсобный рабочий. Батрак, который шесть дней в неделю раскапывает могилы, а на седьмой поет. Правда, если бы мне взбрело в голову спеть что-нибудь подобное о солдатах, которых я раскапываю, кто знает, какая жуткая это была бы песня!

Они пели еще долго. Песня сменяла песню, а он стоял у входа в палатку и слушал, пока не почувствовал, что коченеет от холода.

Глава десятая

Ночь генерал провел беспокойно.

Утром его разбудили голоса рабочих, которые извлекали из промерзшей земли костыли для растяжек и укладывали мокрую от дождя палатку в кузов грузовика поверх огромных ящиков рядом с лопатами и кирками. Водители прогревали моторы машин.

Священник поднялся раньше и готовил на примусе кофе. Примус уютно гудел. Неяркое голубое пламя слабо освещало лицо священника. Сквозь щель в палатку пробивался бледный утренний свет.

Генерал ощутил вдруг приступ ностальгии.

— Доброе утро,— сказал он.

— Доброе утро,— ответил священник. — Как спалось?

— Плохо. Было очень холодно, особенно к утру.

— И я сегодня страшно замерз. Выпьете кофе?

— Да. Спасибо.

Священник разлил кофе по чашечкам, генерал встал, оделся.

Вскоре они вышли, и рабочие стали сворачивать их палатку. Дождя не было, но земля была мокрой, и ямы на огромном разрытом кладбище были наполовину заполнены водой.

— Дождя, по-моему, больше не будет,— сказал священник, когда они садились в машину.

На востоке, за высокой пеленой облаков, над горизонтом поднималось мутное пятно солнца.

Генерал задремал.

Они ехали уже больше двух часов, когда шофер неожиданно затормозил.

Генерал протер стекло и увидел посреди шоссе мальчика в черном, тот жестом требовал остановиться. Грузовик с визгом затормозил в двух шагах от него.

Шофер легковушки опустил стекло и высунул голову из окна.

— У нас нет места, парень,— сказал он.

Но тот стал что-то быстро объяснять, показывая рукой в сторону от шоссе.

— Кто это? — спросил священник.

Генерал заметил, что возле шоссе, на большом камне, сидит старик в накинутой на плечи черной гуне. Пока мальчик разговаривал с шофером, тот с любопытством разглядывал машины. Перед ним на обочине лежал гроб. Чуть дальше неподвижно стоял осел, забрызганный грязью.

— Что все это значит? — спросил генерал.

— Кто его знает. Сейчас выяснится,— ответил священник.

Эксперт вылез из грузовика и направился к старику. Тот медленно, с большим трудом встал. Эксперт побеседовал с ним, вернулся к автомобилю.

— Что там? — спросил генерал.

— Солдат,— сказал эксперт.

— Наш?

— Да,— сказал эксперт и показал рукой на гроб. — Он работал у этого крестьянина, а потом его убили.

Генерал вылез из машины. За ним вышел и священник.

— Я что-то плохо понимаю,— сказал священник, первым подойдя к крестьянину.

— Солдат служил на мельнице у этого крестьянина,— сказал эксперт. — Потом его убили.

— А-а,— протянул священник,— должно быть, из дезертиров или, может, уже после капитуляции.

Эксперт спросил крестьянина, тот ему ответил.

— Дезертир,— сказал эксперт.

Генерал, не слышавший их разговора, с важным видом медленно подошел к ним. Он всегда старался напустить на себя важный вид, когда ему приходилось общаться с албанскими крестьянами, обычно в опингах[1] и одежде из домоткаиого сукна.

— В чем дело? — спросил генерал.

Теперь, когда тоскливые, холодные дни в горах и ночи в палатке остались позади и он был в новом мундире, он вновь держался величественно.

Крестьянин спокойно достал кисет, набил табаком трубку и высек кремнем огонь. Мальчик застыл с вытаращенными от удивления глазами прямо перед генералом.

— Мы уже три часа дожидаемся здесь,— сказал крестьянин. — Из села мы еще до рассвета вышли. Вчера мне сказали, что машины проедут по шоссе, и я решил прийти сюда вместе с внуком и дождаться вас. Мы уже остановили много машин, но все водители говорили нам, что это не они перевозят мертвых. А кто-то решил, что я сумасшедший.

— Вы его хоронили? — спросил генерал.

— Да,— сказал старик.— Кто же еще его похоронил бы? Он жил у нас.

— Значит, жил у вас,— сказал генерал. — Но мне, если позволите, хотелось бы знать, в каких отношениях вы с ним находились. Что связывало солдата нашей славной регулярной армии с вами; меня интересует, что ему было нужно и как могло случиться, что он добровольно жил у вас? Вы ведь крестьянин, не так ли?

Эксперт постарался перевести слова генерала попонятней для старика.

Крестьянин вынул трубку изо рта и посмотрел генералу прямо в глаза.

— Он был моим батраком,— сказал он. — Об этом знает все село.

Генерал изменился в лице. Он просто побледнел от гнева. Только сейчас до него дошло, в чем дело. Он исподлобья взглянул на мельника, мол, говори, что же ты замолк, и закурил сигарету, сломав несколько спичек.

— Это дезертир,— объяснил священник,— из тех, что батрачили на албанцев.

Генерал поморщился, услышав слово «дезертир». Нервы у него уже не выдерживали.

— Как его звали? — спросил эксперт.

[1] Самодельная крестьянская обувь из кожи.

— Не знаю,— ответил крестьянин. — Он был просто «солдат», так мы и звали его.

— Когда вы извлекли останки? — спросил эксперт.

— Позавчера,— ответил крестьянин. — Услышал, что вы их собираете, и решил откопать и вручить вам. Пусть он, бедняга, покоится на своей родине, решил я.

— Не находили ли вы на его груди круглый медальон?

— Медаль? — удивленно переспросил мельник. — Нет, сынок, он был не из тех, что получают медали. Работать он еще годился, а уж для войны совсем никудышный был.

— Нет, папаша, не медаль,— перебил его с улыбкой эксперт,— медальон. Круглая штука такая, вроде монеты, с изображением Святой Марии.

Крестьянин пожал плечами.

— Нет, ничего не нашел. Кости я собрал все до одной, но больше ничего не было.

— Вы поступили достойно,— сказал священник. — Вы выполнили свой христианский долг.

— А кто бы еще это сделал? — сказал крестьянин. — Так уж случилось, что это выпало на мою долю.

— Мы благодарим вас,— сказал священник,— от имени матери этого солдата.

Старик подошел к священнику, похоже, тот показался ему приятным и вежливым человеком, и стал что-то объяснять, показывая время от времени на новый гроб, грубо сколоченный из толстых дубовых досок.

— Гроб я сделал вчера, а сегодня, еще до рассвета, мы вместе с внуком отправились в путь. Еле добрались от мельницы сюда, к шоссе. Грязь непролазная. Осел два раза падал, посмотри, на что он похож. Еле его подняли.

Священник внимательно его слушал.

— А солдата вы убили? — неожиданно спросил он спокойным голосом, глядя тому прямо в глаза.

Крестьянин от изумления вынул трубку изо рта. Потом рассмеялся.

— Ты в себе? Зачем же мне его убивать?

И священник улыбнулся извиняюще, словно говоря: «Всякое ведь бывает».

Мельник рассказал, что солдат был убит карателями из «Голубого батальона» в сентябре 1943 года. Затем, вспомнив, похоже, вопрос священника, нахмурился.

— Зачем они так говорят, сынок? — тихо спросил он эксперта.

— Они иностранцы, отец, у них другие нравы.

— Человек надрывается, такой путь проделывает, а они...

— Да-а, забота тебе выпала, папаша,— сказал один из рабочих, выпрыгнувший из кузова, чтобы погрузить гроб. — Ну а теперь будь здоров, нам пора ехать.

Пока старик крестьянин разговаривал с экспертом, а рабочие поднимали гроб в кузов грузовика, генерал, который собирался уже сесть в машину, неожиданно вернулся.

— Он требует вознаграждения? — спросил он эксперта.

Тот покраснел.

— Нет.

— Он имеет полное право,— сказал генерал. — Мы готовы заплатить.

— Он не требует никакого вознаграждения,— сказал эксперт.

Генерал, который решил, что он нашел способ хоть как-то отомстить за оскорбление, нанесенное ему крестьянином, настаивал.

— Тем не менее скажите ему, что мы хотим его вознаградить.

Эксперт замялся.

— Мы хотели бы вознаградить вас за труды,— мягко сказал священник мельнику. — Сколько вы хотите получить?

Мельник нахмурился и покачал головой.

— Ничего,— коротко сказал он.

— Как бы то ни было, вы ведь трудились, потратили несколько часов, сколотили гроб.

— Ничего,— повторил мельник.

— Мы хорошо заплатим,— вмешался генерал.

— Слава богу, я не нищий,— сказал мельник.

— Но вы столько времени содержали этого солдата. Мы можем произвести расчет.

Мельник выбил трубку.

— Я сам остался ему должен,— сказал он,— я ведь не заплатил ему за работу. Может, вам отдать?

Мельник повернулся и направился к своему ослу.

Когда машина уже трогалась, мальчик что-то шепнул деду и старик махнул рукой в сторону машины.

— Подождите, черти, чуть не забыл. У меня от него кое-что осталось, я хочу вам отдать,— и засунул руку под гуну.

— Требует деньги,— сказал генерал, увидев, что старик машет ему,— видите? Я так и знал.

— Что еще? — спросил вышедший из машины эксперт.

— Тетрадка,— ответил старик,— он в ней все писал что-то. Вот она.

Эксперт протянул руку и взял тетрадь. Это была обычная школьная тетрадь, исписанная мелким почерком.

— Там, должно быть, его завещание,— сказал старик,— иначе я вам и не отдал бы ее. Кто знает, что бедолага в ней нацарапал! Может, он кому завещал овец и коз. Мне не довелось его расспросить. Хотя, если у него и был скот, его давно уже сожрали волки.

— Благодарю,— сказал эксперт. — Здесь наверняка есть и его имя.

— Мы звали его просто «солдат»,— сказал старик. — Никто и не подумал спросить у него имя. Ну ладно, счастливого пути,— махнул старик эксперту.— Будьте здоровы.

— Опять дневник,— сказал генерал, перелистывая тетрадь, врученную ему экспертом. — Какой это по счету найденный нами дневник?

— Шестой,— сказал священник.

Машины тронулись. В заднее стекло генерал увидел, что старик постоял немного, глядя им вслед, потом потянул за собой осла и отправился с внуком в обратный путь.

Глава одиннадцатая

Генерал устроился поудобнее в кресле и, поскольку делать больше было нечего, раскрыл тетрадь и принялся читать.

12 февраля 1943

Никогда не думал, что буду снова вести дневник, после того как впервые влюбился, еще в гимназии, и после того, как мой дневник нашли одноклассники и стали меня дразнить. Помню, как в перерыве между историей и математикой кто-то выбросил листки моего дневника, словно листовки, из окна коридора на третьем этаже. Они разлетелись по школьному двору, и все начали их читать. Я носился как сумасшедший из одного угла двора в другой, пытаясь вырвать листки у них из рук, а все смеялись надо мной, а она заплакала, пошла к директору и нажаловалась на меня.

Тогда я поклялся никогда больше не вести дневник.

Но теперь мне кажется, что все это было давным-давно. Что вся эта история — из тех старых книг с пожелтевшими и запыленными страницами, которые читал мне дедушка после обеда. Я это был или не я — тот мальчик, что катался на велосипеде по улицам нашего квартала и всегда первым покупал билет, когда в кинотеатр привозили новый фильм? Мне даже не верится.

Сейчас, этой зимней ночью, я сижу, скрестив ноги, возле огня, с тетрадкой на коленях и сам удивляюсь, как могло случиться, что я, солдат «Железной дивизии», стал батраком у албанского мельника и на голове у меня белая телешэ[1], такая же, как и у местных крестьян.

— Что ты все пишешь, солдат? — спрашивает меня мельник, пыхтя своей черной вересковой трубкой.

Все здесь меня зовут «солдат», и никто не спросил, как мое имя. «Солдатом» меня зовет и жена мельника, и их единственная дочка, Кристина. Мне даже кажется, что именно Кристина первой стала меня так звать. Это случилось в тот самый день, когда наш батальон разгромили партизаны и я, отступая, забросил винтовку в кусты и рванул в лес, стараясь держаться берега ручья, потому что знал: ручей всегда приведет к жилью. И не ошибся. Этот ручей вытекал из мельничной запруды, и когда я постучал в старые ворота, молодая албанка, открывшая их, удивленно крикнула:

— Отец, здесь какой-то солдат.

И с того январского дня для меня началась странная жизнь батрака-иностранца в чужой стране.

— Я тебя укрою и буду кормить,— сказал мне мельник,— если ты, конечно, будешь помогать мне по хозяйству. Я уже в возрасте и сам не успеваю со всем управиться. Сын, который мне помогал, ушел в партизаны. Смотри только, не вздумай тут крутить шашни,— продолжал он,— не то я об тебя все палки обломаю, так что чертям тошно станет.

Конечно, он имел в виду свою дочь, и я пообещал, что буду работать честно и не потребую ничего, кроме хлеба и крова, пока не закончится война.

— Послушай-ка, парень, а ты, часом, не шпион? — неожиданно спросил он, уставившись на меня грозным, пронизывающим взглядом.

— Я — шпион? — переспросил я удивленно.

— Гляди, а то плохо кончишь. Если что узнаю, на стропилах тебя повешу.

Так мы заключили договор.

После этого прошел уже месяц с небольшим — и я рублю в лесу дрова, чищу мельничный ручей, отбиваю жернова, чиню черепицу на крыше, подметаю полы, смазываю инструменты, таскаю мешки.

Товарищи по батальону и моя семья наверняка считают меня убитым. Если бы они увидели сейчас меня, каков я теперь, бывший «железный» солдат, весь обсыпанный с ног до головы мукой, с албанской телешэ на голове, то страшно бы удивились сначала, а потом животики бы надорвали от смеха.

25 февраля 1943

Очень холодно. Весь день дует страшный ветер, кажется, он вот-вот сорвет мельницу. Работы у нас мало. Редко кто из крестьян рискнет в такую зиму ехать на мельницу только для того, чтобы смолоть мешок кукурузы или кясэ[2] зерна. Поля в этом году совсем разорены. Многие села в округе сожжены или заброшены. Те, кто приезжает на мельницу, рассказывают всякие ужасы.

Я сижу и слушаю шум ветра, который заглушает бормотание ручья, и мне чудится, что над всем миром сейчас воет ветер.

---

[1] Круглая шапочка, албанский национальный головной убор.

[2] Старая албанская мера веса, равная 40 кг.

28 февраля 1943

Ночью выпал снег. Снег, прекраснее которого я не видел. Наконец прекратился свист ветра, и вокруг воцарилась белая сверкающая тишина. Даже не верится, что в мире идет война, хотя она совсем рядом.

Ну когда же она кончится?

9 марта 1943

Мельник относится ко мне совсем неплохо. Но ведь и я справляюсь со всеми делами и работаю с удовольствием. Вчера заменил у мельницы часть крыши, поврежденную ветром. Он остался очень доволен моей работой.

— Ты, солдат, мастер на все руки,— сказал он. Затем с усмешкой оглядел меня с ног до головы, словно обмерил, и добавил: — Только для войны, мне кажется, ты не годишься.

Я покраснел. В первый раз мне напомнили о моем дезертирстве.

— Это не так,— возразил я возмущенно,— просто я не хочу воевать, мне не нравится эта война, понятно тебе?

Он потрепал меня по плечу.

— Я не хотел тебя обидеть,— сказал он с улыбкой,— это я так просто сказал. Конечно, ты хорошо сделал, что ушел от фашистов.

Его слова не выходили у меня из головы весь день. Для чего мельник сказал мне это? Он сам помогает партизанам и ненавидит фашистов.

Албанцы, я заметил, очень уважают храбрость. Они издеваются над трусами, и он, похоже, счел меня трусом. Такой дылда, метр восемьдесят два ростом,— и трус!

Как досадно, если они и в самом деле считают меня трусом! Как стыдно, особенно перед Кристиной! Она молода и красива, ей нет еще и семнадцати лет, и всякий раз, когда я на нее смотрю, я чувствую у себя в груди какую-то пустоту, такое ощущение, словно неожиданно спустила велосипедная шина. Вот так.

20 марта 1943

Сегодня на мельнице произошло чрезвычайное событие. Я уходил в лес рубить дрова, а когда вернулся, увидел, что у порога мельницы сидит человек. Я замедлил шаги и с удивлением прислушался. Человек насвистывал одну из наших песен. Когда я подошел ближе, я заметил на нем драный военный мундир.

— Эй, приятель,— крикнул я ему,— привет!

Он перестал свистеть и вскочил на ноги. Мы обнялись, как старые знакомые, хотя раньше и в глаза друг друга не видели, а затем уселись на порог.

— Ты откуда? — спросил я его.

— Полк «Слава», — ответил он.

— А я из «Железной дивизии».

— Был в «Железной»,— сказал он.— Теперь-то мы оба не имеем к ним никакого отношения.

Мы расхохотались.

— Как тебя сюда занесло? — спросил я.— Давно ты драпанул?

— Четыре месяца назад,— ответил он.— А ты?

— Два с небольшим.

— Здесь работаешь?

— Да.

— Красивое место,— сказал он,— точь-в-точь Швейцария.

— Ты с кем сюда приехал? — спросил я его.

Он чуть не лопнул от смеха.

— Со своим «хозяином»,— сказал он.— Принесли молоть два мешка кукурузы.

— Ну, а как там? — спросил я.— Я совершенно оторван от мира

и понятия не имею, что творится. Что там с войной? Когда она кончится?

— Поговаривают, что скоро кончится, — сказал он.— Наши наверняка долго не продержатся.

— А мы? С нами-то что будет?

— А мы вернемся на родину, когда война наконец закончится.

— А не придется нам отвечать за то, что мы смылись с войны?

— Ты в себе? — удивился он.— Что ты мелешь? Перед кем мы, по-твоему, должны за это отвечать? Это перед нами будут отвечать те, кто послал нас на войну.

У меня просто на душе потеплело от этих слов, и мы закурили.

— Здесь таких, как мы, солдат хоть отбавляй! — сказал он.— Здешним крестьянам позарез нужны батраки, потому что почти все их сыновья ушли в партизаны. Они охотно берут к себе солдат, правда, опасаются, нет ли среди нас шпионов. Наши тут чего только не делают — коров пасут и пашут и даже сидят в няньках у детей.

— Надо же, до чего дошло! — сказал я со смехом.

— Что значит «до чего дошло»? Скажи лучше, как прекрасно, что нам дают возможность выжить! Может, мы уже гнили бы в какой-нибудь канаве и никто бы даже не знал, где искать наши кости.

— Это верно.

— А как у тебя тут насчет женского пола? — спросил он.

— Никак,— ответил я.

— Да, с этим везде туго. Один из наших приударил тут за какой-то девицей, так его отлупили будь здоров как и выгнали.

Я промолчал.

— А у тебя, приятель, мне кажется, дело на мази,— сказал он, блестя серыми хитрыми глазами.— Я уже видел дочку твоего хозяина. Что надо девочка!

— Ты в себе? — сказал я ему.— Я и думать не смею. Ты же сам говорил, как они поступают в таких случаях.

— Говори, говори, но здесь-то все по-другому. Тихое, красивое место, прямо Швейцария.

— А кулаки у мельника ты видел?

Изнутри доносился монотонный стук мельничных жерновов.

Он достал кисет и свернул сигарету так, как это делают албанские крестьяне, а затем еще одну для меня, потому что сам я так и не научился их сворачивать.

— Послушай,— сказал он, задумчиво сощурившись,— ты ничего не слышал о «Голубом батальоне»?

У меня екнуло сердце.

— Нет,— сказал я вполголоса,— а что?

— Говорят, он рыщет где-то по центральной Албании.

— Это далеко отсюда?

— Далеко,— сказал он.— Но черт его знает, всякое бывает, — и почесал в затылке.

— Ты думаешь, он может и в эти края забрести?

— Кто знает? — сказал он.— Чего не случается.

Он несколько раз молча затянулся.

— Может, он и не придет сюда,— сказал я, — а может, его разобьют албанские партизаны.

— Может быть,— сказал он,— у него были уже стычки с партизанами, и он понес большие потери, но его пополнили свежими силами.

— Какова его численность? — спросил я.

— Девятьсот человек,— сказал он,— и все — оголтелые фашисты. Устраивают резню, нагоняют страх. Ну а дезертиров...

— Что? — спросил я и почувствовал, что сердце у меня забилось быстрее.

— Расстрел на месте, дело известное.

— Святая Мария! — пробормотал я.

Мы еще посидели на пороге мельницы, поболтали о всякой всячине. Мой мельник и крестьянин степенно беседовали внутри. Когда кукуруза смололась, гости взвалили себе на плечи по мешку и отправились обратно, крестьянин впереди, солдат за ним, а мы пожелали им доброго пути.

2 апреля 1943

Сейчас, весной, у нас много работы. Отовсюду спешат крестьяне на мельницу, кто пешком, кто верхом на лошади или осле. Каждый раз, услышав звон колокольчика на шее животного, я радуюсь, что увижу людей, потому что здесь в одиночестве я просто помираю от скуки.

Мельник — человек хороший и справедливый, но уж очень он замкнутый — слова от него не дождешься. И вообще, я заметил, что албанцы очень неразговорчивы, особенно мужчины. Мельник весь день не выпускает трубку изо рта, и один бог знает, о чем он думает, утопая в клубах табачного дыма. Я больше разговариваю с его женой, «тетей Фросой», как я ее зову. Она меня расспрашивает о самых разных вещах — о родителях, о родственниках, о доме. Я говорю ей, что очень тоскую, и она с сочувствием смотрит на меня и качает головой.

— Бедняжка! — тихо говорит она и идет замешивать тесто для хлеба или мыть посуду.

— А теперь кто ухаживает за твоими овцами и козами? — спросила она меня как-то.

Я рассмеялся:

— Нет у нас ни овец, ни коз.

— А корова? — настаивала она.

— И коровы нет. Мы живем в городе.

— Да если бы и были, их бы сейчас, без тебя, волки бы сожрали. Эх, сынок, теперь и люди-то грызут друг друга, как дикие звери, не говоря уже о волках.

Я не знал, что ей ответить.

В другой раз она спросила меня о медальоне.

— А эта штука на шее у тебя для чего, сынок? На турецкую монету похожа.

Я рассмеялся.

— Это вроде опознавательного знака для солдат, чтобы нас узнали, если убьют. Вот тут, под изображением Святой Марии, есть номер, видишь?

Тетя Фроса надела очки, забавные очки с треснувшими стеклами.

— И кто тебе это дал?

— Начальники.

— Надо же! — сказала она и ушла, бормоча что-то.

Такие вот у нас разговоры с тетей Фросой. А Кристину я вижу редко и еще реже разговариваю с ней. Хотя именно с ней я хотел бы разговаривать чаще, особенно теперь, когда я более или менее прилично говорю по-албански. Но она не показывается на мельнице. Весь день хлопочет по хозяйству или вяжет. И даже когда приходит звать нас на обед, в дверях мельницы показывается всего на минуту. Скользнет по мне своими темными кроткими глазами и тут же отворачивается, я еще несколько секунд смотрю на ее каштановые волосы, а потом она исчезает.

Иногда она даже не спускается вниз, а кричит из окошка:

— Отец, обед готов!

Если мне случается в этот момент оказаться во дворе, она кричит мне:

— Солдат, скажи отцу, что обед готов.

А за столом она даже глаз не поднимает. Да и я боюсь оторвать взгляд от тарелки.

Потом я весь вечер думаю о ней и иногда выхожу к воротам, гляжу в ночной мрак, слушаю журчание мельничного ручья и мечтаю — о чем я только не мечтаю!

17 апреля 1943

По-прежнему приходят крестьяне с зерном для помола. Они рассказывают об удивительных событиях в освобожденных партизанами зонах. Создаются какие-то «советы», о которых раньше никто ничего не слышал, раздают зерно богачей, происходит что-то совершенно мне непонятное.

25 апреля 1943

Сегодня Кристина мне улыбнулась.

Этой ночью на мельницу напали бандиты.

Мы все спали, когда залаяла огромная собака Балё. Я сразу проснулся.

Что бы это могло значить? — подумал я, и меня дрожь пробрала. Было поздно, почти полночь, в такое время никто не осмеливался выйти из дома.

Балё лаял еще яростнее, и я услышал, как поскрипывают деревянные ступеньки. Кто-то спускался в сени, где я спал. Это был мельник. Он сделал мне знак рукой, чтобы я следовал за ним, и тогда я заметил, что в другой руке он сжимал длинное ружье. Я взял большую дубину и пошел следом. Сердце у меня колотилось.

А если это они, подумал я, вдруг кто-то выследил, что я здесь?

Мельник остановился у ворот и прислушался. Снаружи не было слышно ни голосов, ни звука шагов. Им нет необходимости красться в тишине, подумал я.

Неожиданно донесся легкий скрип, затем что-то треснуло.

— Бандиты! — прошептал мельник и открыл ворота. Потом сделал несколько шагов в темноту, поднял ружье и выстрелил. О боже, я никогда не слышал, чтобы ружье стреляло с таким грохотом и изрыгало столько пламени. Уж очень оно было допотопное! Мельник снова поднял ружье и выстрелил в сторону мельницы, эхо раскатами отозвалось далеко в горном ущелье.

У мельницы послышались шаги. Мельник, пригнувшись, бросился вперед. Я — следом за ним, с дубиною в руке.

Пробежав немного, мы остановились. Перевели дыхание.

— Смылись,— сказал он.— Возвращаемся.

Мы молча повернули обратно.

— Ну? — спросила тетя Фроса, как только мы переступили порог. Они с дочкой сидели в темных сенях, в руке тетя Фроса держала палку.

— Бандиты,— сказал мельник.

— Бандиты,— повторил я, чувствуя, что в груди у меня потеплело от радости и тайной гордости. Никогда бы не подумал, что бежать, пригнувшись, преследуя в темноте бандитов,— радость.

— Чтоб они сдохли,— сказала тетя Фроса,— будто у нас других забот мало.

— Что ж, время военное,— сказал мельник.— Испугалась, Кристина?

— Испугалась, отец,— сказала Кристина. Никогда еще я не слышал более прекрасного голоса. Я пытался разглядеть в темноте ее глаза, но безуспешно.

— Ну что ж, спокойной ночи, солдат,— сказал мельник и первым стал подниматься вверх по ступенькам. За ним поднялись и они. Скрипнула последняя ступенька, и наступила тишина.

Утром я увидел на дверях мельницы сломанный замок и ощутил в душе щемящую пустоту.

25 мая 1943

Меня одолевают разные мысли, и чаще всего они крутятся вокруг Кристины. В голову лезет всякий бред. Я и сам знаю, что это бред, и тем не менее мне нравится о ней думать.

Вчера я валялся возле ручья и от нечего делать бросал в воду камешки. Вокруг шумели платаны, и журчание ручья навевало сон.

Неожиданно я услышал громкий шум, топот сапог, голоса, свист, стук лошадиных подков. Поднимаюсь и что же я вижу: наши цепью движутся в мою сторону! Я хотел бежать, но ноги отчего-то не слушались меня. Словно разбитый параличом, я не мог сдвинуться с места. Они приблизились и окружили меня со всех сторон.

— Это та самая мельница? — спросил один из них, подавая мне какой-то тайный знак.

— Да,— ответил я испуганно.

— А ну-ка, ребята, разнесем там все! — крикнул он и первым побежал вперед. За ним ринулись остальные. Следом за ними и я. Не знаю, почему ноги вдруг понесли меня сами собой, тело у меня стало ловким и быстрым, как будто меня расколдовали, я почувствовал, что зверею,— как в прошлом году, когда мы во время зимней операции сожгли шесть сел подряд.

Разъяренные, мы бежали вперед с дикими криками. Двое поджигали мельницу, трое тащили мельника. Его приволокли к порогу и застрелили.

Я вдруг подумал о Кристине. Взбежал по ступенькам дома. По лестнице спускали связанную по рукам и ногам тетю Фросу. Она увидела меня и плюнула.

— Ах, собака, шпион!

Но все мои мысли были о Кристине. Я ворвался в комнату, где она спала, и бросился к кровати, где лежала Кристина, вся дрожа.

— Нет, солдат, нет!

Но кровь ударила мне в голову. Скорей, скорей, говорил я себе, нельзя терять ни минуты.

Я сорвал одеяло, с яростью разорвал ее тонкую рубашку и бросился на нее.

— Солдат, а солдат!

Я вскочил. Издали доносился голос звавшей меня Кристины. Вокруг, как и прежде, пахло травой, спокойно журчала вода. Я немного вздремнул.

— Солдат, а солдат!

Я лениво пошел к дому. Кристина стояла у среднего окна.

— Тебя ищет мама,— сказала она мне.

Я все еще протирал глаза.

Если бы она знала, что за сон мне приснился!

25 июня 1943

Из Гирокастры все время приходят беженцы. Женщины с тяжелыми торбами за спиной несут детей, старики с трудом передвигают ноги. Паника страшная. Говорят, что скоро весь город сожгут. По слухам, его заминировали и собираются взорвать. Одним словом, все ожидают всяких ужасов.

Беженцы укрываются в селах. Часть уходит в освобожденные зоны, другие остаются в зонах, которые и не освобождены и не оккупированы, как село возле нашей мельницы.

Гирокастру регулярно бомбят. Иногда я залезаю на высокий платан возле запруды и смотрю на город. Он словно вцепился в склон зубами и когтями, и никакими силами его не отодрать, даже если наступит конец света. Я служил там год с небольшим и знаю почти все его улицы и переулки, почти всех, кто торгует выпивкой или котлетами. У меня есть даже знакомые в квартале Варош.

Обычно город бомбят в половине десятого утром и в четыре часа дня, поэтому, если нет никакой работы, я залезаю на дерево за полчаса до начала и жду, когда полетят самолеты. Смотрю направо, в сторону Грихота, где в длинных, новых казармах размещена наша дивизия; на высокий холм напротив Грихота, на вершине которого возвышается одинокая тэке, окруженная кипарисами; на церковь и христианские могилы внизу, на берегу; на мост через реку, где я столько раз стоял в карауле; на военный аэродром между рекой и холмом Святой Троицы; на городские кварталы; на ручьи и мосты, соединяющие разные части города.

Самолеты всегда прилетают точно по расписанию. Обычно они сначала показываются с севера, из ущелья Тепелены. Первыми открывают огонь зенитки Грихота. На таком расстоянии выстрелов не слышно, только видны белые облачка разрывов. Затем открывают огонь зенитки на холме, на котором стоит тэке, но и они не причиняют самолетам большого вреда. Те спокойно летят прямо к городу, и я хорошо представляю, как в эти минуты в Гирокастре воют сирены и люди разбегаются по подвалам, и остается только удивляться, что весь этот страх и ужас на город нагоняют вот эти два-три малюсеньких пятнышка, которые летят, сверкая и переливаясь в лучах солнца, словно серебряные монетки, заброшенные высоко в небо.

Последними стреляют зенитки, установленные на высоких башнях крепости. Отсюда хорошо видно, как маневрируют пилоты, как снижаются самолеты, как они отвесно пикируют на военный аэродром или на крепость, а затем снова взмывают ввысь и снова пикируют, сбрасывая тяжелые бомбы.

Черный дым поднимается к небу из разрушенных зданий, а затем самолеты улетают туда, откуда прилетели, спокойные и сияющие, как будто совершенно ничего и не произошло.

Все это видно днем, а ночью в Гирокастре, как и положено, затемнение. С наступлением вечера все постепенно исчезает, растворяясь в темноте. Сперва мрак поглощает переулки, низкие домики, мост через реку, затем все кварталы по очереди, начиная с нижних и, наконец, крепость, колокольни, минареты с гнездами аистов наверху.

Вечером, когда я пытался разглядеть город, бесследно исчезнувший во мраке, точно его никогда и не существовало, мне подумалось, что вот, пришли такие времена, когда нельзя обойтись без затемнения и мир должен прятаться от самого себя. И я вспомнил такую же ночь три года назад, когда нашей роте впервые довелось пройти через ночную Гирокастру, мы направлялись тогда на юг.

Ночь была темная, душная. Мы были грязные, усталые, нам все осточертело, но едва мы добрались до казарм Грихота, где нам предстояло переночевать, как потребовали, чтобы нас отвели в публичный дом. Командование разрешило нам пойти. Мы все оживились и прямо как были — грязные, небритые, не снимая оружия, снова построились и вышли из больших ворот. Публичный дом был в центре Гирокастры, и нам, после долгого перехода, нужно было пройти еще километр с лишним, чтобы попасть туда. Но теперь идти нам было намного легче. Мы шли строем по темному городу, отпуская похабные шуточки, подтрунивая друг над другом, и чувствовали себя счастливыми. Ночью петь было запрещено, иначе один бог знает, как бы мы разошлись. Это были мгновения подлинного счастья для солдат, летней ночью идущих вместе, строем, по безопасной дороге, с винтовками, поставленными на предохранитель. Помню как сейчас, кто-то тихонько насвистывал старинную песенку, а я вглядывался в пугающий силуэт горы Люнджерии, возвышающейся слева,— она словно была совсем рядом, рукой можно дотянуться, справа чернела гора Малии-Гьер, на склоне которой, невидимый, распростерся город.

У моста через реку нас проверили часовые на контрольно-про-

пускном пункте, а затем, чтобы сократить путь, мы свернули с дороги и пошли прямо через поля.

Мы добрались до квартала Варош и стали подниматься вверх по крутым улочкам. Город казался вымершим. Ни одного огонька не было видно — все окна были закрыты. Наши тяжелые альпийские башмаки гремели по мостовой, и наверняка люди, притаившиеся за ставнями и тяжелыми дверями домов, дрожали от страха, опасаясь, что начнется новая резня. Если бы они знали, куда мы идем!

Наконец мы оказались перед «домом», как мы его между собой называли. Ночь была непроглядно-черная, душная. Мы остановились у ворот, офицер толкнул их и вошел внутрь.

В доме было тихо и темно. Внутри, похоже, не было ни одного клиента.

— Они что, спят? — с беспокойством спросил кто-то из наших.

Мы все забеспокоились, потому что офицера не было уже долго.

— Даже если и спят, должны сразу встать,— сказал кто-то.

— Это точно,— сказал другой.— Мы солдаты, нас должны уважать. Тем более что мы здесь транзитом.

— Сегодня мы живы, завтра нас нет,— сказал кто-то тонким простуженным голосом.

Но ворота открылись, вышел офицер, и мы все столпились вокруг него.

— Ну? — это кто-то спросил из темноты.

— Слушайте меня,— сказал офицер.— Сейчас пойдете. Только соблюдать порядок, а не то всех обратно отправлю. А ну-ка, становись в очередь!

Мы выстроились в какое-то подобие очереди. Нам не терпелось поскорее зайти в дом.

— Внимание,— сказал офицер.— Внутри темно, потому что окна из-за жары открыты, и свет включать нельзя. И чтобы никто не вздумал зажечь спичку или зажигалку, а не то пожалеете. Здесь как раз рядом контрольный пункт с пулеметом.

— Все ясно,— ответили сразу два-три голоса.— На черта нам свет? Мы и в темноте отлично справимся.

— И то верно, ведь нам не свет нужен, нам нужно...

— Заткнись, сволочь,— прорычал офицер,— соблюдать тишину! Давайте первые пять-шесть человек.

Первые рванулись, толкая и пихая друг друга, и исчезли в темноте двора.

— Винтовки не перепутайте,— крикнул им офицер. Затем повернулся к нам.— Еще шестеро пошли со мной,— сказал он.

Среди этих шестерых был и я. Мы вошли, и кто-то закрыл за нами ворота. Мы шли, пошатываясь, словно пьяные, по вымощенному камнем двору, затем поднялись по ступенькам и вошли в коридор. В коридоре было темно и невыносимо жарко, хотя все двери и окна в комнатах были открыты.

— Тихо,— сказал женский голос, принадлежавший, скорее всего, хозяйке.

Мы стояли, сбившись в кучу, и не знали, куда нам идти. В темноте мы расслышали, как офицер что-то прошептал хозяйке, и она повела его куда-то, наверняка в комнату к самой красивой. Затем снова послышались шаги, и через несколько секунд я остался в коридоре один, а мои приятели куда-то исчезли, будто их проглотила темнота. Я побрел во мраке и вдруг услышал вздохи. Кровь ударила мне в голову, я вошел в первую же открытую дверь и снова услышал тяжелое дыхание. Я сразу же вышел и вошел в другую дверь. В темноте, в углу, я заметил что-то смутно белеющее. Я вошел, сделал два шага и остановился.

— Иди сюда,— позвал меня ласковый голос.

Я, слегка робея, подошел, протянул руки и дотронулся до нее.

Она была совершенно голая. Мои руки скользили по ее влажному от пота телу, в глазах у меня потемнело, и я не видел даже, где находится кровать.

— Сними оружие,— спокойно сказала она.

Я послушался ее и прислонил винтовку к стене.

В темноте я не мог разглядеть ее лицо, но, судя по голосу и по груди, она была молода.

— Извини,— сказал я через несколько минут, расслабившись в ее объятиях.— Извини, я такой грязный.

— Ничего,— равнодушно ответила она, это значило, что она давно привыкла к солдатскому поту.

— Куда направляетесь? — спросила она.

— На юг,— ответил я,— на войну.

Я попытался разглядеть ее, но это было невозможно. Черты ее лица расплывались, как кадры фильма, когда кинопроектор не в порядке. Я медленно встал, взял винтовку, перекинул ее через плечо и, повернувшись, посмотрел еще раз в сторону смутно белеющего в углу пятна.

— Спокойной ночи,— сказал я.

— Спокойной ночи,— ответила она равнодушно. Я осторожно спустился, нащупывая ногой ступеньки. Те, что уже побывали там, ждали снаружи, молча курили, сидя на каменных скамьях у ворот, поставив винтовки между коленей.

Через час мы снова шли по дороге, но теперь уже не слышно было ни разговоров, ни шуток, ничего, кроме нестройного топота по камням дороги, и снова мы были усталые, утомленные и грязные, как черти.

— Чертова темнота,— пробормотал кто-то словно про себя, но никто не отозвался, и мы продолжали молча идти к Грихоту.

Потом, много позже, когда наша дивизия снова проходила через Гирокастру, мы хотели снова пойти в публичный дом, но нам сказали, что он закрыт. Я плохо помню, из-за чего, припоминаю только, что говорили о каком-то несчастном случае, одну из девушек убили, а после увезли и остальных. Когда я услышал об этом, мне вспомнилась та девушка во мраке, к которой я пришел той душной ночью, и я подумал: не ее ли убили? Но может, убили вовсе и не ее. Там было, помнится, пять или шесть, самое большее семь женщин.

29 июня 1943

Кристина очень похорошела, и у меня просто сердце замирает, когда я ее вижу. Позавчера она мыла ноги в ручье. Какие же они у нее красивые. У нее все красивое. Особенно глаза. Темные, мягкие, в них есть что-то вечернее, я даже сам не знаю, как их описать. И взгляд совершенно загадочный. Вообще, глаза у албанских девушек загадочны, как иероглифы. Испуганные иероглифы, очень испуганные. Или это только, когда они видят нас, чужих солдат?

Бог его знает!

13 июля 1943

Всю ночь по шоссе в сторону Гирокастры, на север, шли войска. Видны были огни грузовиков. Похоже, какая-то часть передислоцируется.

21 июля 1943

В соседнем селе полно баллистов. Те, что приходят на мельницу молоть зерно, рассказывают, что уже с неделю баллисты расположились там, как у себя дома. Весь день жрут и пьют, а по ночам поют. Совсем жизни не стало бедным крестьянам. Хорошо, что наша мельница стоит несколько в стороне, а то бы они и сюда нагрянули.

На всякий случай мельник велел мне прятаться, если я вдруг увижу их белые телешэ с вышитыми впереди большими двуглавыми орлами. И Кристине он велел прятаться.

Я сижу и думаю: если бы пришли баллисты, и мы с Кристиной где-нибудь спрятались бы, и ей было бы страшно, и я сжал бы ее в объятиях, чтобы успокоить, я чувствовал бы ее тело совсем рядом, мы были бы вдвоем, только вдвоем!..

Но в жизни ничего подобного не происходит. Так бывает только в фильмах.

Мне страшно хочется пойти в кино.

3 августа 1943

Вчера после обеда все время трещал пулемет. Вечером баллисты удрали из села. Село снова заняли партизаны и опять создали «совет». Нам обо всем этом рассказали двое крестьян, которые пришли сегодня еще до рассвета молоть зерно. Кристина сегодня нежно на меня посмотрела. В последнее время я замечаю в ней что-то новое, что-то удивительное, таинственное.

Я каждый день мечтаю о ней. Конечно, я ее люблю. Я в этом даже не сомневаюсь. Люблю безнадежно, совершенно безнадежно, потому что я всего-навсего бывший солдат армии, которую вот-вот разобьют, всего-навсего батрак-иностранец, побежденный, одним словом, вообще никто. Таким меня сделали диктатор и фашизм.

6 августа 1943

Кристина через неделю выходит замуж. Я узнал об этом совершенно случайно. Я даже и понятия не имел, что она давным-давно помолвлена. Вчера я просто так спросил у тети Фросы, когда она набирала воду в ручье.

— Что это вы и днем и вечером все сидите за ткацким станком?

— Да вот, время пришло,— сказала она.— Пришло время, сынок.

— Какое? — спросил я.

— Как это какое? На следующей неделе дочь замуж выходит, ты что, не знаешь?

— Нет,— ответил я,— не знаю.— И голос мой прозвучал так тихо, что она подняла глаза и внимательно на меня посмотрела. Я попытался скрыть свое замешательство, а потом спросил себя: а какого черта, почему я должен скрывать, что мне не по себе?

Поняла она или не поняла, что в моей душе творится, не знаю. Она еще раз взглянула на меня и сказала:

— Так уж, сынок, устроено, приходит время, и девушку отдают замуж. И ты тоже вернешься домой, когда кончится эта война, и твоя мать тебя женит на какой-нибудь красивой девушке, и заживешь ты счастливо.

Когда она это проговорила, я просто руками за голову схватился, мне показалось, что она меня пожалела, и я почувствовал в груди страшную боль, рвущую мне душу.

Я пошел к мельничному ручью, сел на землю и сказал себе: ты выходишь замуж, Кристина. Выходишь замуж — вот и все.

20 августа 1943

Дни потекли скучные, монотонные. Потихоньку подкрадывается осень, и неизвестно, чего от нее ждать.

Кристина вышла замуж. Прошлым воскресеньем приехали сваты и забрали ее. Шесть всадников, все вооруженные. На дорогах стало небезопасно, и албанцы, которые и в мирное-то время разъезжают с оружием в руках, сейчас ни на минуту не расстаются с винтовкой. Свадьбу не играли. Мужчины посидели за софрой [1], выпили немного ракии. Выпить как следует, в таких случаях это положено, они не могли, потому что им предстоял долгий путь. И меня пригласили за софру, но прибывшие не перемолвились со мной ни единым словом, будто меня и не было вовсе.

[1] Деревянный низкий круглый стол.

Двумя днями раньше мне тоже захотелось сделать какой-нибудь маленький подарок Кристине. Но что? У меня ничего с собой не было. Я попытался вырезать из дерева нож, как это делают албанские крестьяне, но у меня ничего не получилось. Тогда я решил отдать ей медальон. Она несколько раз внимательно его разглядывала.

— Возьми,— сказал я ей,— от меня на память.

Она обрадовалась и взяла медальон.

— Святая Мария?

— Да,— сказал я.

— Кто тебе ее дал? — спросила она.— Мама?

— Нет. Начальство.

— А зачем?

— Чтобы меня ни с кем не перепутали, когда убьют.

Она засмеялась.

— Откуда ты знаешь, что тебя убьют?

— Ну, если убьют.

— Кристина! — позвала тетя Фроса со двора.

Она сказала «спасибо» и убежала.

Вот так я отдал ей то единственное, что у меня было. А зачем мне этот медальон? Уж если я пропал, так пропал. Я еще жив, но уже пропал, и не хочу я, чтобы меня опознавали после смерти.

Обед закончился. Сваты поднялись, перекинули через плечо винтовки и сели на коней. Один из них, белый, весь изукрашенный, предназначался для Кристины. Кристина плакала. Плакала и тетя Фроса, а мельник курил трубку и молчал. Затем они обнялись с дочерью, а я сидел молча в стороне, и мне хотелось, чтобы она хотя бы сейчас, в последний момент, на меня посмотрела. Но глаза у нее были полны слез, и плечи вздрагивали. Какая она была красивая! Я тоже хотел попрощаться, но почему-то не осмелился подойти к лошадям, может быть, из-за молчаливых суровых сватов или, может, еще из-за чего, я и сам не знаю. Знаю только, что я одиноко сидел в стороне, и никто даже и не вспомнил обо мне, и я остро, как никогда, почувствовал себя чужим и лишним среди этих людей.

Кони тронулись. Кристина в последний раз обернулась, а всадники уже приближались к зарослям. Сначала в кустарнике скрылись кони, затем спины людей и, наконец, длинные черные стволы винтовок. Мы втроем в полном молчании поплелись обратно. Мельник с женой вошли в дом, а я упал ничком на траву возле ручья. На душе у меня было тяжело, и я вдруг горько заплакал.

Я и сам не знаю, отчего я плакал. Плакал не по уехавшей Кристине, нет, я плакал скорее о себе самом.

24 августа 1943

Уже несколько ночей по шоссе в сторону Гирокастры непрерывно движутся войска. Похоже, в ближайшее время что-то должно произойти. Крестьяне, которые приходят на мельницу, рассказывают, что в селах опять полно беженцев из города. Беженцы повсюду — и повсюду запах пепелища, они словно приносят его с собой. Все ждут еще больших бед.

Говорят, что в наших краях уже появлялся «Голубой батальон». Одни утверждают, что он по ту сторону горы Люнджерии, другие — что его видели гораздо ближе. По ночам меня опять одолевает страх. Сплю я плохо, все время вскакиваю и прислушиваюсь.

Я очень тоскую по Кристине.

1 сентября 1943

Дует холодный осенний ветер. Иногда меня охватывает ужасная тоска, и мне кажется, что дни мои сочтены, хотя мне всего двадцать два года. У меня такое чувство, что я заблудился в пустыне.

Часто я сижу у ручья. Здесь мне нравится больше всего.

Сижу и смотрю на спокойно текущую воду — по ней плывет то листок, то коряга, а то совсем ничего — только зыбкие отражения.

Мне вспоминаются те дни, когда наша дивизия проводила военные операции в албанских селах. Я хорошо помню оросительные каналы, которые встречались нам повсюду. Не знаю, почему эти, лопатами вырытые каналы с тихой, спокойной водой так волновали меня. Ничто мне не вспоминалось потом так подробно и четко, как эти албанские каналы. Я шел вдоль них с винтовкой за плечом, и мне было не по себе. Они тревожили меня, вызывали смутный страх. Мне казалось, что они будят во мне какой-то древний инстинкт, вынуждают меня что-то совершить.

Я читал как-то в гимназии одну книгу. Не помню автора. Там шла речь о древних инстинктах, просыпающихся иногда в волкодавах. То же самое происходило и со мной, когда я видел воду в каналах. Она будила во мне в это жестокое время какие-то старые, забытые чувства. Они меня к чему-то призывали. Я прислушивался к вечному, несмолкающему журчанию воды, и наверняка возле какого-нибудь оросительного канала у меня появилась смутная мысль дезертировать, она укреплялась во мне все сильнее.

И теперь я прихожу часто к ручью, сажусь возле него и думаю о том, что, кто знает, может, придут лучшие, нормальные дни и для нас, бывших солдат, которые и сами не знают, кто они такие и что их ждет впереди.

5 сентября 1943

Тишина. Начали желтеть листья. Сегодня утром, высоко-высоко в небе, над нашими головами, пролетело несколько сотен самолетов на северо-восток.

Кто знает, из каких краев они прилетели и какие края летят бомбить! Небо открыто со всех сторон.

Как мир до всего этого докатился?

Глава двенадцатая

Здесь записи кончались. Была поставлена еще одна дата — 7 сентября 1943, но, неизвестно почему, была потом зачеркнута. Похоже, он забросил дневник, может, ему не о чем было писать, а может, просто надоело это занятие.

Генерал раздраженно отшвырнул тетрадь — никаких полезных сведений в ней не оказалось.

— Есть что-нибудь интересное? — спросил священник.

— Записки сентиментального нытика.

Священник взял тетрадь и открыл на первой странице.

— Его имени нигде нет,— сказал генерал.— Он упомянул только свой рост. Метр восемьдесят два.

— Да у него рост полковника Z,— сказал священник.

Они посмотрели друг на друга и отвели глаза.

— А из какого полка и батальона, он не написал?

— Только дивизию. Он из «Железной дивизии». Других данных нет.

— Странно!

— Там есть кое-что и о «Голубом батальоне», но о полковнике Z он не пишет.

— Все записи датированы сорок третьим годом,— сказал священник, перелистывая тетрадь.— Когда он упоминает о «Голубом батальоне»?

— В самом начале тетради и в конце, то есть зимой и в сентябре.

— В сентябре полковника уже не было в живых,— сказал священник.

— Верно.

Священник принялся читать дневник.

Генерал попытался представить финал этой истории, о которой старик крестьянин рассказал священнику. Как «Голубой батальон», озверевший от неудач, однажды днем нагрянул на мельницу, видно, кто-то им сказал, что здесь прячется дезертир, и как затем они нашли притаившегося среди мешков с мукой солдата, а солдат был весь белый, обсыпанный мукой, словно раньше времени завернулся в погребальный саван, как потом его вывели, подталкивая стволами автоматов, и как он пятился, отступая все дальше и дальше к ручью, и наверняка свалился бы в воду, но его застрелили в двух шагах от ручья, и он упал головой в воду, вокруг его головы сразу образовался небольшой бурун, словно в ручей упал камень, неспешное течение расправило мокрые волосы, и они шевелились в воде, будто причудливые черные водоросли. А как иначе мог кончить дезертир? — подумал генерал.

— Ну что вы на это скажете? — спросил генерал через час, когда священник закрыл тетрадь.

Священник пожал плечами.

— Обычный дневник,— сказал он.

— Вот именно,— сказал генерал,— ничего экстраординарного. Я же вам говорил! Сентиментальный нытик.

— Те два дневника были поинтересней,— сказал священник.

— Нет никакого сомнения, что с такими солдатами, которые бросают оружие в канаву с водой, а потом влюбляются и напрочь теряют голову, мы и не могли выиграть войну,— гневно сказал генерал.— Разве это солдат?

— Во всех солдатских дневниках есть что-то общее,— сказал священник.

— Это естественно, раз их пишут люди, одетые в форму. И тем не менее по своей сути они совершенно разные. Вы помните первый найденный нами дневник? Какой боевой дух! В каждой строчке чувствовалась рука и душа солдата.

Священник кивнул.

— Конечно, и там попадались недостойные места, но в целом преобладал воинственный дух.

— Когда я говорю, что в них есть что-то общее, я имею в виду форму, — сказал священник. — Конечно, солдатские дневники, найденные нами, разные. А вот кончаются они одинаково — то есть, никто из них дневник до конца не дописал.

— Это вы хорошо сказали. Смерть — вот что их всех объединяет.

— Только этот несчастный, вместо того чтобы с честью погибнуть в бою, докатился до того, что его расстреляли как дезертира,— сказал священник.

— Вы прочитали, что он написал там о воде? — спросил генерал.

Священник кивнул.

— Он думал, что вода принесет ему спасение, а там его ждала смерть.

— От божьей кары не скроешься.

Генерал закурил.

Шофер нажал на клаксон. Дорогу переходило большое стадо овец. Два чабана длинными посохами пытались разделить стадо надвое, чтобы дать машине проехать.

— Спускаются на зимние пастбища,— сказал священник.

Генерал разглядывал высоких пастухов, одетых в длинные черные плащи с капюшонами.

— Вы помните тех двух лейтенантов, которые опустились до того, что пасли овец в албанском селе? Из какой дивизии они были? По-моему, из горных стрелков.

— Не припоминаю,— сказал священник.

— Странная метаморфоза произошла с нашей армией в Албании,— продолжал генерал.— Или, точнее, постыдная.

— Вы имеете в виду военных, которые ради куска хлеба работали у албанцев батраками?

— Да. После нашей капитуляции это приняло просто массовый характер. Я видел один документ в Генеральном штабе. Даже не верится!

— Действительно, происходили забавные вещи,— сказал священник.

— Сколько раз мы и сами уже с такими случаями сталкивались. Сколько раз нам приходилось краснеть от стыда, когда мы слышали, что наши вояки стирали белье или сторожили кур у албанских крестьян.

Священник кивнул.

— Вы сказали, случались забавные вещи, но ведь это совсем не забавно, это, скорее, прискорбно.

— На войне трудно отделить смешное от трагического, а героическое от прискорбного.

— Кое-кто пытается это оправдывать,— продолжал генерал.— Они хотят оправдать наших солдат, оказавшихся блокированными здесь после капитуляции. Порты закрыты, судов не было. Что им было делать, этим несчастным? В конце концов, должны они были что-то есть? Ладно, на кусок хлеба заработай, но честь своей страны не марай,— возмущался генерал.— Офицер великой армии, пусть даже и побежденной, соглашается стеречь кур!

— Многие из них начали с того, что продали оружие,— сказал священник.— Они его продавали или обменивали на пару пудов кукурузы или на мешок фасоли.

— Ведь вас в то время здесь не было, не так ли?

— Да, меня здесь не было,— сказал священник,— но мне рассказывали. Мне рассказывали, что револьвер меняли на кусок хлеба и стакан вина, потому что албанцам револьверы не нравились, они больше ценили винтовки. У винтовок цена была намного выше, за нее можно было получить мешок муки. А пулеметы, автоматы и гранаты солдаты отдавали почти даром — за яйцо, за пару драных опингов, за две головки лука или в лучшем случае за полкило творога.

— Боже мой,— воскликнул генерал.

Священник хотел продолжить, но генерал вновь прервал его:

— Поэтому албанцы над нами издеваются. Вы помните, как меня оскорбил этот пастух или мельник?

— Винтовка для албанца — это все. Для них просто немыслимо продать винтовку и уж тем более обменять на кусок хлеба.

— А тяжелое вооружение? — спросил генерал.

— Тяжелое вооружение практической ценности не имело, если только не попадало в руки партизан. Миномет можно было обменять на курицу.

— Боже мой,— повторил генерал.— Значит, в Албании после нашей капитуляции была настоящая ярмарка оружия?

— Это верно,— подтвердил священник,— настоящая ярмарка. У албанцев всегда была тяга к оружию. А тем более во время войны. Мне кажется, о подобном базаре веками мечтали их предки.

— Говорят, они купили или обменяли на продукты питания около десяти тысяч винтовок.

— Может быть, даже больше.

— Это действительно было нелепой пародией на войну,— сказал генерал.

— В тот год в Албании резко увеличилось количество несчастных случаев,— продолжал священник.— Дети играли с оружием и, поссорившись, нередко пускали в ход гранаты.

Генерал покачал головой.

— А бывало и так, днем повздорят соседские бабы из-за какой-нибудь ерунды, а ночью из окна или с чердака уже строчит пулемет и начинается настоящее побоище.

— Мне кажется, вы преувеличиваете,— сказал генерал.

— Ничуть. Это был какой-то психоз,— продолжал священник.— Албанцы были как пьяные — все их древние воинские инстинкты проснулись, они стали агрессивны как никогда.

— Может быть, потому, что во время войны они сильно пострадали? — сказал генерал.— Так бывает со львами, когда в них попадет первая пуля. Я это знаю, собственными глазами видел в Африке.

Священник хотел что-то сказать, но генерал перебил его.

— К тому же албанцы тогда, похоже, готовились к новым войнам,— сказал он.— Соседи могли напасть на них в любой момент.

— Албанцы всегда готовы к войне,— сказал священник.

— Одного я только не могу понять,— сказал генерал.— Почему они не расправились с нашими солдатами после капитуляции? Даже наоборот — они защищали их от наших бывших союзников, которые расстреливали их на месте. Вы помните?

— Помню,— сказал священник.

— Есть даже один документ,— продолжал генерал,— призыв партизанского командования ко всему албанскому народу по случаю нашей капитуляции. Там призывают народ не дать умереть голодной смертью десяткам тысяч наших солдат, которые бродили как нищие по дорогам Албании. Я его сам читал, для меня это загадка до сих пор. Что заставило их так поступить, их, так ненавидевших нас? Или это чисто пропагандистский маневр?

— Конечно, пропагандистский маневр,— сказал священник.— Я от них этого не ожидал.

— Мы были с ними заклятыми врагами,— сказал генерал.— Когда шла война, они яростно атаковали наши части — и вдруг такой призыв!

— Да, да,— задумчиво сказал священник.

— Так плачевно закончилась для нашей армии албанская кампания,— сказал генерал.— Все наши военные с оружием, званиями, мундирами, медалями превратились в слуг, батраков, подмастерьев. Мне стыдно становится, когда я подумаю, чем они занимались. Вы помните, нам рассказывали о полковнике, который стирал белье и вязал чорапы [1]?

— Да,— сказал священник.— Мне даже пришло сейчас в голову: а не стал ли наш полковник пастухом у какого-нибудь крестьянина. Может, он до сих пор еще пасет коз.

— Было бы интересно посмотреть на реакцию Бети, если бы ваше предположение подтвердилось,— рассмеялся генерал.

Священник улыбнулся, но промолчал.

Большую часть пути они проехали молча. Автострада была усыпана желтыми и уже гнилыми листьями. Желтые листья ветер яростно бросал из стороны в сторону, а гнилые отрывались от земли с трудом, а когда опускались на нее, надолго замирали, словно парализованные. Разбросанные по шоссе, отяжелевшие от воды и грязи, побуревшие, они, казалось, терпеливо дожидались смерти.

Автомобиль несся, сминая их своими колесами.

Глава тринадцатая

Много дней спустя в зале отеля «Дайти» они снова сидели за столом друг против друга. Снизу, из таверны, опять доносилась музыка. Генерал еще больше осунулся, и глаза у него были растерянные.

[1] Длинные носки из овечьей шерсти, украшенные традиционным орнаментом.

— Сегодня я плохо спал,— сказал генерал,— я видел странный сон.

Священник поднял голову.

— Я видел во сне ту проститутку. Вы помните, нам о ней рассказал кафеджи?

— Помню.

— Вот она мне и приснилась. Только не живая, а мертвая. Она лежала в гробу, перед публичным домом. А снаружи выстроилась огромная очередь из солдат, но они тоже были в гробах.

— Страшный сон.

— А во сне я этому совершенно не удивился. Я будто бы прохожу мимо и спрашиваю: «Эти солдаты, в очереди, они с фронта или на фронт?» Одни отвечают, что с фронта, другие — что на фронт, и я тогда говорю: «Те, что на фронт, пусть повоюют сначала, тогда и они будут иметь право отдохнуть, а те, что с фронта, пусть остаются».

— Скверный сон,— сказал священник.

— А как-то раз мне приснился полковник. «Вы думаете, что мой рост — метр восемьдесят два? — спросил он с усмешкой.— Ошибаетесь, господа, совсем не такой». «А какой же?» — спросил я. И он снова ухмыльнулся: «Не скажу».— Генерал достал пачку сигарет.— Мне все время снятся кошмары.

— Это от усталости.

— Да. За эти дни мы очень устали. Никогда я так не уставал.

— Ничего не поделаешь,— сказал священник.— Нам предстоит еще долгий путь.

— Мы как средневековые бродяги. Идешь, идешь, а дороге нет конца.

— Семьи ждут их. Они надеются на нас.

— Они, может, думают, что покойники сами выскакивают из земли,— сказал генерал со злостью.

— Они не виноваты,— сказал священник.

Генерал забарабанил пальцами по столу.

— Может, прогуляемся? — предложил священник.— Сегодня хорошая погода.

Они вышли из отеля и не спеша направились в сторону университета. На большом бульваре было необычайно оживленное движение. Огоньки машин разделялись у эстакады на пересечении с бульваром Марселя Кашена. Часть машин заворачивала налево, где располагалось большинство иностранных посольств, другие ехали в сторону площади Скандербега.

Они дошли до здания Совета Министров и повернули обратно. По обеим сторонам бульвара рабочие выкапывали мимозы и вместо них сажали в большие ямы ели.

— Готовятся к празднику,— сказал священник,— даже ночью работают.

— Интересно, откуда они привозят эти ели?

— Я думаю, с гор.

У ступенек перед отелем они встретили главу муниципалитета.

— А где мой коллега? — спросил генерал поздоровавшись.

— В центральной Албании. Мы еще продолжаем там поиски. А вы?

— Решили отдохнуть пару дней.

— Вот это правильно. А я завтра улетаю. Позавчера получил телеграмму из дома. Жена заболела. Надеюсь, через неделю вернусь. Дольше мне там нельзя задерживаться. Дела здесь идут неважно.

Беседуя, они поднялись по ступенькам. Мэр распрощался с ними и вошел в лифт, а генерал и священник снова направились в зал.

Генерал заказал фернет и закурил. Когда он выпил рюмку, перед

глазами опять заплясали надоедливые видения кладбищ, распростершихся на глинистой земле.

Я не понимаю, почему останки наших друзей нужно отдавать семьям. Я не верю, что такова была их последняя воля, как пытаются утверждать некоторые. Для нас, ветеранов войны, подобная сентиментальность просто смешна. Солдату хорошо только среди товарищей, живой он или мертвый. Оставьте наших друзей лежать вместе. Не разлучайте их. Их могилы будут поддерживать в нас боевой солдатский дух. Не слушайте трусов, не слушайте тех, кто поднимает крик из-за каждой капли крови. Вы уж поверьте нам, старым солдатам.

Генерал захмелел.

У меня их целая армия, подумал он. Только теперь вместо мундира у каждого нейлоновый мешок. Голубой мешок с двумя белыми полосками и черной лентой, производство «Олимпии», по специальному заказу. И эти мешки будут потом уложены в гробы. В небольшие гробы определенного размера, как предусмотрено контрактом с министерством. Сначала из гробов можно было составить несколько отделений, затем из них были сформированы роты, потом батальоны, и вот теперь заканчивается формирование полков и дивизий. Целая армия, одетая в нейлон.

— Что мне с ней делать? — спросил он вполголоса.

— Вы плохо выглядите,— сказал священник.— Может, у вас начинается лихорадка?

— Со мной все в порядке,— сказал генерал, чувствуя, что фернет действует быстрее, чем обычно, наверное, оттого, что он слишком устал.— Со мной все в порядке,— повторил он.— Я просто хочу выпить,— и он опрокинул еще рюмку.— Я просто хочу выпить, а вы, священник, или полковник, черт вас разберет, кто вы такой, мне мешаете. Что вам от меня нужно? А? Я терпеть не могу, когда за мной следят. Ну скажите, что вам от меня нужно,— генерал почти кричал.

Невысокий мужчина, который, как обычно, сидел за столом возле радиоприемника и что-то писал, повернулся в их сторону.

— Абсолютно ничего, господин генерал. Я вам нисколько не мешаю и ничего от вас не требую. Даже и не собираюсь требовать,— холодно ответил священник.

— Тогда сидите и смотрите, как я пью.

— Не будем устраивать здесь скандал,— сказал священник.

Генерал выпил еще. Теперь священник не будет мешать ему. В конце концов, главный здесь он.

Генерал вернулся мыслями к своей армии. К своей армии, голубой, с двумя белыми полосками и черной лентой. Что мне с ней делать? — подумал он. У меня очень много солдат, и, конечно, им холодно в их нейлоновых шинелях. Очень много. Тупые генералы бросили их на полях сражений, оставили их всех на меня. Я бы выиграл с ними все сражения.

Он попытался вспомнить сражения, которые они изучали в академии, попытался представить, какие из них он мог бы выиграть со своими солдатами. На пачке сигарет он стал рисовать схемы, обозначая позиции, рубежи атак, направления ударов. Для начала генерал окружил Цезаря, затем остановил войска Карла Великого, после этого внезапно атаковал Наполеона и вынудил его отступить. Но что-то ему в этом не нравилось. Не нравилось, потому что он выигрывал все сражения минувших веков благодаря превосходству современного вооружения, а не своим способностям полководца. Тогда он стал вспоминать последние войны. Он высадил десант на многих берегах и окружил несколько столиц. Своих одетых в голубой нейлон солдат он перебросил с берегов Нормандии за 38-ю параллель Кореи. Он

послал их в гибельные джунгли Вьетнама, но и оттуда они вышли целы и невредимы. Он побеждал, потому что хорошо командовал и берег своих солдат. Он превосходно командовал войсками. Он специально изучил правила ведения войны в горных районах. Кроме того, его солдаты храбры, невероятно храбры. Они храбры, потому что им нечего больше терять, подумал он и снова выпил. Пачка сигарет была вся исчеркана, и ему снова вспомнилась последняя война. В одном из сражений генералу пришлось отступить, но он бросил в бой резервы покойников, пока еще не опознанных (они в бою были яростнее всех), и победил.

— Вот так,— пробормотал он удовлетворенно.— Кто осмелится выступить против Великой Нейлоновой Армии?

— Да у вас просто истерика! — пробормотал священник и встал.

Глава четырнадцатая

Генерал чувствовал себя разбитым. Открыл жалюзи. Утро было холодным, небо — серым и неподвижным. Он облокотился на подоконник, и у него слегка закружилась голова. Мне отчего-то не по себе, подумал он. Может, повторяется старая история? Так же начиналось и в прошлый раз. Тогда я думал, что все дело в африканском климате. Но это было не так.

Он посмотрел в окно. Конец осени. Парк напротив совершенно облетел. На зеленые скамейки наверняка уже давно никто не садится. На них лежали опавшие листья. Генерал подумал, что в армиях НАТО цвета униформ — это цвета осенних листьев. Сначала листья были зелеными, потом светло-коричневыми, сейчас они уже темно-желтые, а сгнившие листья станут черными.

Черной формы, кажется, нет, вспомнил генерал. Или, точнее, теперь нет, потому что раньше ее носили фашисты.

В центре парка, возле круглой танцплощадки, были свалены в груду мокрые стулья, и опустевшая площадка казалась большой и печальной. Вокруг того места, где располагался оркестр, лежали листья, и дворник метлой сметал их в кучу.

— Что со мной?— повторял про себя генерал, спускаясь к завтраку.

— Вы неважно выглядите,— сказал ему священник, когда они сели за стол.— Вам надо отдохнуть.

— Мне действительно нехорошо,— сказал генерал.— По-моему, вчера вечером я вас нечаянно обидел. Приношу вам свои извинения, я был пьян.

— Ерунда,— добродушно сказал священник.

— Мерзкая погода, а?

— Может, мне лучше отправиться завтра одному? Думаю, на побережье поиски будут намного легче, чем в горных районах,— сказал священник.

— Я тоже так думаю.

— А вы немного отдохните. Хорошо бы вам вечером сходить в театр или в оперу.

— Я плохо сплю,— сказал генерал.— Мне нужно пить люминал.

Они вышли на бульвар и стали прогуливаться по широкому тротуару, под высокими елями. Мимо них стайками проносились юноши и девушки, похоже, студенты университета, спешившие на занятия.

— Что же это за чертова работа нам досталась? — сказал генерал, словно продолжая прерванный на полуслове разговор.— Мне было бы легче разбирать египетские пирамиды в поисках еще не найденных фараонов, чем извлекать из этой земли останки наших солдат.

— Вы об этом слишком много думаете,— сказал священник.— Может, потому и чувствуете себя неважно.

— Война здесь была непохожа на обычные войны,— сказал генерал,— потому что она шла здесь не на фронтах. Она проникала в каждую клеточку этой страны и поэтому была совершенно особой.

— Албанцы словно созданы для войны,— сказал священник.— Война, подобно алкоголю, отравила их кровь, и поэтому она здесь была действительно ужасной. И вот еще в чем дело. Войны между разными народами всегда были и будут. Но есть народы, которые по некоторым причинам, и здесь главную роль, без сомнения, играют особенности их психики, формировавшейся в течение многих веков, воюют с чрезмерным усердием. Эти-то народы самые опасные.

— Вы уже как-то развивали эту мысль,— сказал генерал.

— Да, я помню.

— Опять вы оседлали своего конька. Вы случайно не увлеклись, как я, научными исследованиями?

— Нет,— сказал священник,— но это интересный аргумент в споре, может, я наскучил вам, повторяясь?

— Ничуть,— сказал генерал.— Я слушаю вас с удовольствием, ваши рассуждения о психике албанцев, об их воинственности мне интересны.

— Это в самом деле интересно,— сказал священник.— История албанцев была историей непрерывных войн. Патриархальные горцы, буквально до вчерашнего дня жившие в каменном веке, всегда воевали самым современным оружием. Представляете, какой контраст?! Я уже говорил вам, что без войн и без оружия этот народ выродился бы, у него постепенно отмерли бы его корни и в итоге он исчез бы с лица земли.

— А благодаря оружию и войнам он расцветет?

— Они так думают, но на самом деле из-за оружия они вымрут еще быстрее.

— Вы считаете, что война для них — своего рода утренняя гимнастика, чтобы улучшить кровообращение и прочистить легкие?

— В какой-то степени да.

— Значит, с оружием или без этот народ обречен на вымирание?

— Похоже на то,— сказал священник.— Исконную привычку албанцев к войне их сегодняшнее правительство возвело в принцип своей политики, их соседям необыкновенно повезло, что албанцев всего два миллиона.

Генерал закурил.

— Вы помните песни, которые пели рабочие, когда мы ночевали в палатке, в горах? Сколько в них печали и тоски!

— Помню,— сказал генерал,— такое трудно забыть.

— Они поют в основном о разрушении и смерти,— продолжал священник.— Даже их национальный флаг символизирует кровь и траур.

— Вы так увлеченно рассказываете! — воскликнул генерал.

— Я давно интересуюсь этим,— ответил священник.— Оскар Уайльд писал, что представители низших классов испытывают потребность совершать преступления, потому что преступления доставляют им сильные ощущения, которые нам, остальным, доставляет искусство. Это высказывание вполне можно отнести к албанцам, только слово «преступление» нужно заменить на слово «война» или «кровная месть». Но будем объективны, албанцы как таковые не преступники. Да, они совершают убийства, но совершают их в соответствии со своими древними обычаями. Кровная месть у них — это как театральная пьеса, написанная по всем канонам трагедии, с прологом, нарастающим драматизмом и эпилогом, в котором смерть обязательна. Их кровная месть, словно бык, сорвавшийся с привязи, который крушит все на своем пути. А они еще вешают этому быку на шею множество побрякушек и украшений, чтобы получать от смерти также эстетическое наслаждение.

Генерал внимательно слушал.

— Жизнь албанца напоминает спектакль,— продолжал священник.— Албанец живет и умирает как на сцене, а декорациями служат равнина или горы. Жизнь его обнажена перед всеми. Часто он умирает только потому, что этого требует обычай, а не из-за каких-то объективных причин. Жизнь среди этих скал, которую не смогли победить холод, голод, лишения, снежные обвалы в горах,— эта жизнь неожиданно обрывается из-за неосторожно сказанного слова, из-за неудачной шутки, из-за пылкого взгляда, брошенного на женщину. Кровная месть часто свершается бесстрастно, просто потому, что этого требует обычай. Когда кровник убивает свою жертву, он всего лишь следует определенному обычаю. Эти древние обычаи опутывают их сетями, и албанцы в них погибнут.

Они услышали за спиной чьи-то шаги и обернулись. Это был эксперт.

— Я искал вас,— сказал он.

— Что-нибудь случилось?

— Завтра нужно будет просмотреть несколько протоколов с представителями министерства. Они ждут нас в десять часов.

— Хорошо,— сказал генерал.

Священник внимательно смотрел на эксперта. Он пытался понять, слышал ли тот его последние слова.

— Мы разговаривали о ваших обычаях,— спокойно проговорил он.— Интересные обычаи.

Эксперт улыбнулся.

— Он мне рассказывал о кровной мести,— сказал генерал.— Очень интересно с точки зрения психологии.

— Ничего интересного с точки зрения психологии тут нет,— прервал его эксперт.— Иностранцам иногда кажется, что кровная месть и прочие безобразные обычаи могут объяснить психологию албанца, но это чепуха. Такие обычаи насаждались у нас угнетателями и религией.

— Вот как? — удивился священник.

— Кое-кто усердно раздувает проблему кровной мести, преследуя определенные цели.

— Эта проблема представляет интерес для науки,— сказал священник.

— Я так не считаю. Истинная их цель — внушить общественному мнению, что албанский народ будет уничтожен.

— О, я в это не верю,— сказал священник, холодно улыбнувшись.

Эксперт прошел еще немного вместе с ними, потом распрощался.

— Вы пытаетесь объяснить их обычаи, основываясь только на психологии, но, я думаю, есть и объективные исторические причины,— сказал генерал, когда эксперт уже был достаточно далеко.— Вы знаете, кого мне напоминает этот народ? Он напоминает мне дикого зверя, который, почувствовав опасность, напрягает все свои мускулы и застывает в колоссальном напряжении, готовясь к прыжку, все его чувства обострены до предела. Мне кажется, этот народ слишком часто сталкивался с опасностью и такое состояние тревоги стало одной из основных черт его характера.

— Они называют это бдительностью,—сказал священник.

— По-моему, мы слишком много говорим о них,— сказал генерал.— Какое нам, собственно, дело — перебьют они друг друга днем раньше или днем позже?

Священник развел руками.

— У нас своих проблем хватает,— продолжал генерал,— эта чертова работа вымотала всю душу, а конца ей не видно. В ней есть какая-то роковая обреченность, что-то мрачное.

— Нет,— сказал священник,— я так не думаю. Это святая миссия.

— Мы как опухоль, пустившая метастазы,— сказал генерал,— мы только мешаем людям, не даем им работать.

— Вы имеете в виду тот случай, когда из-за наших раскопок на несколько дней задержался пуск водопровода?

— Нет,— ответил генерал,— не только. Есть что-то противоестественное, отталкивающее в том, что мы делаем.

— Нет, не могу с вами согласиться,— сказал священник.

— А вы никогда не задумывались, что, может быть, солдаты, которых мы с таким усердием разыскиваем, этого вовсе не хотели?

— Абсурд,— сказал священник.— У нас гуманная и высокая миссия! Каждый мог бы гордиться ею.

— И тем не менее есть в ней что-то ненормальное, какая-то насмешка, пусть даже скрытая.

— Ничего подобного,— сказал священник.— У вас как у военного, наверное, есть свои причины для беспокойства.

— Какие же? — спросил генерал.

— Стоит ли говорить об этом? Вы сами, возможно, не в силах осознать эти причины.

Генерал натянуто улыбнулся.

— Опять психология? — сказал он.— Мне кажется, вы свихнулись на психоанализе. Я знаю, он очень популярен, но, если честно, я в нем так толком и не разобрался. Мы, военные, не большие любители подобных тонкостей.

— Что ж поделаешь,— ответил священник.— Кому что по нраву.

— В таком случае,— сказал генерал,— как же вы объясняете мое тяжелое душевное состояние? Я люблю слушать ваши рассуждения, вы красиво говорите. Даю вам слово, я не обижусь, что бы вы ни сказали.

— Если вы настаиваете, я скажу вам, что думаю по этому поводу,— ответил священник.— Подсознательно вы сожалеете, что не вы командовали дивизиями в Албании. И вы считаете, что если бы командовали вы, то все было бы по-другому, что вы не привели бы солдат к поражению и верной смерти, а смогли бы их спасти. Поэтому вы часто разворачиваете топографические карты, и целыми часами сидите над ними, и на каждой пачке сигарет рисуете тактические схемы военных действий. Вы страдаете из-за каждой проигранной операции, переживаете каждую неудачу и подсознательно ставите себя на место неудачливых офицеров, представляя себе невозможное: победу вместо поражения.

— Довольно,— прервал его генерал.— Что вы копаетесь в моей душе, словно Федор Достоевский?

Священник улыбнулся.

Генерал помрачнел.

— У меня нет никаких скрытых мотивов,— медленно проговорил он.—Я вовсе не наивная девушка, которая полагает, что собирать останки солдат — неплохой сюжет для сентиментальной оперы. Я знал, что это грязная, тяжелая работа. Я знал также, что в этой работе мне помогут любовь и ненависть. Любовь к этим несчастным солдатам и ненависть к их убийцам. В тот день, когда я вернулся из военного министерства домой, у меня в душе играла музыка. Музыка, одновременно печальная и торжественная. Затем, когда я открыл досье и принялся перелистывать бумаги, я почувствовал, что из всех этих длинных, бесконечных списков на меня дохнул ветер ненависти и мести. Я подошел к глобусу и нашел Албанию. Я испытал невольную радость оттого, что она такая маленькая — маленькая точка на глобусе. Затем я содрогнулся от ненависти. Эта проклятая страна, эта еле различимая на глобусе точка погубила столько наших прекрасных и храбрых парней! Мне не терпелось как можно скорее отправиться в эту дикую, отсталую страну, чтобы потом гордо пройти сквозь толпу аборигенов, глядя на них с ненавистью и презрением:

«Смотрите, что вы натворили, дикари». Я мысленно видел, как торжественно мы отправляем на родину останки, видел удивленные, смущенные глаза албанцев — так смотрит человек, нечаянно разбивший красивую, дорогую вазу. Мы пронесли бы сквозь них гробы наших солдат, доказав им, что даже наша смерть прекраснее их жизни. Вот так я тогда думал. Но мы прибыли сюда, и все оказалось по-другому. Вам это известно лучше, чем мне. Сначала исчезла гордость за нашу миссию, а затем рассеялись и остальные иллюзии, и вот теперь мы бредем среди всеобщего безразличия, под издевательские взгляды, два жалких шута, продолжающих играть в войну, более несчастных, чем все те, кто воевал и был побежден в этой стране. Разве не так?

Священник не ответил, и генерал пожалел, что разоткровенничался.

Некоторое время они шли молча, на тротуар падали последние листья, куда-то спешили прохожие. Генерал почувствовал, что ему плохо и одиноко. Он не хотел больше говорить на эту тему. Лучше уж говорить о тоскливых днях, проведенных в дороге и в палатках, о затяжных дождях и пронизывающем ветре, о непонятных взглядах крестьян, одетых в черную домотканую одежду, о той ночи, когда священник испуганно закричал во сне; о поле боя, исчезнувшем под разлившимся водохранилищем новой гидростанции,— кладбища тоже оказались под водой и, наконец, о том черепе, у которого все зубы были из золота, когда рабочие достали его, зубы засверкали на солнце и почудилось, что череп цинично насмехается над происходящим.

Они не спеша дошли до большой площади перед университетом. Там, возле оперного театра, они повернули направо и пошли вверх по липовой аллее, поднимающейся по склону холма Шэн-Прокопи.

В канавах по обе стороны дороги плавали желтые листья, а статуи большого парка мерзли среди голых деревьев.

Поднявшись на вершину, они увидели искусственное озеро со множеством заливов. На вершине холма была церковь, к ней тесно прижалась танцплощадка, вокруг которой вздымались высокие кипарисы, шелестевшие на ветру. Неподалеку были свалены в кучу ящики, на которых было написано черной краской «ПИВО КОРЧА».

— Озеро здесь появилось, наверное, только в самое последнее время,— сказал священник.— И танцплощадки здесь раньше не было.

— Красивое место.

— Да. И отсюда видна почти вся Тирана.

Они повернулись к озеру спиной и стали разглядывать Тирану. Плащ генерала шуршал на ветру.

Генерал смотрел на большой бульвар, разделявший город на две части. Раскачивающийся тополь закрывал одной из своих веток то здание Совета Министров, то здание Центрального Комитета. Когда ветер усиливался, ветка доставала до больших городских часов, словно приклеенных к минарету, или, скользнув по площади Скандербега, взмывала над зданием Исполнительного комитета, почти доставая до Национального банка.

— В книге об Албании, которую я читал, говорилось, что архитектурный комплекс этой половины большого бульвара символизировал топорик ликтора,— сказал генерал.

— Это верно,— подтвердил священник.

— А я вот пытаюсь уловить сходство и совершенно его не нахожу.

— Всмотритесь внимательнее,— сказал священник и показал рукой,— большой бульвар — это как бы рукоять топора, высокое здание ректората — конец рукояти, торчащий над лезвием, оперный театр — обух топора, а стадион,— священник простер руку вправо,— его закругленное лезвие.

— Интересно! — сказал генерал.— А я все равно не улавливаю сходства.

— Может быть, нужно взглянуть с более высокой точки,— сказал священник.— И кроме того, албанцы после войны постарались устранить это сходство.

— Они снесли какие-нибудь здания?

— Нет,— сказал священник,— наоборот, они построили новые.

— Мне кажется, теперь больше всего мешает представить топор новый жилой квартал слева,— сказал генерал.

— Это целый район,— сказал священник,— по-моему, он называется «Квартал 1 Мая».

— Словом, раньше это было как гигантское клеймо на центре города.

— После войны, когда коммунисты впервые поднялись в воздух на самолете, они это заметили и сразу отдали приказ «топор ликвидировать».

— Интересно, раньше коммунисты знали об этом или нет?

— Может, знали, а может, и нет.

— Так или иначе, а сверху все видно лучше.

— Конечно.

Они шли мимо церкви по асфальтированной дорожке. Возле нее, на одной из скамеек сидели парень и девушка. Он гладил ее колени, а она положила голову ему на плечо, взгляд ее был затуманен.

— Пойдемте обратно,— сказал генерал.— Ветер холодный.

Они стали спускаться по липовой аллее.

Глава пятнадцатая

Шоссе осталось слева, и машины поехали прямо по полю вдоль виноградников. У генерала на коленях лежала топографическая карта, и он напряженно вглядывался в окрестности. Он знал, что сейчас в кабине грузовика, ехавшего следом, перед экспертом лежала точно такая же карта и тот тоже выглядывает из окна машины, чтобы точнее определить место, где им нужно остановиться.

Справа была шеренга высоких тополей, и, если смотреть в ту сторону, можно разглядеть за ними владения какого-то бея, а еще дальше — мельницу. То место как раз под тополями. Чтобы их можно было потом легко найти, мы вырыли могилы в виде буквы V с острием, обращенным в сторону моря. Пять с одной стороны, пять с другой, и младший лейтенант впереди.

— Скажите ему, чтобы он ехал к тополям,— сказал генерал.

Священник перевел его слова шоферу.

Они вышли из машины. Дул сильный ветер, шумели тополя. Священник направился туда, где должны были быть могилы, и вдруг удивленно вскрикнул.

— Что случилось? — спросил, подходя к нему, генерал.

— Смотрите,— сказал священник.— Взгляните туда.

Генерал посмотрел в ту сторону.

— Что это значит? — возмущенно воскликнул он.

Под тополями были видны два ряда ям, соединявшихся в виде буквы V. Ямы, похоже, вырыли неделю или две назад, потому что они наполовину были залиты водой после недавно прошедших дождей.

— Ничего не понимаю,— сказал священник.

— Кто-то вскрыл могилы до нашего приезда,— сказал генерал. Голос его дрожал от гнева.

— Вон идет эксперт,— сказал священник.— Интересно, что он нам скажет.

— Что случилось? — спросил подошедший эксперт.

Генерал молча показал ему рукой на ямы. Эксперт взглянул и пожал плечами.

— Странно,— медленно сказал он.

— Кто-то вскрыл могилы без разрешения и без нашего ведома,— проговорил священник.— Что вы можете сказать по этому поводу?

Эксперт снова пожал плечами.

— Когда же прекратятся эти провокации? — воскликнул генерал.— Я это так не оставлю.

— В данный момент ничего не могу вам сказать,— ответил эксперт.— Но я выясню. Пожалуйста, потерпите немного.

— Хорошо,— раздраженно буркнул генерал.

Рабочие и оба шофера подошли ближе и тоже смотрели с удивлением.

— Такого еще не было,— сказал старый рабочий.

Эксперт снова пересчитал ямы и повертел в руках топографическую карту.

— Послушай,— сказал он водителю грузовика,— съезди-ка на ферму и привези кого-нибудь с собой, все равно кого. Скажи, что мы из Совета министров и у нас важное дело. Посмотрим, как это объяснят крестьяне.

— Ничего подобного я не ожидал,— мрачно заметил генерал.— Это грубая провокация. Международные законы обязательны для всех.

— В данный момент я ничего не могу вам сказать,— повторил эксперт.— Могу только заверить: если кто-то решил оскорбить вас, он понесет наказание по нашим законам.

— С какой бы целью он это ни сделал,— сказал священник,— это святотатство.

— Я этого так не оставлю,— повторил генерал.— Я был готов к разного рода провокациям, но такого я не ожидал.

— Никто не устраивал вам провокаций,— сказал эксперт.

— А это? А это что? — дрожащей рукой генерал показал на ямы.

— Сейчас узнаем.

Рабочие стояли перед ямами и обсуждали их странное расположение.

— Впервые нам встречается такое захоронение в виде буквы V.

— Да, странно.

— Так обычно летят журавли,— сказал старый рабочий.— Вы видели, как они улетают осенью?

Послышался шум мотора приближающегося грузовика. В кабине кроме водителя сидел еще один человек.

— Теперь, я надеюсь, все выяснится,— сказал эксперт.

Водитель открыл дверь незнакомцу. Тот вышел и внимательно оглядел всех по очереди.

— Вы работаете на ферме? — спросил его эксперт

— Да.

— Давно уже?

— Давно.

— Вы что-нибудь знаете про эти солдатские могилы?

Человек посмотрел на ямы.

— Не больше других,— сказал он.

— А именно?

— Ну, что это могилы иностранных солдат. Уже лет двадцать с лишним здесь.

— Но как объяснить...

— Дней десять назад сюда приехали и раскопали их.

— Вот именно это мы и хотим знать,— сказал эксперт.— Кто раскопал могилы десять дней назад?

Человек снова окинул взглядом рабочих, генерала, священника, посмотрел на машины.

— Вы видели тех людей, что вскрывали могилы? — спросил эксперт.

Тот помедлил с ответом.

— Вам лучше знать.

Эксперт не мог скрыть удивления. Наступила гнетущая тишина. Слышно было, как шумят тополя.

— Я прошу вас ответить коротко и ясно, кто вскрыл могилы десять дней назад? — настаивал эксперт.

Крестьянин с возмущением посмотрел на него.

— Вы и вскрыли,— процедил он.

Лоб у эксперта покрылся испариной.

— Вы все,— продолжал тот и обвел рукой рабочих, генерала, священника и водителей.

Они переглянулись.

— Послушай,— сказал эксперт,— нехорошо...

— Ты это брось,— сказал человек, и глаза его гневно блеснули,— хватит меня дурачить. Думаешь, раз ты образованный, так можно надо мной издеваться?

Он с презрением посмотрел на эксперта и пошел прочь.

— Подожди, товарищ,— позвал его старый рабочий.

— Эй ты, ну-ка постой,— крикнул водитель грузовика.

— И не стыдно вам,— сказал человек, повернувшись.— Думаете, все вокруг дураки? Думаете, мы не видели, как вы копали тут с утра до вечера десять дней назад?

— Этого только нам не хватало,— тихо сказал священник.

— Кто? Мы?

— Ну конечно, вы! Вот на этой самой зеленой машине приехали и на этом крытом грузовике.

— Подожди-ка,— неожиданно сказал эксперт.— А вы были здесь, когда производились раскопки?

— Нет. Мы издали вас видели.

Эксперт кивнул.

— Мне кажется, я понял,— сказал он.— Наверняка это были те, другие. Ну и ну!

— Так в чем же дело? — спросил генерал.

— Я думаю, что до нас здесь побывали тот генерал-лейтенант с мэром.

— Это сделали они?

— Я уверен. Другого объяснения нет.

Крестьянин, энергично жестикулируя, что-то рассказывал рабочим и водителям.

— Как могло произойти такое?

— У них нет карт и точных данных. Наверное, они приняли их за могилы своих солдат.

— Но ведь они могли спросить у местных жителей. И потом — медальоны,— сказал священник.

— Действительно странно,— сказал эксперт.

— Это серьезное нарушение,— сказал генерал.

— У них такое не в первый раз,— сказал эксперт.— Мне говорили, что где-то на юге они по ошибке вскрыли две могилы баллистов, а в другом месте разрыли старую мусульманскую могилу.

— И забрали оттуда останки?

— Да.

— Фантастика! — сказал генерал.

— Они в своем уме? Зачем им это нужно?

— Кажется, я догадываюсь,— проговорил эксперт задумчиво.— У меня есть одно предположение...

— Какое?

Эксперт помедлил с ответом.

— Вы подозреваете, что с их стороны это — злоумышленные действия? — спросил священник.

Эксперт улыбнулся.

— Не могу пока ничего вам сказать, извините.

— Они, наверное, вконец запутались,— сказал генерал.— Может быть, они не могут ничего найти и начали теперь грабить чужие могилы.

— Они сами говорили: действуют наугад.

— Если это действительно так, тогда они не представители правительства, а два авантюриста,— возмутился генерал.

— Самое скверное, что они сразу же отправляют найденные останки,— сказал эксперт.

— Вы имеете в виду, что мы не сможем отобрать у них кости этих одиннадцати?

— Конечно, если они уже отправлены.

— То есть останки наших солдат вместо их родственников получат семьи в другой стране? — воскликнул генерал.— С ума можно сойти!

— Похоже, они многим пообещали лично,— сказал священник,— и сейчас спешат отправить останки.

— А если не находят своих, тогда берут чужих. Прекрасно!

— Пошли,— нервно сказал генерал,— нам тут нечего делать!

Они сели в машины и поехали к морю, как раз в ту сторону, куда показывало острием захоронение в виде буквы V.

Глава шестнадцатая

Безлюдное побережье наводило тоску. Бетонные доты вырастали прямо из мокрого песка, а чуть дальше, у скал, виднелись форты.

Когда рабочие вытащили колышки и сложили первую палатку, на плотном влажном песке остались странные следы, будто там прошел какой-то зверь с когтистыми лапами.

Рабочие забросили палатку в грузовик, поверх больших ящиков, и принялись вытаскивать колышки второй палатки.

С моря дул холодный ветер.

Генерал смотрел на север, туда, где за дотами начинались пляжные домики, летние станции железной дороги, высились пансионаты и отели, большинство которых было сейчас закрыто.

Они собирали здесь останки солдат, погибших в первый день войны. Уже неделю они двигались вдоль побережья, останавливаясь в тех пунктах, где происходила высадка войск. В каждом таком пункте было свое кладбище.

Он хорошо помнил первый день войны, весну 1939 года. Он тогда был в Африке. Вечером по радио передали сообщение: фашистские войска высадились в Албании. Албанский народ радостно, с цветами встретил славные дивизии, принесшие ему цивилизацию и счастье.

Затем пришли газеты и, чуть позже, журналы. В них было много фотографий и репортажей о высадке. Они читали о прекрасной весне, выдавшейся в этом году, о красоте моря и албанского неба, о пляжах, голубых далях, о любви албанок, о красивых народных костюмах и танцах. Газеты и журналы описывали все в самых радужных тонах, и по ночам солдаты мечтали, чтобы их перевели в Албанию, на это чудесное мирное побережье с вечнозелеными оливами.

Генерал вспомнил, что и он хотел тогда перевестись в Албанию, но заболел и из Африки его отправили домой и больше уже никуда не посылали.

И все-таки судьба распорядилась так, чтобы и мне довелось повоевать, подумал он. Сейчас, двадцать лет спустя, уже в мирное время.

Генерал увидел, что рабочие свернули вторую палатку, и сел в машину. Священник последовал за ним.

— Все? — спросил генерал.

— Все.

— Тогда поехали.

Автомобиль медленно тронулся с места; сзади взревел мотор грузовика, шофер высунул голову из окна и посмотрел назад. Мотор забарахлил и смолк.

— Грузовик не заводится,— сказал шофер и затормозил.— Пойду помогу.

Генерал выглянул из своего окошка и увидел рабочих, толкавших сзади грузовик, выкрикивая: «раз-два, взяли!» Грузовик медленно приближался к автомобилю. Затем поравнялся с ним, и генерал на мгновение увидел напряженные взмокшие лица рабочих, руки и плечи, упирающиеся в борт грузовика, ноги, скользящие в песке. В кузове гремели огромные ящики и груда лопат и кирок.

— В первый раз у грузовика мотор глохнет,— сказал генерал.

— Да. Наверное, от холода,— ответил священник.— Двое суток стояли на одном месте. А здесь все время дует.

— Нет ничего нелепей, чем машина с заглохшим мотором.

Священник не ответил.

Неожиданно мотор заработал, и их шофер поспешил к автомобилю.

— Черт бы его побрал! — выругался он, залезая в машину.— Еле завели.

Когда они обгоняли грузовик, генерал снова увидел рабочих. Они курили, сидя на больших ящиках. Грузовик подпрыгивал на ухабах, и их бросало из стороны в сторону.

Они проехали мимо пляжных строений, сейчас заколоченных, печальных, мимо давно закрытых больших современных отелей и летних ресторанов. Пусты были и танцплощадки на берегу моря, столы и стулья были свалены в углу, в полном беспорядке, словно полузабытые воспоминания о лете.

— Летом здесь, наверное, красиво,— сказал генерал.

— Да, красиво. Хотя не думаю, чтобы всем, а особенно женщинам, нравилось гулять и купаться возле военных укреплений.

Генерал внимательно смотрел на доты.

— Часть этих укреплений еще и сегодня сохраняет свое оборонное значение.

— Они любят повторять, что Албания — это крепость на берегу Адриатики,— сказал священник.

Генерал повернулся к берегу.

— Вы говорили, что море всегда приносило албанцам несчастья и поэтому они его не любят.

— Это верно,— сказал священник.— Албанцы, словно дикие звери, боятся воды. Они любят прятаться в горах, в ущельях. Там они чувствуют себя в безопасности.

Они постепенно удалялись от побережья, уже исчезли вдали и летние станции железной дороги, и белые дачные домики.

— Нам нужно найти еще одного солдата, погибшего в первый день войны,— сказал генерал.— Это последний солдат, оставшийся на побережье.

— Странно! — сказал священник.— Почему только один?

— Я не знаю, как это случилось,— сказал генерал и достал карту.— Он должен быть вот здесь,— и пометил красным карандашом какое-то место.

— Думаю, через час мы туда доедем.

— Может, даже раньше. И на этом — все.

— Если не считать одиночных могил, нам остается всего один маршрут в этом районе,— сказал священник.

— Да. По предгорьям. Опять тяжелый маршрут.

— Ничего не поделаешь,— сказал священник.— Главное — закончить все поскорее.

— Вы хотите поскорее вернуться?

— Конечно,— сказал священник.— А вы что, разве не хотите?

— Мечтаю об этом,— сказал генерал.— Не могу дождаться. Хотя, правда, мы еще и четверти работы не сделали.

— Это верно.

Тебе-то, разумеется, не терпится, подумал генерал. Тебя ждут.

— Что-то мы их давно не встречали,— вслух сказал он.

— Кого?

— Генерал-лейтенанта и мэра.

— Трудно сказать, где они сейчас копают!

— Наверняка опять на каком-нибудь стадионе или на бульваре. По-моему, у них полная неразбериха.

— Если у них и дальше так пойдет, я думаю, они раньше чем через два года отсюда не вырвутся.

— Нам-то что? — сказал генерал.— Главное, не украли бы они у нас опять какого-нибудь солдата.

Дальше они ехали молча.

Католический монастырь, где был похоронен единственный убитый здесь солдат, находился на небольшом холме, у подножия которого шоссе раздваивалось: одна дорога вела на север, другая поворачивала налево, в сторону побережья.

Они поднялись на холм — впереди генерал, за ним священник, эксперт и рабочие с лопатами и кирками в руках. Водители уселись на камень рядом с шоссе и закурили.

Перед монастырем было несколько больших старых могил, с массивными крестами и надписями на латыни. Старинные ворота монастыря были закрыты. Над воротами в камне было высечено: «Societas Iesus» [1].

Эксперт долго стучал в ворота, потом послышались шаги. Седой падре, в черном одеянии, с капюшоном, треугольником обрамлявшим его голову, показался на пороге.

— Добрый день, падре,— сказал эксперт.

— Добрый день,— ответил святой отец.

— В вашем монастыре находится могила иностранного солдата, убитого в 1939 году. Мы хотим забрать его останки.

Падре взглянул на генерала, священника и рабочих, державших на плечах кирки.

— Государственное предписание и позволение архиепископа у нас с собой,— сказал эксперт, доставая документы из портфеля.

У старика были светлые с красноватыми белками глаза. Он долго разглядывал бумаги и, читая, шевелил губами, будто жевал.

— Хорошо,— сказал он.— Я проведу вас к могиле.

Они последовали за ним вдоль стены, окружавшей монастырь, и вышли к церкви.

— Вот могила,— сказал он.

Могила была скромная, с каменным крестом и каской у изголовья. С каски от времени слезла вся краска, края ее утонули в земле, и весной ее наверняка закрывала пробивающаяся молодая трава.

— Как получилось, что здесь похоронен всего один солдат? — спросил генерал.

— Этого солдата убил Ник Мартини,— проговорил падре слабым глухим голосом.

Когда падре произнес имя Ника Мартини, генерал вопросительно взглянул на него.

— Какой-то местный горец,— пояснил священник.

— Я видел своими глазами, как он его убил,— продолжал старик.— Застрелил из ружья, вон с той скалы.

Они повернулись и увидели высокую, как крепостная башня, скалу, круто вздымавшуюся по ту сторону шоссе.

---

[1] Общество Иисуса *(лат.)*.

— Здесь велись какие-нибудь боевые действия? — спросил генерал.

— Нет,— сказал старик.— Эта территория, от монастыря до моря, не заселена, и никто не знал, что здесь будут высаживаться войска.

— Сколько отсюда до моря?

— Километров десять,— сказал падре.— Никто даже и подумать не мог, что войска высадятся в этой глухомани. Только Ник Мартини откуда-то узнал, что они высаживаются.

— Кто это — Ник Мартини? — спросил генерал.

— Горец,— ответил старик,— простой горец. Я увидел его, когда он шел с ружьем по шоссе, и, узнав, окликнул его. «Куда идешь, Ник Мартини?» — спросил я его. «Иду стрелять из ружья»,— сказал он. «Один?» «Один». Я хотел остановить его, спустился на шоссе, загородил ему дорогу и перекрестил. «Мир среди рабов божьих»,— сказал я. Он зло посмотрел на меня и повел стволом ружья. «Уйди, падре, с дороги!» — крикнул он. Потом взглянул на колокольню и, не говоря ни слова, направился к монастырю, я за ним. Мы оба поднялись на колокольню и оттуда увидели побережье, почерневшее от войск. «Они высадились,— сказал я ему.— Возвращайся домой, Ник Мартини». «Не вернусь»,— сказал он и зарычал, как дикий зверь. Он спустился с колокольни, и я видел, как он бежал по шоссе, а потом взбирался на ту скалу.

— И он сражался? — спросил генерал.

— Да. Один. Он стрелял из ружья целый час. Стрелял он редко, и было слышно, как одинокие пули свистят в воздухе. Шоссе уже стало черным от войск, а он все стрелял, и выбить его оттуда было невозможно. Тогда его обстреляли из миномета.

— Его убили?

— Мы тоже сначала так подумали, когда прекратились выстрелы. Только потом мы узнали, что Ник Мартини забрался на другую скалу в десяти километрах отсюда и снова стрелял из своего ружья больше часа.

— Да, такую скалу штурмом не возьмешь,— подтвердил генерал.— Ее можно удерживать целый день, если у противника нет артиллерии.

— Они пробовали штурмовать,— сказал старый священник,— тогда и был убит этот солдат. Из окон монастыря мы видели, как они безуспешно пытались выбить Ника Мартини со скалы. Потом они принесли завернутого в шинель убитого солдата и стали рыть ему могилу, и тогда было решено обстрелять скалу из миномета.

— Ну а тот, горец, остался жив? — спросил генерал.

— Ник Мартини? — старый священник посмотрел своими выцветшими, потухшими глазами в сторону гор.— Нет, погиб. В тот день он сражался еще в четырех местах. Говорят, когда у него кончились патроны и он увидел, что грузовики с солдатами направляются в Тирану, он испустил страшный вопль, как у нас кричат горцы, когда у них кто-нибудь умирает. Его окружили и закололи кинжалами.

На несколько секунд воцарилось молчание.

— У Ника Мартини нет могилы,— сказал старый священник, который, наверное, подумал, что теперь они будут искать и его могилу.— Ни креста, ничего. Только песня есть о нем.

— Странно! — сказал генерал спустя полчаса, когда их автомобиль уже ехал к Тиране.— Как может сражаться с регулярной армией один-единственный человек?

— Воевать в одиночку — для них дело чести,— сказал священник.— Это их древняя традиция.

Генерал закурил сигарету и вздохнул.

— Закончился еще один день войны,— тихо сказал он.

Священник промолчал. Он смотрел на поля, проносившиеся мимо. Их уже обожгли первые зимние ветра. Через несколько километ-

ров, на этот раз справа, опять открылась вся ширь безграничной Адриатики.

Вдоль побережья высились невысокие округлые холмы, и на вершинах этих холмов были похоронены албанцы, убитые в первый день.

Генерал и священник, пытались представить себе, что произошло в тот день на берегах двух морей, омывающих страну. По всем краинам разнеслась весть, что враг пришел с моря, и албанцы группами по пять, десять, двадцать человек с оружием в руках отправились сражаться. Они приходили издалека, сами, не дожидаясь, пока их кто-нибудь позовет, преодолевали горы и долины, и в их устремленности к морю было что-то древнее, очень древнее, передававшееся, вероятно, как инстинкт, из поколения в поколение еще с легендарных времен Дёрдя Элеза Алии[1], когда враг всегда появлялся со стороны моря, словно злой дракон, и нужно было уничтожить его тут же, на берегу, пока он не пополз дальше. Это была вековечная тревога, древний страх перед голубыми водами и вообще перед широкими долинами, потому что опасность всегда шла оттуда, и они, спускаясь сверху, чтобы соединиться с остатками королевской армии, еще сопротивлявшейся, едва увидев бесконечное пространство моря, едва учуяв его запах, сразу же ощущали опасность, и рев волн звучал для них музыкой битвы.

Так спускались в тот день десятки чет[2]. В этих четах люди, носившие канотье и очки, шли плечом к плечу с высокими горцами из байраков[3], в которых жизнь текла в соответствии с древними обычаями, и многие из этих горцев даже понятия не имели, какое государство на них нападает и с каким врагом они бьются насмерть, потому что это не имело никакого значения. Главное, враг пришел с моря и сбросить его нужно было обратно в море. Многие из них раньше не видели моря, и, когда перед ними вдруг предстала Адриатика, они, вероятно, воскликнули: «Ну и красота!» Они тогда еще верили, что смогут отразить нападение врага. Горцы равнодушно рассматривали темнеющие вдали крейсеры, с орудиями, нацеленными на берег, низко проносившиеся самолеты, десантные суда и отважно вступали в бой, как того требовал обычай, и один за другим погибали, кто раньше, кто позже.

К концу дня подоспели те, кто пришли из дальних горных краин и, не передохнув после долгой, утомительной дороги, вступили в бой как раз в час заката, когда оккупанты мощными помпами уже смывали кровь с улиц захваченного Дурреса и в последних лучах солнца улицы казались охваченными огнем.

Горцы, чаще всего по одному, все приходили и приходили — вплоть до наступления темноты. Прожектор высвечивал их черные силуэты с ружьями; как только они показывались на вершинах холмов, их тут же косили из пулеметов и они лежали так до утра, волосы их были мокры от росы.

На следующий день их хоронили там, где они были убиты, могилы их в ту весну были разбросаны повсюду — словно стадо овец разбрелось по прибрежным холмам, и никто не знал, как их звали и из каких они краин, чтобы написать это на могиле. Правда, горцев узнавали по характерной одежде. Некоторые прибыли из самых дальних байраков Северных Альп, оттуда, где в случае смерти кого-нибудь весь его род одевается в черное и черным драпируют каменную куллу[4] убитого, холодную и мрачную, и затягивают песню; и в тот раз наверняка в песне пелось о море. О далеком коварном море.

---

[1] Дёрдь Элез Алия — герой албанского фольклора.

[2] Небольшая группа вооруженных людей.

[3] Старая административно-территориальная единица в горных районах Албании, характерная для патриархального родового строя.

[4] Каменный двух- или трехэтажный дом-башня, с узкими окнами-бойницами, характерный для некоторых районов Албании.

Часть вторая

Весну сменило лето. Сквозь чужую землю пробивалась молодая трава. Она покрывала холмы, пышным зеленым ковром устилала долины и упорно стремилась захватить каждый клочок поля вдоль дороги.

Всю весну генерал, священник, эксперт и рабочие министерства колесили по горным дорогам разных краин. Лето их застало в пути, но и летом они отдыхали не больше двух недель, потому что дела шли не слишком хорошо. В самые жаркие месяцы они вели поиски в Северных Альпах. Затем, когда стало немного прохладнее, они спустились вниз, вернулись обратно в краины, где уже однажды были.

Октябрь тоже застал их в пути, на автострадах Албании. Погода испортилась, и за горизонтом, там, куда уходила дорога, гремели раскаты грома.

Их невеселому странствию не видно было конца. На пресс-конференции, которую генерал провел у себя на родине, летом, перед тем, как во второй раз отправиться в Албанию, журналисты досаждали ему вопросами о том, сколько же еще времени понадобится ему для завершения миссии. Генерал отвечал журналистам односложно — то явно нервничая, то иронично, словно хотел сказать: «А поезжайте-ка сами, ребята, и сделайте все за меня».

Генералу нередко казалось, что в его жизни уже ничего не будет, кроме мелькания перекрестков чужих мокрых дорог.

Глава семнадцатая

Обычно мы проводили время так — стояли, облокотившись на перила моста, и курили или сидели в небольшом деревянном сарае, на котором неровными буквами было выведено: «КОФЕ — ОРАНЖАД». Нас, охранявших мост, было шестеро. Это была давно уже заброшенная стратегическая дорога, построенная австрийцами еще во время первой мировой войны. Мы прибыли сюда сразу же после ремонта дороги и моста. Солдаты, чинившие мост, построили для нас дот и небольшую казарму. Так что к нашему прибытию все здесь было готово. Тяжелый пулемет мы установили в доте, а легкий на всякий случай держали в казарме.

Местность была пустынная и унылая. Каменистое, усыпанное галькой плато и только кое-где редкие деревца. В маленьком селении от силы было домов десять. Это были странные каменные дома с маленькими узкими бойницами вместо окон, точь-в-точь как бойницы нашего дота.

Сначала мы просто умирали от скуки. Военные машины проезжали редко, а крестьяне относились к нам враждебно. Весь день мы болтались у перил моста и бросали камешки в поток. По ночам несли караул.

Но однажды по горной дороге пришел человек. Он привел трех ослов, нагруженных досками, ящиками и рубероидом. Это был спекулянт из города. За два дня он воздвиг сарай прямо у моста и над входом написал черной краской: «КОФЕ — ОРАНЖАД».

С того самого дня мы стали его завсегдатаями. Хотя он и написал «кофе» и «оранжад», на самом деле он продавал ракию и скверное вино. Иногда солдаты, проезжавшие мимо, останавливали машину у сарая и пропускали по стаканчику. Сарай немного оживил это унылое место. Случалось, и крестьяне захаживали сюда. Но им не нравилась ракия, которую продавал спекулянт, и еще меньше — вино. У них были другие заботы. Они приходили менять куриные яйца на патроны. Нам это было строго-настрого запрещено, но мы все-таки

меняли. Ночью, в карауле, мы палили почем зря, а на следующий день заявляли, что истратили патронов вдвое больше, чем на самом деле. Сэкономленные патроны мы меняли на яйца.

Но эта ночная пальба к добру не привела. Мы вроде сами накликали на себя беду. Через некоторое время нас действительно стали обстреливать партизаны. Если бы не дот, они бы нас в момент всех перебили.

Одного убили на мосту, когда он патрулировал ночью. Партизаны, похоже, пытались взорвать мост, но не смогли, потому что часовой поднял тревогу. Утром мы его обнаружили мертвым, у перил. Он лежал в странной позе, с открытым ртом. Вы видели фильм «Смерть велосипедиста»? Когда я смотрел этот фильм, я чуть не заорал в зале. Убитый лежал точно так же, как тогда наш часовой.

Через две недели убили второго. При тех же обстоятельствах. Мы догадывались, что стреляли крестьяне, но не были в этом уверены. Патронов мы им больше не продавали. Да что толку! Поздно спохватились. Когда убили третьего, часовому приказали не выходить больше на мост. С солдатами, сменившими убитых, прислали прожектор, и мы установили его на доте. Теперь ночью мост освещался с дота. В свете прожектора он казался просто жутким, сотни черных железяк перекрещивались, напоминая какую-то гигантскую сороконожку. В полночь я нередко как завороженный смотрел на мост, залитый холодным ослепительно белым светом, и говорил себе: да, все мы здесь сложим головы, на этом мосту, все до единого.

Партизаны не спускали с моста глаз.

Четвертого солдата убили той же ночью, когда ранили и меня. Я совершенно ничего не помню, потому что пуля зацепила меня в самые первые минуты боя. Когда я пришел в себя, то увидел, что лежу на осле и осел медленно идет по мосту. Доски как-то странно скрипели под его копытами. Было утро. Серое осеннее утро. Словно оцепенев, я смотрел на бесчисленные металлические болты моста, проплывавшие мимо, и чувствовал, что мое сердце сжала тяжелая ледяная рука и не собирается отпускать.

Когда осел миновал мост и пошел по шоссе, я в последний раз взглянул на мост, дот, мрачные дома крестьян вверху, на плато, могилы товарищей у опор моста (новую могилу еще не начали копать) и деревянный сарай рядом, с издевательской надписью «КОФЕ — ОРАНЖАД».

Генерал уселся на обломок бетонного блока и закурил. Рабочие копали внизу, у опор моста, возле разбитых бетонных блоков, из которых торчали ржавые перекрученные железные прутья. Новый мост был выстроен в нескольких сотнях метров вниз по течению, там, где проходила новая дорога, возле фабрики по переработке масличных. На старой горной дороге росла дикая трава и кое-где пробивался кустарник.

Взрыв наверняка был необычайно мощным, подумал он. Мост взорвали посередине, и тяжелые обломки бетона полетели в дот, а некоторые даже перелетели через него. Возле моста стоял старый деревянный сарай, над входом красовались следы надписи «КОФЕ — ОРАНЖАД».

Неделю назад, когда они приехали сюда, сарай, так же как мост, дот и часть автострады, был наполовину разрушен. Рубероид, покрывавший крышу, был разорван в нескольких местах, а многие доски были оторваны или сгнили. Но два дня спустя из районного центра прибыл продавец автолавки местного управления общественного питания. Он привез с собой сигареты, коньяк и кофеварку. Это было очень кстати, потому что кроме пяти постоянных рабочих они наняли еще семь временных, и все они, включая шоферов, эксперта, священника и генерала, должны были провести здесь две долгие утомитель-

ные недели. Продавец разместил свою передвижную лавку в старом сарае, прибив в двух-трех местах доски и придавив камнями куски рубероида, чтобы их не сорвало ветром.

Это внесло некоторое оживление в их жизнь. По утрам рабочие, перед тем как взяться за дело, пили кофе или пропускали по рюмке фернета. Местные крестьяне, заинтересовавшись происходящим, часами напролет глазели на раскопки.

И сейчас генерал наблюдал за тем, как двое из них что-то объясняли старому рабочему, показывая на опору моста.

Кто же из них стрелял в часовых? — думал генерал всякий раз, когда видел крестьян, разговаривавших с рабочими или покупавших сигареты. Прошла неделя с тех пор, как они прибыли сюда, и генерал некоторых из них уже узнавал.

Поиски продолжались за мостом и около его опор. У опор были похоронены только часовые, а большинство могил было возле шоссе. Они располагались в ряд, одна за другой, возле ржавых обломков сожженных машин. Место было самое подходящее, чтобы подстерегать в засаде проезжавшие автоколонны. Именно это они и сделали перед тем, как взорвать мост.

Священник и эксперт поднимались по склону. Эксперт свернул к сараю, а священник подошел к генералу.

— Ну как? — спросил генерал.

— Все в полном порядке.

— Данные совпадают?

— Полностью.

— Послезавтра начнем копать по ту сторону моста.

Горные ущелья скрывал густой туман.

— К плохой погоде? — спросил генерал.

Священник кивнул.

— У албанцев есть пословица,— сказал он,— в плохую погоду иди к хорошему другу».

— Значит, нам податься некуда,— сказал генерал,— в этой стране все двери для нас закрыты.

Священник закашлялся.

— У меня уже дня два побаливает горло.

— Ничего удивительного, такая сырость. Если и эта зима будет такая же, как прошлая, нам туго придется.

— Похоже, так оно и будет,— сказал священник.

— Мы провели здесь всего год с небольшим, а мне кажется, что целую жизнь.

— Основную часть работы мы уже сделали.

— Чем дольше все это тянется, тем невыносимее становится.

— Мы устали.

— Если бы мы закончили с горными стрелками летом, было бы легче.

— Да вот, не успели. Кто же знал, за что нужно было браться в первую очередь?

— Даже домой вы не съездили.

— Это верно.

— Все слишком уж затянулось. Мы надеялись, что закончим к концу весны. Самое позднее — к середине лета.

— Не наша вина.

— Похоже, «молниеносная война» может быть, а «молниеносных поисков» не бывает.

— Чем «молниеноснее» война, тем дольше потом приходится искать могилы.

— Мы застряли у этого проклятого моста и не можем двинуться с места.

— Я не понимаю, почему партизанам так нужно было взорвать мост,— сказал священник.— Они использовали его как хорошую ло-

вушку; если бы его не было, не было бы и автоколонн и партизаны не могли бы устраивать засады.

— Тогда могил здесь было бы вдвое больше и мы торчали бы здесь не две, а четыре недели. Слава богу, что этого не произошло. Мне осточертел этот пейзаж и эти крестьяне, которые во все суют свой нос.

— Да, много их тут вертится,— согласился священник.— Похоже, они испытывают удовольствие от всего этого.

— Они меня раздражают,— сказал генерал. — Особенно этот старик со своим допотопным револьвером на поясе.

Священник закашлялся.

— Знаете что,— сказал доверительно генерал,— я, честно говоря, опасаюсь этих психопатов. Взбредет ему что-нибудь в голову, он вытащит револьвер и пальнет в тебя среди бела дня.

— От этого сумасшедшего чего хочешь можно ждать,— сказал священник. — Нужно быть осторожнее.

Вдали, в горном ущелье, громыхнули раскаты грома.

Генерал закурил.

— Мне, в общем-то, понятен интерес этих крестьян к раскопкам,— сказал он,— солдат, служивший в свое время в охране этого моста, кое-что рассказал мне перед отъездом. Сейчас, когда я сидел здесь один, мне уже не в первый раз вспомнились его слова.

— Мы напомнили им о войне.

— Да, судьба этого маленького, забытого богом села во время войны оказалась связанной с мостом. Он принес им беду. После того как его взорвали, наши каратели устроили здесь резню. Если бы моста не было, бедствия войны миновали бы это село. Но мост построили, и случилось то, что случилось. А теперь вдруг появляемся мы и ищем здесь останки часовых, охранявших мост, и других солдат. Наверное, это всколыхнуло их воспоминания, вот им и не сидится дома. Вертятся вокруг рабочих, покупают сигареты в сарае, именно этот сарай больше, чем что бы то ни было, напоминает им о войне, спустя двадцать лет он снова открылся в связи с нашим появлением.

Приближалось уже время обеда, когда работа застопорилась. Эксперт обсудил что-то со старым рабочим, потом подошел к генералу и священнику.

— Две могилы завалены бетонными блоками,— сказал он.

— Что будем делать?

— Нужно взрывать динамитом.

— Хорошо, давайте динамитом. У нас есть с собой динамит?

— Нет. Завтра получим в районном центре.

Они пошли обедать.

После обеда заморосил мелкий дождь. Рабочие сидели в холодном прокуренном сарае и смотрели на дождь.

Глава восемнадцатая

Старый рабочий почувствовал себя неважно еще днем, но не придал этому значения. К вечеру он слег. Все решили, что он простудился. Его отвели в дом одного из крестьян, уложили возле самого очага, в котором развели сильный огонь. Но к ночи ему стало хуже.

Еще не рассвело, когда у входа в палатку, где спали генерал и священник, кто-то постучал. Генерал проснулся первым.

Священник встал и подошел к выходу. Это был эксперт.

— Доброе утро,— сказал он.— Простите, что побеспокоил вас.

— Ничего. В чем дело?

— Я хотел бы попросить у вас машину. Вы сегодня, по-моему, не собирались спускаться вниз, в город?

— Нет. А для чего она вам?

— Старый рабочий заболел. Нужно срочно доставить его в ближайший город.

Священник перевел его слова генералу.

— Пусть возьмут,— сказал генерал.

— А что с ним такое? — спросил священник.— Он уже вчера неважно себя чувствовал.

— Не знаю,— сказал эксперт.

— Может, простудился?

— Я подозреваю, что у него заражение крови,— сказал эксперт. — На левой руке у него небольшая царапина.

— Заражение? — генерал удивленно поднял голову.

Эксперт вышел.

— Боюсь, у него действительно заражение,— сказал священник.— Вчера вечером лицо у него было совершенно землистого цвета.

— Но как он мог заразиться?

— Может быть, оцарапался ржавой пуговицей или обломком кости. Вчера вскрывали много могил.

— Но он очень опытный рабочий. Это он учил всех, как следует вести раскопки.

— Он мог не заметить царапину,— сказал священник. —А возможно, руки у него были грязные.

— Нужно было отправить его вчера вечером.

— Дороги заброшены еще с войны и сейчас просто в ужасном состоянии. И днем-то с трудом можно проехать.

— И тем не менее.

— Они и сегодня успеют. Я не думаю, что это очень опасно. Сейчас есть сильные средства против инфекции.

Когда они вышли, несколько рабочих уже сверлили отверстия для динамита в разбитых железобетонных блоках. Остальные пили кофе.

— Без эксперта работа застопорится,— сказал священник. — Рабочие не знают, где копать.

— Он, наверное, вернется сегодня вечером. Самое позднее — завтра утром.

— Может, им лучше не работать до возвращения эксперта? — сказал священник. — Я боюсь, как бы еще чего-нибудь не стряслось.

— Может, посыпать разрытые могилы известью? — сказал генерал.

— Нужно спросить эксперта. Он в этом разбирается.

Они подошли к сараю и попросили кофе.

— Двадцать лет микроб дремлет под землей и вдруг оживает. Странно,— сказал генерал.

— Именно так,— сказал священник.— Он оживает, как только вступает в контакт с воздухом и солнцем.

— Словно дикий зверь, проснувшийся после зимней спячки.

Священник маленькими глотками пил кофе.

До самого обеда рабочие ничего практически не сделали. После обеда снова пошел дождь.

— Если что-нибудь случится, мы должны будем платить его семье,— сказал генерал.

— Пожизненную пенсию?

— Да. Так записано в контракте.

Эксперт вернулся утром на следующий день. Водитель грузовика первым заметил защитного цвета машину, с трудом вползающую вверх по горной дороге.

— Едут,— закричал он,— вернулись.

Генерал, священник и рабочие тут же вышли из сарая, где прятались от дождя.

Вдали, на шоссе, объезжая валяющиеся посреди дороги камни, полз вверх автомобиль.

— Поправился, наверное,— сказал кто-то.

Когда машина подъехала ближе, они увидели, что она вся заляпана грязью, а одно крыло помято.

Эксперт вышел первым. Он был бледен, лицо его осунулось. Он обвел всех безразличным, усталым взглядом, словно мысли его были далеко.

— Ну? Что случилось? — не выдержал кто-то.

Эксперт медленно обернулся, словно вопрос удивил его.

— Умер,— с трудом проговорил он.

— Умер?

— Да, умер. Что? Не верите? — закричал вылезший вслед за экспертом шофер. Глаза у него покраснели от недосыпания, а руки и лицо были вымазаны в грязи.

— Когда? — спросил кто-то.

— Сегодня ночью.

— У него было страшное заражение,— сказал эксперт почти шепотом.

Все молча направились к сараю.

— Вы попали в аварию? — спросил водитель грузовика.

— Нет,— ответил шофер,— просто я врезался в камень на дороге. Целую ночь не спал.

— Понятно.

— Свари-ка им кофе, не видишь, что ли, в каком они состоянии?— крикнул кто-то продавцу.

— Может быть, выпьете коньяку? Вам не повредило бы.

— Давай и коньяк.

— Расскажи нам, как все это случилось.

Шофер выпил рюмку до дна.

— Налей-ка еще,— сказал он продавцу.— Ну и ночь нам выдалась. Пока мы туда ехали, он всю дорогу молчал. Его то бросало в жар, то бил озноб, несколько раз он терял сознание. Мы уложили его на заднем сиденье, но легче ему все равно не стало. Я гнал вовсю. Один бог знает, как нам удалось не свалиться в пропасть. Мы все спрашивали его: «Реиз, как ты себя чувствуешь», но он только молча смотрел на нас, словно хотел сказать: плохо, братцы, плохо. Наконец мы добрались до города. Его сразу положили в больницу. Мы приходили туда каждые полчаса и спрашивали, как он. Санитары были очень обеспокоены. Раньше нужно было его привезти, сказал один из них. Мы поняли, что дело плохо. Мы хотели повидать его, но нам не разрешили. Наступила ночь. Мы бродили из одного кафе в другое. В гостиницу нам идти не хотелось. Где-то около одиннадцати мы снова пошли в больницу, чтобы узнать, как он там. И очень удивились, потому что нам сразу разрешили зайти. «Как он?» — спросили мы санитара. «Плохо,— ответил тот.— До утра не дотянет». Тогда мы поняли, почему нас пустили внутрь. Он умирал. Его сводила судорога. Лицо у него стало совсем темным. Увидев нас, он кивнул. Потом долго смотрел на царапину, словно хотел сказать: это все из-за тебя, пакость этакая. Он очень мучился, бедняга... Вот так все и кончилось. Налейка еще, черт побери! Эх!

В сарае стало тихо. Было слышно, как стучит по крыше полуоторванный кусок рубероида.

— Просто не верится,— сказал кто-то. — Был человек и нет его.

— Ушел от нас Реиз. И как это могло случиться?

— Хороший был человек — добрый, простой.

— Смельчак.

— Да. Смельчак.

— Кто его жене скажет?

— Ох, и не говори.

— Не зря ей, бедняге, не нравилась эта работа. Будто чувствовала беду. «Когда ты перестанешь раскапывать эти могилы?» — спрашивала она его в письмах. А он ей отвечал: «Подожди еще немного».

— Она очень беспокоилась,— сказал шофер. — Я как-то привез ей письмо, и она мне пожаловалась: «Столько лет ждала его, когда шла война, и теперь он будто снова на войне».

— Да, столько лет воевал с фашистами, победил их, а в конце концов все-таки погиб из-за них.

— Словно они отомстили ему после смерти.

— Отомстили через двадцать лет.

— Враг — он всегда враг, даже мертвый.

— Это верно.

— А эти два черных ворона молчат,— хрипло сказал шофер, с ненавистью глядя в сторону священника и генерала, стоявших в своих длинных плащах возле развалин моста. — Ну что, довольны теперь, а?

— Тихо! Не говори глупостей, Лило!

— Мы потребуем, чтобы его похоронили на кладбище павших героев.

— Конечно. Сегодня же отправим телеграмму в Комитет партии, в Тирану.

— Сначала нужно сообщить его жене.

В сарае снова наступила глубокая тишина, слышно было только, как ветер треплет кусок рубероида.

— Отняли у нас Реиза,— проговорил кто-то печально. — Убили они его.

Ветер стучал по крыше.

Глава без номера

— Нашли что-нибудь? — спросил священник.

— Нет,— устало ответил эксперт, осторожно ступая по большим комьям глины.

— Странно,— сказал священник.

— Копаем теперь в двух местах, отступив немного в сторону. Где-нибудь здесь должны найти.

К ним подошел генерал. Сапоги у него были вымазаны красной глиной, и он с трудом вытаскивал их из грязи.

— Ну что? — спросил он.

— Пока ничего,— ответил эксперт.— Никак не можем найти.

— Придется, видно, бросить поиски,— сказал генерал. — В каком он был звании?

— Лейтенант.

— Кто знает, куда он мог уползти, раненый.

Редкие капли дождя падали на красную глину. Небо у горизонта словно было завешено багровым занавесом, на землю падали красные, тревожные отсветы.

— Нашли! — закричал вдруг один из рабочих.

Эксперт отправился обратно к яме, ступая осторожно, чтобы не поскользнуться. Священник последовал за ним. Вернулся он расстроенный.

— Зря старались,— устало проговорил он. — Этот не из наших.

— А кто он? — спросил генерал.

— Эксперт говорит, что скорее всего английский летчик.

— Что будем делать? — спросил рабочий.

— Поехали,— сказал генерал. — Больше нам здесь нечего делать.

— А куда девать англичанина? — спросил рабочий.

— Закопайте снова,— сказал священник. — Ничего не поделаешь.

— Не наше дело с ним возиться,— сказал генерал.— Нужно закопать его обратно. Потеряли день. Совершенно впустую.

Глава без номера

Жили-были генерал и священник, и отправились они однажды за удачей. Нет, не за удачей они отправились. Они отправились собирать

кости солдат, убитых во время большой войны. Шли они, шли по высоким горам и бескрайним равнинам и все искали и собирали эти кости. Место было унылое, мрачное. Не переставая, дули ветры и лили дожди. Но они не свернули со своего пути. Собрали они, сколько собрали, и вернулись, чтобы пересчитать собранных. Вышло, что многих еще не хватает. Тогда обули они сапоги, надели плащи и снова отправились в путь. Шли они, шли по высоким горам и бескрайним равнинам. Погода была плохая, ненастная. Устали они, просто всю душу вымотала у них эта работа. Ни ветер, ни дождь не говорили им, где лежат те солдаты, которых они ищут. Собрали они, сколько собрали, и снова вернулись, чтобы пересчитать собранных. Пересчитали, и вышло, что многих они еще не нашли. Тогда, усталые, измученные, опять отправились они в дорогу, в долгую дорогу. Шли они, шли, и не было этой дороге конца. Была зима, шел снег.

— А медведь?

— И тогда вышел им навстречу медведь.

Эту сказку генерал повторял про себя почти каждый вечер, собирался рассказать ее, вернувшись, одной из своих племянниц. Его маленькая племянница, прослушав сказку, обычно спрашивала: «А медведь?»

Глава девятнадцатая

Наконец, на десятый день, они стали спускаться по петляющей автостраде все ниже и ниже, оставляя позади вершины гор.

Это был их последний маршрут, самый тяжелый. В горах все время шел снег. Десять дней подряд генерал не мог ничего разглядеть сквозь стекло машины. Бесконечная монотонность шоссе утомляла его.

Со всех сторон вздымались горы — высокие, холодные, надменные. Кое-где, в ущельях и на голых пустынных плоскогорьях, работали бригады молодых парней и девушек, они осваивали целинные земли, насыпали террасы. Террасы были длинные, они опоясывали склоны гор, словно бесконечные траншеи. Снег сыпал сухой, безразличный ко всему. Ночевали они в селах, а днем уезжали в горы.

Горные стрелки нашли свою смерть во время одной из зимних операций. Албанских кладбищ здесь тоже было много.

Местность была для их работы, наверное, самой неподходящей. Кладбища покрыты снегом, они с трудом ориентировались по топографической карте. Снег точно не хотел отдавать им то, что погребено под ним. Он покрыл все прекрасным, умиротворяюще-белым покрывалом, а кирки и лопаты его уродовали, прекрасное покрывало рвалось, расползалось в клочья, глубокие раны так и оставались до нового снега.

Автострада извивалась змеей. Автомобиль ехал впереди, за ним — грузовик с белым от снега брезентовым верхом, и генералу показалось, что они едут по той же дороге, что и вчера, и что вообще на свете нет ничего, кроме этого узкого горного шоссе, так круто петляющего, но никуда не ведущего. Именно теперь, когда их работа уже подходила к концу, он начал сомневаться, выберется ли он когда-нибудь отсюда.

На поворотах снова появлялись доты с узкими амбразурами, вертикальными и горизонтальными, похожими на рты, разинутые от удивления или скривившиеся в презрительной усмешке. Генерал смотрел на них, и ему казалось, что он теперь никогда не сможет избавиться от воспоминаний об этих застывших в иронической ухмылке каменных лицах.

За машиной, как привязанный, ехал грузовик с большими ящиками, в которых лежали сотни нейлоновых мешков с костями. На ящиках сидели рабочие в кожаных пальто, курили. После смерти самого старшего из них они больше не пели.

Генерал на своем веку повидал немало военных грузовиков. Он живо представил, как в них рядами, опершись подбородками на стволы винтовок, сидят солдаты и ритмично покачиваются. Сейчас солдаты снова ехали за ним, несколько сотен в одном грузовике, и снова покачивались. Только не разобрать было, где у кого подбородок, а где рука.

С того дня как они увидели памятник, священник снова стал молчаливым и мрачным. Такой убитый вид у него был только однажды утром, после того как он кричал во сне.

Памятник они увидели три дня назад, на перекрестке двух автострад. Он возник на дороге внезапно, словно человек, вышедший на обочину шоссе и голосующий проезжающим машинам. Генерал кивком головы показал священнику на памятник: тот, мертвенно побледнев, смотрел на памятник не отрываясь. В первый раз генерал видел священника таким потрясенным.

— Что это с вами? — спросил он его.

Священник не ответил. Машина свернула, и памятник с белыми от снега плечами, оказавшись на мгновение совсем рядом, промелькнул за окнами и остался сзади, там, на перекрестке.

Генерал попытался расспросить священника о памятнике, но тот ответил, что у него просто закружилась голова.

После этого они очень долго молчали.

Накануне они вскрыли последнюю могилу. Кирка с трудом вонзалась в землю, окаменевшую от мороза, решившую, казалось, не отдавать хотя бы последнего солдата. Рабочие отогревали дыханием руки, приплясывали на снегу. Генерал, глядя на рабочих, думал о том, что они извлекли из земли целую армию. Раздался последний удар кирки, словно прощальный выстрел, и эксперт крикнул: «Метр шестьдесят ровно».

Часто, глядя на копающих рабочих, генерал представлял себе, как хоронили солдат. Он щурил усталые глаза, особенно если это было вечером, когда видны были только темные силуэты, и ему казалось, что это копают не те пятеро, а солдаты, его соотечественники, которые двадцать лет назад хоронили своих товарищей. Он закрывал глаза и представлял себе, как они копали — часто ночью, иногда штыками и кинжалами.

Скоро он вернется на родину: этот маршрут был последним. Представители Министерства коммунального хозяйства и эксперты обеих стран усядутся за столы и подведут итоги, будет подписано множество бумаг, и, наконец, будет составлен заключительный протокол. Потом состоится небольшой официальный банкет с представителями обеих сторон, где будут произнесены короткие официальные речи, а после банкета — торжественная панихида за упокой душ погибших солдат. Телеграфные агентства сообщат об окончании их миссии, и он снова будет выступать на пресс-конференции перед сотнями нахальных журналистов.

Тем временем изготовят тысячи маленьких гробов, в соответствии с размерами, определенными в контракте, и в каждый гроб положат нейлоновый мешок с костями. Их погрузят на большой теплоход, и тот медленно отплывет, чтобы доставить на родину огромную армию, превратившуюся в несколько тонн фосфора и кальция. Когда теплоход прибудет на родину, там их снова рассортируют и отправят в разные места, туда, откуда были родом эти солдаты. С теплохода будут выгружены: два летчика, сбитые из ружья; и те четыреста, что пробивались сквозь ущелье и были скошены из партизанских пулеметов; и те восемнадцать, что по ошибке стреляли друг в друга в одной долине; и те пятьдесят, заколотые штыками прямо в казарме; и тот батальон, что был уничтожен полностью, и кости людей были перемешаны с костями ослов, лошадей, упряжью и оружием; и неизвестные солдаты, убитые неизвестными албанцами; и молодая проститутка,

так бессмысленно погибшая, единственная женщина среди всех этих мужчин (хотя и она в списке обозначалась просто «солдат», потому что, в конце концов, только анатом мог определить, был ли убитый мужчиной или женщиной).

Те, которых так и не нашли, останутся в Албании. Может быть, позднее прибудет какая-нибудь другая экспедиция и снова будут их искать. Их, пропавших бесследно, было около двухсот, с полковником Z во главе. Новая экспедиция снова пройдет по этим бесконечным, утомительным маршрутам, пока не соберет их всех по одному. Что же, интересно, подумает о генерале тот офицер, который будет возглавлять экспедицию? (Он, конечно, не будет генералом, потому что никто не станет посылать генерала из-за каких-нибудь двухсот человек.)

Автострада, извиваясь змеей вокруг гор, спускалась все ниже и ниже. Кольца ее постепенно распрямлялись, и генерал подумал, что все на свете так или иначе кончается, и на него снизошло спокойствие.

Горы отдалялись. Их очертания становились более мягкими, не такими угрожающими. Генералу хотелось сказать им: «Больше вы не будете меня угнетать. Вырвался я из вашей власти, вырвался». Но потом, когда он задремал в машине, его вдруг охватил смутный страх. Ему почудилось, что горы протягивают к нему свою ледяную руку, чтобы вернуть его в свои ущелья, где ветер воет, как в аду.

Нет, он никогда не вернется туда.

Вниз, в большое село, они спустились вечером. В первый раз за последние десять дней генерал улыбнулся. Все кончилось. Эту ночь они проведут здесь, завтра утром отправятся в Тирану, а потом, через несколько дней,— на родину. Генерал испытывал удовлетворение. Теплая волна радости охватила его.

В селе еще не зажглись огни. Машина въехала в центр села, и их сразу окружили мальчишки. Перед клубом шофер притормозил, чтобы узнать, где находится правление кооператива. Мальчишки, перебивая друг друга, стали объяснять ему, как проехать, затем одни ринулись вперед, чтобы показать дорогу, а другие побежали сзади.

Генерал улыбнулся. Дети всегда обращали на него внимание, в то время как священник их не интересовал. Генералу это нравилось, хотя он понимал, что все дело в мундире.

Ощущение собственной значительности, совсем было исчезнувшее в последнее время, вновь охватило его.

Шумный кортеж, проехав через все село, остановился перед зданием правления кооператива. Шофер и эксперт взбежали по ступенькам.

— В этом селе и пропал бесследно полковник Z,— сказал священник.

— Возможно,— равнодушно ответил генерал.

— Нужно будет спросить о нем,— сказал священник,— попытаться найти его следы.

— По правде говоря, поиски полковника меня в данный момент совершенно не интересуют,— медленно проговорил генерал. — Меня вообще уже не интересуют никакие поиски. Слава богу, что вся эта морока наконец закончилась, а вы опять ко мне пристаете.

— Но это наш долг,— сказал священник.

— Да, конечно, но в данный момент я даже не желаю об этом думать. Сегодня такой чудесный вечер. Вы меня просто удивляете. Сегодня у нас праздник. Я хочу расслабиться. Ванная с горячей водой. Вот что меня волнует. Полцарства за ванную,— добавил он со смехом.

Настроение у генерала было просто отличное. Подумать только, все их мытарства и скитания наконец закончились. Они пробились сквозь мрак и смерть. Как поется в старинной песне швейцарских солдат: «Вся наша жизнь — лишь путь сквозь мрак, сквозь вьюгу».

Генерал потирал руки.

Теперь он свободен. Теперь он может издали равнодушно глядеть на отвесные дикие горы.

«Словно одинокая гордая птица...» Он сейчас не мог вспомнить прощальную фразу, сказанную той знатной дамой.

Эксперт вышел из здания правления.

— Вы будете ночевать вот здесь,— и показал на небольшой дом с балконом.

Через десять минут генерал уже стоял на маленьком балконе, облокотившись на деревянные перила. В комнате священник распаковывал чемодан. Дом был двухэтажный, с двориком, а с балкона видно было село. Генерал слышал звон ведер, голоса женщин, набиравших неподалеку воду из колодца, мычание коров, голоса играющих мальчишек. Где-то включили радио. В домах зажглись огни, электростанция монотонно гудела.

И эта ночь прошла бы так же, как и остальные ночи, если бы генерал просто подышал перед сном воздухом, наполненным характерным ароматом албанских сел, легким, почти неуловимым ароматом, который генерал легко узнавал теперь среди множества других запахов. Священник пошел разузнавать о полковнике Z, а генерал, облокотившись на балкон, смотрел на женщин, набиравших по очереди воду из колодца. Все было бы как всегда, и ничего не произошло бы, но где-то вдали на другом конце села вдруг послышались звуки барабана и скрипки, сделавшие ночь таинственной и прекрасной.

Генерал узнал свадебный барабан. Он читал в книге об Албании, что албанские крестьяне обычно устраивают свадьбы осенью, после завершения уборочных работ. Уже второй год они ездили по албанским селам осенью, как раз в сезон свадеб. Сейчас уже приближалась зима, и это была, очевидно, одна из последних свадеб, которые по тем или иным причинам были отложены. А недавно, когда они только отправились по этому маршруту, свадьбы играли почти каждый день.

Генералу нередко приходилось слушать по ночам, как вдали рокот барабана пробивается сквозь шелест дождя и пиликает скрипка, то радостно, то печально, так, как играют обычно в этих местах. Насколько же чужим может быть человек в другой стране, думал он. Более чужим, чем деревья, растущие вдоль дороги, несмотря на то что они деревья, а не люди. И уж, конечно, более чужим, чем овцы, пастушьи собаки и телята с колокольчиками на шее.

Итак, и этот вечер прошел бы как любой другой вечер, если бы генерал просто сидел и слушал звуки вечернего села, а потом священник рассказывал бы ему, как он пошел в клуб, уселся за столик с крестьянами и стал спрашивать их о полковнике Z. Но это был последний вечер, и генерал почти не слушал, что говорил ему священник. Настроение у генерала было прекрасное.

— Ну ради бога! Хватит об этом! — перебил он священника.— Нам нужно немного отдохнуть и развлечься. Вы ничего против не имеете?

Священник не ответил.

— Какой прекрасный сегодня вечер. Немного музыки, немного коньяку...

— Пойти все равно некуда,— сказал священник,— здесь нет никаких заведений, кроме клуба кооператива. А вы отлично знаете, что у них за клубы.

Но генерал не слушал его.

— Мы гордимся своей миссией, не правда ли? Вы сами это говорили. А сегодня мы ее успешно завершили. Я хочу отдохнуть, послушать музыку, сходить в театр. Вы говорили, что свадьбы у них похожи на спектакль, верно? Или вы рассказывали о похоронах? Не важно. Важно то, что я хочу сегодня вечером развлечься. Если бы сегодня были похороны, мы пошли бы на похороны. Разве нет? Или

вы думаете, я спасовал бы перед этими крестьянами? Кроме того, вы говорили, что албанцы невероятно гостеприимны, так что, в сущности, мы ничем не рискуем.

Не дожидаясь ответа, генерал накинул дождевик и вышел.

Священник последовал за ним.

Глава двадцатая

Свадьбу играли в центре села. Еще издали они увидели яркие огни, в ярких пятнах света дождь, казалось, шел еще сильнее. Несмотря на непогоду, двери дома были распахнуты, и на широком крыльце стояли люди. Все время кто-то входил и выходил, весь переулок был оживлен, полон шорохов и непонятных звуков. Они молча шли вдвоем, закутанные в черные дождевики, и в переулке слышны были их шаги — тяжелые и широкие шаги генерала, ступавшего прямо по лужам, и легкие быстрые шаги священника.

Они на мгновение остановились у порога, обе створки дверей были распахнуты; на крыльце празднично одетые парни курили и тихо разговаривали. Они вошли внутрь; генерал — первым, священник — за ним. Коридор был полон людей — женщин и галдящих ребятишек. Барабан смолк, и слышны стали голоса мужчин. В коридоре произошла небольшая заминка: кто-то поспешил в дом, сообщить об их приходе, и к ним вышел старик, явно удивленный. Он приветствовал их, приложив руку к сердцу, помог им снять накидки, которые повесил возле крестьянских гун. Когда они вошли в большую комнату, сопровождаемые хозяином дома, все оживились, стали перешептываться.

Генерал не ожидал, что их появление произведет такое впечатление. Он настолько растерялся, что поначалу все видел смутно, как в тумане — словно искры из глаз посыпались от сильного удара по голове.

Кто-то усадил его за стол, кто-то взял у него шинель, и он, благодарно кивнув кому-то, пробормотал несколько слов.

Только когда вновь гулко зарокотал барабан, и запиликала скрипка, и снова начался танец, он стал понемногу приходить в себя. Затем он услышал мелодичный звон стекла, и кто-то рядом сказал на его языке: «Нужно чокнуться!» Он последовал совету, выпил. Тот же голос принялся что-то объяснять, но генерал был еще не в состоянии ясно воспринимать окружающее, он и сам не мог понять, отчего он так растерялся.

Теперь свадьба ожила, как огромное существо, бесформенное и могучее, оно дышало, двигалось, бормотало, танцевало и одурманивало все вокруг горячей, опьяняющей и мутной страстью.

Прошло немало времени, прежде чем генерал окончательно пришел в себя. Тут только он заметил, что мальчишки не сводят с него восторженных глаз. Они наклонялись друг к другу, показывая пальцами в его сторону, и что-то пересчитывали, наверное, золотые пуговицы или его генеральские нашивки, потому что потом они спорили друг с другом, покачивая головами.

Первый, кого он выделил из толпы, был тоже военный — солдат без фуражки. Ему объяснили, что это брат невесты и именно из-за него откладывали свадьбу, ждали его возвращения из армии. Солдат смеялся, болтал с девушками.

Затем генерал разглядел всех остальных: стариков с огромными усами, сидящих, скрестив по-турецки ноги, на миндере[1], степенно беседующих, дымящих длинными трубками; невесту, одетую в белое, очаровательно разрумянившуюся от смущения; жениха около нее; сбившихся в кучки девушек, хихикающих и шепчущихся по углам;

[1] Деревянная лавка вдоль стены.

молодых парней, затягивающихся первыми в своей жизни сигаретами; бойких смуглых музыкантов; снующих из комнаты в комнату озабоченных женщин и, наконец, одетых в черное старух с мрачными лицами мучениц с древних, выцветших икон.

Генерал только разглядывал всех и совершенно ни о чем не думал. Он пил ракию и все время улыбался, сам не зная, кому и чему улыбается.

Я не знаю, из какой ты армии, потому что я никогда не разбиралась в военной одежде, а теперь я уже слишком стара, чтобы научиться этому, но ты иностранец и служишь в одной из тех армий, что приходили нас убивать. Тебя научили проклятому ремеслу завоевателя, и ты один из тех, что сделали меня больной сумасшедшей старухой, которая ходит на чужую свадьбу, сидит в углу и неслышно разговаривает с тобой. Никто не слышит, что я тут бормочу, потому что у всех большая радость, и я не хочу портить другим веселье. И потому, что я не хочу портить им веселье, я сижу здесь в углу и шевелю губами, тихо проклиная тебя, совсем тихо, чтобы никто не слышал Я хочу знать, как ты посмел прийти на эту свадьбу, как тебя только ноги послушались и принесли сюда. Сидишь тут за столом и улыбаешься, будто придурок. Вставай сейчас же, бери шинель и уходи в дождь — туда, откуда пришел. Неужели ты не понимаешь, что ты здесь совершенно лишний, будь ты проклят?!

Женщины продолжали петь. Генерал почувствовал, что в груди у него разливается тепло. Он словно купался в огнях и звуках, как в теплом душе, смывающем с его тела могильный тлен, запах разложения и смерти. Генерал пришел в хорошее расположение духа. Ему захотелось побеседовать с кем-нибудь. Он поискал глазами священника. Тот сидел напротив за столом, сидел, не глядя по сторонам.

Генерал наклонился к нему.

— Видите, как здесь хорошо?

Священник промолчал.

Генерал почувствовал тревогу. Чужие взгляды впивались в него, словно стрелы. Они вонзались в карманы, в пуговицы, в погоны и лишь изредка — прямо ему в глаза. Темные и тяжелые стрелы мужчин и легкие, быстрые, скользящие стрелы девушек.

«Словно раненая, но гордая птица, ты полетишь...»

— Это очень занятно, верно? — снова спросил он священника.

Но священник опять не ответил ему. Он быстро взглянул на него и отвел глаза.

— Эти люди нас уважают,— сказал генерал.— Мы им внушаем уважение, хотя мы и были врагами... Смерть везде уважают... Война уже давно закончилась,— продолжал генерал.— Кто старое помянет... Я уверен, что никто на этой свадьбе не видит в нас врагов. Посмотрите, как все веселятся.

Священник промолчал.

Похоже, он чувствует себя здесь не в своей тарелке, подумал генерал. А я — здесь в своей тарелке или нет? Трудно сказать. Но лишние мы или нет, уйти мы уже не можем. Легче подняться под пулеметным огнем, чем встать сейчас, взять шинель и уйти в дождь с этой свадьбы.

Ты и сам понимаешь, что ты здесь лишний. Ты чувствуешь, что кто-то тебя здесь проклинает, потому что проклятие матери — самое страшное из всех проклятий. И хотя тебя приняли с почетом, ты понимаешь, что не нужно было приходить сюда. У тебя дрожит рука, когда ты поднимаешь рюмку с ракией, и перед твоими глазами возникают жуткие видения.

Снова зарокотал барабан. Зарыдала гэрнета[1]. Ей вторили скрипки. Пришли еще гости, запоздавшие, в мокрых насквозь гунах. Они обнялись со всеми по очереди и уселись за стол.

Похоже, свадьба у них — нечто святое, подумал генерал, иначе они не стали бы добираться сюда ночью. Дождь хлещет вовсю. Такой ночью и окоп не выкопаешь, его сразу зальет водой.

Говорят, ты собираешь своих мертвых земляков Может, ты много уже собрал и соберешь еще больше, может, ты даже всех соберешь, но одного тебе не найти во веки веков, так же как мне не увидеть никогда ни мою дочку, ни моего мужа. Хотя мне и хочется рассказать тебе о том, кого ты никогда не найдешь, но я не стану, потому что не хочу портить праздник людям. Ну и дождь лил той ночью, еще сильнее, чем сегодня. Все вокруг было залито водой. Даже яму нельзя было выкопать — она сразу наполнялась водой, совершенно черной водой, словно она просачивалась из самой ночи. И все же я вырыла яму. Но я не скажу об этом ничего, чтобы не отравлять другим веселье, даже если это и твое веселье, будь ты проклят!

Генерал закурил сигарету, сигарета показалась ему крохотной по сравнению с огромными трубками, вырезанными из корней можжевельника, длинными и черными, которые держали в руках старики, затягиваясь после каждой фразы, словно для поддержания неторопливого ритма беседы.

Хозяин дома, совсем древний старик, который встретил их в коридоре, подошел и сел рядом с генералом, с такой же трубкой в руках, как у остальных стариков. На груди у него на черном сукне блестела желтая медаль. Генерал часто видел такие желтые медали у крестьян, и за каждой медалью ему чудилось бледное лицо убитого солдата из его армии. Он улыбнулся старику, морщинистое лицо которого напоминало ему потрескавшийся ствол все еще крепкого дерева. Человек, сидевший рядом с ним, перевел ему слова старика. Хозяин дома просил извинения у гостя, что не может уделить ему подобающего внимания, потому что гости продолжают приходить и ему нужно встретить всех.

Генерал пробормотал несколько раз: «Ну что вы, я понимаю» и «Благодарю вас». Старик помолчал и неторопливо затянулся своей трубкой. Затем спокойно спросил его:

— Из каких мест к нам?

Генерал ответил.

Старик задумчиво кивнул, и генерал понял, что он никогда не слышал о его родном городе, хотя это был большой и известный город.

— А жена, дети у тебя есть? — снова спросил его старик.

— Да, я женат,— сказал генерал,— и у меня двое детей.

— Дай им бог здоровья!

— Спасибо.

Старик снова затянулся трубкой, и на лбу у него появились глубокие морщины, словно он собирался сказать что-то важное; генерал испугался, что старик заведет речь именно о том, о чем он меньше всего хотел здесь говорить.

— Я знаю, зачем ты здесь,— сказал старик совершенно спокойно, и генералу словно нож вонзили прямо в сердце. Все это время он со страхом ждал разговора, который мог бы привести к какому-нибудь инциденту, он сам старался забыть, кто он такой, тогда и другие, возможно, забудут об этом. Ведь он мог быть просто туристом, интересующимся народными обычаями, он расскажет потом о них друзьям у себя на родине. Генерал уже жалел, что пришел на свадьбу.— Да,—

[1] Народный музыкальный инструмент типа кларнета.

продолжал старик.— Это хорошо, что ты собираешь убитых солдат, каждый раб божий должен покоиться у себя на родине.

Генерал кивнул в знак согласия. Старик извинился, с трудом поднялся — ему нужно было встречать и приглашать к столу новых гостей.

Генерал с облегчением выпил. Настроение у него опять поднялось. Опасность провокации миновала, теперь он мог беззаботно веселиться и пить сколько ему вздумается.

— Видите? — снова спросил он священника. Язык у генерала слегка заплетался.— Они нас уважают. Я же говорил: кто старое помянет, тому глаз вон. Что вы сказали?

— В таких ситуациях нелегко разобрать, где требования обычая, а где уважение,— ответил ему священник.

— Генералов всегда уважают.

Генерал выпил еще рюмку.

— Знаете, чего мне хочется? — спросил он, приблизив лицо к священнику, глаза его при этом лукаво блеснули.— Мне хочется потанцевать.

Священник был поражен.

— Вы это серьезно?

— Совершенно серьезно.

Священник нервно дернул головой.

— Да что с вами сегодня?

Генерал разозлился:

— Хватит меня опекать, я не ребенок. Оставьте меня в покое, черт вас побери. Я не желаю, чтобы кто-то опекал меня.

— Потише,— сказал священник,— они могут услышать.

— Когда вы, наконец, прекратите мною командовать?

Священник потер рукой лоб, словно говоря: только этого нам не хватало.

— Я буду танцевать — и точка.

— Но вы же не умеете, вы будете выглядеть смешным.

— Я не буду выглядеть смешным: танцы у них простые. И потом, кого мне стесняться — этих крестьян?

Священник снова потер лоб рукой.

Мне сказали, что сегодня в клубе ты спрашивал о нем. Похоже, ты давно уже его ищешь. Но для чего тебе нужен этот проклятый полковник? Может, он был твоим другом? Ну конечно, он был твоим другом, раз ты его так долго ищешь. В селе опросили всех до единого, ведь все знают, что он гниет в земле где-то тут, рядом, но никто и представить не может где. Ты уйдешь отсюда без твоего друга, без твоего проклятого друга, сломавшего мне всю жизнь. И уходи как можно скорее, потому что и на тебе тоже проклятие. Теперь ты сидишь смирный, как ягненок, и улыбаешься, глядя на танцующих, но я-то знаю, что у тебя на уме. Ты думаешь: придет время, и твоя армия будет жечь наши дома, сжигать и убивать нас. Не нужно было тебе приходить на эту свадьбу Хотя бы из-за меня. Из-за меня, выжившей из ума старухи, из-за меня, горемычной. Но что это?! Ты собираешься танцевать? Ты осмеливаешься танцевать? Ты смеешься? Ты танцуешь? И никто тебя не прогоняет? Остановитесь! Что же вы делаете! Это уж слишком! Грех-то какой!

Гулко зарокотал барабан. Гэрнета зарыдала, ей вторили тонкими, будто женскими, голосами скрипки. Свадьба пустилась в пляс.

Генерал взглянул на танцующих, посмотрел на священника. Затем снова на танцующих. Снова на священника. На танцующих. На священника. На танцующих. На...

Генерал поднялся. Теперь уже ничего нельзя было изменить. Он, пошатываясь, направился к кругу, попытался войти в него. Три раза

он протягивал руки и тут же отдергивал их обратно, словно обжегшись. А потом танец волчком закружился вокруг него и старика хозяина. Тот припадал на одно колено, вскакивал, топал ногой, словно говоря: «Все будет так, а не иначе», размахивал белым платком перед своим партнером и вдруг резко приседал; казалось, он вот-вот упадет, словно подкошенный острым серпом, но он вскакивал и снова приседал. Барабан гремел все яростнее, голос гэрнеты накатывался волнами, словно какой-то великан кричал от тоски, а струны скрипок ожили и извивались, как змеи. Ритм, задаваемый барабаном, все нарастал, и теперь сквозь плач скрипки слышалось: кто-то перекатывает камни в пещере. Генерал продолжал стоять. У него закружилась голова от этого сумасшедшего сверкающего волчка. Он не сразу понял, что произошло дальше. Словно сквозь туман он видел мокрые от пота лица музыкантов, горло гэрнеты, словно ствол зенитки; закрытые в экстазе глаза танцоров. Потом вдруг барабан смолк, струны скрипок замерли, и все было чудесно, и все это продолжалось бы прекрасно до полуночи, а то и до рассвета, но в тот момент, когда все начали расходиться по своим местам, раздался стон. Генерала будто кольнуло что-то. Странно, сквозь шум голосов все услышали стон старой Ницы.

— Ой-ой-ой,— причитала она тонким голосом. В воцарившейся вдруг глубокой тишине слышен был не только ее плач, но и ее прерывистое дыхание. Генерал видел, как к Нице кинулись люди; и эта несчастная старуха, заголосившая ни с того ни с сего, успокоилась.

Если бы старуха и в самом деле успокоилась, как это показалось генералу, или если бы ее увели, все было бы в порядке и, возможно, генерал сидел бы там до полуночи или даже до утра, но старая Ница снова зарыдала. Ее плач заглушил все голоса, и веселье разом оборвалось. К старой Нице поспешили мужчины и женщины, но чем больше людей толпилось вокруг нее, тем громче она кричала. Музыканты начали было играть, но старая Ница заголосила еще сильнее, и инструменты смолкли, словно испугались.

Генерал видел, что в толпе происходит какое-то движение, но старая Ница вырвалась из нее, и прямо перед генералом предстало ее высохшее, желтое лицо, заплаканные глаза, ее совсем маленькое, худое тело. Что с ней? Что ей нужно? Почему она плачет? — спрашивал неизвестно кого генерал. Но никто ему не ответил. К старухе бросились две женщины, они взяли ее под руки и хотели увести, но она закричала, вырвалась и снова подошла к генералу. Он увидел ее искаженное ненавистью лицо и совершенно растерялся. Она отчаянно жестикулировала, выкрикивала что-то прямо ему в лицо, а он стоял перед ней — бледный, как полотно, и ничего не понимал. Потом старуху оттащили от генерала, и она ушла.

Генерал продолжал стоять — никто не перевел ему слова старой Ницы,— они не подозревали, что священник знает албанский язык. Все столпились вокруг плачущей невесты и побледневшей, торопливо крестящейся хозяйки дома.

— Я же говорил вам,— сказал подошедший священник.— Нам не нужно было сюда приходить.

— Что случилось? — спросил генерал.

— Сейчас не время. Потом объясню.

— Вы были правы,— сказал генерал.— Я поступил необдуманно.

Вся толпа, казавшаяся вначале многоцветной шумной рощей, превратилась вдруг в суровый зимний лес. Мрачно покачивались головы, плечи, руки — словно сухие голые ветки, а затем над всем этим с резким «карр» взлетела тревога.

— Что им нужно, зачем они приходят на наши свадьбы? — сказал какой-то парень.

— Тсс, говори потише, неудобно.

— Что неудобно? — вмешался другой.— У них хватает наглости даже танцевать.

— Мы не можем их прогнать. Таков обычай предков.

— Какой обычай? А несчастная Ница, с ней как быть?

— Тихо, а то услышат.

— Даже если бы они и понимали по-албански, все равно бы сейчас ничего не услышали в таком шуме.

Генерал со священником ничего не услышали. Генерал отвел глаза от мужчин и парней и уставился на старух, их черные платки обрамляли лица, как траурные рамки; старухи стояли молча, словно предчувствуя новые беды.

Генералу стало страшно. Он уже раскаивался, что пришел сюда. Значит, забыть прошлое не так просто; старое было помянуто, а албанцы — мстительный народ. Ради чего он здесь оказался? Что за идиотская прихоть? До сих пор повсюду он ездил охраняемый законом. А сегодня вечером он вдруг расхрабрился. И зачем ему только взбрело в голову отправиться на эту свадьбу? Здесь он уже не был под защитой закона. Здесь могло случиться все что угодно, и никто не нес бы за это ответственности.

— Пойдем отсюда,— сказал он решительно.— Пойдем отсюда немедленно.

— Да, да,— сказал священник.— Они нас оскорбили. Эта старуха ругала нас последними словами.

— Значит, перед тем как уйти, мы должны им ответить. Что кричала эта старуха?

Священник не успел ничего сказать, как к ним подошел хозяин дома.

— Оставайтесь,— сказал он, жестом приглашая к столу. Затем он подал знак, и женщины принесли ракию и закуску.

Генерал со священником переглянулись, снова посмотрели на хозяина.

— Всякое бывает,— сказал старик,— но вы оставайтесь. Садитесь.

Поскольку стоять им было неловко, генерал и священник сели. Так они вроде меньше привлекали внимание.

Гости как будто успокоились и снова усаживались за столы. Рядом с генералом сел тот человек, что пытался переводить тосты.

Он объяснил, что старая Ница — выжившая из ума старуха, совсем одинокая, во время войны карательный батальон полковника Z повесил ее мужа. А ее четырнадцатилетнюю дочь полковник заманил в свою палатку, и наутро девочка утопилась в колодце. А на следующую ночь полковник пропал. Говорили, что вечером он снова пошел в дом Ницы, ведь он не знал, что девушка утопилась, а охрана дожидалась его снаружи. Он долго не возвращался, но у охраны был приказ ждать до самого утра. Утром в доме никого не оказалось, и неизвестно было, куда исчез полковник Z. Слухи ходили разные, поговаривали, что его срочно вызвали в Тирану, но на следующий день батальон отправился дальше.

Все это он рассказывал сбивчиво, путано, слова отзывались в голове у генерала, словно удары молота.

Снова заиграла музыка, но довольно долго никто не танцевал. Потом в круг вышли женщины. О старой Нице словно забыли. Генерал сидел за столом, точно окаменев, ничего не соображая. Глаза его вновь встретились с глазами священника.

— Что сказала эта старуха? — спросил генерал.

Священник пристально посмотрел на него своими серыми глазами, и генералу стало не по себе.

— Она сказала, что вы друг полковника Z и что она нас ненавидит.

— Я друг полковника Z?

— Да, так она сказала.

— Почему она так думает?

— Не знаю.

— Может быть, потому, что мы всех расспрашивали о полковнике,— сказал генерал задумчиво.

— Возможно,— сухо ответил священник.

Генерал еще больше помрачнел и погрузился в размышления.

— Я сейчас встану и скажу всем, что я вовсе не друг полковника Z и что мне, как военному, неприятно даже упоминание о нем.

— А для чего вам это нужно? Вы хотите доставить удовольствие этим крестьянам?

— Нет,— сказал генерал.— Я должен сделать это, чтобы защитить доброе имя и честь нашей армии.

— Неужто доброе имя нашей армии могла запятнать своей руганью эта старуха-албанка?

— Я хочу сказать, что не все наши офицеры тащили к себе в палатки четырнадцатилетних девочек, забыв о своей воинской чести, и не все они позволяли убивать себя женщинам.

Священник нахмурился.

— Не нам судить,— медленно произнес он.— Судить может только он, там, на небе.

— Они думают, что я его друг,— продолжал генерал.— Вы что, не видите, как они на нас смотрят? Оглянитесь вокруг. Посмотрите им в глаза.

— Вы боитесь? — сказал священник.

Генерал сердито взглянул на него, хотел ответить ему что-то резкое, но тут зарокотал барабан, и слова замерли у него на устах.

Генералу в самом деле стало страшно. Слишком далеко завело его сегодня сумасбродство. Теперь нужно было осторожно отступать. Нужно успокоить как-нибудь этих дикарей. Нужно сразу отречься от полковника Z.

Внешне все было мирно, но генерал чувствовал, что внутри этого клубка что-то назревает. Люди переглядывались, перешептывались. В коридоре, рядом с пальто и гунами, на вбитых в стену гвоздях висели ружья гостей. Священник рассказывал ему, что у албанцев на свадьбах часто случаются убийства.

Нужно было что-то предпринять, пока не поздно. Если они просто так встанут и пойдут, то какой-нибудь пьяный может выстрелить им в спину. От собаки нельзя убегать, иначе она укусит. Отступать надо осторожно.

Генерал посмотрел вокруг мутными глазами, вновь окинул взглядом всех этих людей — движущихся, танцующих, смеющихся, опять увидел неподвижно сидящих старух, их суровые, отрешенные лица, напоминающие иконостас, и устало опустил голову.

Барабан продолжал глухо рокотать, хрипло заплакала гэрнета. Мужчины за столом затянули песню, и генерал явственно увидел, как мрак надвигается на горы, и услышал протяжную песню женщины; он напрягся — у него захватило дух от этой песни.

— По-моему, самое время уходить,— сказал генерал священнику.

Священник кивнул.

— Да, пора,— согласился он.

— Главное — уйти незаметно.

Приближалась полночь, свадьба была в разгаре, и все, вероятно, успели забыть о старой Нице, но она вернулась. Она появилась в тот самый момент, когда генерал и священник решили подняться. Генерал раньше всех заметил ее. Он почувствовал ее, как старый охотник чувствует присутствие тигра в джунглях. У входа засуетились и стали шептаться. Играла музыка, но никто не слушал ее. Все столпились у двери. Старая Ница вошла внутрь, и многие невольно вскрикнули.

Она была вся мокрая, вымазанная грязью, лицо ее было белым, как у покойника, в руке она держала мешок.

Генерал невольно поднялся и пошел к ней, словно зверь, который, заслышав издали рев своего врага, загипнотизированный им, не убегает, а бежит ему навстречу.

Люди растерянно столпились вокруг, не зная, что делать. Старая Ница стояла, глядя на генерала блуждающим взглядом, будто смотрела не на него, а на его тень, и проговорила что-то, захлебнувшись в кашле.

— Переведите мне! — закричал генерал, и в его голосе был крик о помощи. Но никто не перевел. Он оглянулся и увидел священника. Тот подошел к нему.

— Она говорит, что когда-то убила офицера из наших, и спрашивает, не вы ли тот генерал, что ищет останки военных,— сказал священник.

— Да, госпожа,— глухо ответил генерал. Он собрал все свои силы, чтобы выдержать взгляд этой наводившей на него ужас старухи.

Старая Ница сказала еще что-то, но священник не успел перевести ее последние слова, потому что они утонули в дружном возгласе окружающих, когда она бросила на пол, прямо под ноги генералу, мешок, который принесла с собой. Женщины заголосили. Священнику уже не нужно было ничего переводить, все и так было ясно. Генерал уставился на мешок, не могло быть для него ничего страшнее этого мешка, упавшего с глухим стуком на пол, мешка, облепленного комьями черной мокрой земли. Перепуганные женщины отскочили, закрыв лица руками, а сидевшие в стороне старухи крестились и потрясенно шептали:

— Она похоронила его у собственного порога.

— Эх, Ница, горемыка ты наша! — выкрикнул кто-то.

Старая Ница повернулась и вышла. Никто и не подумал ее остановить, то, что она должна была сделать, она сделала.

Генерал не мог отвести взгляд от мешка, в ушах у него звенело от шума, выкриков и охватившего его ужаса. Он даже не задумался, почему вдруг наступила полная тишина, или, может, он просто оглох. Перед его ногами зловеще чернел старый мешок, и странно — он даже заметил на нем заплатки. Кому-то нужно его взять, подумал он в оцепенении. И тогда, в гнетущей тишине, он медленно нагнулся и дрожащими руками поднял грязный мешок. Затем надел шинель, медленно закинул мешок на плечо и вышел под дождь, пригнувшись, словно на спину его легла тяжесть стыда всего человечества. Священник вышел за ним.

У них за спиной кто-то зарыдал в голос.

Глава двадцать первая

Генерал шагал впереди, прямо по лужам, священник следовал за ним. По узкому переулку они вышли на площадь посреди села, миновали старую церковь и вдруг поняли, что заблудились. Они молча повернули обратно — впереди генерал и следом священник, снова прошли мимо колодца, клуба и церкви, но своего дома так и не обнаружили. Два раза они возвращались на одно и то же место — это они поняли по черневшей перед ними колокольне. Дул такой сильный ветер, что казалось, соединив усилия, ветер и дождь вот-вот качнут колокол и тот зазвонит в вышине.

У генерала онемела рука, державшая мешок.

Какая ты легкая, Бети, сказал он мне как-то вечером в парке. Мы бродили, обнявшись уже вторую ночь перед нашей свадьбой. Была теплая, чудесная осенняя ночь. После обеда прошел дождь. Он нес меня на руках, словно ребенка, и все повторял: какая ты легкая,

Бети, или мне так только кажется от счастья? Я бы хотел всю жизнь носить тебя на руках, Бети. Вот так, как сейчас. Он целовал мои волосы и повторял: какая ты легкая.

Теперь ты сам легче всех на свете, подумал генерал. Три-четыре килограмма, не больше. И тем не менее я просто весь согнулся под твоей тяжестью.

Они еще раз повернули назад и долго бродили по селу, пытаясь уйти как можно дальше от церкви, которая вновь и вновь появлялась прямо перед ними, пока не наткнулись на свой автомобиль, едва различимый в темноте.

Они вспомнили, что он стоял прямо перед их домом.

Генерал открыл ворота и вошел во двор. Он толкнул дверь в дом, бросив мешок у входа. Мешок мягко шлепнулся в грязь, и генерал онемевшей рукой достал зажигалку.

При слабом свете зажигалки он поднялся по лестнице, вошел в комнату, скинул мокрый плащ на пол и, не раздеваясь, упал на кровать. Он слышал, как скрипнула дверь и кто-то улегся на соседнюю кровать.

Священник, подумал он.

Он долго не мог заснуть, безуспешно пытаясь разобраться в своих ощущениях.

Хочу спать, подумал он. Спать. Спать. Отключиться, умолкнуть, как грузовик за окном. Спать.

Он встал, принял люминал и снова ляжет. Но как только начал засыпать, вдали, за площадью, вновь зарокотал барабан, и он в страхе открыл глаза.

Неужели эта проклятая свадьба все еще продолжается? — спросил он себя.

Генерал с головой укрылся одеялом, чтобы ничего не слышать, но безуспешно. Ему мерещилось, что в голове у него сидит, скорчившись, маленький, совсем маленький человек и бьет в крохотный барабанчик, похожий на те, что носят оловянные солдатики. А куда бы генерал ни прятал голову и как бы ни затыкал уши, человек был там, сидел, скрестив по-турецки ноги, и непрерывно бил в барабан: бам-бара-бам, бам-бара-бам, бум-буру-бум, бум, бум, точно под барабанную дробь маршировали солдаты.

Это марширует моя великая армия, подумал он. Вдруг он резко приподнялся и мысленно приказал себе: хватит! Вновь опустил голову на подушку, но тут же вскочил.

— Священник, эй, священник, полковник, вставайте,— заорал генерал.

Священник испуганно вскочил.

— Что случилось?

— Уезжаем отсюда, сейчас же, вставайте!

— Уезжаем? Куда?

— В Тирану.

— Но еще ночь.

— Не важно. Поехали.

— Это так срочно?

— А вы не слышите? Не слышите барабан? Там все это продолжается, и у меня скверные предчувствия.

— Вы боитесь? — спросил священник.

— Да,— сказал генерал.— Я боюсь, что они придут сейчас всей толпой прямо к нашему дому и будут бить в барабан, чтобы изгнать нас, так, как некоторые народы изгоняют злых духов.

Генерал стал упаковывать свой чемодан.

— Один танец,— бормотал он.— Я хотел станцевать всего один танец с ними, и вот чуть не случилось непоправимое. Господи, что же это за страна!

— Не нужно было туда ходить.

— Всего один танец, а он чуть не превратился в танец смерти.

Священник что-то пробормотал, и они друг за другом вышли из комнаты. Генерал, скрипя сапогами, спустился по деревянным ступенькам. Подойдя к воротам, он оглянулся и увидел, что священник что-то несет на плече.

Мешок, подумал он.

Они вышли на улицу. Дождь прекратился, и мрак начал рассеиваться.

— Который час? — спросил священник.

Генерал посветил зажигалкой.

— Половина пятого.

— Скоро уже рассветет.

Где-то закричали петухи. С гор дул ледяной ветер.

Они остановились возле автомобиля и посмотрели на небо. Казалось, кто-то огромной кистью мажет небо белой краской, но ночной мрак тут же впитывает ее, и остается только серый, влажно-холодный след.

— Водители спят в этом доме,— сказал священник, показывая на дом напротив.

— Разбудите нашего шофера,— приказал генерал,— скажите ему, что я себя плохо чувствую и нам сейчас же нужно ехать в Тирану.

Священник толкнул калитку, зазвенел маленький колокольчик, и в соседнем дворе залаяла собака. К ней присоединилась другая, и вскоре все собаки в селе захлебывались лаем.

Но даже сквозь собачий лай генерал слышал грохот барабана и далекий невнятный гул.

Опять скрипнула калитка, и священник с мешком на плече подошел к генералу.

И что ты таскаешь с собой этот мешок? — подумал генерал.

— Одевается,— сказал священник.— Сейчас выйдет.

— Собаки,— сказал генерал.

— Да. Деревенские собаки всегда так. Залает одна, а за ней и все остальные.

Пусть лают, подумал генерал. Это еще ничего. Если бы они знали, что в грузовике, вот бы они завыли.

Вскоре из дома вышел шофер, закашлялся от холодного ночного воздуха, потом открыл дверцы автомобиля, и генерал уселся на заднее сиденье.

— Откройте, пожалуйста, переднюю дверцу,— попросил священник.

Шофер открыл.

— Что это? — удивился он.

— Мешок,— сказал священник.— Он нам нужен.

Шофер ногой поправил мешок, священник сел рядом с генералом.

Машина тронулась.

Свет фар скользнул по темным заборам, упал на шоссе. Генерал плотнее запахнул шинель, устроился поудобнее в своем углу и закрыл глаза. Теперь слышно было только мягкое урчание мотора, и ему ужасно захотелось спать. Но воспоминания о свадьбе не давали ему покоя.

Я хочу спать, сказал он себе. Я не хочу ни о чем вспоминать. Не хочу больше думать об этом.

Но он снова представлял себе, как снимает мокрый плащ и садится за свадебный стол.

Он открывал глаза, но вокруг был сумрак, расступавшийся впереди, словно позволяя машине проехать, и тут же смыкавшийся позади нее.

Священник дремал, уронив голову на грудь.

Автострада летела им навстречу, совершенно прямая, потом сворачивала в сторону, затем снова бежала ровно, потом опять поворачивала.

Сбоку время от времени возникали белые километровые столбики. Генералу чудилось, что это надгробные камни.

Неожиданно шофер затормозил. Священник головой ткнулся в переднее сиденье.

— В чем дело? — растерянно спросил он.

Генерал не шевельнулся, отрешенно глядя в пространство. Машина остановилась перед мостом. Внизу журчала вода.

— В чем дело? — повторил священник.

Шофер что-то буркнул про мотор и вышел, громко хлопнув дверцей.

Фары высвечивали перила моста. Шофер поднял капот, покопался в моторе. Затем он открыл дверцу и, отодвинув в сторону мешок, принялся что-то искать. Потом вытащил мешок из машины и поднял сиденье.

Генерал тоже вышел из машины. Размашистым шагом стал нервно расхаживать возле нее. Шофер выругался сквозь зубы, продолжая что-то искать. Генерал споткнулся о мешок.

Все этот мешок, подумал он, из-за него нам чуть не свернули головы. До сих пор все было хорошо, но вот появился этот проклятый мешок, и все пошло шиворот-навыворот.

— Он приносит несчастье,— громко проговорил генерал.

— Что вы сказали? — спросил священник, продолжавший сидеть на заднем сиденье.

— Я сказал, что этот мешок приносит несчастье,— повторил генерал и с силой пнул его носком сапога. Мешок с глухим стуком покатился вниз.

— Что вы наделали? — воскликнул священник и выскочил из машины.

— Этот мешок принес нам несчастье,— сказал генерал, задыхаясь от ярости.

— Мы с таким трудом его нашли. Мы два года его искали!

— Из-за этого мешка мы чуть не погибли,— устало проговорил генерал.

— Что вы наделали? — повторил священник и включил карманный фонарь.

— Я не собирался его сбрасывать, черт возьми! Я просто пнул его.

Они подошли к обрыву и посмотрели вниз, туда, где бурлила вода. Свет фонарей терялся во мраке.

— Ничего не видно,— сказал генерал.

Подошел шофер, они уже втроем смотрели вниз.

— Наверное, его унесло водой,— сказал генерал голосом, в котором слышались усталость и раскаяние.

Священник зло посмотрел на него и направился к машине.

— Холодно,— сказал генерал шоферу.— Ветер просто обжигает,— и сел в машину вслед за священником.

Он мечется в темных струях воды, как больной в лихорадке, подумал генерал, закрывая глаза, чтобы не видеть километровые столбики, и пытаясь заснуть.

Глава двадцать вторая

Прошло две недели. И вот наступил последний день их пребывания в Албании. Генерал встал поздно. Открыл жалюзи. За окном было пасмурно.

Сегодня у меня много дел, подумал он. Нужно зайти в авиакомпанию за билетом. В четверть двенадцатого панихида, а в полпятого банкет.

На тумбочке возле кровати лежала большая груда писем, телеграмм, газет и журналов, присланных с его родины.

Писем было много. Сотни писем со всех краев его страны, запечатанные в конверты, продолжали прибывать — всякие истории, случаи, приключившиеся на войне, иногда карта побережья, план дома или даже целого села, старательно нарисованный каким-нибудь ветераном.

Генерал бросил всю груду писем в корзину для мусора и вышел. Медленно спустился по лестнице. Прошел по мягкому ковру холла и спросил, где он может найти метрдотеля.

Позвали метрдотеля.

— Вам сообщили о небольшом банкете сегодня после обеда?

— Да, сэр,— ответил тот.— В половине пятого в третьем зале все будет готово.

Генерал спросил о священнике. Тот уже вышел.

В холле царило оживление. Все время звонили оба телефона, у лифта толпились люди с чемоданами. Несколько негров сидели в огромных креслах; группа китайцев в сопровождении двух девушек прошла в ресторан; в холле два блондина, похоже австрийцы, ждали телефонного разговора с Веной.

В правом зале, где генерал обычно пил кофе, свободных мест не было. Никогда он еще не видел в «Дайти» столько иностранцев.

Он направился к выходу. И в дверях столкнулся с африканцами, входившими в отель с чемоданами в руках.

На улице, под высокими елями, стояло множество легковых автомобилей.

С чего это такое оживление? — удивился он, спускаясь по лестнице. Он пошел по бульвару, направо, в сторону министерств.

Площадь Скандербега была увешана флагами. Фасады министерств и колонны Дворца культуры были украшены лозунгами и разноцветными лампочками.

Ах да, послезавтра у них национальный праздник, совсем вылетело из головы, пробормотал про себя генерал.

На тротуарах было очень оживленно. Люди, как всегда, толпились у афиш кинотеатра напротив башни с часами. Он прошел мимо афиш, но даже не обратил внимания, какие там фильмы.

Взглянул на часы. Было уже одиннадцать.

За билетом зайду после панихиды, подумал он и повернул налево. Перед банком, позади кафе «Студент», на автобусных остановках бушевало настоящее людское море. Здесь было кольцо автобусных маршрутов от текстильного комбината, киностудии, из района Лапраки, с других окраин города, и он с трудом пробивался сквозь толпу. До церкви, где служили панихиду, была всего одна остановка, и он решил пойти пешком.

Он шел посреди тротуара и думал о мешке с останками полковника.

Он не мог ясно вспомнить, как это все произошло. Помнил только, что был в подавленном, угнетенном состоянии. А теперь, когда та бессонная тяжелая ночь осталась в прошлом, он не мог объяснить себе свой поступок.

Так или иначе все это нужно каким-то образом уладить. Надо будет поговорить вечером со священником. У них было много солдат ростом метр восемьдесят два. Ну, а насчет зубов вообще можно не беспокоиться. Кому придет в голову сомневаться в подлинности останков полковника? Никому.

Он попытался вспомнить, у кого из солдат был такой же рост, как у полковника Z, но не смог. Каждый раз, когда эксперт произносил громко: «Метр восемьдесят два», генерал всегда повторял про себя: «как у полковника Z». Но теперь не мог припомнить ни одного из них.

Ему удалось вспомнить только летчика, случайно найденного возле сельской проселочной дороги, английского летчика, которого они закопали обратно.

Потом он вспомнил солдата, который вел дневник. Рост у него был тоже метр восемьдесят два. Генерал подумал о том, что произойдет, если вместо останков полковника подсунуть кости этого солдата. Он представил, как семья и все родственники полковника встречали бы останки простого солдата, какую бы величественную панихиду и торжественные похороны устроили бы, как рыдала бы одетая в траур Бети, поддерживая под локоть старуху мать полковника, и как мать рассказывала бы всем приглашенным о своем сыне. Затем они опустили бы кости солдата-дезертира в пышно украшенный гроб, предназначавшийся для его убийцы, звонили бы колокола, какой-нибудь генерал произнес бы фальшивую речь... какое это было бы надругательство над всеми, какой смертный грех. И если на самом деле существуют духи и призраки, той же ночью этот солдат встал бы из могилы.

Нет, сказал себе генерал. Лучше найти кого-нибудь другого. Наверняка можно найти. Панихида начиналась через две минуты. Церковь видна была издали — красивая, построенная в современном стиле. Перед ее ступенями, на оживленной улице, стояло множество роскошных автомашин самых разных марок.

Прибыли дипломаты из иностранных посольств, подумал генерал и быстро взбежал по мраморным ступеням. Панихида уже началась. Он обмакнул кончики пальцев в чашу со святой водой, стоявшей справа, перекрестился и отошел в сторону. Он взглянул на священника, который вел службу, но слышно было плохо, и он принялся разглядывать развешанные повсюду черные траурные полотнища и установленный посреди церкви пустой гроб, тоже обитый черной тканью. В полумраке горели свечи, все были в траурных костюмах, и хотя сквозь высокие витражи и пробивался солнечный свет, в церкви было мрачно и холодно.

Священник молился за души покойных солдат. Лицо его было бледным от бессонницы, а серые глаза смотрели устало и страдальчески. Дипломаты слушали внимательно, с серьезными лицами, и в церкви кроме запаха свечей и ладана витал тонкий аромат дорогого одеколона.

В полной тишине заплакала вдруг женщина.

Из нашего посольства, подумал генерал.

Голос священника проникал во все уголки церкви, набатно-гудящий и торжественный:

— Requiem aeternam dona eis[1].

Стоящая перед генералом женщина разрыдалась и достала платок.

— Et lux perpetua luceat eis[2],— продолжал священник, глядя вверх, на распятое тело Христа.— Requiescat in pace[3],— закончил он, и голос его отозвался эхом во всех уголках церкви.

— Amen[4],— произнес дьякон.

В наступившей тишине генералу казалось, что он слышит даже тихое шуршание горящих свечей.

Мир праху, повторил генерал про себя, чувствуя, как его сердце наполняет тоска.

И когда священник поднял вверх просвиру, когда все опустились перед ним на колени, а он поднял чашу с красным вином и стал вкушать тело Христово и пить кровь его за спасение их душ, генерал

---

[1] Вечный покой даруй им, Господи *(лат.)*.

[2] Да озарит их вечный свет *(лат.)*.

[3] Мир праху *(лат.)*.

[4] Аминь *(лат.)*.

вдруг представил себе этих солдат — тысячи и тысячи солдат, с алюминиевыми котелками в руках, стоящих у огромного котла в очереди за порцией фасоли, и от лучей заходящего солнца на котелках и стальных касках играют пурпурные, неземные, потусторонние отсветы.

Да озарит их вечный свет, повторил он про себя, опустившись на колени и мрачно уставившись на холодные мраморные плиты.

Прозвенел колокольчик, и все поднялись.

— Ite missa est[1],— прогремел голос священника.

— Deo gratis[2],— подхватил дьякон.

Публика направилась к выходу. На улице уже негромко урчали моторы, и когда генерал вышел, машины дипломатов стали трогаться с места одна за другой. На остановке возле церкви он дождался автобуса, прошел к большому заднему стеклу и встал там.

— Граждане, берите билеты,— сказала женщина-кондуктор.

Он понял слово «билеты» и спохватился. Сунул руку в карман и достал сотенную бумажку.

Он догадался, что кондуктор спросила, нет ли у него мелочи, и отрицательно покачал головой.

— Три лека,— проговорила она и, показав ему три пальца, повторила свой вопрос.

Генерал снова покачал головой.

— Да он иностранец, товарищ,— нехотя проговорил высокий парень.

— Это я и сама сообразила,— сказала женщина и стала набирать ему сдачу.

— Наверное, какой-нибудь албанец из Америки,— сказал старик, сидевший возле кондуктора.— Из тех, что совсем забыли албанский язык.

— Нет, папаша, он иностранец,— сказал парень.

— Уж ты мне поверь,— настаивал старик,— я в этом хорошо разбираюсь, он из этих, из Америки.

Генерал понял, что говорят о нем и что его приняли за американца.

Пусть считают меня кем угодно, подумал он.

Когда автобус остановился перед Национальным банком и все стали выходить, он встретился взглядом со стариком.

— Ол райт,— громко сказал ему старик, выходя из автобуса, и засмеялся, очень довольный собой.

Генерал пробился сквозь толпу крестьян, дожидавшихся автобусов на Камзу и Юзбериши, и очутился на большом бульваре. В авиакомпании он пробыл недолго. Спрятав билет в карман, он вышел на улицу Дибры.

Здесь перед фруктовыми лавками, возле закусочных и у большого универмага толпился народ. Проходя мимо универмага, генерал решил купить какой-нибудь сувенир.

Постояв немного перед витринами, он зашел в магазин. Сувениров было много, самых разных, и он внимательно их разглядывал. Ему всегда нравилось покупать сувениры.

А что, интересно, покупали на память солдаты, уезжая из Албании?

Маленький человечек у него в голове вдруг снова забил в барабан, сначала медленно, а затем все быстрее, быстрее, быстрее. Только теперь он не сидел, скрестив по-турецки ноги, а стоял блестящий, черно-белый, в красной джокэ с черными лентами, а на голове у человечка была телешэ. Он стоял и бил в барабан — весь из сверкающего фарфора, и генерал не мог отвести от него глаз.

---

[1] Месса закончена *(лат.)*.

[2] Благодарение Господу *(лат.)*.

Он показал на него рукой.

Девушка достала с полки фигурку, завернула и протянула ему.

Глава двадцать третья

Бам-бара-бам, бам-бара-бам, бам-бам-бам.

— Хэлло.

Генерал, удивленный, обернулся.

— Хэлло,— ответил он.

На тротуаре перед отелем стоял генерал-лейтенант. Левый рукав его шинели был засунут в карман, а в правой руке он держал трубку.

— Как вы себя чувствуете?

— Плохо,— сказал генерал.— А вы?

— Я тоже неважно.

Генерал-лейтенант затянулся и вынул трубку изо рта.

— Прежде всего, хотя и прошло уже довольно много времени, я хотел бы принести вам свои извинения за тот прошлогодний инцидент,— сказал он, глядя в сторону.— Мне вручили ваш протест. Но я заверяю вас — это случилось не по моей вине, и я очень сожалею об этом.

Генерал рассеянно посмотрел на него.

— А кто же был виноват? — спросил он.

— Мой компаньон. Это он напутал. И не только в тот раз. Пойдемте, посидим где-нибудь. И я все вам расскажу подробно.

— Извините, у меня сейчас нет времени. Поговорим здесь.

— Тогда лучше отложим до вечера. А как у вас все прошло?

— Я же сказал — плохо,— повторил генерал.— Дороги были очень плохие.

— Да, да...

— Кроме того, у нас умер рабочий.

— Умер? Почему? Несчастный случай?

— Заразился.

— Каким образом?

— Толком так и не выяснили. Наверное, поцарапался обломком кости или ржавым осколком.

Генерал-лейтенант удивленно покачал головой.

— Вы, конечно, выплатите семье компенсацию?

Генерал кивнул.

— Никогда мне еще не доводилось видеть столько гор,— сказал он немного погодя.

— А сколько их у вас еще впереди.

— Нет, мы уже все закончили,— сказал генерал.— Это был последний маршрут.

— Закончили? Вот здорово. Ну, значит, это мне доведется увидеть их снова.

— Повсюду горы, а молодежь разбивает на них террасы. Вы видели?

— Ну да. Копают, все время копают.

— Насыпают новые поля, будут опять выращивать хлеб.

— Я видел в одном месте, что они засеяли даже железнодорожную насыпь.

— Где они только не сеют. Похоже, им не хватает земли.

— Наверняка они рады, что мы забираем солдат.

— Да. Опустевшие кладбища они тут же распахивают. Это они называют «дегероизировать» землю.

Генерал засмеялся.

— А у вас как дела? — спросил он.

— Плохо,— ответил тот.— Мы уже больше полутора лет кружим по всей Албании, но до сих пор очень мало сделали.

— У вас возникли какие-то трудности, вы говорили.

— Да, трудностей у нас хватает,— сказал генерал-лейтенант, глубоко вздохнув,— а тут еще это происшествие.

— Какое происшествие?

— Очень неприятное. Видите, я брожу в одиночестве? Постойте-ка. Вот что я хотел вас спросить — где же ваш коллега, святой отец?

— Я думаю, наверху, в отеле.

Генерал-лейтенант засмеялся.

— А я было подумал о худшем,— сказал он.— Потому что мой мэр, похоже, попал в неприятную историю.

— Что с ним случилось?

— Его срочно вызвали,— сказал генерал-лейтенант.— Уже несколько недель из-за него приостановлены поиски.

— Почему его вызвали?

— И тут еще разразился скандал в печати! Черт бы его побрал.

— Он присвоил казенные деньги?

— Хуже,— сказал генерал-лейтенант.— Гораздо хуже.

— Вы меня заинтриговали.

— Вы ведь знаете, у нас не было точных данных,— продолжал генерал-лейтенант.— Очень многие семьи, особенно семьи офицеров, похоже, обещали вознаграждение тем, кто будет заниматься поисками останков. Только не мне, конечно,— добавил он со смехом,— никто не осмелился бы предложить мне вознаграждение. Но моим подчиненным наверняка обещали.

— Вполне возможно,— сказал генерал.

— Да так оно, наверное, и было. Но самое скверное не в этом. В конце концов, каждый имеет право вознаградить чужой труд, и в этом нет ничего предосудительного. Как вы считаете?

— Совершенно с вами согласен.

— Самое скверное в другом... Если бы мы останки солдат не отправили сразу на родину, а собирали бы все вместе, как это делали вы, то, возможно, ничего бы и не произошло.

— Мы сформировали целую армию,— сказал генерал.

— Если бы мы не посылали солдат сразу же, небольшими группами, то путаница не скоро бы обнаружилась, вряд ли кто-нибудь заметил, что длина скелета, собранного из костей, не соответствует росту убитого солдата.

— Кто это обнаружил? — спросил генерал.

— Очевидно, сначала одна семья случайно установила этот факт, но ведь достаточно возникнуть подозрению, и все уже само крутится, и конца этому не видно.

— Теперь я понимаю,— сказал генерал.— Иными словами, ваши подчиненные не всегда устанавливали личность солдата.

— Точнее, они поставили на неопознанных останках фамилии солдат, о поиске которых просили особо. Словом, если все это правда, то это настоящее мошенничество. Семьям посылали чужие останки.

— И все это делалось умышленно и хладнокровно?

— Похоже, что да, поскольку от моего мэра до сих пор нет никаких известий.

— Он знал, зачем его вызывают?

— Нет. Он получил телеграмму, в которой ему сообщили, что его жена заболела. А потом я получил письмо от одного приятеля из министерства. Скверная история.

— Грязная история,— сказал генерал.

— Кроме того, во многих черепах не хватает золотых зубов,— сказал генерал-лейтенант.

— Вы не вели протокол во время вскрытия могил?

— Нет,— сказал генерал-лейтенант.— Не регистрировались ни зубы, ни золотые кольца, которые могли быть случайно найдены.

— Действительно скверная история.

— Я умираю от скуки,— сказал генерал-лейтенант.— Я здесь совсем один. Как я вам завидую — вы завтра улетаете. По вечерам я совершенно не знаю, куда себя деть. Это еще хуже, чем скитаться по горам и ночевать в палатке.

— Ничего не поделаешь.

— Полтора года мы, как геологи, обследовали гору за горой, долину за долиной. А теперь эта история напоследок.

— Вы хорошо сказали: как геологи.

— И подумать только, какой минерал мы ищем,— сказал генерал-лейтенант.— Минерал, созданный смертью.

Генерал усмехнулся.

— Прошу меня извинить,— сказал он, взглянув на часы.— Я очень спешу.

— Да, сегодня суетный день.

— Как всегда, в преддверии праздника.

— По-видимому, это у них самый большой праздник.

— Да. Праздник освобождения, как они его называют.

— Ну, идите, генерал, не смею вас больше задерживать. Надеюсь, увидимся вечером.

Генерал собрался уже шагнуть в лифт, но в последний момент обернулся:

— А можно что-нибудь сделать с теми одиннадцатью солдатами? — спросил он.

Генерал-лейтенант пожал плечами.

— Трудно, очень трудно.

— Почему? У вас должны быть адреса, куда вы их отправляли.

Генерал-лейтенант печально улыбнулся.

— Вы только подумайте, коллега, какая будет драма в этих семьях, когда у них потребуют останки обратно...

— И все-таки,— сказал генерал.

— Кроме того, драма в семье — это ерунда по сравнению с юридическими формальностями,— сказал генерал-лейтенант.— Впрочем, вечером мы обо всем потолкуем.

— Хорошо,— сказал генерал, входя в лифт.

Глава двадцать четвертая

В четверть шестого банкет закончился. Генерал подождал, пока все гости разойдутся. Оставшись наедине со священником, он выпил одну за другой две рюмки коньяку и ушел из зала, не попрощавшись.

И эта формальность позади, с облегчением подумал он, выходя на улицу. Прием прошел довольно холодно, но, как бы то ни было, все уже позади.

Он поблагодарил албанские власти от имени своего народа, от имени тысяч матерей за оказанную помощь, а депутат Народного собрания, тот, который встречал их когда-то в аэропорту, сказал в ответной речи, что они выполняли свой человеческий долг перед народом, с которым хотели бы жить в мире. Затем они чокнулись, и в легком хрустальном звоне бокалов послышался отзвук далекой артиллерийской канонады. И все, кто был на банкете, услышали эту канонаду, но никто не подал виду.

Он брел по тротуару, пробиваясь сквозь плотную толпу, заполнившую улицы, и сквозь шум большого города до него доносилась чужая речь.

На площади Скандербега шел концерт. Сцену возвели перед Дворцом культуры. Над сценой, на белых мраморных колоннах, были установлены прожекторы.

Он приподнялся на цыпочки, чтобы лучше видеть. Сзади, с балкона Исполкома, светили два прожектора, а где-то чуть дальше трещала кинокамера. Похоже, снимали фильм.

Генерал смотрел на танцующих на сцене артистов, но мысли его были далеко.

В этом нежном хрустальном звоне, думал он, был и грохот пушек, и стрекотание пулеметов, и скрежет штыков, и позвякивание солдатских котелков поздно вечером, в час, когда раздают ужин. Все было в этом нежном звоне, и все это услышали, потому что не услышать это было невозможно.

Он почувствовал резь в глазах от яркого слепящего света прожекторов и стал выбираться из толпы. Лучи прожекторов метались то вверх, то вниз, а иногда начинали шарить прямо по лицам людей, и люди обеспокоенно оглядывались, отворачивались от яркого света.

Генерал пошел вдоль цветника в сторону отеля.

Ему вспомнилось, как они сидели за столом, друг против друга, представители двух народов и государств, и между ними стояли только бутылки с напитками и вазы с фруктами.

И это все, что нас разделяет? — спросил себя генерал, когда они подняли бокалы в первый раз. Только эти бутылки с красивыми этикетками и эти свежие фрукты, собранные в прибрежных садах и виноградниках? Ему вспомнились сады и виноградники, окутанные вечерним туманом, которые темнели вдоль белых, освещенных лунным светом дорог. Где-то далеко лениво лаяли собаки. А еще дальше мерцал пастуший костер.

— Вам телеграмма,— сказал ему портье, протягивая ключ от номера.

— Благодарю!

На желтой бумаге стоял небольшой красный штемпель «срочная».

Он вскрыл телеграмму и прочитал: «Узнали об окончании благородной миссии пожалуйста сообщите полковнике Семья Z».

Кровь ударила ему в голову. Он все же постарался сохранить спокойствие. Не спеша подошел к лифту, поднялся наверх к себе.

И зачем тебе только взбрело в голову связаться со всем этим, спросил он себя, глядя в зеркале на собственное отражение. Лицо у него было бледным, осунувшимся, на лбу три глубокие морщины, средняя подлиннее, а две другие покороче, словно черточки, нарисованные стенографисткой в конце доклада.

Ты устал, сказал он себе, ты смертельно устал.

Он вошел в комнату, включил свет, и первое, что бросилось ему в глаза, был маленький горец, бивший в барабан, он стоял на тумбочке, на огромной груде писем и телеграмм.

Генерал лег и попытался заснуть.

На улице гремел салют. Разноцветные отсветы проникали сквозь жалюзи в комнату, разрезанные на узкие полоски, цветные блики кружились по потолку и стенам. И ему снова вспомнилось, как в военном штабе двадцать с лишним лет назад он вместе с другими сидел за длинным столом военно-медицинской комиссии. Члены комиссии из рук в руки передавали рентгеновские снимки призывников, рассматривали их на свет, и темные кости крутились — вот так — над их головами, а потом кто-то устало и безразлично произносил: «Годен». Они обычно говорили «годен» даже в том случае, если между ребер было небольшое пятнышко. Только когда пятна были слишком большими и не заметить их было невозможно, они бормотали: «Не годен». Они сидели за этим длинным столом, и весь день призывники с бритыми головами отправлялись отсюда прямо в казармы, а оттуда на войну, которая только-только началась.

Полоски света, разрезанного жалюзи, скользили над головой, и он закрыл глаза, чтобы их больше не видеть. Но как только он закрывал глаза, он еще отчетливее видел перед собой огромную пустую комнату и растерянных призывников, стоявших перед длинным столом, совершенно голых, похожих на большие белые свечи.

Генерал встал. Пора было ужинать. Он выглянул в коридор и спро-

сил, где священник. Ему сказали, что тот куда-то ушел. Тогда он вернулся в номер и спросил по телефону у портье, у себя ли генерал-лейтенант.

Не успел он выйти из комнаты, как натолкнулся в коридоре на генерал-лейтенанта.

— Я как раз направлялся к вам, портье мне сказал, что вы у себя.

— Заходите, пожалуйста,— сказал генерал, возвращаясь.

— Мне кажется, вы собирались уходить.

— Да, но это не имеет значения.

— Может, лучше спустимся вниз, в зал?

— Как вам будет угодно,— сказал генерал.

Внизу, в холле, было так же оживленно, как и утром, оба телефона трезвонили не переставая.

— Похоже, продолжают прибывать делегации,— сказал генерал-лейтенант.

В ресторане они с трудом отыскали свободный столик в углу. Из окна был виден бульвар и гуляющие по нему люди; отсветы салюта падали на головы людей и на темные деревья парка, словно густой цветной снег, затем они гасли, и на улице становилось еще темнее, чем раньше.

Генерал заказал фернет, генерал-лейтенант — коньяк.

Снизу, из таверны, доносилась музыка.

Они чокнулись и выпили. Потом долго молчали. Генерал снова наполнил рюмки. Это было для него проще, чем начать разговор.

Снаружи грохотал салют, и разноцветные блики мелькали в окне.

— Празднуют победу,— сказал генерал.

— Да.

Они смотрели в окно — небо вдруг вспыхивало, словно гигантская багровая каска, которая начинала переливаться всеми цветами, затем бледнела, остывала и растворялась в ночном мраке.

— Ну и работенку на нас взвалили,— сказал генерал.

— Это хуже, чем война,— сказал генерал-лейтенант.— Я был на войне, но это еще хуже.

Генерал взглянул на пустой рукав, засунутый в карман мундира.

Можешь и не говорить, что ты был на войне, подумал он.

— Эти кости — квинтэссенция войны, ее суть, очищенная от всего случайного,— сказал генерал-лейтенант.— Это словно осадок, выпадающий на дно сосуда в результате химической реакции.

Генерал печально улыбнулся. Они наполнили рюмки. Из таверны доносилась музыка.

— Вы слышали о том, что у ныряльщиков за жемчугом разрываются легкие, если они опускаются слишком глубоко? Так вот, у нас разорвалась душа.

— Это верно, душа у нас разорвалась.

— Мы устали,— сказал генерал.

— Мне тоже так кажется.

— Воевать в горных условиях очень тяжело,— сказал генерал.— Особенно в таких горах. Я начал было изучать этот вопрос, но бросил. Возникает слишком много сложнейших проблем.

Генерал-лейтенант кивнул.

— А если бы это была настоящая война? — продолжал генерал.— Тогда, может быть, через двадцать лет искали бы нас. И у тебя, кроме руки, не хватало бы еще кое-чего, подумал он.

— Вы так думаете?

— И другие пили бы, может быть, за этим же столом и разговаривали бы о нас.

— Может быть,— сказал генерал-лейтенант.— Могло бы быть и так. Но ведь события могли принять совсем иной оборот. Мы могли бы и не потерпеть поражения.

— Знаете, о чем я думаю? — спросил генерал.— Я как-то сказал сопровождающему меня священнику, что мои с ним разговоры напоминают диалоги некоторых современных драм. Теперь я замечаю, что и разговоры между нами тоже напоминают такие диалоги. Ну почему мы говорим неестественными фразами, зачем стараемся произвести впечатление?

— Потому что мы люди с тонкой нервной организацией,— ответил генерал-лейтенант.

Генерал взглянул на него.

— Это вы неплохо заметили,— сказал он.

— Поэтому нам нравится говорить на такие темы, как некоторым нравится добавлять в еду много острого соуса и перца,— продолжал тот.

Генерал засмеялся.

Снизу доносилась музыка, а кофеварка-экспресс периодически свистела, выпуская пар, словно маленький паровоз.

— Вы не припоминаете, той ночью, когда мы познакомились, я рассказывал вам о стадионе? — спросил генерал-лейтенант.

— О том стадионе, где вам не разрешали копать, пока не закончится футбольный чемпионат?

— Да, именно о том.

— Припоминаю,— сказал генерал.— Сначала вы раскапывали боковые дорожки, а на бетонные трибуны лил дождь, и со всех сторон текли потоки воды.

— Верно,— сказал генерал-лейтенант.— Все так и было. Ямы чернели вокруг футбольной и баскетбольной площадок, а с трибун хлестала вода. Потом мы стали раскапывать само поле, там, где стоит вратарь, там, где место полузащитника, там, где носятся нападающие, словом, поле скоро стало похоже на решето. Но я не об этом хотел сказать.

— А о чем же тогда?

— Я рассказывал вам о девушке, которая приходила каждый день и дожидалась своего жениха, пока не заканчивалась его тренировка?

— Да, что-то такое вы мне рассказывали, я смутно припоминаю.

— Она приходила каждый день, а когда шел дождь, она накидывала капюшон и сидела в уголке, у самых трибун, не сводя глаз со своего жениха, носившегося по полю.

— Теперь я вспомнил,— сказал генерал.— Вы еще говорили, что на ней был голубой плащ.

— Да, да. У нее был красивый голубой плащ, но глаза ее были еще ярче, небесного цвета, хотя и немного холодноватые, и, пожалуй, даже в цветных фильмах я не видел более красивых глаз. Так вот, она приходила туда каждый день, а мы продолжали копать, и поле было окружено ямами со всех сторон.

— Так что же было потом? — холодно спросил генерал.

— Ничего,— сказал генерал-лейтенант,— ничего особенного. К вечеру парни заканчивали тренировку, один из них обнимал ее за плечи. и они, обнявшись, уходили. И тогда, поверьте, меня охватывала страшная тоска, мир казался мне таким же унылым и бессмысленным, как этот пустой стадион. И это в моем-то возрасте, поверите ли?

Как все это ужасно, подумал генерал.

— Так иногда случается в жизни,— продолжал генерал-лейтенант.— Именно тогда, когда не ждешь, вдруг раз — и появляется какая-то безрассудная, сумасшедшая мечта, словно цветок вырастает на краю обрыва. Ну какое было дело мне, генералу чужой армии и уже старику, инвалиду, какое было дело мне, прибывшему сюда, чтобы собрать кости погибших солдат, моих соотечественников, до этой молодой албанки?

— Конечно, вам никакого дела до нее не было,— сказал генерал,— но мечтать, мечтать-то вы могли. Человек часто мечтает о недостижимом, особенно когда дело касается женщин. Прошлым летом на курорте...

— Иногда мне казалось, что это из-за нее,— прервал его генерал-лейтенант,— а иногда я и сам не мог понять, отчего мне тоскливо. Это, собственно говоря, не сама девушка волновала меня, а нечто другое, необъяснимое. Вы меня понимаете?

— Понимаю,— сказал генерал.— Очевидно, вас взволновала молодость, само олицетворение жизни. Мы столько времени бродили, как гиены, вынюхивая, где спряталась смерть, чтобы извлечь ее на свет божий. И совсем забыли, что такое красота.

— Пожалуй, вы правы. Человеку бывает нужно за что-то ухватиться, как утопающему. И я ухватился за образ этой девушки.— Генерал-лейтенант выдавил из себя улыбку, хотя, похоже, с большим трудом.

Тоже мне, герой-любовник, подумал генерал.

— Однажды ночью я пришел на албанскую свадьбу и решил потанцевать,— начал было рассказывать генерал, но генерал-лейтенант прервал его.

— Я,— и он ткнул себя рукой в грудь,— со своими седыми волосами, с ампутированной рукой, знаете, что я сделал, когда мы через месяц снова вернулись в этот город? Я пошел днем на стадион, как раз в то время, когда у них бывали тренировки. Стадион был закрыт, тем не менее я попросил разрешения зайти. Сторож открыл мне большие железные ворота и впустил меня. Стадион был пуст и мрачен, как никогда. Ямы уже закопали, но на земле все же остались следы, похожие на затянувшиеся раны. Я побродил возле трибун, там, где сидела эта девушка, и у меня стало ужасно тяжело на душе, и показалось в тот момент, что всю мою жизнь меня будут преследовать эти длинные, мокрые, изогнутые трибуны, эти пустые серые бетонные бесконечные трибуны, закручивающиеся вокруг меня. Вы меня слушаете?

— Слушаю,— сказал генерал.

Они выпили еще по рюмке.

Салют кончился, погасли огни, и большой парк напротив казался сплошной стеной мрака.

Они сидели молча, когда принесли телеграмму.

— Что это за телеграмма? — спросил генерал-лейтенант.

— Так, обычная телеграмма.

Генерал наполнил рюмки.

— Посылают телеграммы, думают, что с помощью телеграмм можно что-нибудь решить.

Генерал-лейтенант посмотрел на него устало и внимательно, хотел, видимо, что-то спросить, но вместо этого закурил.

— А знаете, что мне сказала старуха-албанка на свадьбе? — проговорил генерал.—«Ты пришел сюда смотреть, как мы женим наших сыновей, чтобы потом прийти убивать их».

— Жуткие слова.

— Вы говорите: жуткие слова. Если бы вы знали, что она сделала после этого! Впрочем, лучше вам и не знать.

— Пейте! — сказал генерал-лейтенант.— За ваше здоровье! Чтобы вы благополучно и в полном здравии вернулись на родину! Как я вам завидую.

— Спасибо!

Генерал чувствовал, что пьянеет.

Зал понемногу пустел, деревянные ступеньки, ведущие вниз, в таверну, скрипели реже, но музыка играла не переставая.

— А где ваш святой отец? — неожиданно спросил генерал-лейтенант.

— Не знаю,— ответил генерал.— Где-то шляется и, конечно, продолжает отвечать на телеграммы.

Тот удивленно посмотрел на него.

— Вы знаете, что у меня случилось в одном селе? — спросил генерал-лейтенант.— Почва была песчаная, сильно засоленная. И очень твердая, плохо поддавалась. Мы вскрыли могилы и обнаружили неразложившиеся трупы. Жуткое зрелище. Пришлось заказывать большие гробы, как для только что умерших.

— Интересно,— сказал генерал.— Со мной такого не случалось.

— Но это еще не все,— продолжал тот.— Вся краина, похоже, узнала об этом. Через несколько дней один крестьянин сочинил песню.

— Песню?

— Да, да, песню. Я записал слова. Они у меня там, наверху. Смысл примерно такой: тела наших врагов даже земля не принимает, или что-то в этом роде. Албанцы как будто на самом деле в это верят. Потому что они не знакомы с химией.

— Зато с войной знакомы.

— Это верно. Официант!

— Мы тоже как-то услышали песню и решили, что это — провокация,— сказал генерал.— Но песня оказалась старинной и к тому же про любовь.

— Вот как?

— В песне говорилось: «О, прекрасная Ханко, не ходи среди могил, твоя красота воскрешает мертвецов».

— Надо же,— удивился генерал-лейтенант.

— Мы по этому поводу даже ноту протеста написали.

Они долго еще разговаривали, но все время речь у них заходила о войне и кладбищах. К каждой нашей мысли прибита жестяная табличка, подумал генерал. Проржавевшая табличка с выцветшими буквами, которые с трудом можно прочитать. Табличка скрипит, когда дует ветер, а ветер дует не переставая, как в том ущелье, где все кресты и надгробья склонились к западу. Они спросили, почему все кресты наклонены в одну и ту же сторону, и крестьяне сказали им, что это из-за ветра, который всегда дует в этом направлении.

Зал почти совсем опустел, когда принесли еще одну телеграмму. Генерал взял ее из рук портье и вскрыл, не посмотрев даже, откуда она.

Не дочитав до конца, скомкал ее и бросил в пепельницу.

— Сегодня вечером вам приходят крайне таинственные телеграммы.

Генерал ему не ответил.

Генерал-лейтенант вздохнул.

— Я боюсь ночных телеграмм.

Музыка еще была слышна, но посетителей становилось все меньше.

— Который час? — спросил генерал.

— Скоро полночь.

Не стоит напиваться, подумал он. Уже поздно. А впрочем, рюмку-другую еще можно выпить.

Они выпили еще за что-то, генерал не понял толком за что. Не все ли равно, подумал он, за что мы пьем?

— Я хотел бы вас спросить,— сказал он, наклонившись к самому уху генерал-лейтенанта,— вы никогда не пили со священником?

— Со священником? Нет, пожалуй, не доводилось, но руку на отсечение дать не могу.

Генерал снова посмотрел на пустой рукав, глубоко засунутый в карман мундира.

У тебя только одна рука, подумал он, и ты ее должен беречь.

— Насколько я помню, нет,— повторил генерал-лейтенант.

Генерал покачал головой.

— Такова вот человеческая жизнь,— проговорил он задумчиво,— сегодня бредешь сквозь дождь, завтра пьешь со священником. Разве не так?

— Конечно.

— Нет, скажите, вы имеете что-то против?

— Как вы можете сомневаться?

— О, простите меня. Я слегка перебрал.

— Пожалуйста, пожалуйста.

— Хм.

Уставившись в пепельницу, генерал скорчил удивленную гримасу.

Глава двадцать пятая

— Уже за полночь,— сказал генерал,— похоже, они собираются закрывать.

— Да, наверное.

— Пошли в мой номер? — предложил генерал.— Посидим еще немного, поболтаем о всякой всячине. Я счастлив, что оказался в вашем обществе.

— Взаимно.

— Вы забыли бутылку.

— Извините.

— Если вы позволите, я полагаю, что нам нужно добавить.

— Конечно. Я в этом абсолютно убежден.

— Мы выполняем свой долг, и никто не имеет права вмешиваться в наши дела,— сказал генерал.

— Совершенно справедливо.

— А если он непьющий, это еще не значит, что я не могу запустить в него бутылкой коньяку,— сказал генерал.

— Совершенно справедливо! — сказал генерал-лейтенант.— У меня на этот счет вполне определенное мнение.

— Подержите, пожалуйста, минуточку!

— Извините!

— Пожалуйста!

Они поднимались по лестнице, спотыкаясь о ступеньки. У каждого в руке было по бутылке.

— Потише,— сказал генерал.— Албанцы рано ложатся.

— Дайте мне ключ, мне кажется, у вас дрожат руки.

— Главное — не шуметь.

— А мне нравится шум,— сказал генерал-лейтенант.— Тишина внушает мне ужас. Война эта была беззвучная, словно немой фильм. Лучше бы гремели пушки. Я выражаюсь как персонаж драмы?

— Тсс. Кто-то кашлянул.

— Дайте мне ключ. Да, война эта была беззвучная, война мертвых.

— Входите, прошу вас,— сказал генерал.— Садитесь. Я очень рад.

— Я просто счастлив.

Они уселись за стол друг против друга и переглянулись. Генерал наполнил рюмки.

— Мы две перелетные птицы, которые пьют фернет и коньяк,— прочувствованно сказал генерал-лейтенант.

Генерал кивнул. Потом они долго молчали.

— Мы разругались из-за мешка,— сказал генерал и нахмурился.— Я сбросил его в пропасть,— сказал он таким тоном, будто сообщал важную тайну.

— Но вы ведь сказали, что священник сейчас у себя в номере.

— Не священника,— сказал генерал,— мешок.

— А, понял. Совершенно правильно.

— Он не хотел, чтобы я бросал его в пропасть,— продолжал ге-

нерал,— а я не хотел брать мешок с собой, потому что он приносит несчастье.

— Совершенно правильно. В конце концов, что за важность — какой-то мешок? — сказал генерал-лейтенант, закурив сигарету.

— Но он никак с этим не хотел соглашаться.

— Поэтому вы его самого туда швырнули.

— Не его, мешок.

— А, извините!

Они снова замолчали. Жили-были легковушка и грузовик, вот ехали они однажды под дождем, ехали, подумал генерал.

— Жили-были легковушка и грузовик, вот ехали они однажды под дождем, ехали,— вслух повторил он.

— Что это? — спросил генерал-лейтенант.— Вы занимаетесь вопросами транспорта?

— Нет, это вторая сказка для племянницы.

— Вот как? Вы собираете сказки?

— Естественно.

— Сказки всегда меня интересовали.

— Это очень серьезно.

— Необычайно серьезно.

— Вы очень любезны.

— Несомненно,— неожиданно резко сказал генерал-лейтенант.

Генерал удивленно взглянул на него, но мысли его тут же перескочили на другое.

— У меня четыре мертвых священника,— сказал он.

— У меня — ни одного,— с грустью сказал генерал-лейтенант.

— И проституток у тебя нет.

— И проституток.

— Не расстраивайся, может еще найдешь.

— Может быть,— вздохнул генерал-лейтенант.— Чего только не находят в земле. Где ванная?

— За занавеской.

Генерал долго сидел за столом в одиночестве. Наконец генерал-лейтенант вернулся.

— В одном ущелье мы нашли кости солдат вперемешку с ослиными,— сказал он.

Генерал вздрогнул.

— Я заявил протест албанскому правительству. Провокация!

— И что потом?

— Выяснилось, что не провокация. Наши сами похоронили их в спешке, наш карательный батальон.

Генерал-лейтенант с трудом выговаривал слова.

— Вы проиграли, вы никудышные генералы,— сказал генерал.

— Не оскорбляйте их. Им было очень тяжело.

— Нам было еще тяжелее.

— Возможно.

Они помолчали.

— Он на нас глядел, будто знал обо всем,— сказал генерал.

— Кто?

— Шофер-албанец.

— А зачем он на вас смотрел, осмелюсь вас спросить?

— Шофер?

— Ну да.

— Он смотрел на нас загадочно. Когда мы ругались.

— Кости ослов совсем не похожи на человеческие. Любой сразу бы понял.

— Естественно. Это так просто. У человека всего пятьсот семь костей.

— Не у всех, генерал,— сказал генерал-лейтенант мрачно.— У меня меньше.

— Этого не может быть.

— Может. У меня костей не хватает. Я инвалид. Я калека.

— Не беда,— успокоил его генерал.

— Я калека,— повторил генерал-лейтенант.— Вы мне не верите, но я вам сейчас докажу.

Он попытался снять китель одной рукой, но генерал схватил его за плечи.

— Не нужно, прошу вас. Я нисколько не сомневаюсь в ваших словах. Простите, пожалуйста, простите меня. Я очень виноват. Я ведь, в сущности, просто ничтожество.

— Я должен доказать вам и всем тем, кто не верит. Я прямо сейчас вам докажу.

— Тсс,— сказал генерал.— По-моему, стучат в дверь.

Они замолчали, стук повторился.

— Кто же может стучать в такое время?

— Я боюсь ночных стуков,— сказал генерал-лейтенант.— Так стучали той ночью, когда меня срочно вызвали. Тук, тук, тук. Потом, когда я вернулся, я с трудом смог открыть дверь. Потому что я первый раз открывал дверь одной рукой,— заговорщицким тоном добавил он.

Генерал, покачиваясь, пошел открывать дверь.

Это был портье.

— Извините, что беспокою вас в такое время,— сказал он.— Вам снова телеграмма. Извините!

— О, ничего. Благодарю вас!

— Спокойной ночи,— сказал портье.

— Спокойной ночи, сэр,— ответил ему генерал.

Повернувшись, он разорвал телеграмму.

— Все это так загадочно, коллега,— сказал генерал-лейтенант.— Эти ночные телеграммы — плохой знак.

— Они телеграфируют,— сказал генерал.— Они сегодня чрезвычайно волнуются.

Сейчас там трезвонят белые телефоны, подумал он.

Генерал попытался представить себе, как они все собираются в доме полковника, как звонят своим друзьям, ему смутно, словно сквозь туман, виделось, как выходит на лестницу, сцепив на животе руки, старуха — мать полковника, как в ужасе вскакивает с кровати Бети и все шепчут: негодяй, он его до сих пор не нашел, негодяй.

Я не негодяй, Бети, подумал он.

— Они сегодня не спят,— вслух сказал он.

— А что им нужно? — спросил генерал-лейтенант.

— Мешок,— ответил генерал.

— Я советую вам отдать им мешок и покончить со всем этим беспорядком. Смир-но!

Как бы не так, подумал генерал.

Он скомкал обрывки телеграммы и бросил их на пол.

— Знаете что? — сказал он.— Я подозреваю, что мой священник— шпион.

— Вполне вероятно. Но руку на отсечение дать не могу.

Они долго молчали. Сквозь жалюзи проникал слабый свет.

— Светает,— сказал генерал-лейтенант.

— Нет. Это неоновые рекламы на бульваре.

На балконе мягко шелестел дождь.

— Я боюсь телеграмм,— проговорил, словно в забытьи, генерал-лейтенант.— В них всегда скрыта какая-то тайна, что-то, чего нельзя сказать вслух. Я помню, на фронте один штабной офицер получил телеграмму от своего друга, который давно уже был убит.

— Вы рассказываете страшные вещи.

— Тсс,— сказал генерал-лейтенант.— Слушай!

— Что?

— Прислушайся. Ничего не слышите?

Генерал прислушался.

— Дождь,— сказал он.

— Нет, это не дождь.

Издали, откуда-то совсем издалека, доносился ритмичный глухой шум. Затем резкие отрывистые голоса и снова шум дождя.

— Что это?

— Выйдем на балкон,— сказал генерал и встал с кресла.

Когда они открыли дверь на балкон, мокрый ночной ветер хлестнул их по лицам; далекий ритмичный шум приближался.

Они вышли на балкон. Моросил мелкий, мягкий дождь. Бульвар казался светлым из-за холодных неоновых огней. Напротив отеля чернел парк, большой и пугающий.

— Там,— показал рукой генерал-лейтенант,— взгляни.

Генерал повернулся и вздрогнул. Далеко, около университета, они увидели на бульваре темные большие квадраты, двигавшиеся в их сторону.

Теперь ясно был слышен тяжелый топот шагов, отрывистые команды резко звучали в ночной тьме.

Оба генерала стояли, облокотившись на перила и повернувшись в ту сторону. Когда массивные квадраты подошли к мосту, генералы могли уже разглядеть холодный блеск мокрых касок и штыков, обнаженные сабли офицеров, промежутки между ротами и батальонами. От их тяжелой поступи, казалось, сотрясалась земля, и резкие команды офицеров, словно штыки, вонзались во мрак.

Воинские подразделения приближались, и бульвар стал черным от них, а огни неоновых ламп отражались в касках.

— Целая армия,— сказал генерал-лейтенант.— Что это?

— Их армия,— ответил генерал.— Похоже, репетируют перед военным парадом.

— Праздничным?

— Да.

Вдалеке послышался глухой рокот моторов.

— Танки,— сказал генерал.

У моста показались танки, большие и черные, с жерлами стволов, устремленных во тьму.

Весь бульвар заполнился войсками, металлом, ритмичными шагами, ревом моторов, отрывистыми командами, и все это под мелким блестящим дождем двигалось в сторону площади Скандербега.

Когда последнее подразделение скрылось за зданиями министерств, и бульвар в неоновом свете снова стал пустым, молчаливым и бледным, словно после бессонницы, они вернулись в комнату.

— Целая армия,— сказал генерал-лейтенант.

— Да. Целая армия, вооруженная до зубов.

От холода они немного протрезвели.

Генерал поднял голову.

— Вы видели, как они прошли?

— Да.

— Я вспомнил о своей армии и подумал, как могли бы пройти мои солдаты, одетые в голубые мешки с черными лентами.

— А у меня еще хуже,— сказал генерал-лейтенант.— У меня никакого порядка — просто неорганизованная толпа. В моей армии никто никому не подчиняется.

— Зато когда ваша армия была живой, она была более организованной и дисциплинированной.

— Да, когда она была живой, вот это была армия,— сказал генерал-лейтенант, прищурившись.

— Только она была слишком жестокой.

— Армия должна быть жестокой.

— Ваша армия была слишком жестокой,— повторил генерал.— Ваши солдаты расстреливали наших, хотя мы были союзниками.

— А вы нас предали,— запальчиво воскликнул генерал-лейтенант.

— Мы не предали вас, мы капитулировали.

— Это одно и то же, вы нас подло бросили.

— А не все ли равно, кто кого бросил?

— Может быть, мы из-за вас проиграли.

— А вы об этом сожалеете?

— Сожалею,— сказал генерал-лейтенант,— а вам все равно.

— То есть, как?

— А вот так,— выкрикнул генерал-лейтенант.— Вам всем было все равно. Поэтому вы нас предали.

— Не наша вина, что мы капитулировали.

— А чья же? — воскликнул генерал-лейтенант.— Имею честь спросить вас, коллега, чья это вина?

— Черт его знает,— сказал генерал.

— Ну, так я вам скажу,— крикнул генерал-лейтенант.— У вас была не армия, а жалкий сброд, который думал только о женщинах и макаронах.

— И у вас армия была не идеальная,— равнодушно сказал генерал,— а вообще-то мы можем проверить, насколько вы правы.

— То есть, как проверить?

— Мы оба генералы, и у каждого есть армия. Давайте поиграем в войну.

— Согласен,— сказал генерал-лейтенант.— То есть представим, что мы противники.

Генерал трясущимися руками достал из чемодана целую груду топографических карт разных краин Албании. Карты были испещрены пометками, крестиками.

— Нет,— сказал генерал-лейтенант.— Я не хочу воевать в этих местах. Уберите карты, прошу вас!

— Уже убрал.

— Мы сами нарисуем план. Дайте мне чистую бумагу! План некой неопределенной местности, местности вообще.

Генерал снова стал рыться в чемодане, но никак не мог найти чистого листа.

— Можем нарисовать вот здесь на обратной стороне,— сказал он и протянул большую фотографию. Это была фотография кладбища в окрестностях озера. Закат солнца. На берегу можно было разглядеть несколько лодок и фигур.

— Очень хорошо,— сказал генерал-лейтенант.— Дайте мне, я нарисую план.

Оба склонились над перевернутой фотографией, запахи коньяка и фернета смешались.

— Здесь равнина.

— Справа пусть будет гора.

— Не надо гору.

— Тогда лес.

— Нарисую еще реку,— сказал генерал.

— Правильно. Река нужна для того, чтобы разделить поле боя. На каждом поле боя посредине должна быть река.

— Как в каждой столице,— сказал генерал.

— С этой стороны я размешаю свои войска.

— А я расположу напротив.

Они снова склонились, рисуя на обратной стороне большой фотографии красными карандашами множество условных значков.

— Еще ночь,— сказал генерал.

— Албанцы все спят.

— А мы бодрствуем.

— Нам предстоит воевать сегодня.

— Наши армии тоже пока спят. Спят в палатках, разбросанных в ночной тьме.

— Да. Они спят тяжелым сном.

— Но мы сейчас их разбудим.

— Горн протрубит тревогу.

— Перед сражением нам нужно подкрепиться,— сказал генерал. Они пропустили по рюмочке.

— Вы знаете песню «Пролетела стая уток»? — спросил генерал.— Как-то ночью я увидел странный сон. Будто в небе клином летят могилы.

— Забавный сон.

Главное нам сейчас — не шуметь, подумал генерал.

— Не должно быть никакого шума; это война мертвых.

— Война призраков.

— Я начинаю,— сказал генерал,— атакую пехотой, вот здесь и здесь.

У генералов заблестели от азарта глаза. Они снова склонились над столом и снова почувствовали горячее дыхание друг друга и запах спиртного. Перебрасываясь военными терминами, перебивая друг друга, они яростно спорили из-за каждой стрелочки, нарисованной на картоне.

— Ты не можешь здесь пройти! — воскликнул генерал.— Я смету тебя полевой батареей. К тому же ты забыл про мои самолеты.

— Я их уничтожу, у меня в подразделениях есть противовоздушная оборона, а у тебя нет,— горячо возразил генерал-лейтенант.

— Ты не отметил на карте гору, потому что не хочешь, чтобы я использовал горных стрелков! — воскликнул генерал.

— Я не нарисовал ее по другой причине, я вообще боюсь гор.

— И я их побаиваюсь.

— Вот как!

— Атакую танками,— заявил генерал.

Они еще долго продолжали кричать и спорить, склонившись над картой. Оба взмокли, языки у них заплетались. Рюмки они разбили.

— Я вас окружаю,— заявил генерал-лейтенант,— беру вас в клещи.

— Ничего не выйдет, я брошу в бой неопознанных солдат. Я вас уничтожу. Разобью наголову.

— У меня тоже есть неопознанные солдаты и даже больше, чем у вас. Вот сейчас резня начнется,— воскликнул генерал-лейтенант.— Атакую.

Потные и взлохмаченные, они склонились над картоном. Карандаши дрожали у них в руках, они с трудом переводили дыхание.

Неопознанные сражались с бешеной яростью. У них не было ни имен, ни голов, поэтому в бою они были просто великолепны.

— А это что за значок здесь? — вдруг воскликнул генерал-лейтенант.

— Это моя разведчица, проститутка.

— Я ее взял в плен. Не видишь, что ли?

Генерал побледнел от злости.

— И что ты теперь будешь с ней делать?

— Расстреляю; вы прекрасно знаете, как поступают на войне со шпионами.

— Не расстреливайте,— воскликнул генерал.— Я могу ее обменять.

— У меня нет проституток.

— Я дам вам десять пленных.

— Нет.

— Я дам больше. Я отдам всех танкистов.

— Нет.

— Не расстреливай ее,— задыхаясь, пробормотал генерал,— прошу тебя.

Он вскочил, но ноги у него подкосились, и он рухнул на колени.

Генерал-лейтенант смотрел на него, вытаращив глаза.

— Светает,— сказал генерал и попытался встать.

— Я слышал какой-то шум.

— Кто-то идет по коридору.

Они прислушались. Шаги стихли.

— А знаете, из-за чего мы поругались со священником?

— Нет,— сказал генерал-лейтенант.

— Из-за скелета,— сказал генерал.— У нас не хватает одного скелета ростом метр восемьдесят два.

— Велика беда,— хмыкнул генерал-лейтенант. Глаза его неожиданно блеснули.— Метр восемьдесят два? А хотите, я вам продам именно такой?

— Нет,— сказал генерал.

— Почему нет? У меня их навалом. По дружбе уступлю вам за сотню долларов.

— Нет.

— Ведь вы сказали, что вам нужен скелет метр восемьдесят два, верно? У меня таких полно. Если вам угодно, у меня есть и метр девяносто два. И два метра. И даже два пятьдесят. Наши солдаты были крупнее ваших. Хочешь?

— Нет,— сказал генерал,— не хочу.

Генерал-лейтенант пожал плечами.

— Как хотите,— сказал он.— Мое дело — предложить.

Генерал встал и с трудом дошел до чемодана. Он открыл его и вытряхнул содержимое на пол. Списки, карты, записи вперемешку с полотенцами и рубашками. Он схватил кипу списков и нетвердой походкой вышел из комнаты.

— Куда это он направился? — пробормотал генерал-лейтенант.

Генерал прошел несколько шагов по пустому коридору и остановился перед какой-то дверью.

Священник спит здесь, подумал он.

— Священник,— тихо позвал он, наклонившись к замочной скважине.— Священник, вы меня слышите? Это я. Я пришел мириться. Зря мы поругались из-за полковника. К чему нам ссориться из-за какого-то мешка? Мы можем уладить это дело, святой отец. Создадим полковника заново. Согласен? Соглашайся, священник! Это нам обоим на руку. Ты скажешь, какая же ты легкая, Бети! Хорошо. Скажи ей! Это ведь и ее касается. Тебе только скелета не хватает. Вот он. Я принес списки, священник, ты меня слышишь? Вот он здесь, у меня. У нас полно солдат ростом метр восемьдесят два. Вставайте, выберем одного из них! Вот один из второй роты пулеметчиков. Вот еще один, танкист. Вот еще одного нашел. Вставайте, проверим в списках всех по очереди! Вот и еще один. У этого не хватает двух передних зубов. Но это неважно, мы можем заказать их дантисту. Вот я еще одного нашел. И еще двух. Вы меня слышите? И все — метр восемьдесят два. Мне кажется, что я и сам метр восемьдесят два.

Генерал долго еще что-то бормотал, наклонившись к замочной скважине. И вдруг дверь с грохотом распахнулась. Толстая женщина в халате вперила в генерала гневно-презрительный взгляд.

— Как вам не стыдно! Хоть бы с возрастом моим посчитались!

Генерал вытаращил глаза. Дверь захлопнулась прямо перед его носом, и он какое-то время стоял неподвижно. Потом нагнулся, с трудом собрал списки, рассыпавшиеся по полу, и вернулся к себе в номер.

Глава предпоследняя

Когда на рассвете портье принес последнюю телеграмму, они все еще пили. Генерал вскрыл телеграмму, но не смог разобрать ни одной буквы. Он таращил глаза и морщил лоб, но все равно прочесть ничего не смог. Полоска телеграммы была похожа на полоску тумана, вырезанную из бледного незнакомого неба. Он скомкал ее и, покачиваясь, направился к окну. Открыл одну створку и выкинул телеграмму на улицу.

Телеграмма падала вниз, медленно планируя в холодном полумраке.

Глава последняя

На чужую землю падал снег вперемешку с дождем. Тяжелые мокрые хлопья снега таяли, едва успев коснуться бетонной взлетной полосы. На голой земле снег лежал немного дольше, но даже тонким белым слоем не успевал ее покрыть, потому что дождь уничтожал своего союзника, как только они оба касались земли.

Генерал, одетый в парадный мундир, смотрел, как хлопья снега падают на мокрый бетон, как они тут же превращаются в слякоть, тают и исчезают, а с бездонного неба продолжают падать новые, свежие хлопья.

— Холодно,— сказал провожавший их депутат.

— Да, холодно,— сказал священник.

Генерал смотрел на приближающийся к ним огромный самолет. По радио женский голос просил пассажиров поторопиться, а рабочие аэропорта уже подкатывали трап к тому месту, где должен был остановиться самолет.

Ветер дул не переставая.

Эхо второй мировой

Роман Исмаиля Кадарэ — это произведение о минувшей мировой войне, несмотря на то, что действие развертывается много позже, в мирное время. Два официальных представителя неназванной страны (но, несомненно, Италии, на сей счет у читателя не остается никаких сомнений) прибывают в Тирану с печальной миссией: посетить места захоронений своих солдат и с помощью выделенных албанскими властями рабочих произвести эксгумацию с тем, чтобы вернуть останки армии на родину. Матери, жены, дети погибших ждут этого с нетерпением...

Мне думается, в основу сюжета положен реальный факт. Молодая Итальянская Республика, должно быть, позаботилась о перенесении праха солдат и офицеров фашистской армии, оккупировавших Албанию, к себе в отечество, и близкие похоронили останки воинов на сельских кладбищах, в фамильных склепах.

Конечно, рассматриваемая ситуация необычайна. Правительства других стран (скажем, Англии и Франции) ничего подобного не предпринимали, если иметь в виду минувшую войну. Да и сама Италия (если миссия генерала не вымысел) смогла вызволить из чужих земель далеко не всех своих соотечественников, убитых в минувшей войне: в Албании счет шел на несколько десятков тысяч, тогда как основные итальянские дивизии были разгромлены на Востоке, на Волге. Мельком в романе говорится и о другой иностранной миссии, прибывшей с аналогичным заданием, во главе которой стоит генерал-лейтенант — по-видимому, в прошлом связанный с вермахтом...

Читая роман, я невольно уносился мыслью под Ржев, к своим убитым однополчанам, захороненным в братских могилах. Думал я и о тысячах захоронений, разбросанных на территории России, Украины, Прибалтики, Кавказа... Вспомнилось, что только лет через двадцать после Победы стали производиться раскопки священных для народа могил, извлекались на свет божий знаки различия, устанавливались имена и фамилии безымянных героев. И на могилах, кроме надгробий, начали появляться стелы с колонками фамилий бойцов и офицеров. С течением времени этот поиск вылился во всенародное движение по преодолению беспамятства. В этом движении участвует и стар и млад, так как пришло понимание того, что это «нужно не мертвым, а живым», если они хотят, чтобы не очерствели души их самих, их детей и внуков. Не так давно в прессе с горечью писали о незахороненных на Кольском полуострове, на его труднодоступных скалах, останков защитников полуострова Ханко...

Вот почему мне думается, книга об «армии мертвых» не оставит равнодушным советского читателя. Ведь почти в каждой семье нашей хранится похоронка с «той войны». И зачастую, увы, местонахождение могилы близкого человека неизвестно. Да и после этой, «афганской», войны, унесшей почти 15 тысяч жизней, все ли могилы найдены? Несколько сотен советских военнослужащих пропали без вести — пали на чужой земле, томятся в плену? Кроме того, во многих наших семьях до сих пор оплакивают тех, кто погиб в коллективизацию, кто стал жертвой сталинских репрессий в годы «большого террора»,— и опять-таки речь здесь идет о безвестных, неучтенных могилах. Неслучайно одним из символов XX века останутся не только прорыв в космос и покорение атома, но и сооружение во многих государствах могил Неизвестного солдата. Ибо у этого памятника каждая вдова, каждая убитая горем мать сможет оплакать своего мужа, сына. Словом, Исмаиль Кадарэ взялся за тему тяжелую, но ту, которая жива в подсознании миллионов. И уже хотя бы поэтому роман не пройдет незамеченным для читателя.

И. Кадарэ ставит в своем романе важную нравственную проблему: обладает ли смерть нивелирующей силой, уравнивает ли она батальонного командира, учинившего зверскую расправу над мирными жителями, и солдата-дезертира, не пожелавшего сражаться в фашистской армии? Нет, смерть, по мнению И. Кадарэ, не является силой, обезличивающей прошлое. Смерть не уравнивает! И в этом я полностью согласен с албанским собратом по перу. Соборному сознанию народа всегда важно, за что погиб соотечественник, во имя чего отдал жизнь.

Есть у темы, поднятой писателем, и другая грань: как нужно относиться к могилам бывших врагов. Вопрос не простой. Но посмотрим, как его решают албанские крестьяне-горцы. Нет, они не разрушают могил вчерашнего противника. Они понимают, что солдаты не фашисты, а мобилизованные. И у каждого из них дома — мать, близкие... И опять-таки, хочу подчеркнуть, отношение к могилам противника не может не волновать и советского читателя. Наши старшие поколения помнят надменные могилы немцев, устроенные на нашей земле. От них сейчас ничего не осталось. Лишь в двух-трех местах существуют «кладбища врагов», кладбища немцев, которых Гитлер силой погнал завоевывать «жизненное пространство». Но право же, сохранились еще кое-где следы и других таких могил... По совести, их бы следовало бережно раскопать и передавать останки, по возможности, по месту прежнего жительства, в одно из двух немецких государств.

Последние десятилетия Албания оказалась оторванной от социалистического лагеря, от Советского Союза. О ней нам мало что известно. С публикацией романа И. Кадарэ в какой-то мере восполняется этот пробел. В сущности, перед нами поэма о родном крае, о свободолюбивом албанском народе, его нравах, быте, его обрядах, его песнях. Читая роман, необычный и по содержанию и по форме, я невольно сопоставлял албанцев и русских и пришел к выводу, что при всех различиях любой народ жив строгими правилами морали, завещанной предками и полученной ими, как говорится, от Бога... В поведении албанских крестьян я распознал черты, свойственные русскому крестьянству с его умением сострадать, с его душевной щедростью, с его мужеством перед лицом опасности.

ВЯЧЕСЛАВ КОНДРАТЬЕВ

■

Из румынской поэзии

■

Перевод ЛЬВА БЕРИНСКОГО

Из предлагаемых вниманию читателей шестерых современных румынских поэтов ранее известны у нас были Иоан Александру и Мирча Динеску (стихи их печатались и в «Иностранной литературе»), имена других для читателя новые. Николае Прелипчану и Дан Лауренциу вошли в литературу в середине шестидесятых годов, а Лучиан Аврамеску и Мирча Флорин Шандру — лет через десять. Однако я не сказал бы, что это представители разных поколений. И по духу и по способам художественного выражения они представители современной поэзии — румынской, конечно, и одновременно — многих восточноевропейских социалистических стран. Этим поэтам присуще тяготение к особому жанру, соединяющему в себе и лирику, и эпику, и философию: чувства втянуты в интеллектуальную орбиту, а интеллект — в тревогу современного мирового сознания. За всем этим стоит острое ощущение причастности к нашей общей борьбе за разумное будущее, ответственность за него.

Шар земной закружил информационный вихрь — поэты стремятся воплотить необычайную емкость мировосприятия, свободный стих, пожалуй, более всего подходит для этой цели, ибо он не имеет заранее отработанных форм, а реализуется всякий раз заново на наших глазах — неповторимо и непредсказуемо. Кроме того, на мой взгляд, в румынском верлибре как-то отчетливей отражается и нонконформизм — утверждение внутренней свободы современной личности.

Духовное обновление поэзии началось в Румынии четверть века назад, оно связано с именами Никиты Стэнеску, Марина Сореску, Аны Бландианы и, конечно, Иоана Александру. Тогдашний прорыв творческой энергии не ослабевает до сих пор, он все шире и глубже оплодотворяет национальную культуру, более того — выводит ее на интернациональный простор, помогает взаимному узнаванию людей из разных стран. К концу двадцатого века слишком много накопилось трещин, разрывов, разрезов — поэты, каждый поодиночке, совершают свой тихий подвиг, восстанавливают соединительную ткань человечности, человечества. Серьезность переживаемого нами времени требует от поэзии разговора по существу. Она идет к тому, ее усилия — именно в этом направлении.

КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ

НИКОЛАЕ ПРЕЛИПЧАНУ

Ночь Святого Варфоломея

Знаю скажешь: ты дома сидел ты сидел в одиночестве
и размышлял и понятное дело был против
Варфоломеевской ночи
в ту ночь ты был одинок что́ ты мог — излагать
мысли свои на бумаге
тебя вообще

еще не было ты тогда не родился еще
впрочем в мыслях потом ты всегда — всегда! — был противник
Варфоломеевской ночи
при том что тогда ты еще не родился на свет

Где же был ты в ту ночь — в ночь Святого Варфоломея
почему не явился из небытия — в свой дом не вошел
не присел очинивши перо за свой стол это было так просто
присесть и на белом подносе бумаги
мысль изложить подвергнуть свой мозг
анализу острым гусиным пером — и может быть ошибиться
один ошибочный росчерк пера — и смерть
но почему ж ты не сделал его этот росчерк

Почему они не вошли в твой дом и не убили тебя
Варфоломеевской ночью
кто подтвердит что ты нам не лжешь
что тебя не было среди убийц
ах у тебя есть алиби
нет у тебя никакого алиби
как нет его ни у кого кто по ночам размышляет себе в одиночку —
ни малейшего алиби если была эта ночь
Варфоломеевской ночью
Где же ты был Варфоломеевской ночью
как ты смел не явиться на свет — ведь теперь
показанья твои запоздали да и слишком туманны:
сколько продлилась
сколько продлится еще
Ночь Святого Варфоломея

Варфоломеевской ночью
одному оставаться нельзя
запоздалые показанья не убеждают
их недостаточно чтоб объяснить весь размах
Варфоломеевской ночи
недостаточно
свидетельствовать в одиночку — хотя бы и против
и был ты обязан — еще до рождения! — быть с кем-нибудь заодно

Итак мы не верим тебе итак: ночь Святого Варфоломея

Корабль осени

Ничего не произошло в это воскресное утро
грустное словно осенний корабль на который
мы с тобою взошли

проплывающие перед глазами улицы города
я уже забывать начинаю

ты — над бездной: на самом краю

корабль удаляется
подняв не паруса —
наши души

ИОАН АЛЕКСАНДРУ

Via dolorosa [1]

Я умереть скорей хочу, скорей,
Пока еще я молод и покуда
Течет по венам кровь, и на моей
Щеке пылает стыд — а не остуда.

Пока умею плакать и пока
Есть мама у меня, что это тело
Проводит до погоста, где доска
Не скрипнет — зазвенит оледенело.

Пока на этом свете достает
Еще земли — укрыть мой остов тощий,
А то ведь все, на что ни глянь, гниет
И тлеет, превращаясь в прах и мощи.

И убывает влаги блеск на дне
И пламя в печке — пеплом улетая.
И застывая сфинксами, в огне
Зари — воронья утренняя стая.

О Господи, дай мне глубокий сон,
Чтобы вовек не знать того, что будет!
Тяжелый облак надо мной — и Он
Снижается и тихо сердце студит.

Я так грущу, я так боюсь, и страх
Мне не дает припомнить все, что было...
...Но только б ты, Любовь, моя сестра,
Горячая, сквозь вечность вдаль манила...

Как в раю

Кладбище в нашем селе — общий надел,
окруженный забором из серого камня,
чтобы не заражать
землю живую вокруг.

Крест деревянный — и тот через несколько лет
умирает, скривясь, и какие-то странники
странные,
мужики на кобылах сюда приезжают — воруют кресты
на костры.

[1] Скорбный путь *(лат.)*.

Исчезает могила — она порастает травой,
и трава эта вьется так жестко и густо,
словно волосы у наших девчат по ночам долгой скучной зимой.
Время от времени кладбище переполняется,
это случается,
когда мертвый ухмылкой своей набивает оскому
живому
и предок потомку — мост на погост:
отец мой — над дедом моим, дед мой — над прадедом,
старый примарь — над предшествующим примарем,
бывший поп — над попом еще более бывшим,
над могилой — могила,
старое наше село — над старинным селом.

Вдоль забора — сливы и яблони, и видны
ароматнейшие цветы — их испаренья
расходятся и наполняют дома и все, что в домах.

И приезжие, а вернее — заезжие, те, что с наскоку
к нам являются на часок,
удивляются: да у вас
как в раю!

Голубь

Полет — его единственная власть.
Ни плеч, ни пяток, чтоб на них упасть.
Вокруг — снежинки, звездное кружение.
На что же уповать? На воскрешение?
Он за небо ухватится, чтоб стали
Его крестом — Вселенной высь и дали.

ЛУЧИАН АВРАМЕСКУ

Среди самолетов вечернего рейса

Скоро мы перестанем совсем понимать друг друга
сказал глава делегации игуанов;
скоро мы перестанем совсем понимать друг друга

повторил миллиард лет спустя
глава делегации рыб;
скоро совсем для полета ах для полета
не останется места
горевал Великий Кондор в самый канун
исчезновенья
и с трудом уже пробираясь в небе
среди самолетов вечернего рейса

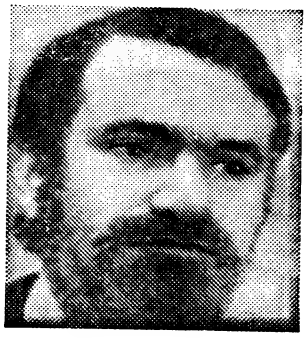
Между тем еще один день был перелистан
в воздушном календаре
и отмечен ярким захватывающим зрелищем
падения
современного лайнера со всеми его пассажирами:
причина сказали — озверевшая кондоров стая
напавшая на самолет
защищая
жизненного пространства последнюю пядь;
говорят потом
с огромным трудом
пришлось их кровавые крылья
из пропеллеров извлекать.

Улитка-отшельница

Там где ты проходишь любимая
начинаются кризисы —
нефтяные
финансовые
доверия и недоверия
смеха и слез

Там где ты проходишь любимая —
все вокруг зеленеет
сияет
преображается на глазах

Там где ты проходишь любимая
никто другой не пройдет
это ты должна понимать своей головой —
головой
улитки-отшельницы
моя любимая



Утро и вечер в садах для счастливцев

Я любил тебя так как ночь любит день
как тьма любит свет
я преклонялся перед тобой бился жестоко
горестным лбом о рассветный порог и вечерний порог
где черешни уже зажигали
свои праздничные огни в Гефсиманском саду
и как две восковые свечи
мы с тобой трепетали — это и было началом конца
а теперь
что мне до твоей мольбы —
после сгоревшего нашего дома
брошенного преданного тобой в тучах дыма
что мне до этой жалостной капли росы

ты — грех и уже осыпается
листва с твоих бедер
что мне до этого осень пришла а весна прошла
где они бедра твои

там лишь светом дождит

свет и сумрак
и не знаю я где ты
в хаосе этом
дай мне — где ты? — твою лядвею поцеловать

Грустное воспоминанье

Чем еще Господи может быть солнце
как не утраченной жизнью моей
здесь я остался
как грустное воспоминанье

странную тень роняю
между теней
сверху звездная пыль золотая
меня озирает

только сверчок
в большой и безмолвной Вселенной
мог бы мотив монотонной судьбы
отстрекотать

Кошечка

Эта кошечка с шерсткой
шелковой черной нас разбудившая
в то счастливое утро
вот она плачет ты видишь за красным рулем

пустого автомобиля —
куда в самом деле уходит пустой лимузин
с черной кошечкой
плачущей за красным рулем?

МИРЧА ФЛОРИН ШАНДРУ

Время года ~ весна

Anno Domini[1], видел я кладбище автомобилей
позеленевших, разворошенных ветром весны.
Видел, как пашет в полях человек;
молодую брюхатую видел волчицу,
убегающую в дебри рожать.
Anno Domini, только прикрою рукою глаза —
вижу в зорях большую слезу,
нашу круглую Землю
с изумрудными злаками, нефтяными полями, сиянием городов,
Anno Domini, кончилась зимняя стужа с погибшей форелью
и сырыми ветвями; наши легкие — воздух, как птицы, клюя —
наполняются вновь,
опадают
и кровоточат.
Anno Domini, видел велосипедистов, спускающихся
с голубого холма, нараспашку рубашка, продуктов мешок —
про запас.
Видел стада, видел всадников, видел цапель хохлатых,
возвращающихся домой.
Anno Domini, нежный свет возгорается в небе и наземь нисходит.
Земля, поворачиваясь, покрывает своею травой
лошадиные кости, дороги, моторы, трубопроводы.
Anno Domini, этот год ни на один из годов не похож.
Кровь у нас опускается в стопы, захолонув.
Загорелые плечи мужчин — опаленные ветром,
тяжелеют, мышцы скручиваются, как жгуты.

[1] В лето Господне *(лат.)*.

Детвора подрастает, носится в травах, ловит птиц,
теряет сознанье от свежего воздуха — сколько простора!
Женщина тихо стоит перед зеркалом, смотрит
как змея на убитую жертву.

Anno Domini, я видел кладбище расцветших автомашин.

Моя Аффрика

Вы, грустные родины нашей планеты. вы,
прячущие слезинку свою в общем хоре
ликующих возгласов,
вы, грустные родины в одеянии флагов, вы,
хохочущие, к небесам простирая усталые
руки,
вы, бедные родины, хрупкие родины, суетливые родины,
вновь и вновь выходящие с новой надеждой на площадь,
вы, родины голода, глиняной мисочки риса,
вы, родины стачек и крови
и плясок безумных,
вы, родины, выбрасывающие сыновей
в мир
на поиски хлеба,
вы, гигантские сердца земель
лучистых и горьких,
в чьих биеньях
слышен грядущий, шагающий свет.

МИРЧА ДИНЕСКУ

Бесконечное воскресенье

Три дурацкие мачты поднимите на мне: в этот вечер
я — трансатлантик окраины
я — пасмурный ослепленный фарами пес
которого местные паханы забрасывают камнями
а бродяги и алкаши — подманув куском сала —
целуют взасос
Здесь тоска разлилась вместо моря
здесь продрогший беспачпортный Бог
будет — из благоразумья — убит на рассвете

здесь влюбленные сами себя — как компот — закатывают
ь банки
здесь старики
не шелохнувшись стоят к стене прислонясь
здесь разве что только мой кашель звучит неподдельно
здесь шумный эфир
проносит над свалками вечные радости жизни:
футбольный матч взволновавший семейство
неподзапретное мычание радиолы
Весна стучится в окошко перстами
зеленых мух
и я сомневаюсь уже: существуешь ли ты? —
покуда опять не коснусь твоих губ
горькими губами

Кормушка

Есть ничтожества
которым вдруг подфартит и судьба их забросит
— зажав между ломтиком хлеба и ломтиком хлеба —
как бутерброд
прямо на стол богов
Плечи у них осыпаны крошками
и сгибаются под бременем славы
а под языком
задыхаются современные модные тюрьмы
Их весной не сбивает волной прекраснейших женщин
не заносит в какой-нибудь нищий притон
желудок у них закреплен будь здоров — как на кнопках
а между ногами
задолго до срока они начинают таскать божий храм
Они могут позволить себе насвистывать в бане
им механический ведом экстаз
и бессмысленная
абсурдная жертва
Основатели некой морали более страшной
чем нейтронная бомба —
они умирают по воскресеньям
чтобы к понедельнику
лик успел уподобиться пятнам жира в бульоне
и они бы опять осчастливили нас
у кормушки —
хоть на экваторе хоть на этой камчатке
у черного моря где я ноги сижу полощу

Фиеста

Твоя красота рассекает мне грудь
быки невесомые как медузы
парят поднимаясь над городом

приходи

приходи покуда в кармане моем позвякивает надежда
покуда лавчонки свои не прикрыла весна:

ах как недорого было б сейчас умереть
от ароматов

С легким щелчком раскрывается зонт воробьев
но дождь забывает пролиться
на башне часы
высовывают прохожим язык а газеты
перелистываемые ветром
сообщают про восстанье кокосовых пальм
про забастовку киви
и на бойне
уже омыты быки горячей струей
и ты придушила розу платочком
и как старую лампу задула мою любовь

■

ЗИГФРИД ЛЕНЦ

Рассказы

■

Перевод с немецкого Б. ХЛЕБНИКОВА

Сербиянка

Когда я вернусь домой, все наши соберутся, придут на вокзал, чтобы встретить меня, станут обнимать, будут вглядываться в мое лицо и я по их глазам увижу растерянность и печаль; они начнут меня шепотом спрашивать: Неужто это правда? Значит, все, что слыхать про Добрицу, не враки? Стало быть, она и впрямь добралась аж до Гамбурга? А верно ли, что она теперь здесь и сидит в тюрьме?

И тогда я им все расскажу, не сразу, конечно, не на вокзале; пускай обождут, пока мы не усядемся вместе за длинным столом под ореховыми деревьями, а там уж пусть слушают, что она поведала мне сама за время свидания, столь щедро отпущенное нам.

Но сперва я подтвержу им то, о чем они подозревали сами или узнали без меня. Да, свой тайный отъезд Добрица тщательно подготовила. Когда она поняла, что с нею произошло, то решила уехать, а для этого отправилась к Лаличу заложить золотую цепочку, подаренную к получению аттестата зрелости, однако вырученных денег недоставало, тогда она обошла бывших однокашников и назанимала у кого сколько можно, после чего посчитала, что по крайней мере на полдороги денег хватит. Затем она взяла дедушкин плетеный сундучок, да так, чтобы никто из домашних не заметил, и уложила туда кое-какую малость, без которой не обойтись: два платьица, свитерок бирюзового цвета, немножко белья и носочки, а с самого верху сунула, чтоб всегда был под рукой, сербскохорватско-немецкий словарик, между страниц которого спрятала письмо от Ахима и две фотокарточки. Нам, Добрица, оставалось невдомек, почему ты не купила для них рамки и не поставила у себя те фотокарточки, где был заснят этот долговязый Ахим,— на одной он стоит в плавках, с гарпуном и очками для подводной охоты, на другой он, высунувшись из окна вагона, улыбается и протягивает кому-то бутылку пива.

И пускай они услышат, что, едва начало светать, Добрица пошла на вокзал, но там еще было безлюдно и все закрыто, поэтому она села на скамейку под лучи разгоравшегося солнышка и принялась листать словарик, вспоминала всякие слова и каждый раз сама себя проверяла. Вокруг нее скакали грязные вокзальные воробьи, требовательно чирикали; она достала припасенный хлеб и нащипала им крошек. Деньги у нее были запрятаны в самодельном нагрудном кошельке. В то утро Добрица оказалась у кассы первой; билет она купила только до пограничной станции, потом отошла от прочих

пассажиров в сторонку и стала дожидаться поезда. Она предчувствовала, что труднее всего будет именно ожидание поезда, который тем временем уже медленно полз по далекому окоему сияющей бухты; еще совсем немножечко, и она вернулась бы домой с тяготившей ее сердце ношей, поверила бы нам свой секрет. Было на ней тогда платье с крупными маками, в котором ее, стриженую худышку, все принимали за школьницу. Соседи по купе, крестьяне и рабочие, угощали Добрицу тем, что захватили на завтрак: один дал стаканчик лимонада, другой — ломоть хлеба, третий — кусок холодного мяса.

Ох и часто же, сестренка, дивились мы твоему аппетиту; была ты у нас самой щуплой, а ела вроде портового грузчика. И пускай услышат дома, как наша Добрица, которую мы с малолетства прозвали Спичкой и которая слыла девочкой застенчивой, мечтательной, несамостоятельной, одна добралась до пограничной станции и оттуда, перед тем как пойти на стоянку для транзитных контейнеровозов, послала то письмо, что потом, не веря глазам своим, мы читали и перечитывали — ведь никому из нас и в голову не могло взбрести, чтобы она на такое решилась. Да, загадала она нам загадку, и уж вовсе не вразумительной была коротенькая приписка, что она поехала искать вторую половинку от сломанной ложки; Добрица частенько морочила нас какими-то детскими загадками, вот и сейчас нам померещилось что-то вроде того. Так или иначе, а просила она нас в письме не расстраиваться и обещала вернуться домой, когда все уладит.

Никто из нас никогда не перешел бы австрийскую границу без паспорта и вообще безо всяких документов, а вот она — не от мира сего, чудачка, как нам казалось, человек, к жизни не приспособленный,— отыскала водителя грузовика, везшего овчину, мало того, внушила-таки шоферюге, что ей позарез надо через границу, а у него, видать, сердце было доброе, он согласился рискнуть и спрятал Добрицу с ее плетеным сундучком под овчины, не рассчитывая ни на какие вознаграждения.

На австрийской стороне она пересела в кабину, шофер знал уйму историй и был рад слушателю, тем более что такого терпеливого и благодарного слушателя, как Добрица, на всем свете не сыскать — смотрит тебе в самый рот своими глазищами. Неудивительно, что шофер не только довез ее до конечного пункта своего маршрута, но еще проводил на вокзал и подарил на прощание дыню.

Задержали ее только на западногерманской границе, да и то виной всему было простодушие Добрицы (ах, сестренка, неужели ты взаправду думала, будто достаточно запереться в туалете, чтобы тебя не заметили при переезде границы?), которая и впрямь верила, что терпение все одолеет, но стоило ей отодвинуть задвижку с надписью «занято» и выглянуть в коридор, как увидела она там человека в форме, у которого терпения оказалось ничуть не меньше. Допрос происходил в служебном купе, Добрица отвечала с помощью словарика, каждый раз добросовестно листала его и протягивала тому человеку в форме, чтобы он сам выбрал нужное значение изо всех перечисленных у показанного пальчиком слова, из-за чего тот человек не только терялся сам, но и начал терять самообладание. Допрос прервался из-за неожиданной остановки поезда на перегоне; человек вышел из купе, оставив Добрицу одну, ибо был совершенно уверен, что эта тихая, покорная девчушка, которая с таким трудом, но зато и с готовностью во всем ему признавалась, непременно дождется его возвращения. А Добрица дожидаться не стала. Она углядела в окошко кукурузное поле, потянула, несмотря на строжайший запрет, ручку двери, скатилась по насыпи и в два шага очутилась среди зеленых зарослей. Там она присела, чтобы алые маки на платье ее не выдали, и просидела так до тех пор, пока поезд не скрылся из виду.

И пускай домашние услышат, как она добрела по узкой тропинке вдоль железнодорожного полотна до маленькой станции, там поменяла в банке на привокзальной площади деньги и купила билет на пригородный поезд, а позднее на экспресс «интерсити» до Гамбурга — теперь уже она никого и ничего не боялась. В купе к ней набились подгулявшие по случаю демобилизации солдаты с тросточками в руках и разноцветными лентами на соломенных шляпах. Вскоре под окном взгромоздилась горка жестяных банок из-под пива. Старались переорать друг друга несколько транзисторов, настроенных на разные волны. Добрица боялась, что обидит солдат, если уйдет из купе; она взяла предложенный кусок колбасы, глотнула пива. В ответ на все расспросы она лишь качала головой и показывала словарик.

Один за другим попутчики уходили из вагона, громко прощаясь и пошатываясь; оставшиеся в купе двое солдат запели тихими, неуверенными голосами; Добрица поняла, что это они поют для нее, и ответила им своей песней. Ах, сестренка, ты всегда была приветлива той особой приветливостью, которой не нужны слова.

Любой из нас если прибудет в чужой город запоздно, то сначала позаботится о ночлеге, потом выспится хорошенько, а уж утречком пойдет по своим делам. Любой-то любой, только не Добрица. С письмом в руке слонялась она по темному вокзалу и до тех пор останавливала прохожих, пока один из них не сжалился и не отвел ее на перрон, от которого шла городская электричка на Баренфельд. Было уже часов десять, когда она доехала до места, народу сошло на станции совсем немного, дул ветер, моросил дождик, зато первой же женщине, которой Добрица протянула письмо, оказалась знакома улица, написанная на конверте, им даже было по пути. Женщина довела ее до двухэтажного дома, в окнах которого горел свет, толкнула кованую садовую калитку, пропустила Добрицу, а сама пошла дальше. Лишь после нескольких настойчивых звонков в доме что-то зашевелилось, послышалось шарканье ног, наконец, дверь отворилась, и перед Добрицей появился отец Ахима, одетый в мешковатую пижаму толстяк с бугристым лбом. Он недоверчиво обвел ее глазами, не обращая внимания на письмо, протянутое Добрицей вроде визитки. Поверх ее плеча он вперился в палисадник, будто выискивал того, кто подослал к порогу девчонку, а сам затаился в темноте. Добрица назвалась сама и назвала имя Ахима, затем с грехом пополам сложила несколько слов, чтобы объяснить толстяку, откуда она приехала и что ей надо срочно повидать Ахима; он лишь слушал ее, да и то с таким видом, будто вот-вот захлопнет дверь. Но тут на пороге возникла седая женщина, она молча отстранила мужа, испытующе оглядела Добрицу — видно, письмо и плетеный сундучок послужили ей достаточным объяснением — и пригласила запоздалую гостью в дом. Со стола убрали целую кипу кроссвордов. Подали чай с ромом. Толстяка, казалось, интересовало лишь одно — из чего сплетен сундучок, а заодно он рассматривал и сумочку из козьей кожи с бахромой, зато его жена тем временем ловко и доброжелательно расспрашивала Добрицу о ее семье и о знакомстве с Ахимом.

Поверь, сестренка, мне ли не ведать боли, когда не хватает слов, чтобы выразить то, что думаешь, чувствуешь и о чем хочешь сказать. Словарик выручил даже больше, чем можно было ожидать; самое главное они выяснили. Мать Ахима впервые услышала о случившейся прошлым летом аварии и о том, кто помог Ахиму, о новой встрече на пляже, о покусавших Ахима диких пчелах и о том, как Добрица лечила его мазями. Узнала мать о поездке на остров, пикнике и о данном обещании, только вот про сломанную ложку, скрепившую то обещание, она ничего толком не поняла.

В свою очередь, Добрица узнала, что Ахим от родителей съехал, он слишком ценит свою независимость и живет теперь один в вы-

сотном доме; вечернюю школу он бросил, потому что спозаранок должен приезжать на цветочный рынок, где им арендован фургончик.

Хотя словесный мостик был очень узким, однако Добрица почувствовала, что мать сильно переживает за сына. Старик давно ушел спать, а они все сидели и расспрашивали друг друга. Переночевала Добрица в бывшей комнате Ахима, на его кушетке.

Когда же назавтра, примерно в полдень, Добрица предстала перед Ахимом, ей почудилось, будто какое-то мгновение он глядел на нее, гадая, откуда ему знакомо ее лицо; во всяком случае от нее не укрылось его короткое замешательство, и то, что он не сразу признал ее, причинило ей боль; она назвала себя, он тут же рассмеялся, подхватил ее на руки и перенес через порог квартиры. Увидев, что она подняла его с постели и он, видимо, еще не пришел в себя спросонок, Добрица тотчас все ему простила. А Ахим пригласил ее осмотреть квартиру, или, как он выразился, «мои хоромы». Странное дело, такому здоровенному парню нравилась хрупкая мебель; на стенах висели только картины с натюрмортами из цветов; из высокого окна девятого этажа Добрице открылся чудесный вид на крыши Гамбурга. Встречу они отпраздновали ореховым тортом и красным вином; на ней по-прежнему было платье с алыми маками, на нем — серо-белые кроссовки и черная майка. Он снова и снова заставлял ее пересказывать дорожные приключения, и надо же — у нее получалось это даже без словарика Ей казалось, что она не вправе задавать ему вопросы, а потому не поинтересовалась ни его учебой, ни работой.

Улучив подходящий момент, Добрица выудила из своей кожаной сумочки половинку сломанной ложки и молча положила ее на стол, чтобы напомнить о том вечере на берегу, когда Ахим, вымыв в морской воде посуду, вдруг разломил алюминиевую ложку, оставил одну половинку себе, а другую подарил ей и что-то сказал при этом, чего она толком не разобрала, да ей и не нужно было разбирать, потому что безо всяких слов поняла смысл жеста, поступка, который совершается раз и навсегда. Уставившись на половинку ложки, Ахим не без усилия, но сообразил, что к чему, тут же вскочил и принялся рыться сначала в одном отделении шкафа, затем в другом, перевернул деревянную плошку со всяческими безделушками, выругался, задумался, кинулся на кухню к ящику со столовыми приборами — все тщетно, вторая половинка ложки так и не нашлась. Добрица удержала Ахима, когда он надумал сломать другую ложку. Зато она молча слушала, как он казнил себя и сокрушался, так же безмолвно восприняла его догадку, что ложка затерялась при переезде. Ею внезапно овладело неведомое дотоле ощущение — казалось, будто руки-ноги у нее отнялись и она не может шевельнуться. Ахим целовал ее, умолял простить, она ничего не чувствовала.

Чтобы показать Добрице, как он рад ее приезду, Ахим поведал ей обо всех своих планах: он рассказал, что собирается вернуться в вечернюю школу, и даже поделился тем, как представляет себе будущее, которое откроется ему после сдачи выпускных экзаменов. Вероятно, ее молчание обескураживало его, поэтому внезапно он предложил ей навестить самых близких его друзей; они купили горячего шашлыка и жареных колбасок в теплозащитной упаковке, а к ним красного вина и поехали на автобусе к Сузи и Питу, которые держали дома хомячков, карликовых кроликов и черепашек. За столом Ахим снова упросил Добрицу поведать о дорожных приключениях, она принялась рассказывать, замечая по взглядам, которыми обменивались остальные, как потешает их ее немецкий язык. Ахим при этом выказывал даже какую-то странную гордость. На кухне Сузи предложила Добрице стать подругами, обняла ее и поцеловала в щеку. Как Ахим и предсказывал, вскоре Сузи свела все разговоры

к своей излюбленной теме — катастрофам, авариям, космическим пришельцам. Развеселившийся Пит, который работал художником-мультипликатором в одном рекламном агентстве, тут же иллюстрировал ее жуткие пророчества набросками на листках бумаги.

Время от времени Добрица тайком подавала Ахиму знаки, что пора уходить, но тот делал вид, будто ничего не замечает, словно боялся остаться с нею наедине, поэтому все сидел и сидел, предлагал выпить еще по рюмочке и еще. Когда наконец они все же отправились домой, то по дороге Ахим затащил ее в кинотеатр с непрерывным показом; они посмотрели «Земляничную поляну» Бергмана; в темноте Ахим прислонился к Добрице, взял ее за руку — и тут она почувствовала незнакомую легкую боль, которая потом возвращалась каждый раз, стоило ему к ней прикоснуться.

Ах, сестренка, даже теперь, когда ты вспоминаешь об этом, то все равно не можешь объяснить, что же с тобой тогда произошло.

Дома Ахим начал строить планы на ближайшие дни и сам упивался ими; ему хотелось показать Добрице гамбургский порт, зоопарк и Старую землю; он пригласил ее поездить с ним в автофургоне, пока он будет развозить цветы, пообещал устроить совместное путешествие на пароходике до Гельголанда. Он фантазировал, предлагал, принимал решения, но ни разу не поинтересовался, надолго ли она приехала, а Добрица сидела молча и только смотрела на него. Она давно заметила, что Ахима что-то мучает и говорит он без умолку именно потому, что не может разобраться в самом себе; мы-то считали Добрицу наивной, простоватой, а она сразу сообразила, почему он вдруг снова, да еще суетливо и как-то зло, принялся искать свою половинку сломанной ложки. К тому времени выпил он уже изрядно, его шатало. Он раздраженно ворчал себе под нос и вообще разговаривал скорее с самим собой, она с трудом разбирала лишь отдельные слова. Смешно, твердил Ахим, придавать такое значение какой-то ложке, однако злился он только на себя, а потому выпил еще рюмку-другую вина, так что когда они в конце концов стали укладываться спать, пришлось помочь ему раздеться.

И пусть домашние узнают, что Добрица до самого рассвета не сомкнула глаз, а затем потихоньку встала. Она быстренько собрала вещи, умылась, выложила на стол свою половинку сломанной ложки и ушла, не поев, не оставив ни единой строчки. Прочь, скорее подальше от этого высотного дома — вот и все, чего ей сейчас хотелось, потому она даже не взглянула на маршрут автобуса, просто взяла билет до Главного вокзала и то ли не поняла, то ли не обратила внимания на шофера, когда тот попытался объяснить ей, где надо сделать пересадку. Она лишь чувствовала, что разочарование опустошило ее и лишило воли. Добрица безучастно сидела в автобусе, который ехал и ехал мимо каких-то казарм, палисадников; когда же незадолго до конечной остановки в автобус вошел контролер, проверил билет и потребовал доплаты, то Добрица даже не сунулась за словариком, чтобы попробовать оправдаться. У контролера, видно, был уже опыт общения с иностранцами, поэтому на доплате он настоял, зато штраф взял не целиком, а только половину — углядел, должно быть, что в нагрудном кошельке у Добрицы лежала одна-единственная двадцатимарочная бумажка.

Выпив у какого-то киоска бутылочку сока и съев бутерброд с сыром, Добрица отправилась к Главному вокзалу, она шла вдоль нескончаемых фабричных стен, одолевала необозримо-однообразные жилые массивы, боролась с растерянностью, ибо, к ее недоумению, большинство прохожих, которых она расспрашивала, не знали, как дойти до Главного вокзала. Часа два плутала она по улицам со своим плетеным сундучком, пока не наткнулась на белую табличку с указателем, эти-то таблички и повели ее в нужном направлении.

Чтобы передохнуть, Добрица зашла в зал ожидания, отыскала столик, где можно посидеть одной, заказала чашечку кофе, однако тут же к ней начал приставать грязный старик, выпрашивая мелочь на пиво. Она уже собралась было дать ему денег, но, к счастью, подоспел официант и прогнал старика. Добрица решила сунуться на удачу без билета в какой-нибудь поезд, который шел в сторону Мюнхена. Ей казалось, что если ходить все время по вагонам туда-сюда, то контролеры ее не тронут, особенно если их встречать с невозмутимым видом; а еще можно предложить свои услуги на кухне вагона-ресторана, тогда, глядишь, и удастся проехать самый большой кусок пути до дома. Вдруг она обнаружила, что пропали вещи — дедушкин плетеный сундучок; а ведь она не отходила от стола ни на шаг, однако сундучок исчез — видать, кто-то незаметно прихватил его с собой, то ли какой-нибудь пассажир, то ли бродяга, мало ли их сновало возле столика. Добрица испугалась, кинулась на поиски, обежала вокзал, не обращая внимания на окрики и ругань, выскочила к перронам, пронеслась по ним, но сундучок не отыскался. Один железнодорожный полицейский сжалился над ней, постарался успокоить, даже немного помог искать, а затем отвел в дежурку и велел составить заявление о пропаже.

Представляю, каково было бы любому из нас, ее близких, очутись он за столом в дежурке железнодорожной полиции без документов, без денег, без билета, а вот Добрица, которая слыла у нас робкой и уж никак не находчивой, сообразила сказать, будто все, что у нее потребовал полицейский, находилось как раз в украденном сундучке, где остался и словарик, пропажа которого сейчас ее особенно удручала.

Целью своего приезда в Гамбург Добрица назвала поиск дальнего родственника, оказавшийся якобы безуспешным. Она поблагодарила полицейского за адрес нашего генконсульства и расписалась своей настоящей фамилией в квитанции за выдачу служебного билета, дававшего право одноразового проезда на любом виде городского транспорта. Беспокоить генерального консула она не собиралась, зато обратилась к водителю грузовика, которого увидела на транспортной площадке экспресс-доставки. Она спросила шофера, не едет ли он случаем в Мюнхен. Тот ответил, что, мол, к сожалению, нет, но он берется подвезти ее до стоянки на скоростной автостраде — там есть ресторанчик, где закусывают и отдыхают шоферы дальних рейсов.

Ах, сестренка, как же сумела ты, столик за столиком, обойти этот зачаженный и продымленный ресторанчик, снося вольные шуточки, порасспросить людей, узнать, что к чему?

И Добрица нашла-таки двух шоферов, отца и сына, которые везли в Мюнхен двадцать две тонны кофе; они пообещали взять ее с собой, если она угадает, сколько примерно кофейных зерен помещается в одном мешке. Загадав загадку, шоферы подмигнули, а Добрица чуточку подумала и сказала: миллион триста тридцать тысяч; здесь тот, что постарше, изобразил удивление, поздравил с правильным ответом, даже заказал ей бутылочку кока-колы, после чего согласился взять Добрицу в рейс. Отец с сыном посадили ее между собой и велели рассказывать, откуда и зачем пожаловала в Гамбург — Добрица снова выложила историю насчет дальнего родственника,— затем пожилой шофер припомнил, как однажды вез в прицепе «зайца» и тот чуть до смерти не закоченел. Потом они слушали по радио музыку, затем поели. Потом опять слушали музыку, а когда одолели долгий, тягучий подъем, мужчины отправили Добрицу спать. Лежанка оказалась жесткой, без всякой подстилки, но едва Добрица вытянулась на ней и накрылась тяжелым толстым одеялом, как тут же заснула.

Спала она не долго. Вдруг рядом она почувствовала чужое тело, ее бедер коснулась рука, над волосами повеяло теплым дыханием. От ужаса Добрица не могла пошевелиться. За спиной у нее кто-то ворочался, устраивался поудобнее, потом голос пожилого шофера шепнул ей на ухо: «Не бойся, спи», тогда испуг вмиг исчез, и она снова заснула под шелест шин.

Разбудил ее страшный грохот, кабину затрясло, замотало из стороны в сторону, Добрица едва успела уцепиться за ременную петлю над лежанкой; в слабом свете аварийной лампочки она увидела, как лежавшего рядом с ней водителя шваркнуло о стену. Послышались тяжелые удары, металл бился о металл, потом все вздыбилось, перевернулось и лежанка вдруг оказалась у Добрицы над головой. Ей жгло лоб и щеки, больше она ничего не чувствовала.

Через какое-то время зашипела газовая горелка — долго еще потом этот шип стоял у нее в ушах,— и Добрицу освободили из ее темницы; пошатываясь, опираясь на спасителя, она перелезла через мешки кофе, добралась до микроавтобуса «скорой помощи» и оттуда через наполовину матовое стекло увидела, что грузовик лежит в неглубоком кювете. От шин остались лишь черные лохмотья, будто после взрыва. «Скорая помощь» понеслась со включенной синей мигалкой. Ссадинами на лице Добрицы занялись только после того, как были наложены повязки на головы пожилого и молодого шофера; старший оставался без сознания. Всю дорогу до больницы она сидела между ними на откидном стульчике.

И пусть домашние узнают, что когда приветливая медсестра спрашивала у нее паспортные данные, то Добрица сделала вид, будто у нее отшибло память, она и сама не смогла бы объяснить, как догадалась изобразить полное беспамятство. Во всяком случае сообщила она для записи только имя и фамилию. Всего один раз поела Добрица в той больнице, которая находилась в городке с никогда не слыханным прежде названием. На столике в нише больничного коридора Добрица заметила несколько букетов, оставшихся, видно, от только что выписавшегося пациента. Добрица вынула из вазы самый красивый букет, стряхнула с него воду и отправилась искать палату, куда положили шоферов. Те чувствовали себя уже получше, они очень обрадовались ей, младший пригласил Добрицу посидеть у них, пока не придет брат, который выехал из Мюнхена и наверняка сможет захватить ее на обратном пути.

Большего молчуна, чем этот брат, Добрице видеть не приходилось; в палате он не проронил ни слова, только сидел и слушал про аварию безо всяких вопросов. Он никак не отозвался, когда медсестра запретила ему курить, просто равнодушно затушил сигарету. На все, что ему говорили оба пострадавших, он лишь изредка кивал; позднее, когда при покупке в больничном киоске ему показалось, будто сдача с двадцатки отсчитана неверно, он молча сунул под нос продавщице ладонь и стоял так, пока не получил столько, сколько ему причиталось. На пути до Мюнхена Добрица рассказывала ему о наших праздниках, он же отвечал лишь тем, что порой удивленно поглядывал на нее. Зато, когда машина подъехала к Главному вокзалу, он вдруг заговорил, пригласил к себе домой, у него, дескать, есть что поглядеть — аквариумы с редкими рыбками. Чтобы уклониться от приглашения, Добрица не нашла ничего лучшего, как соврать, что на вокзале ее будут встречать.

Похоже, он не поверил, во всяком случае настоял на том, чтобы проводить ее; тут Добрице стало жутковато, а затем она и вовсе растерялась, так как не могла придумать, как бы от него отделаться. Они походили по вокзалу. Он повторил свое приглашение. Потом они поели мяса на ребрышках, платил он, и вновь окунулись в толпу пассажиров. Вдруг Добрица услышала родную речь, двое земляков разговаривали о чем-то за пивной стойкой; изобразив радость

встречи, она бросилась к ним, пожала им руки и затараторила так весело, что ее спутнику поневоле подумалось, будто она отыскала своих, а потому ему не остается ничего другого, как откланяться.

А Добрица лишь расспрашивала земляков, с какого перрона отходят поезда на Австрию и сколько стоит билет. Те ей все растолковали и даже больше того, услыхав от Добрицы, что в Гамбурге у нее украли вещи и она осталась без денег, без документов, они предложили ей перебраться через границу на их машине. Но сначала они все вместе отправились в какой-то ресторанчик, стены которого были украшены коврами и фотографиями; там мужчины встретили двух земляков и о чем-то пошушукались с ними, отсадив Добрицу на время переговоров за соседний столик. Потом они выпили немножко вина, а напоследок заказали крепкого кофе. Затем они впятером тронулись в путь, спокойные и веселые.

Этого спокойствия Добрица не утратила даже тогда, когда на стоянке мужчины посадили ее в багажник, предварительно уложив там подстилку. Они пообещали, что в багажнике ей придется пробыть не больше получаса, после чего потрепали ее по плечу и захлопнули дверцу. Добрица ждала, что машина вот-вот затормозит, послышатся шаги, голоса пограничников, однако машина ехала и ехала, а никаких признаков контрольно-пропускного пункта все не было и не было. У Добрицы закружилась голова, ее начало подташнивать, порой казалось, что разверзлась и тянет к себе какая-то черная пучина. Когда машина в конце концов все-таки остановилась, Добрица едва могла пошевелиться. Двое мужчин вытащили ее из багажника, отвели к скамейке, а когда она слегка пришла в себя, все дружно принялись ее хвалить за выдержку и смелость. По дорожному указателю ей стало ясно, что они уже в Австрии.

Ах, сестренка, ты с такой легкостью соглашалась на все, будто у тебя не было выбора.

Вместе со своими земляками она пересекла Австрию; за исключением Ранко, который был у них заправилой, все остальные оказались людьми веселыми, по дороге они пели, загадывали загадки, старались перещеголять друг друга похвальбой, какой они закатят пир, когда вернутся домой. В горном лесу они свернули с шоссе и съехали на поляну. Не сговариваясь, мужчины вышли из машины, растянулись на траве и, к удивлению Добрицы, вмиг заснули — по крайней мере, трое из четверых, ибо Ранко хотя и прилег, однако время от времени разглядывал в бинокль серую ленту шоссе и лысоватую гору, посреди которой проходит наша граница.

И еще я расскажу домашним, как светлой ночью на поляне появилась странная машина, сама черная, а на окнах и дверцах нарисованы пальмовые ветви с крестами. В машине был только один человек; когда он вышел, его почтительно поприветствовали и отвели в сторонку, чтобы объяснить, как тут очутилась Добрица; ей показалось, что его пришлось успокаивать. Потом он долго вглядывался в черневший в сумерках горный склон. Он посоветовал хорошенько подкрепиться, позднее по его знаку мужчины один за другим подошли к открытой задней дверце машины и взяли уже уложенные рюкзаки. Ранко, у которого рюкзак оказался поменьше, помог остальным надеть их и застегнуть ремни. Затем Ранко о чем-то посовещался с незнакомцем, после чего они подозвали Добрицу и тоже вручили ей рюкзак; правда, его сначала пришлось упаковать. Ее рюкзак получился не таким плотным и тяжелым, как у других. Она не видела, что ей туда положили, но удивилась тому, как легка поклажа, которую предстояло сдать в привокзальном ресторанчике — там, за горой, уже почти дома. Шлепком по рюкзаку незнакомец отправил каждого в путь, и Добрица с четырьмя мужчинами, выстроившимися гуськом, отправилась к границе.

У маленького водопада они разделились; Добрице велели идти вдоль ручейка по тропке, которая довольно круто поднималась на вершину, где росли редкие деревья, а мужчины скрылись в густом ельнике. На прощание один из них шепнул ей: границу ты даже не заметишь. Наверху тропка сделалась еще круче и каменистей, но Добрица останавливалась передохнуть лишь изредка, так как ей казалось, что она идет навстречу рассвету. Вскоре она перестала пугаться отдельных карликовых сосен. Огоньки, мигавшие порой вдалеке и вроде бы получавшие ответы с другой стороны, опасений у нее не вызывали. Она не понимала, чем грозит ей скатившийся сверху камень, который несся на нее все более длинными скачками, чтобы затем, перепрыгнув через голову, упасть вниз; она упрямо лезла вверх, пока вдруг рядом с ней не выросли два наших пограничника; неподалеку в мутном полусвете проступили еще два силуэта. Добрица хотела тут же отдать пограничникам рюкзак, но те отмахнулись, неси, мол, на заставу сама; там ей приказали вытряхнуть содержимое — это оказались упаковки лекарств и несколько блоков американских сигарет. Добрица рассчитывала встретить на заставе и тех мужчин, но им, видно, удалось проскочить через посты. Она не могла поверить в то, что они нарочно послали ее отвлечь на себя пограничников.

Ах, сестренка, как относится к тебе твой нынешний охранник, ясно — недаром он дал столько времени для нашего свидания.

К тому же именно он выполнил просьбу Добрицы и первым сообщил нам, где она находится. И ведь всегда отыскивался кто-нибудь, готовый пойти на риск ради нее! До чего ровной была она на встрече со мной, до чего спокойно рассказывала. Иногда казалось, будто речь идет не о ней самой, а о ком-то другом. Вряд ли можно ждать суда с еще большим присутствием духа. Огорчало ее лишь то, что она нам причинила столько беспокойств. Присылать ей ничего не надо. Письму она будет рада, но только пускай оно будет ото всех нас. Когда Добрицу уводили, она улыбнулась; посредине темного коридора она остановилась, обернулась, махнула рукой, и тут я заметил, что платьице с алыми маками ей уже тесновато.

Облеченный доверием

На проводах в редакции, где присутствовали все мои коллеги, которые обступили меня с рюмками в руках, наш главный редактор счел необходимым еще раз напомнить о моих достоинствах, позволявших надеяться, что я с честью справлюсь с возложенными на меня обязанностями нашего иностранного корреспондента в Стокгольме. Как всегда слегка запинаясь, он воздал должное моей общительности, упомянул о моем дипломе государственного института журналистики и двух премиях, снисходительно улыбаясь, похвалил мою способность с точностью до строки укладываться в заданный объем, затем, сделав глубокомысленную мину, отметил мой высокий идейный уровень, а также умение мыслить перспективно, которое проясняет мутную текучку событий, и, наконец, выразил удовлетворение тем, что я не склонен терзаться сомнениями, морально устойчив, а значит — буду надежен на любом месте, куда бы меня ни послали. О том, что мой предшественник бросил нас и предпочел остаться в Швеции, шеф умолчал.

Во время этого прощального слова мне не пришлось выдерживать на себе пристальных взглядов моих коллег, потупивших, как говорится, очи долу; когда шеф закончил говорить, я мельком взглянул на них поверх своей рюмки с кукурузной водкой, нашим национальным напитком, который в охлажденном виде хорош не только

от хандры, но и от иных напастей. Последовали молчаливые рукопожатия, кое-кто мне подмигивал. Некоторые лишь изображали дружеские объятия, другие тискали взаправду. Но вот официальная церемония позади; рассеянно положив руку на мое плечо, главный редактор отвел меня в свой кабинет, где торжественно передал мне сначала загранпаспорт, а затем конверт с валютой, деньгами тех стран, которые мне придется пересечь на пути в Стокгольм. Едва он собрался поставить на стол два приземистых бокальчика, как в дверь кабинета постучал Барато, мой товарищ и коллега, с которым мы когда-то вместе закончили институт журналистики; он хотел помочь мне паковать вещи.

Прежде чем заняться вещами, мы забрали машину Зобры — старенький «ситроен» тридцать четвертой модели; впрочем, название относилось, пожалуй, только к кузову, так как под капотом были собраны потроха самых разных машин за несколько десятков лет. Клаксон, например, принадлежал некогда одному из первых «ягуаров»; пугая прочих автомобилистов, а также пешеходов, этот клаксон трубил наподобие охотничьего рога, которым на лисьей охоте возвещают об удаче. Зобры непременно хотел ехать в Стокгольм на своей машине.

По дороге домой — а квартиру он снимал в новом здании желтого цвета — я не заметил у него ни особого волнения, ни радости, и если вообще в нем было что-либо примечательного, то это прямотаки вызывающее спокойствие. Вещи мы собрали под присмотром его бывшей жены, точнее, я имею в виду не саму его прежнюю жену, с которой он развелся, а ее фотографию в рамке из ракушек, что стояла на книжной полке; чистое круглое лицо, строгий прямой пробор. Пожалуй, Зобры как-то слишком уж легко расстался со своими любимыми историческими романами и даже предложил мне взять себе все, что я захочу; с собой же он решил захватить только справочную литературу. Дольше всего мы упаковывали его коллекцию стеклянных, деревянных и керамических сов, поскольку каждую приходилось заворачивать отдельно да еще обкладывать стружкой. Последней была спрятана в плетеный сундучок фотография жены, причем Зобры аккуратно подоткнул рамку со всех сторон носками. Мы молча отнесли вещи в машину. Перед тем как обняться на прощанье, я сказал Зобры, что теперь буду по крайней мере слышать его голос на редакционных летучках, куда звонят наши иностранные корреспонденты. Верно, отозвался он.

Поглядывая на Барато в зеркальце заднего вида, я заметил, что он перестал махать мне рукой еще до того, как я поднялся на пригорок. Вскоре я попал в военную автоколонну, солдаты смотрели на меня с грузовиков равнодушно, а иногда враждебно — чувствовалось, что они завидуют и мечтают, куда они поехали бы сейчас, будь их воля, поэтому я решил выскочить из колонны и свернул к тенистой деревушке, в которой жил мой старый учитель.

Виделись мы с ним теперь редко, и я посчитал, что отъезд в Стокгольм — вполне резонный повод для визита, прощального, так сказать, визита. Странным образом, его не удивило ни мое появление, ни известие о моей загранкомандировке; он безразлично отложил садовые ножницы, которыми обрезал персиковые деревья, снял фартук, принес молока и пирог, после чего выжидательно подсел ко мне. Надежда на то, что мои новости найдут у него какой-то отклик, пусть даже иронический, не оправдалась. Он лишь пробормотал, что мне предстоит увидеть «роскошные пейзажи», но видовых открыток не попросил, а когда я сам предложил прислать ему несколько штук,

он вместо ответа встал и отнес кусок пирога ослику, который заглянул к нам через открытое в сад окошко. Мне так и осталось непонятным, почему мой учитель вроде бы облегченно вздохнул, когда я уходил от него.

За редакционным столом Зобры, за который я сел после его отъезда, висела карта Европы; на ней тоненькой штриховой линией, заметной только при косом свете, оказался намечен маршрут до Стокгольма. Каждое утро я глядел на карту, прикидывая, куда добрался Зобры; я представлял себе, как он расплачивается за номер гостиницы, заезжает на бензоколонку, пересекает границу, и словно бы становился свидетелем каждого этапа его путешествия. С Зобры была договоренность, что в первый раз он позвонит на большой пятничной летучке, но, подсчитав, сколько он сможет проезжать за день, я вполне допускал, что Зобры позвонит еще в четверг, чтобы подтвердить нам свое прибытие на место.

Разобрав его письменный стол, я не нашел там ничего такого, что стоило бы сохранить, если не считать папку, куда Зобры подшивал газетные или журнальные статьи о Швеции, любопытные разве лишь тем, что все они были посвящены так называемому «национальному характеру» шведов. Он подчеркивал те фразы, где отмечалась чрезвычайная корректность шведов, их пристрастие к порядку. Никто из наших сотрудников не спрашивал меня о Зобры, только внешнеполитический редактор поинтересовался раз-другой, не получил ли я с дороги какой-нибудь весточки; правда, осведомлялся он без особой настойчивости или озабоченности, скорее — просто машинально, из вежливости. Он даже сказал мне: «Такое молчание скорее успокаивает, ведь недобрые вести узнаешь моментально, ваш друг — человек надежный».

Если бы не упустил я последнего вечернего парома, то прибыл бы в Стокгольм еще в четверг. Пришлось заночевать в припортовом отеле, где после непривычно тяжелого ужина я написал две почтовые открытки: одну — Барато, другую — моей прежней жене; к адресатам они так никогда и не попали, потому что обе открытки я сунул в щель так называемого «ящика для жалоб», который принял за почтовый, ибо обалдел от пива и медового цвета водки. На первый утренний паром я пришел со страшной головной болью, а потому простоял всю дорогу на верхней палубе, где голову мне массировал и лохматил морской ветер; вид находившегося поблизости буфета с холодными закусками так и не пробудил у меня ни малейшего аппетита.

После того как несколько матросов, обслуживающих автомобильную палубу, хорошенько подтолкнули мой «ситроен», мотор у него наконец завелся, и я, миновав читавшего газету таможенника, поехал по бордовому городу под его березами, и когда добрался до лесного массива, то все мои хвори куда-то улетучились, я почувствовал себя легко и уверенно. По дороге я размышлял над тем, до чего только не доходят шведы в своем желании самообособиться — хутора и то у них стояли друг от друга очень далеко; некоторые дома, как бы в предупреждение непрошеному гостю, взбирались на труднодоступные горные вершины; они едва угадывались на скалистых островах бутылочно-зеленых озер или утверждали свою отрешенность среди привольных дремучих чащоб. Наши же дома вечно так теснятся друг к другу, что все у нас сразу становится всеобщим достоянием — и тоска и иллюзии.

На плотно укатанной дороге я неожиданно заметил, что у моего «ситроена» не слушаются тормоза; сбросив скорость, я поначалу со-

брался было затормозить, цепляясь кузовом за поднимающийся сбоку откос, из которого торчали корневища, но затем вспомнил, что встречных машин мне давно не попадалось, и потому решил переехать узкий деревянный мостик, так как дорога за ним снова шла вверх и, значит, машина сама потихоньку остановится. До мостика оставалось уже совсем немного, вдруг на дорогу выскочили две бурые, лохматые косули; в пылу драки они так сцепились рогами, что разнять или отпугнуть их не сумел даже мой диковинный клаксон. Перила мостика проломились, я упал или словно со стороны увидел, как падаю, кувырнулся, а точнее, предугадал, как перекувырнется машина, которая застучала по замшелым корням, пока не увязла наконец в зарослях папоротника. Но все это я, как уже сказано, скорее предугадал, чем увидел, а именно в тот момент, когда машина, проломив перила, вылетела с моста; в действительности же я почувствовал только удар, один-единственный удар.

Первым на большой пятничной летучке, которую называли также «оливковой», потому что во время обсуждения важнейших тем будущей недели тут подавали вино и оливки, так вот, первым позвонил наш корреспондент из Цюриха, затем мы выслушали предложения парижского и лондонского корпунктов. Голоса иностранных корреспондентов транслировались через громкоговоритель, таким образом присутствующие могли слышать весь разговор между главным редактором и корреспондентами. Никто из них не забыл про день рождения шефа, и оказалось небезынтересно сравнить различные поздравления, которые неизменно следовали за очередным отчетом. Стокгольм же никак не звонил, хотя засиделись мы дольше обычного, возглашая здравицы шефу и попивая особенно хорошее по торжественному случаю вино. Веселье, как говорится, достигло своего апогея, и вскоре я остался, пожалуй, единственным, кто продолжал с нетерпением ждать звонка от Зобры, больше того, никто уже, вероятно, и не обратил бы внимания на отсутствие этого звонка, если бы шефа внезапно не вызвали в министерство внутренних дел. Перед уходом он попросил меня дозвониться до стокгольмского корпункта с моего телефона.

Как выяснилось, Зобры туда еще не прибыл, не оказалось его и на квартире; растерянная секретарша корпункта доложила, что он ни разу не дал о себе знать и с дороги. Нельзя было не расслышать ее беспокойства, причем вполне оправданного, ибо она не совсем еще оправилась от неприятностей, которые выпали на ее долю из-за того, что предшественник Зобры стал невозвращенцем. Она огорченно поведала мне, что уже запрашивала шведскую полицию, однако безрезультатно, так как полная сводка дорожных происшествий и прочих несчастных случаев поступит только к вечеру. Не ускользнуло от моих глаз и то, как нахмурился наш главный редактор, когда услышал от меня итоги моего разговора с секретаршей. Уже повернувшись, чтобы уйти, он попросил звонить ему домой, если Зобры все же объявится сегодня.

Сначала я увидел мальчугана, который неподвижно сидел на табуретке; он не заметил, что я очнулся, и через распахнутую дверь продолжал глядеть на лесистый склон с серыми валунами. Стоило мне шевельнуться, как мальчуган тут же обернулся, вскочил и стремглав выбежал вон, словно ему, маленькому босоногому стражу, велели немедленно доложить о моем пробуждении; прошло действительно совсем немного времени, и в комнату шагнул худой старик, который склонился над моей лежанкой, со спокойным недоверием осмотрел меня, однако не ответил на мою улыбку и даже будто бы

вовсе не заметил ее. Старик проверил повязки на моей голове и на груди, затем скупым жестом указал на чашку чаю, мол, надо пить; к выражениям благодарности он отнесся с полнейшим равнодушием, не уверен, что он вообще меня понял. На мой вопрос о телефоне старик отрицательно мотнул головой, а взмахом руки, направленной на деревянную стену, изобразил какую-то загогулину, что, видимо, означало, что в этой глуши на всю округу нет телефона.

Боль я чувствовал, только если шевелился, зато когда попробовал привстать, то сразу же свалился обратно от приступа дурноты и стука в висках. Я не рискнул попросить старика, который, похоже, был дедом мальчугана, послать за врачом. Самодельная табуретка возле лежанки весь день была кем-нибудь занята; сменяли друг друга не только старик с мальчуганом, дежурила также молчаливая веснушчатая женщина, а с приходом сумерек босоногая девочка, которая, судя по звукам, играла какими-то довольно массивными стекляшками. Когда девочка привстала, я разглядел, что она играет двумя стеклянными совами из моей коллекции.

После летучки в понедельник, когда мы вновь тщетно прождали звонка нашего стокгольмского корреспондента, главный редактор вызвал меня в свой кабинет, где высказал не только досаду, но и свои претензии непосредственно ко мне. Он напомнил, что при выборе кандидатуры для командировки в Стокгольм решающую роль сыграло именно мое поручительство; затем, выразив надежду, что мы достаточно хорошо понимаем друг друга, а потому нам нет нужды стесняться своих опасений, даже если они не вполне обоснованны, он прямо спросил:

— Думаете, он на это способен?

Ничего такого я не думал, однако сказал лишь, что надо дать Зобры еще немного времени, после чего шеф тихо проговорил:

— Я уже слышу, как тикает эта мина, я ее снова слышу. Нет, видно, в наши дни ни на кого нельзя положиться.

По пути домой я заглянул в бельэтажную квартиру бывшей жены Зобры; звонок я нажал, так и не успев сообразить, чем объяснить мой визит. Она обрадовалась мне, усадила на кушетку и исчезла в ванной, где она полоскала колготки, нейлоновые блузки и тут же раскладывала их сырыми на гладильную доску. Потом она предложила мне, чтобы я налил нам обоим кукурузной водки, а когда мы выпили по две рюмки, она испытующе взглянула на меня и спросила:

— Что-нибудь с Зобры?

Я лишь теперь понял, чего, собственно, хотел и зачем позвонил в эту дверь. Она задумчиво приняла к сведению опасения редакции, захотела услышать подробности, которыми я, однако, и сам не располагал, затем она развспоминалась, но ни теперь, ни позднее, когда я пригласил ее поужинать, она так и не смогла предложить никаких объяснений, которые пролили бы свет на то, почему Зобры изменил своей обязательности.

Правда, я обратил внимание на то, что ей захотелось еще раз рассказать о причинах развода, который состоялся с полного согласия обеих сторон. Если я правильно ее понял, то оба, мол, не смогли привыкнуть к постоянной необходимости оправдываться друг перед другом: слишком долго они не женились и жили самостоятельно, он — редактор, она — переводчица. Никакие обоюдные договоренности не помогали, необходимость оправдываться настолько омрачала их вечера, что после пяти лет совместной жизни они решили развестись. Зобры никогда не говорил мне прежде об этой причине, никогда прежде не замечал я в нем чего-то особенного в те годы, в которые ему якобы приходилось за все оправдываться — за разговор-

чивость и за молчаливость, за каждое «да» и за каждое «нет»; обычно люди смиряются с подобным укладом вещей, а вот он не смог с ним свыкнуться. Но какие сделать выводы из этого открытия, я пока не понял.

На мою просьбу отправить телеграмму в Стокгольм старик объяснил, стараясь говорить простейшими шведскими фразами, что местное почтовое отделение находится далеко и он не может позволить кому-либо из домашних отлучиться на долгое время, так как все нужны для работы по хозяйству. Врача, который также жил неблизко, звать, считал он, не нужно, ибо, собственнолично осмотрев меня, убедился, что мне уже лучше. Без особого сочувствия старик сообщил, что моя машина, ударившись о корневища, в конце концов свалилась на дно оврага; она сильно покорежена и уже ни на что не годится, а мои пожитки, те из них, которые удалось собрать в папоротнике и кустарнике, сложены на копешке сена.

Несколько раз я пытался разговорить ребят, особенно когда они приносили мне еду, весьма, между прочим, простую, однако ничего у меня не получилось, поскольку они либо сразу же убегали прочь, либо сидели на табуретке безмолвными стражами. В возникшей однажды неловкости повинен я сам, ибо попросил мальчугана дать карандаш и бумагу, а он мигом доложил о моей просьбе старику, который появился на пороге и безо всякого раздражения, тем более гнева, совершенно ровным голосом спросил: неужели у нас дома все вот так же злоупотребляют гостеприимством. Долгое время я пытался определить, чем это тут пахнет, особенно вечерами, когда запах становился еще более густым и пряным; наконец я догадался, что за дух доносился до меня через щели в стенах — это пахло тмином. Проверить себя я не смог, так как приподнимался на лежанке лишь с большим трудом, а при попытке следующей ночью встать на ноги чуть совсем не свалился. В том, что меня ищут повсеместно и методически, я не сомневался.

На летучке не было сказано, откуда редактор отдела внутренней политики узнал, что Зобры продал перед отъездом в Стокгольм доставшийся ему от родителей дом. При этом Зобры довольствовался подозрительно низкой ценой, да и чересчур торопился с продажей, поэтому, говорят, согласился с первым же предложением. Не успели мы толком переварить эту информацию, как внутриполитический редактор удивил нас дополнением: Зобры, дескать, взял деньги наличными, однако счета в нашем национальном банке не открыл. В наступившем вслед за этим молчании каждому из нас до боли отчетливо вспомнился наш новый стокгольмский корреспондент. Я взглянул через стол на главного редактора, который, свесив сигарету на подбородок, скреб ногтями подпалину на столешнице. Он даже не поднял головы, когда начальник отдела информации, каждодневно учивший нас правилам корректного цитирования, счел необходимым сгустить упавшую на Зобры тень; тихим голосом он доложил собравшимся о том, что человек, облеченный нашим доверием и командированный в Стокгольм, был замечен в архиве в тот самый день, когда там пропали отклоненные редакцией материалы, поэтому не исключено появление этих материалов в каком-либо шведском издании.

Главный редактор поднялся с места, намереваясь покинуть конференц-зал, но тут зазвонил телефон — разговор из Стокгольма. Это была наша секретарша, которая растерянно спросила, не следует ли ей, по совету полиции, дать заявление на розыск Зобры как пропавшего без вести. Не раздумывая, шеф ответил, что в данном случае

никаких заявлений о розыске не нужно, зато, предупредил он секретаршу, возможно, будет подготовлено заявление для печати, которое ей придется передать газетам по соответствующему распоряжению. Потом шеф жестом позвал меня следовать за ним, но не успел я дойти до двери, как новым жестом он показал мне, что я ему уже не нужен, в чем я узрел дурной признак — он ждал худшего, но смирился с судьбой.

Мне удалось обмануть хозяев насчет самочувствия тем, что на их глазах я изобразил несколько безуспешных попыток встать с лежанки. Видимо, я хорошо разыграл полный упадок сил, во всяком случае дверь хотя и была на ночь закрыта, но не заперта на ключ. Стопроцентными доказательствами я, конечно, не располагал — ведь постоянное присутствие «стража» могло оказаться и проявлением заботы,— однако тем не менее у меня окрепло ощущение того, что меня держали в плену. Задумав побег, я решил позднее найти способ, чтобы отблагодарить моих спасителей,— например, послать им какие-либо подарки с нарочным, который на обратном пути прихватил бы мои вещи.

В рассветных сумерках, когда туман пополз по лесистому склону, я отворил дверь, прислушался, сделал несколько шагов вдоль выкрашенного в ржаво-рыжий цвет сарая и опять прислушался: с опушки леса, который спускался к дороге, на меня глядела стайка косуль. Чтобы пройти мимо окон жилого дома, я пригнулся, рывком бросился через двор, затем прокрался вдоль стены из мореных досок и очутился у грязного подвального окошка, за которым горела старая керосиновая лампа. В ее тусклом свете я разглядел лицо и плечо старика, лежавшего на скамье, словно в изнеможении. У стены ровными рядами выстроились бутылки. Посредине стоял самогонный аппарат, тут же — колбы, реторты, змеевики, из наклонной трубки капли падали в котелок; наконец-то я понял причину странной настороженности моих хозяев.

К дороге пришлось продираться через кустарник. За мной шли косули, они отскакивали, когда я спотыкался, зато, если я оставался лежать, они, играючи, нападали на меня; на дороге косули слегка отстали, сохраняя из осторожности некоторое расстояние между нами, а у моста они и вовсе остановились, будто строго придерживались некой границы своей территории. Мне не понадобилось даже махать рукой рейсовому автобусу, он сам затормозил в нескольких шагах от меня, и среди пассажиров с усталыми, замкнутыми лицами я доехал до центра провинции, а там сел на скорый поезд до Стокгольма. Окрыленный успехом, я велел таксисту везти меня не домой, а сразу на корпункт. Там я никак не мог взять в толк, чем это я так обескуражил бедную секретаршу, и лишь когда она принесла мне кофе, сообразил, что ее, видимо, взволновало само мое появление. Я попросил ее заказать телефонный разговор с редакцией.

Неожиданно выяснилось, что каждому из завсегдатаев «оливковых» летучек что-нибудь да известно, каждый вдруг что-либо вспомнил, где-то что-то узнал, случайно наткнулся на некие обстоятельства, которые объясняли исчезновение Зобры и оправдывали самые худшие подозрения. Поэтому меня едва ли удивил старый учитель Зобры, когда при нашей встрече на конкурсе самодеятельных чтецов он припомнил, что его ученик вечно «терзался сомнениями», чем весьма невыгодно отличался от прочих учеников, ибо подвергал сомнению даже очевидные истины.

Я от души сочувствовал нашему главному редактору: ведь если Зобры, как и его предшественник, станет невозвращенцем, а такого

известия мы ожидали буквально с часу на час, то всю тяжесть ответственности придется нести именно шефу. Уже по его лицу, с которым он сидел на очередной летучке, было видно, как шеф переживает. Он поручил вести летучку внешнеполитическому редактору и, казалось, безо всякого интереса отнесся к заявлению для печати, которое мы предварительно обсудили и окончательный текст которого велели подготовить мне. Решено обвинить Зобры в нелегальном вывозе валюты и в похищении редакционных материалов. Пока я записывал раздававшиеся со всех сторон подсказки моих коллег, телефонистка с коммутатора объявила, что поступил срочный телефонный разговор из Стокгольма.

На сей раз шеф не взял трубку сам, а попросил сделать это внешнеполитического редактора. Каждый из нас подумал, что вот сейчас секретарша из стокгольмского корпункта огласит давно ожидаемую страшную весть. И вдруг послышался голос Зобры. Как весело рассказывал он о своей аварии! С каким юмором описал дни, которые провалялся на глухом хуторе, где обитали самогонщики! Он даже не замедлил предложить для рубрики «Пестрая смесь» корреспонденцию под названием «По вине косули». Лиц наших он, разумеется, не видел — а мы сидели окаменев и хранили ледяное молчание,— однако Зобры все же догадался извиниться за запоздалый звонок, после чего попросил дальнейших инструкций.

Неожиданно трубку потребовал главный редактор; с закрытыми глазами, на одном дыхании он приказал Зобры немедленно вернуться в редакцию и добавил в напряженную тишину:

— Потрудитесь сообщить телеграммой время прибытия.

Потом шеф бросил трубку и, не прощаясь, стремительно покинул конференц-зал, а мы остались сидеть, остолбенев от удивления.

Через десяток минут я все узнаю: ведь я телеграфировал им время приезда, значит, меня кто-то встретит — хорошо бы Барато, хорошо бы именно он, потому что с ним можно говорить откровенно и обо всем, а я и хочу узнать все.

Опоздание не объявлялось, значит, остается меньше десяти минут; несомненно, он будет потрясен, разгневан, выйдет из себя, захочет опровергнуть все, что выплыло наружу за то время, пока он числился без вести пропавшим. Только с каким красноречием ни оспаривай частности, нашего общего мнения ему уже не изменить, нет, не изменить, ибо в этом мнении мы единодушны.

■

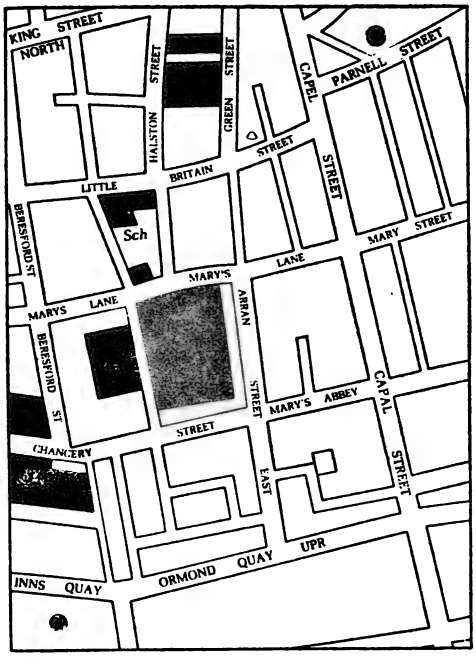
ДЖЕЙМС ДЖОЙС

Улисс

РОМАН

Перевод с английского
В. ХИНКИСА и С. ХОРУЖЕГО

12



Я, значит, загораю на уголку Арбор-хилл с папашей Троем из ДГП [1], как вдруг откуда-то прет окаянный трубочист и своей метлой аккурат норовит заехать мне в глаз. Оборачиваюсь, чтобы покрыть его как следует, и тут вижу, кто ж это топает по Стони-баттер, не иначе Джо Хайнс.

— Ха, никак Джо,— говорю.— Как живешь-дышишь? Видал, мне этот рассукин трубочист чуть-чуть глаз не высадил?

— Сажа к счастью,— это он мне.— А что это за старый мудила, с которым ты тут?

— Папаша Трой,— говорю,— в полиции служил раньше. Я вот думаю, может, мне привлечь этого очумелого за то, что он создает помехи движению своими метлами да лестницами.

— А чего тебя занесло в эти края? — он мне.

— Так,— говорю,— ерунда. Тут один жулик, бестия, за гарнизонной часовней живет, на углу Чикен-лейн — папаша Трой как раз мне кой-чего шепчет насчет него — наплел, будто у него богатая ферма в графстве Даун, и под этим видом нагреб чертову пропасть чаю и сахару, как бы в рассрочку по три шиллинга в неделю, у одного плюгавого коротышки по прозванию Моше Герцог, вон там, около Хейтсбери-стрит.

Продолжение. Начало см. в № 1 — 5, 1989.

[1] Дублинская городская полиция.

— Обрезанный? — спрашивает Джо.

— Точно,— говорю.— Этак малость с верхушки. Лудильщик по фамилии Герати. Две недели за ним гоняюсь и не могу вытрясти ни пенса.

— Так это и есть твой промысел? — Джо смекает.

— Точно,— говорю.— Как пали сильные!* Взыскание злостных и оспариваемых долгов. Но уж этот — самый отпетый бандюга, какого свет видывал, рожа вся в оспинах, хоть дождь в нее собирай. *Передайте ему,* говорит, *чтобы он остерегся,* говорит, *и дважды бы остерегся, вас еще сюда посылать, а если пошлет, то я,* говорит, *его привлеку к суду за торговлю без патента, пусть так и знает.* А сам за его счет так набил брюхо, что, гляди, лопнет. Я со смеху сдох, как тот еврейчик на себе волосы рвал. *Он зе пивает моего цаю. И он зе ку́сает моего сахару. Таки цего зе он не отдавает мне мои деньги?*

За нескоропортящийся товар, закупленный у Герцога Моисея, торговца, место жительства Дублин, Сент-Кевин-пэрейд, 13, квартал Вудкуэй, впредь именуемого «продавец», проданный и доставленный Герати Майклу Э., эсквайру, место жительства Дублин, Арбор-хилл, 29, квартал Арран-куэй, впредь именуемому «покупатель», а именно, чай высшего качества, в количестве пяти фунтов торгового веса, стоимостью по три шиллинга ноль пенсов за фунт торгового веса, и сахар-песок, в количестве сорока двух фунтов торгового веса, стоимостью по три пенса за фунт торгового веса, означенный покупатель обязан уплатить означенному продавцу один фунт стерлингов, пять шиллингов и шесть пенсов, составляющие стоимость товара, каковая сумма означенным покупателем должна выплачиваться означенному продавцу посредством еженедельных взносов, а именно, три шиллинга ноль пенсов каждые семь календарных дней. Означенный нескоропортящийся товар не подлежит употреблению в качестве заклада или залога, равно как не подлежит перепродаже либо иным видам отчуждения со стороны означенного покупателя, но должен пребывать и оставаться и содержаться в исключительной и всецелой собственности означенного продавца, каковой может располагать им по своей воле и усмотрению, покуда означенная сумма не будет полностью выплачена означенным покупателем означенному продавцу согласно вышеустановленному порядку, как о том условлено сего числа между означенным продавцом, его наследниками, преемниками, поверенными и душеприказчиками, с одной стороны, и означенным покупателем, его наследниками, преемниками, поверенными и душеприказчиками, с другой стороны.

— Ты у нас как, строго непьющий? — Джо спрашивает.

— Промеж двумя рюмками в рот ни капли,— говорю.

— Тогда, может, навестим друга жаждущих? — снова Джо.

— Какого бы? — говорю.— Может, уж он у Убогого Джона с психами, спятил малость, бедняга.

— От собственного зелья? — это Джо.

— Вот-вот,— говорю.— Виски с содовой ударило в голову.

— Заглянем к Барни Кирнану,— это Джо.— Мне бы надо повидать Гражданина.

— Идет, давай к душке Барни,— говорю.— А чего завлекательного на свете слышно?

— Ничем таким и не пахнет,— это Джо.— Я вот на заседании был в «Городском гербе».

— Это еще о чем? — говорю.

— Скотопромышленники волнуются насчет ящура,— говорит Джо.— Хочу об этом донести Гражданину суровую правду.

И таким манером, болтая о том о сем огибаем мы с ним казармы Линенхолл и бредем задами мимо суда. Славный он малый, этот Джо, когда у него в кармане звенит, только голову на отсечение, что такого с ним не бывает. Да, думаю, не вышло у меня проучить гнусного прой-

доху Герати. Грабит средь бела дня. За торговлю без патента, чего придумал.

В стране прекрасной Инисфайл* один есть край. То дивный край, земля святого Мичена. Там высится сторожевая башня, всем путникам видна издалека. Могучие покойники там спят, как бы во сне живые пребывая, прославленные воины, князья. Отрадно там журчанье вод, привольных и рыбообильных, где резвятся маслюк и пикша, лиманда и палтус, камбала обыкновенная и калкановая, плотва, сайда и тинда, резвится без разбору всяческое рыбье простонародье, резвятся и прочие обитатели водного царства, числа коих никому не исчислить. Под дуновеньем ласкающих зефиров с запада и с востока могучие деревья колышут свое первосортное лиственное убранство, кедры ливанстии и благовонные сикоморы, платан вознесшийся и целительный евкалипт, и прочие украшения древесного мира, коими земля эта щедро наделена. Там прелестные девы, усевшись у подножия прелестных дерев, напевают прелестнейшие мелодии, забавляясь всяческими прелестными вещицами, как то золотыми слитками и серебряными рыбками, бочками сельди и полными неводами угрей, корзинами мальков трески и лосося, багряными дарами моря и шаловливыми букашками. И славные рыцари стремятся со всех концов искать их взаимности, от Эбланы до Сливмарги, несравненные принцы из непокоренного Мангстера и Коннахта праведного, с шелковых равнин Ленстера, из страны Круахана и из Армы великолепного и из благородного округа Бойл, принцы, королевские сыновья.

И высится там роскошный дворец, хрустальный купол которого, сияющий тысячами огней, отвсюду заметен морякам, что бороздят просторы морей в ладьях, нарочно для этого построенных, и стекаются туда все стада и скот тучный и первые плоды той земли, и О'Коннелл Фицсаймон взимает с них дань, вождь и потомок вождей. На исполинских колесницах туда подвозят плоды полей, мешки капусты, полные отборных кочнов простой и цветной и брюссельской, и капусты кольраби, вороха шпината, консервированные ананасы, рангунские бобы, горы помидоров, связки фиг, груды брюквы, корзины грибов, кабачки, репу, вику, ячмень, и округлые картофелины, и с радужным отливом луковицы, сии перлы земли, и красные зеленые желтые смуглые розоватые сладкие крупные кислые зрелые покрытые пушком яблоки и лукошки земляники и сита крыжовника, сочного и мохнатого, и земляники, достойной принцев, и малины прямо с куста.

Пускай он остережется, говорит, *и дважды остережется.* А ну-ка, вылезай сюда, Герати, ты, отпетый бандюга с большой дороги!

И туда же устремляются бесчисленные стада племенных овец * и могучих баранов с бубенцами, и ягнят, и ярочек, впервые остриженных, и серых гусей, и молодых бычков, и запаленных кобыл, комолых телят, мериносов, овец на откорм, стельных коров от Каффа, отбракованных недомерков, свиноматок и беконных свиней и самых отборных свиней всех прочих разнообразнейших разновидностей свиного рода, телочек из графства Энгус и племенных бычков с безупречной родословной, мясных быков и удойных коров-рекордисток; и никогда там не молкнут топот и гогот, ржанье и блеянье, мычанье и рев и хрюканье и чавканье свиных, овечьих, коровьих орд, пришедших тяжкою поступью с бескрайних пастбищ Ласка и Раша и Каррикмайнса, с пойменных лугов Томонда и неприступных хребтов Макгилликадди-Рикс, с берегов величавого глубоководного Шаннона и с приветливых склонов страны рода Кир*, вымена их набухли от преизбытка молока, и там же громоздятся бочонки и кадки масла, головы сыру, бараньи туши, меры и меры зерна, сотни и тысячи яиц, всевозможных размеров, продолговатой формы, цвета агата и мела.

Стало быть, заворачиваем к Барни Кирнану, и там, как полагается, в углу Гражданин, в живой беседе с самим собой, этот его паршивый

пес, Гарриоун *, при нем, и ждут, когда и чего им перепало бы насчет выпить.

— Вот он,— говорю,— в своей берлоге, с кружкой-подружкой, над кипой бумаг, трудясь ради великого дела.

Тут окаянный пес так зарычал, что поджилки все затряслись. Благое дело для общества, если бы кто его наконец придавил. Мне рассказали, он тут однажды в лоск изодрал штаны полисмену, который пришел с повесткой насчет патента.

— Стой, кто идет,— это он.

— Спокойно, Гражданин,— Джо ему.— Тут свои.

— Следовать к месту сбора,— он на это.

И потом трет глаз ладонью и спрашивает:

— Каково ваше мнение о сложившейся обстановке?

Играет патриота-боевика, Рори *, засевшего в горах. Но тут, чтоб я лопнул, Джо был на высоте.

— Я полагаю, акции поднимаются,— говорит он, поглаживая себя по ширинке.

И тут, чтоб я лопнул, Гражданин трахает себя по коленке и орет:

— Войны за границей *, вот что всему причина!

А Джо на это, колупаясь большим пальцем в кармане:

— Всё русские, так и рвутся тиранить.

— Слушай,— это уж я,— ты кончай зубоскалить, Джо. У меня жажда такая, что за полкроны не продал бы.

Джо тогда говорит:

— Назови марку, Гражданин.

— Вино нашей родины,— тот ему.

— Ну, а ты? — это мне Джо.

— Присоединяюсь к предыдущему оратору,— говорю.

— Значит, три кружки, Терри,— говорит Джо.— А как здоровьишко, Гражданин?

— В лучшем виде, радость моя,— тот ему.— Ну как, Гарри? Наша возьмет? У-у!

И хватает своего шелудивого за шкирку, да так, что из того, еще бы самую малость, и дух вон.

Фигура, сидевшая на гигантском валуне * у подножия круглой башни, являла собою широкоплечего крутогрудого мощночленного смеловзорого рыжеволосого густовеснушчатого косматобородого большеротого широконосого длинноголового низкоголосого голоколенного стальнопалого власоногого багроволицего мускулисторукого героя. В плечах он был нескольких косых саженей, а колени его, подобные горным утесам, как и все остальное тело, видное глазу, густо покрыты были колючею рыжеватой порослью, цветом и жесткостью походившей на дикий терн (Ulex Europeus). Ноздри с широчайшими крыльями, откуда торчали пучки волос того же рыжеватого цвета, были столь дивно поместительны, что в их сумрачной мгле полевой жаворонок без труда свил бы себе гнездо. Глаза его, в которых слеза и улыбка вечно оспаривали первенство *, превосходили размерами отборный кочан капусты. Мощная струя горячего пара размеренно исторгалась из его бездонной груди, и столь же ритмически могучие звучные удары его исполинского сердца громоподобными раскатами сотрясали почву, заставляя содрогаться до самых вершин башню, что вознеслась высоко, и стены пещеры, вознесшиеся еще выше.

На нем было длинное одеяние без рукавов, из свежесодранной бычьей шкуры, свободно ниспадавшее до колен, словно килт, и перехваченное в поясе кушаком из стеблей тростника и соломы. Под этим одеянием имелись штаны из оленьей кожи, грубо сшитые жилами. Нижние конечности его защищали высокие болбриггенские гетры, крашенные пурпурным лишайником, а стопы были обуты в башмаки дубленой коровьей кожи, зашнурованные трахеей того же животного. На поясе подвешены были морские камешки, побрякивавшие при

каждом движении его устрашающей фигуры; на них грубо, но с поразительным мастерством были вырезаны изображения покровителей кланов, древних героев и героинь Ирландии, Кухулина, Конна Ста Битв, Найла, взявшего девять заложников, Брайена Кинкорского, Малахии Великого, Арта Макморра, Шейна О'Нила, отца Джона Мэрфи, Оуэна Роу, Патрика Сарсфилда, Рыжего Хью О'Доннелла, Рыжего Джима Макдермотта, Соггарта Оуэна О'Грони, Майкла Двайера, Френси Хиггинса, Генри Джоя Маккракена, Голиафа, Горацио Уитли, Томаса Коннефа, Пег Уоффингтон, Деревенского Кузнеца, Ночного Капитана, Капитана Бойкота, Данте Алигьери, Христофора Колумба, св. Ферсы, св. Брендана, маршала Макмагона, Карла Великого, Теобальда Вулфа Тона, Матери Маккавеев, Последнего из Могикан, Розы Кастилии, Настоящего Голуэйца, Человека, Сорвавшего Банк в Монте-Карло, Защитника Ворот, Женщины, Которая Не Решилась, Бенджамина Франклина, Наполеона Бонапарта, Джона Л. Салливена, Клеопатры, Savourneen Deelish [2], Юлия Цезаря, Парацельса, сэра Томаса Липтона, Вильгельма Телля, Микеланджело Хейса, Магомета, Ламмермурской Невесты, Петра Отшельника, Петра Обманщика, Смуглой Розалин, Патрика В. Шекспира, Брайена Конфуция, Морта Гутенберга, Патрицио Веласкеса, Капитана Немо, Тристана и Изольды, первого Принца Уэльского, Томаса Кука и Сына, Бравого Парня Солдата, Arrah na Pogue [3], Дика Терпина, Людвига Бетховена, Colleen Bawn [4], Косолапого Хили, Энгуса Раба Божия, Доллимаунта, проспекта Сидни, мыса Хоут, Валентина Грейтрейкса, Адама и Евы, Артура Уэлсли, босса Крокера, Геродота, Мальчика с Пальчик, Будды Гаутамы, леди Годивы, Лилии Килларни, Бейлора Дурной Глаз, царицы Савской, Экки Нэгла, Джо Нэгла, Алессандро Вольты, Джереми О'Донована Россы, Дона Филипа О'Салливена Бира. Подле него покоилось заостренное копье из тесаного гранита, а у самых ног его прикорнул свирепый зверь собачьих кровей, чье прерывистое дыхание указывало на то, что зверь погружен в беспокойный сон,— догадка, находившая подтверждение в хриплых рыках и диких вздрагиваньях, которые хозяин время от времени укрощал успокоительными ударами мощной палицы, грубо выделанной из палеолитического камня.

Стало быть, Терри приносит три пинты, а Джо еще все стоит, и тут, братцы мои, я чуть на месте не помер, когда вижу, он вынимает из кармана гинею. Не верите — могу побожиться. Натуральный кругленький соверен.

— Откуда этот, там еще много таких,— говорит.

— Никак церковную кружку уворовал? — я ему.

— Праведным трудом,— отвечает.— Это мне благоразумный субъект намекнул.

— Я его видел перед тем, как тебя встретить,— говорю.— Он шлялся по Пилл-лейн да по Грик-стрит, пялил свой рыбий глаз на рыбьи кишки.

Кто странствует по землям Мичена, облачен в черный панцирь? О'Блум, сын Рори — то он. Неведом страх сыну Рори, и благоразумна душа его.

— Для старухи с Принс-стрит *,— говорит Гражданин,— для субсидируемой газетенки. Блюдут соглашение в Палате. А поглядите на это чертово барахло, это он говорит. Нет, вы поглядите, говорит. «Айриш индепендент», как вам нравится, независимая ирландская газета, которую Парнелл для того основал, чтобы она служила рабочему люду. А вы только послушайте список рождений и смертей в этой, с вашего позволения, ирландской для ирландцев газете, и то же самое свадьбы.

И начинает громко зачитывать:

---

[2] Верная Возлюбленная *(ирл.)*.

[3] Предавшийся Поцелуям *(ирл.)*.

[4] Девушка с Красивыми Волосами *(ирл.)*.

— Гордон, Барнфилд-Кресент, Эксетер; Редмейн, Иффли, Сент-Эннон-Си: супруга Вильяма Т. Редмейна родила сына. Как это вам, а? Райт и Флинт, Винсент и Джиллет, с Ротой Мэрион, дочерью Розы и покойного Джорджа Альфреда Джиллета, Клафам-роуд, 179, Стокуэлл, Плейвуд и Рисдейл, Сент-Джуд, Кенсингтон, венчание совершено высокопреподобным доктором Форрестом, настоятелем Вустерского собора. А? Некрологи. Бристоу, Уайтхолл-лейн, Лондон; Кэрр, Стоук Ньюингтон, от гастрита и болезни сердца; Триппер, Мот-хаус, Чепстоу...

— Этого парня я знаю,— говорит Джо,— по горькому опыту.

— Триппер. Димси, супруга Дэвида Димси, служившего в Адмиралтействе; Миллер, Тоттнем, в возрасте восьмидесяти пяти лет; Уэлш, 12 июня, Кэннинг-стрит, 35, Ливерпуль, Изабелла Хелен. Как это все подходит для национальной прессы, а, хрен моржовый? И что нам все это говорит про Мартина Мэрфи, рассукина политикана из Бэнтри?

— Да ладно,— говорит Джо, пододвигая нам кружки.— Порадуемся, что они нас опередили. Ты лучше хлебни-ка, Гражданин.

— Не премину,— отвечает тот, достопочтеннейший муж.

— Ну, будем, Джо,— говорю.— Поминки объявляю открытыми. Ух! Это да! Нет слов! Я так без нее страдал, без этой вот пинты. И заявляю официально, я слышал, как она, родимая, прошла в самое недро брюха и сделала вот так: буль!

Но взгляните! едва они пригубили свои чаши радости, как стремительно влетел к ним божественный посланец, сияющий, словно око небес, пригожий собою юноша, за коим следовал гордый старец с благородной осанкой, несущий священные свитки закона, и с ним супруга его, особа с безупречною родословной, лучшее украшение своего рода.

Малыш Олф Берген влетает в двери и скрывается в задней комнатушке у Барни, весь со смеху вот-вот готов лопнуть. А я смотрю, кто ж это там, я было не заметил, пьяный храпит в углу, отрешившись от мира, не иначе Боб Дорен. До меня никак не доходит, что приключилось, а Олф все делает какие-то знаки из дверей. И тут плетется, угадайте-ка, братцы, кто, этот болван двинутый, Дэнис Брин, в банных шлепанцах и с двумя бля пухлыми томами под мышкой, а за ним жена поспешает, несчастная убогая баба, как моська семенит за ним по пятам. А Олф, гляжу, совсем подыхает со смеху.

— Любуйтесь,— говорит.— Это Брин наш. Кто-то ему, понимаешь, прислал открытку, а в той открытке стоит: ку-ку! И вот он теперь таскается по всему Дублину, желает вчи... чи...

И давится аж от хохота.

— Чичего? — говорю.

— Иск желает вчинить,— объясняет он.— Всего-то на десять тысяч фунтов!

— Ни хрена себе! — говорю.

Паршивая псина, зачуяв новенького, снова издает такой рык, что у всякого душа в пятки, но тут Гражданин отпустил ей хорошего пинка меж ребер.

— Bi i dho husht [5], — говорит Олф.

— Так, значит, кто это? — Джо спрашивает.

— Брин,— объясняет Олф.— Он был у Джона Генри Ментона, потом от него поплелся к Коллису и Уорду, а потом его встретил Том Рочфорд и послал ради смеха к главному инспектору полиции. Мать честная, я ржал до колик. К. к.: ку-ку. Ну, долговязый ему выдал теплый прием, еще скажи спасибо, не посадил. И вот сейчас этот псих тащится на Грин-стрит, хочет детектива найти.

— А когда наконец Длинный Джон повесит этого молодца в Маунтджой? * — Джо спрашивает.

---

[5] Помолчи *(ирл.)*.

— Берген,— мычит тут Боб Дорен, просыпаясь.— Ты кто, Олф Берген?

— Так точно,— говорит Олф.— Повесит? Погодите, я вам чего покажу. Эй, Терри, подай-ка сюда одну. Нет, ну и болван, ну и олух! Десять тысяч фунтов. Жаль, вы не видели, как Длинный Джон на него воззрился. Ку-ку...

И опять его в хохот.

— Ты это над кем смеешься? — хрипит Боб Дорен.— Ты кто, Берген?

— Терри, давай поживей, старик,— просит Олф.

Теренций О'Райен, вняв слову его *, в тот же миг ему подал хрустальную чашу, до краев полную пенистым темным элем, который варили издавна в божественных своих чанах благородные близнецы-братья Пивоайви и Пивоардилон, хитроумные, подобно сыновьям Леды бессмертной. Ибо сбирают они сочные плоды хмеля и ссыпают, просеивают, толкут и варят их, и примешивают к ним терпкие соки и ставят сусло на священный огонь, денно и нощно не оставляя своих трудов, хитроумные братья, властители больших чанов.

И ты, о рыцарственный Теренций, как отроду привыкший к обхожденью, поднес ему амброзии подобный напиток, хрустальную чашу предложил ты ему, жаждущему, рыцарственной душе, прекрасному как сами бессмертные.

Но он, юный вождь О'Бергенов, не мог и помыслить, чтобы другой превзошел его в великодушных деяньях, и посему щедрым жестом ему он подал обол из бесценной бронзы. Искусною рукою чеканщика был выбит на нем величавый лик королевы, происходившей из дома Брунсвик, Виктории именем, Ее Августейшего Величества, милостью Божией Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии и британских заморских владений королевы, защитницы веры, императрицы Индии, той, что царствовала над несметными покоренными народами и была им любезна, ибо узнали и возлюбили ее в краях, где восходит солнце и где заходит, бледнокожие и темнокожие, краснокожие и эфиопы.

— Этот рассукин фармазон,— ворчит Гражданин,— чего он там рыскает взад и вперед снаружи?

— Какой-такой? — Джо спрашивает.

— Вот она,— говорит Олф, выуживая монетку.— Вы, значит, о повешении. Так я вам покажу сейчас, чего вы сроду не видели. Письма того, кто вешает. Вот, глядите.

И вытаскивает из кармана целую пачку замусоленных писем и конвертов.

— Разыгрываешь нас? — говорю.

— Честное благородное,— это он.— Нате, сами читайте.

Ну, Джо берет письма.

— Ты это над кем смеешься? — рычит Боб Дорен.

Чую, как бы не вышло заварушки. Боб, он с хорошей придурью, когда налакается, так что я говорю спокойно, чтобы отвлечь:

— А как там у Вилли Мерри дела, Олф?

— Не знаю,— он мне.— Я его встретил только что на Кейпл-стрит, с Падди Дигнамом. Но мне бежать надо было...

— Чего-чего? — Джо тут оторвался от писем.— С кем встретил?

— С Дигнамом,— повторяет Олф.

— Это который Падди? — Джо спрашивает.

— Ну да,— говорит Олф.— А что такое?

— Да ты разве не знаешь, что он помер? — это Джо.

— Падди Дигнам помер! — это Олф.

— Вот именно,— Джо ему.

— Да пару минут назад я его видел собственными глазами,— говорит Олф,— клянусь, вот как сейчас вас вижу.

— Это кто помер? — Боб Дорен спрашивает.

— Ты, стало быть, видел его призрак,— говорит Джо.— С нами крестная сила.

— Как-как? — бормочет Олф.— Господи Боже, да всего пару... Как это?.. и с ним Вилли Мерри, а возле них еще этот, как его звать-то... Да как же это? Дигнам умер?

— Чего про Дигнама? — это снова Боб Дорен.— А ну, кто тут про...

— Умер! — говорит Олф.— Да он не больше умер, чем ты.

— Уж не знаю,— Джо говорит.— Но только сегодня утром совершили такую вольность, похоронили его.

— Как, Падди? — говорит Олф.

— Его самого,— отвечает Джо.— Исполнил закон природы, помилуй Господи его душу.

— Господи Иисусе! — говорит Олф.

Ей-ей, парень был, что называется, убийственно ошарашен.

Во тьме ощущалось, как вибрировали руки духа *, и когда моление по тантрическому обряду было устремлено в надлежащую область, сделалось постепенно видимым слабое, но все нарастающее свечение рубинового оттенка. В своем явлении эфирный двойник обретал подобие жизни, в особенности за счет импульсов витальной энергии, доставляемых аурой головы и лица. Общение происходило посредством гипофизной железы, а также лучей оранжево-пламенного и алого цвета, исходивших из сакральной области и солнечного сплетения. Когда к нему обратились, назвав его именем, которое он носил в земной жизни, и спросили о его пребывании в духовных мирах, то он сообщил, что в настоящее время проходит путь возвращения, пралайю, однако первоначально находится во власти неких кровожадных сущностей на низших астральных планах. В ответ на вопрос о своих первых ощущениях по прохождении великого порога запредельных миров он сообщил, что прежде видел как бы сквозь тусклое стекло, однако переступившим порог открываются высочайшие возможности атмического развития. Будучи спрошен о том, напоминает ли жизнь там наше земное существование, он сообщил, что, как слышал он от существ на более высоких ступенях в духовном мире, их обиталища наделены всеми самыми современными домашними удобствами, как то талафонтра, лифтра, сортиртра и атапалентра, а посвященные самых высших ступеней купаются в чистейших и бесконечнейших наслаждениях. Когда же он испросил кварту топленого молока, то указанное было принесено и доставило явное облегчение. Затем справились, не желает ли он что-либо передать живущим, и он призвал всех, кто еще пребывает на ложной стороне, кто поглощен Майей, вступить на путь истины, ибо в кругах деванических стало известно, что Марс и Юпитер находятся в противостоянии, угрожая восточному дому, где властвует овен. Тогда осведомились, нет ли каких особенных пожеланий со стороны усопших, и ответ был: *Мы шлем вам привет, наши земные друзья, еще пребывающие во плоти. Следите, чтобы К.К. не заходил слишком далеко.* Установлено было, что инициалы относятся к мистеру Корнелиусу Келлехеру, управляющему известной похоронной конторы Г. Дж. О'Нила и другу усопшего, лично ведавшему устройством и церемонией погребения. Перед тем, как удалиться, он попросил также передать его любимому сыну Пэтси, что второй ботинок, который тот разыскивал, лежит в настоящее время под комодом в угловой комнате, и всю пару следует отнести к Коллену, причем чинить лишь подметки, поскольку каблуки вполне в целости. Он добавил, что это тяжко тревожило покой его духа в ином мире, и убедительно просил об исполнении своей просьбы. Были даны заверения в том, что все необходимое будет сделано, и, как можно было заметить, это принесло удовлетворение.

Он оставил жилища смертных, О'Дигнам, солнце нашего утра. Легким его стопам лесных уж не попирать папоротников, о, Патрик с

челом сияющим. Оплачь его, Банба, своими ветрами и ты, Океан, ураганами своими.

— Вон он опять там,— говорит Гражданин, выглядывая в окно.

— Кто? — говорю.

— Да Блум,— отвечает он.— Как постовой мотается взад-вперед, вот уже минут десять.

И тут, ей-пра, я заметил, как его физия зыркнула внутрь и щасть, тут же опять исчезла.

А малыша Олфа как будто по башке треснули. Не может в себя прийти.

— Боже милостивый! — говорит.— Я же поклясться могу, что это он был.

И тут снова Боб Дорен, шапка на затылке, он просто жуткий громила делается, когда на него найдет:

— А ну-ка, кто тут сказал «Боже милостивый»?

— Пердон, сударь,— говорит Олф.

— Так по-твоему, это милость,— рявкает Боб,— что он у нас отнял нашего бедного Вилли Дигнама?

— Ну, понимаешь,— юлит Олф, пытаясь спустить на тормозах,— сейчас его уже ничто не тревожит.

Но тут Боб как гаркнет:

— Вонючий мерзавец, вот он кто, раз он отнял у нас нашего бедного Вилли Дигнама!

Терри выходит и моргает ему, чтоб он потише, мол, в ихнем приличном заведении таких разговоров не полагается. И тогда Боб Дорен, вот вам сущая правда, начинает проливать горькую слезу над судьбой Падди Дигнама.

— Прекраснейший человек был,— ноет Боб, всхлипывая,— чистейшая, прекраснейшая душа.

В глазах твоих слеза чертовски близко. И все несет свой собачий бред. Ступал бы лучше к своей сучонке, на которой его женили, к этой блажной Муни, дочке пристава из какого-то захолустья. Мамаша держала меблирашки на Хардвик-стрит, так она там вечно шлялась по лестницам, мне Бэнтам Лайонс рассказывал, бывало, выйдет часа в два ночи в чем мать родила и так стоит, гляди и приходи кто угодно, доступ для всех на равных условиях.

— Честнейший и благороднейший,— Боб все ноет.— И вот он скончался, наш бедный Вилли, то есть бедный наш Падди Дигнам.

В глубокой скорби, с тяжким бременем на душе оплакивал он угасший светоч небес.

Тут старина Гарриоун опять заворчал на Блума, что все крутился у двери.

— Да заходите смелей, не съест,— говорит Гражданин.

Блум пробирается, косясь на пса, и спрашивает у Терри, не был ли тут Мартин Каннингем.

— Ах ты, Господь Мак-Кеун! — говорит Джо, еще все за письмами.— Послушайте-ка вот это, хотите?

И начинает зачитывать.

Ливерпуль,
Хантер-стрит, 7

Начальнику дублинской полиции,
Дублин

Глубокожаемый Сэр осмелюсь вам предложить свои услуги насчет помянутого деликатного дела как я повесил Джо Ганна в Бутлской тюрьме 12 февраля 1900 года и еще повесил...

— Покажи, покажи-ка, Джо,— говорю.

— *...рядового Артура Чейса за убивство Джесси Тильзит в Пентонвильской тюрьме и еще был помощником когда...*

— Господи,— говорю.

— *...Биллингтон казнил злодея убивца Тода Смита...*

Тут Гражданин хотел было у него цапнуть письмо.

— Потерпи,— это Джо ему,— *а еще имею самоличный способ накидки петли так чтоб уже не выпутался и остаюсь со всей надеждой на вашу милость а также моя цена пять гиней,*

Х. Рамболд,
Цирюльник.

— Этот цирюльник заслужил хороший пиндюльник,— говорит Гражданин.

— Грязная поганая тварь,— Джо плюется.— На,— говорит,— Олф, забери-ка их с глаз долой. Приветствую,— говорит,— Блум, чего выпьете?

Ну, тут они пошли препираться, Блум, я, мол, не хочу да я не могу да вы не сочтите за оскорбление и так далее, а в конце концов говорит, ладно, тогда я, пожалуй, возьму сигару. Ей-ей, благоразумный субъект, ничего не скажешь.

— Дай-ка нам, Терри, самую лучшую из твоих вонючек,— говорит Джо.

Олф между тем толкует, как один такой малый прислал открытку с соболезнованиями и с черной каймой вокруг.

— Все эти,— говорит,— цирюльники из черных краев, они за пять фунтов плюс дорожные расходы готовы отца родного повесить.

И начинает рассказывать, как там при этом двое стоят внизу и тянут за ноги, когда повиснет, чтобы задохся как следует, а потом они режут веревку на кусочки и продают, выручают по нескольку шиллингов с головы.

В темных краях обитают они, мстительные рыцари бритвы *. Держат они наготове свое смертоносное вервие и неумолимо препровождают в Эреб всякого, кто бы ни совершил кровавое злодеяние, ибо отнюдь не буду терпеть того, так говорит Господь.

Тут они начали рассуждать насчет смертной казни и конечно Блум давай выступать со всякими почему да отчего со всей хренопруденцией этого дела а пес что-то все время его обнюхивает мне говорили от этих жидов какой-то особый запах который собаки чуют и рассусоливает про средство устрашения и прочее в этом духе.

— А я знаю одну штуку, на которую не действует устрашение,— это Олф.

— Это какая же? — Джо спрашивает.

— Член того бедняги, которого вешают,— отвечает Олф.

— Правда, что ли? — это Джо.

— Чистейшая правда,— Олф ему.— Я сам слышал от главного надзирателя, который был в Килмаинхеме, когда там вешали Джо Брэди, непобедимого. Он говорит, когда они сняли его с веревки, то у него так и торчал прямо им в нос, как свечка.

— Страсть господствует и в смерти *, кто-то там говорил,— это Джо.

— Наука это все объясняет,— говорит Блум.— Это естественный феномен, понимаете ли, поскольку за счет...

И начинает сыпать слова, от которых язык сломаешь, про феномены да про науку, мол, тот феномен да еще вон тот феномен.

Знаменитый ученый, герр профессор Луитпольд Блюмендуфт * представил медицинские основания, в силу которых внезапный перелом шейных позвонков с проистекающим отсюда разрывом спинного мозга, согласно надежным и проверенным принципам медицинской науки, должен с неизбежностью повлечь сильнейшее ганглионное стимулирование нервных центров генитального аппарата, заставляющее быстро расширяться упругие поры corpora cavernosa[6], что, в свою очередь, резко увеличивает приток крови к части мужского организма, носящей название пенис или же половой член, и вызывает фено-

[6] Пещеристых тел *(лат.)*.

мен, который именуется в медицине патологической филопрогенитивной вертикально-горизонтальной эрекцией in articulo mortis per diminutionem capitis [7].

Гражданин, уж само собой, только повода ждал, и тут же его вовсю понесло насчет непобедимых, старой гвардии, и героев шестьдесят седьмого года, и девяносто восьмой будем помнить вовек, и Джо в одну дудку с ним, обо всех, кого повесили, замучили, судили военно-полевым судом, и за новую Ирландию, за новое то да новое се. Раз ты за новую Ирландию, ты себе заведи для начала нового пса, так я считаю. А кабысдох паршивый кругом все обнюхивает, слюнявит, чешется и, гляжу, подбирается он к Бобу Дорену, который выставляет Олфу полпинты, и давай подлизываться к нему. Боб, ясное дело, начинает с ним дурака валять:

— Дай нам лапку! Ну дай лапку, песик! Славный, хороший песик! Ну, давай сюда лапку!

Arrah [8], конец его лапанью песьих лап, и наверняка он с табуретки приземлился бы на свои четыре, прямо на окаянного пса, не поддержи его Олф, а сам все продолжает нести околесицу, мол, надо дрессировать лаской, и пес породистый, и пес умный, так что аж тошно делается. Потом просит Терри подать старую жестянку из-под печенья братьев Джекоб и начинает оттуда выскребывать крошки для пса. Ну, тот их проглотил одним духом и язык вывалил наружу, просит еще. Вместе с жестянкой чуть не слопал, зверюга.

А Гражданин с Блумом завели спор насчет всего этого, про братьев Ширс *, про Вулфа Тона невдалеке тут на Арбор-хилл *, про Роберта Эммета и гибель за родину, и про плаксивый стих Томми Мура в честь Сары Каррэн *, «Она вдали от той земли». Блум тут пыжится со своей сногсшибательной сигарой, с жирной физиономией, барина вовсю строит. Феномен! Жена его, толстая туша, тоже отличный феномен, по спине хорошо кегельные шары катать. Когда они жили в «Городском гербе» мне рассказывал сикун Берк там была старуха одна с придурковатым племянником и Блум ее все пытался охмурить больного из себя корчил играл с ней в безик в тех видах значит чтоб потом ему обломилось по завещанию и мяса по пятницам не ел потому как старуха первостатейная ханжа и того блажного на прогулки водил. И вот однажды повел он его по всем дублинским кабакам как добрый пастырь и все поддавал пару пока не приволок домой упившимся хуже вареной совы причем объяснил, что это он мол хотел ему преподать урок о вреде алкоголя, а три бабы, ей-ей, чуть его не съели живьем, это цирк, та старуха, жена его и миссис О'Дауд, хозяйка гостиницы. Черт побери, я со смеху лег, когда сикун передразнивал, как там бабы костят его, а он, Блум, все со своими *но видите ли* да *но с другой стороны*. А самое-то интересное, мне рассказывали, что этот придурок работал потом у винного оптовика Пауэра на Коуп-стрит, и каждый божий день домой возвращался на бровях, после того как по службе перепробует всю продукцию в заведении. Феномен!

— Памяти павших,— говорит Гражданин, поднимает свою кружку и смотрит в упор на Блума.

— Правильно,— присоединяется Джо.

— Но вы не улавливаете мою мысль,— Блум ему. — Я хочу сказать...

— Sinn Fein! — перебивает его Гражданин. — Sinn Fein amhain! [9] Любимые друзья бок о бок с нами, заклятые враги — лицом к лицу *.

Последнее прощание было невыразимо трогательным *. Со всех ближних и дальних колоколен доносился несмолкаемый похорон-

[7] В момент смерти, вызванной отделением головы *(лат.)*.
[8] Ладно *(ирл.)*.
[9] Мы сами!.. Только мы сами! *(ирл.)*

ный звон, а повсюду вокруг назначенного места скорби раскатывалась зловещим предвестием приглушенная дробь сотен и сотен барабанов, перемежаемая гулкими артиллерийскими залпами. Оглушительные раскаты грома и яркие вспышки молний, озарявшие ужасную сцену, свидетельствовали о том, что небесная артиллерия решила явить свою сверхъестественную мощь ради вящей грандиозности зрелища, и без того вселявшего дрожь. Разгневанные небеса разверзли хляби свои, и проливной дождь потоками низвергался на обнаженные головы собравшихся толп, в которых, по самым скромным подсчетам, было не менее пятисот тысяч человек. Сводный отряд Дублинской городской полиции под личным руководством главного комиссара поддерживал порядок в этом обширном скоплении народа, а чтобы скоротать время ожидания, духовой оркестр Йорк-стрит, украсив инструменты траурным крепом, предлагал слуху собравшихся великолепное исполнение той бесподобной мелодии, которую уроднила нам с колыбели рыдающая муза Сперанцы*. Скоростные экскурсионные поезда и комфортабельные пассажирские кареты с мягкой обивкой предоставлены были к услугам наших провинциальных сородичей, прибывавших большими группами. Бурное оживление вызвали любимцы дублинской публики, уличные певцы Л-н-х-н и М-лл-г-н, со своим неизменным заразительным весельем исполнившие «В ночь перед тем, когда вздернули Ларри» *. Два наших неподражаемых комика сделали фантастический сбор среди ценителей юмора, продавая листовки со словами и музыкой своего коронного номера, и ни один из тех, кто лелеет в сердце любовь к истинно ирландской шутке, лишенной тени вульгарности, не попрекнет их оболом, добытым в поте лица. Детишки из Приюта Подкидышей Женского и Мужского Пола, гроздьями облепившие окна, что выходили к месту события, были в восторге от этого нежданного добавления к главному развлечению дня, и тут по праву стоит сказать слова похвалы в адрес монахинь-попечительниц за их превосходную идею доставить бедным малышам, лишенным матери и отца, поистине поучительное зрелище. Гости вице-короля, среди которых можно было заметить многих блистательных светских дам, в сопровождении Их Сиятельств проследовали к удобнейшим местам на большой трибуне, между тем, как живописная иностранная делегация, известная как Друзья Изумрудного Острова, разместилась на трибуне напротив. В эту делегацию, которая присутствовала в полном своем составе, входили командор Бачибачи Бенинобеноне (наполовину парализованный дуайен группы, доставленный к своему месту посредством мощного парового подъемного крана), мсье Пьер-Поль Птипузан, великошут Владимир Сморкальников, архишут Леопольд Рудольф фон Шванценбад-Ходенталер, графиня Мара Вирага Кишасони Путрапешти, Хайрем А. Бомбуст, граф Атанатос Карамелопулос, Али Баба Бакшиш Рахат Лукум Эфенди, сеньор идальго кабальеро дон Пекадильо-и-Палабрас-и-Патерностер де ла Малора де ла Маларриа, Хокопоко Харакири, Чань Чик-чик, Олаф Кобберкеддельсен, мингерр Трик ван Трумпс, пан Польский-Педеревский, гусьподин Прклстр Кратчинабритчисич, Барбос Гопников, герр Бардакдиректорпрезидент Ханс Хуэхли-Стоитли, ординарныйприватдоцентгосударственныхгимназиймузеевсанаториевисуспензориеввсеобщейисториизкстраординарныйпрофессордоктор Кригфрид Юберальгемайн. Все без исключения делегаты в энергичнейших и разноязычнейших выражениях заклеймили неслыханное варварство, свидетелями коего предстояло им стать. В дальнейшем среди ДИО завязался оживленный диспут о том, какова истинная дата рождения святого покровителя Ирландии *, восьмое или девятое марта. Активное участие приняли все. В ходе дискуссии широко применялись пушечные ядра, ятаганы, бумеранги, аркебузы, дымовые завесы, тесаки, зонтики, катапульты, кастеты, дубины, чугунные болванки; происходил

непринужденный и щедрый обмен ударами. Постовой Макфадден по прозвищу Мальчик-с-пальчик, вызванный с нарочным из Бутерстауна, во мгновение ока восстановил порядок и с блестящей находчивостью предложил в качестве решения спора семнадцатое число, равно воздающее честь каждой из тяжущихся партий. Предложение двухметрового самородка пришлось сразу по вкусу всем и было единодушно принято. Сердечные поздравления постовому Макфаддену принесли все ДИО, многие из которых были покрыты кровавыми ранами. Командор Бенинобеноне был извлечен из-под председательского кресла, и его юрисконсульт Аввокато Пагамими разъяснил, что разнообразные предметы, таившиеся в его тридцати двух карманах, были им отчуждены во время побоища из карманов более молодых коллег, в надежде призвать их к здравому смыслу. Указанные предметы (в том числе несколько сотен золотых и серебряных мужских и дамских часов) были незамедлительно возвращены законным владельцам, и торжество гармонии было полным.

Спокойно и просто Рамболд поднялся на эшафот в безукоризненном деловом костюме, с любимым своим цветком Gladiolus Cruentus[10] в петлице. Он возвестил о своем появлении тем милым, чисто рамболдовым откашливаньем, которому столь многие пытались (и безуспешно) подражать — коротким, натужным, неповторимо присущим лишь ему одному. Прибытие всемирно прославленного палача было встречено бурей приветственных восторгов всей огромной массы собравшихся, дамы из окружения вице-короля в экстазе размахивали платочками, а иностранные делегаты, в еще большем воодушевлении, издавали ликующие клики, слившиеся в многоголосый хор: *хох, банзай, эльен, живио, чинчин, полла кролиа, гип-гип, вив, Аллах*, на фоне которого легко можно было различить звонкое *эввива* делегата из страны песен (его высокое и долгое фа напоминало те дивные пронзительные ноты, которыми евнух Каталани * пленял наших прапрабабушек). Ровно в семнадцать часов через мегафоны был подан сигнал к молитве, и во мгновение ока головы всех были обнажены; патриархальное сомбреро, со времен революции Риенци * принадлежавшее семье командора, было бережно снято с головы последнего его дежурным личным врачом, доктором Пиппи. Высокоученый прелат, явившийся предоставить герою-мученику на пороге казни последние утешения нашей святой религии, с истинно христианским смирением преклонил колена в луже дождевой воды, задрав сутану на свою седовласую голову, и обратил к престолу милосердия горячие и усердные молитвы. Рядом с плахой возвышалась зловещая фигура совершителя казни, чье лицо закрывал десятигаллоновый горшок с двумя круглыми прорезанными отверстиями, сквозь которые яростно блистали его глаза. В ожидании рокового сигнала, он пробовал остроту своего ужасающего оружия, то подтачивая его о свое мускулистое предплечье, то мгновенными взмахами отрубая головы барашков, доставленных для этой цели поклонниками его жестокого, но необходимого искусства. На изящном столике красного дерева перед ним аккуратно были разложены нож для четвертования, набор инструментов для потрошения (выполненных из лучшей стали по специальному заказу мастерами знаменитой шеффилдской фирмы Джон Раунд и Сыновья), горшочек из терракоты, куда по мере успешного извлечения должны были помещаться двенадцатиперстная кишка, толстая кишка, слепая кишка, аппендикс и т. д., а также два вместительных молочных кувшина, предназначенных для собирания драгоценнейшей крови драгоценнейшей жертвы. Эконом Объединенного Приюта для Кошек и Собак имел предписание доставить эти сосуды, по наполнении их, в указанное благотворительное заведение. Аппетитнейшая трапеза, состоявшая из яични-

[10] Гладиолус Окровавленный *(лат.)*.

цы с беконом, превосходно зажаренного бифштекса с луком, горячих хрустящих булочек и бодрящего чая, была любезно предложена устроителями главному герою трагедии, который, приготовившись к смерти, демонстрировал отличное расположение духа и живой интерес ко всем деталям происходящего; однако, проникшись величием момента и проявив самоотречение, небывалое в наши дни, он выразил последнюю волю (исполненную незамедлительно), чтобы трапеза его была разделена поровну между членами Общества Больных и Неимущих Квартиросъемщиков в знак его внимания и почтения. Волнение достигло nec и non plus ultra[11], когда невеста-избранница прорвалась сквозь плотные ряды зрителей и бросилась, зардевшись, на его мужественную грудь, грудь того, кому через миг предстояло отправиться в вечность ради ее прекрасных глаз. Герой любовно заключил в объятия ее гибкий стан, шепча с нежностью: *Шейла *, моя любимая.* Воодушевленная звуками своего имени из его уст, она покрыла страстными поцелуями все разнообразные части его особы, каких только ее пылкость могла достичь через препоны его тюремных одежд. Соленые ручьи их слез слились в единый поток, и она поклялась ему, что будет вечно хранить память о нем и никогда не забудет своего геройского парня, который пошел на смерть с песенкой на губах, как будто на хоккейный матч в парке Клонтерк. Она напомнила ему златые дни счастливого детства, которое они провели вместе на берегах Анны Лиффи в невинных отроческих забавах. Забыв весь ужас действительности, они хохотали от души, и зрители как один, не исключая достопочтенного пастора, предались вместе с ними дружному безудержному веселью. Чудовищная толпа буквально-таки помирала со смеху. Однако скорбь вскоре взяла свое; и вот уже они сплели свои пальцы в последний раз. Ручьи слез хлынули с новой силой из их слезных протоков, и все несметное собранье людей, потрясенное до глубины, разразилось душераздирающими рыданиями. Сам престарелый служитель Господа был растроган отнюдь не менее остальных. Рослые закаленные мужи, блюстители порядка и добродушные исполины из ирландской королевской полиции, не таясь, прибегали к помощи носовых платков, и можно с уверенностью сказать, что ничьи глаза не остались сухими во всем этом грандиозном собрании. Засим случилось романтичнейшее происшествие: юный красавец, выпускник Оксфордского университета *, известный своим рыцарским отношением к прекрасному полу, выступил вперед и, представив свою визитную карточку, чековую книжку и родословное древо, просил руки несчастной молодой леди, умоляя немедленно назначить день свадьбы. Его предложение с готовностью было принято. Каждой даме из публики вручен был изящный сувенир в виде брошки с черепом и костями, и этот дар, столь щедрый и подобающий случаю, вызвал новый прилив восторга. Когда же галантный питомец Оксфорда — заметим попутно, носитель одной из самых громких фамилий в истории Альбиона — надел на палец зардевшейся невесты бесценное обручальное кольцо с изумрудами, образующими трилистник из четырех листьев, общий энтузиазм перешел все границы. Что говорить, даже сам грозный глава военной полиции, подполковник Томкин-Максвелл Ффренчмаллен Томлинсон, руководивший печальною церемонией, тот самый, что, не моргнув глазом, дюжинами отправлял в ад сипаев, привязывая их к жерлам пушек, не в силах был сдержать своих чувств. Его рука в железной перчатке смахнула непрошеную слезу, и те избранные бюргеры, что составляли его ближайший entourage[12], могли уловить прерывистый шепот:

— Эх в богово ребро ну краля ну забористая бабенция. В богово

[11] Nec plus ultra, non plus ultra — дальше некуда *(лат.)*.
[12] Окружение *(франц.)*.

ребро, так бы и взвыл, глядя на нее как вспомнишь старую лоханку что поджидает дома в Лаймхаусе.

И тут Гражданин пошел толковать про ирландский язык, заседание муниципалитета и все прочее да честить тех shoneens [13], которые не знают родного языка, Джо тоже встревает, раз уж он наколол кого-то на фунт, и Блум туда же, надсаживает глотку, дымит своим грошовым окурком, что выклянчил у Джо, да разоряется про Гэльскую лигу и лигу противников угощения и что, мол, пьянство — это проклятье Ирландии. Не угощать, не выставлять дружкам выпивку — и все, мол, будет в порядке. Еще бы, сам-то он зальет себе в пасть, чего ты ему ни выставь, а от него пены с пинты не дождешься до второго пришествия. Я тут как-то с приятелем пошел на ихний музыкальный вечер, танцы и песни она приляжет на стожок и скажет где ты мой дружок, потом один деятель со значком Общества Трезвости из кожи лез, чесал по-ирландски, и тут же целая куча colleen bawns, разгуливают с безалкогольными напитками, медальки какие-то продают, оранжад, лимонад да занюханные пирожки — одно слово, роскошь, flahoolagh [14] развлечение. Ирландия трезва — Ирландия свободна *. А потом какой-то старый козел принимается дуть в волынку, и вся эта похоронная компания притопывает ногами под музыку, от которой корова сдохнет. И ко всему еще, двое длиннорясых орясин следят, чтоб никто не подваливался к бабенкам — уж вовсе, я скажу, удар ниже пояса.

Ну, так да эдак, о чем я бишь, старая псина, увидевши, что жестянка пуста, начинает егозить вокруг меня с Джо. Будь он моим, я б его подрессировал лаской, я не я буду. Хорошего пинка наподдать, да потом снова напомнить, чтобы не по глазам только.

— Что, боишься, укусит? — Гражданин ухмыляется.

— Да нет,— говорю. — Только не принял бы он моей ноги за фонарный столбик.

Отозвал свою псину.

— Ну чего ты, ну чего, Гарри? — говорит ему.

И давай его валять да трепать да толковать ему по-ирландски, а этот шелудяга рычит в ответ, так что у них выходит чистая опера с дуэтом. Такого рычанья век не услышишь, как они между собой развели. Кто-нибудь, кому делать нечего, пускай написал бы письмо в газеты, pro bono publico [15], чтобы на таких вот собак непременно надевали намордники. Рычит, ворчит, глаза налились кровью от жажды, и с морды бешенство капает.

Все, кто интересуется передачей человеческой культуры нашим низшим собратьям (а имя им — легион), никоим образом не должны упустить из виду поразительные проявления кинантропии, продемонстрированные знаменитым рыжим ирландским сеттером-волкодавом, который известен был прежде под sobriquet [16]. Гарриоун, однако недавно обширным кругом друзей и знакомых был переименован в Оуна Гарри *. Указанные проявления, итог многолетней дрессировки лаской и тщательно продуманной системы питания, включают, наряду с прочими достижениями, также и чтение стихов. Крупнейший из ныне здравствующих специалистов по фонетике (имя его из нас не вытянут и клещами!) употребил гигантские усилия на то, чтобы проделать сравнительный анализ читаемых стихов, причем обнаружил *разительное* их сходство (курсив наш) с рунами древних кельтских бардов. Мы говорим здесь не столько о тех прелестных любовных песнях, с которыми познакомил мир книголюбов автор, укрывшийся под очаровательным псевдонимом Хрупкая Веточка, но скорее о тех более резких и личных (как указывает некий мистер

[13] Поддельные господа *(ирл.)*.
[14] Княжеское *(ирл.)*.
[15] Для блага общества *(лат.)*.
[16] Кличка *(франц.)*.

Д. О. К. в интересном сообщении, промелькнувшем в одном из наших вечерних изданий) мотивах, которые мы находим в сатирических излияниях знаменитого Рафтри*, а также Донола Макконсидайна*, не говоря уж о более современном лирике, столь привлекающем ныне взоры просвещенного общества. Ниже мы предлагаем один отрывок в переводе на наш язык, принадлежащем видному ученому, имя которого мы в настоящий момент не вправе открыть, хоть мы и убеждены, что читатель сумеет извлечь из местных аллюзий больше, нежели простую подсказку. Метрическая система собачьего подлинника, напоминающая изощренные аллитеративные и изосиллабические правила валлийского энглина, имеет гораздо большую сложность, но, как мы убеждены, читатель не сможет не признать, что общий дух донесен отлично. Возможно, стоит добавить, что эффект несравненно увеличивается, если читать стихи Оуна медленно и невнятно, голосом, напоминающим злобное сдавленное рычание.

Проклятья глухие
Я шлю судорожно
Семижды будь тошно
Тебе, Барни Кирнан,
Воды не дает ни глотка
Остудить мою глотку,
Кишки мои все горят
Потрохов лауриных хотят *.

Ну тут он попросил Терри принести псу воды и, убей бог, как тот хлебает, было за милю слышно. А Джо его спрашивает, не против ли он, если повторить.

— Не откажусь,— отвечает,— chara [17], чтоб ты не подумал, будто я зло какое держу.

Ей-ей, он только прикидывается, что у него на плечах кочан. Шляется по всем кабакам с этой псиной старого Гилтрапа и ты моргнуть не успеешь обернет будто его угостить самая великая честь, так вот и сидит на шее у избирателей и налогоплательщиков. Вечный праздник для человека и зверя. А Джо мне:

— Ты как, можешь еще одну?

— А утка плавать может? — говорю.

— Повтори-ка нам, Терри,— говорит Джо. — А вы уверены, что не желаете ничего из разряда прохладительных жидкостей? — это он Блуму.

— Нет, спасибо,— тот отвечает. — Собственно, я зашел сюда для встречи с Мартином Каннингемом, понимаете ли, по поводу страховых дел бедняги Дигнама. Мартин меня попросил зайти в закладную контору. Дело в том, что он, то бишь Дигнам, заложил свою страховку и не уведомил страховую компанию, а в этом случае, по закону, кредитор-закладчик не может ничего получить.

— Потеха,— смеется Джо,— вот это отличный фокус, старый Шейлок сам себя наколол. А повезло-то на этом его жене, точно?

— Что ж,— говорит Блум,— уж это дело ее поклонников.

— Каких-таких поклонников? — это Джо.

— Законников, я хотел сказать, адвокатов его жены,— поправляется Блум.

И начинает всякую муть про залоговое законодательство и как лорд-канцлер выносит решение и интересы вдовы и был создан фонд а с другой стороны Дигнам остался должен некую сумму Бриджмену и если теперь жена или вдова будут оспаривать права кредитора-закладчика пока не забил мне все мозги этим залоговым законодательством. Он сам, прохвост, должен радоваться, что не угодил под законодательство как мошенник и бродяга, пусть скажет спасибо, дружок в суде выручил. Продавал какие-то липовые билеты под видом Венгерской королевской лотереи с привилегией от властей. Не

[17] Дружище *(ирл.)*.

верите — побожусь. Нет, про евреев вы мне не говорите! Венгерский королевский грабеж с привилегией.

Тут возникает, пошатываясь, Боб Дорен и просит Блума передать миссис Дигнам, что он сочувствует ее горю и ему горько что он не мог быть на похоронах и передать ей что он сказал и каждый кто только знал его скажет что отродясь не бывало лучшего и честнейшего чем наш бедный Вилли ныне покойный передать ей. Путаясь в словах как в соплях. И жмет Блуму руку с трагическим видом передайте ей это. Пожмем, брат, руки. Ты мошенник и я мошенник.

— Льщусь, сударь, надеждою,— сказал он,— что я не злоупотребляю нашим знакомством (которое, сколь ни казалось бы малым в рассуждении времени, однако зиждется, смею верить, на обоюдном почтении), решаясь испросить у вас сию милость. Если же, паче чаяния, преступил я границы скромности, то пусть сама искренность чувств моих послужит во извинение моей дерзости.

— Помилуйте, сударь,— возразил собеседник.— Я совершенно уважаю те побуждения, коими вы были подвигнуты, и не пожалею усердия на исполнение комиссии вашей, утешаясь той мыслию, что сколь ни печален к ней повод, но уже самое изъявление доверия вашего ко мне чувствительно умягчает сей чаши горечь.

— Тогда позвольте же мне пожать руку вашу,— воскликнул он.— Не усомнюсь, что благородство вашего сердца верней, нежели скудные мои словеса, укажет вам, каковым способом передать терзание столь жестокое, что если б я отдался этому чувству, оно лишило бы меня дара речи.

И на том отчаливает, стараясь держаться прямо. В пять, и уже мертвецки. Однажды ночью чуть-чуть не попал в кутузку, повезло, что Падди Леонард знал того полисмена, бляха 14 А. Накачался до бровей в притоне на Брайд-стрит после часа закрытия, да завел блудни с двумя шлюхами, тут же ихний кот с ними, и все глушат портер чайными чашками. Назвался шлюхам, будто бы он француз, Жозеф Манюо, и давай хулить католическую религию, а сам, между прочим, еще мальчишкой прислуживал за мессой в церкви Адама и Евы, глаза от восторга закрывал, и про то, кто сочинил новый завет и ветхий завет, не забывая их лапать и обжимать. Обе шлюхи со смеху подыхают, обчистили у него, остолопа, все карманы, пока он заливал кровать портером, и визжат, хохочут как очумелые. *Давай, покажи-ка твой завет! А он у тебя уже сильно ветхий, твой завет?* Хорошо, Падди там как раз проходил. А поглядеть на него в воскресенье, как он со своей женой-потаскушкой в церкви, она, вертя задом, шествует вдоль придела, туфли лакированные, не как-нибудь, на груди фиалки, мила как пончик, строит из себя барыньку. Сестрица Джека Муни. А мамаша, старая курва, сдает номера уличным парочкам. Джек ему вправил мозги по-свойски. Посулил, что пускай он только не женится на своих грехах, из него живо дурь вышибут.

Терри, стало быть, приносит три кружки.

— Прошу,— говорит Джо, потчуя нас.— Прошу, Гражданин.

— Slan leat [18],— отвечает тот.

— Твои успехи, Джо,— говорю.— Бывай здоров, Гражданин.

Мать честная, а тот уж больше половины своей махнул. Его поить, это только под силу миллионеру.

— А кого долговязый хочет протолкнуть в мэры, Олф?— спрашивает Джо.

— Одного твоего друга,— тот отвечает.

— Наннетти?— спрашивает Джо.— Члена?

— Имен не называем,— говорит Олф.

— Я так и думал,— говорит Джо.— Я только что его видел еще

[18] Будь невредим *(ирл.)*.

с одним депутатом, с Вилли Филдом, на заседании скотопромышленников.

— Иопад длинновласый *,— говорит Гражданин,— извергающийся вулкан, любимец всех стран и кумир своей собственной.

И Джо начинает заливать Гражданину про ящур, скотопромышленников, принятие срочных мер, Гражданин эти меры посылает куда подальше, а Блум давай толковать про серные ванны для лечения парши у овец, и какие отвары от кашля для телят, и про вернейшее средство от актиномикоза. Когда-то работал на живодерне. Слонялся с блокнотиком и карандашиком, путался у всех под ногами, покуда Джо Кафф не наградил его орденом пинка за то, что он нагрубил какому-то скотоводу. Мистер Всезнайка. Всех выучит кур доить. Сикун говорил, бывало, его жена в «Городском гербе» все плачется миссис О'Дауд, слезы льет в три ручья на свои жировые складки. Он ей не даст спокойно зад подтереть, непременно привяжется, мельтешит вокруг да учит, как надо делать. Чего там у тебя сегодня в программе? Ах, да. Гуманное обращение. Ведь бедные животные страдают, и по словам экспертов, и лучшее из известных средств, не причиняющее никакой боли животному, и мягко втирать руками в пораженное место. Убей бог, с его руками только быть курощупом.

Куд куд куд-куда *. Ко ко ко, курочки. Вот наша курочка, Чернушка. Она нам несет яички. Когда она снесет яичко, она очень радуется. Кудах-тах-тах. Ко ко ко. И тут приходит добрый дядя Лео. Он свою руку запустит под Чернушку и вынимает яичко. Кудах-тах-тах куд-куда. Ко ко ко-о.

— Как бы там ни было,— говорит Джо,— Филд и Наннетти сегодня отправляются в Лондон и сделают об этом запрос в палате общин.

— Вы уверены,— спрашивает Блум,— что советник уезжает? Дело в том, что я его хотел повидать.

— С почтовым пароходом сегодня вечером,— Джо отвечает.

— Какое невезение,— говорит Блум.— Мне так надо было. Может быть, только мистер Филд уезжает. Я не мог позвонить. Нет. Вы в самом деле уверены?

— Наннан тоже уезжает,— говорит Джо. — Лига поручила ему сделать завтра запрос о том, что комиссар полиции запретил ирландские виды спорта в парке. Как тебе это, Гражданин? Sluagh na h-Eireann [19].

Мистер Рогати-Скотт (Молтифарнэм, националист): В связи с запросом моего уважаемого друга, депутата от Шиллелы, я бы хотел спросить глубокоуважаемого коллегу, действительно ли правительством были отданы распоряжения о том, чтобы упомянутых животных забивали, невзирая на отсутствие медицинских признаков их патологического состояния?

Мистер Четвер-Ноги (Тамошант, консерватор) *: Уважаемые члены палаты уже располагают сведениями, которые были представлены комитету Парламента. Я не думаю, что я мог бы добавить что-либо существенное к этим сведениям. Ответ на запрос уважаемого члена палаты будет утвердительным.

Мистер Орелли О'Рейли (Монтенотте, националист): Отдавались ли аналогичные распоряжения касательно забоя животных человеческого рода, дерзнувших заниматься ирландскими видами спорта в парке Феникс?

Мистер Четвер-Ноги: Ответ будет отрицательным.

Мистер Рогати-Скотт: А не повлияла ли знаменитая митчелстаунская телеграмма * глубокоуважаемого коллеги на политику господ из казначейства? (Шум в зале.)

---

[19] Армия Ирландии *(ирл.)*.

Мистер Четвер-Ноги: По этому вопросу я должен справиться с материалами.

Мистер Плоски-Шутки (Банком, независимый): Стреляйте без колебаний. (Иронические аплодисменты со скамей оппозиции.)

Председатель: К порядку! К порядку! (Заседание закрывается. Аплодисменты.)

— Вот человек,— объявляет Джо,— который возродил ирландский спорт. Сидит перед нами собственной персоной. Человек, вырвавший из тюрьмы Джеймса Стивенса *. Чемпион всей Ирландии по метанию шестнадцатифунтового молота. Какой у тебя лучший бросок, Гражданин?

— Na bacleis [20],— тот отвечает, напуская на себя скромность.— Хотя в свое время и я был не хуже других.

— Да уж оставь, Гражданин,— Джо ему.— Другим за тобой и во сне было не угнаться.

— Это что, в самом деле? — Олф спрашивает.

— Да-да,— отвечает Блум. — Хорошо известный факт. А вы не знали?

И пошли они про ирландские виды спорта, и про игры, которыми тешатся shoneens, вроде лаун-тенниса, про ирландский хоккей и метание камня, про почвенность и да будет нация опять * и все такое. Ну, Блум, само собой, и тут должен высказаться, мол, если у кого слабое сердце, то ему силовые упражнения вредны. Клянусь своими подштанниками, если подымешь с полу соломину и скажешь этому Блуму: *Гляди, Блум. Видишь эту соломину? Это соломина,*— клянусь троюродной бабкой, он будет про нее толковать битый час, я точно вам говорю, и не запнется ни разу.

В старинной зале Брайена О'Кирнона *на Срод-на-Бретон-Вег при содействии Sluagh na h-Eireann состоялась интереснейшая дискуссия о возрождении старинных гэльских видов спорта и о значении физической культуры, как она понималась в Древней Греции, Древнем Риме и Древней Ирландии, для развития нации. Достопочтенный президент благородной ассоциации занимал председательское кресло, и публика была многочисленной. После содержательной речи председателя, блиставшей красноречием и энергией, завязалась интереснейшая и содержательнейшая дискуссия о желаемости возрождаемости древних игр и спортивных занятий наших древних панкельтских пращуров. Дискуссия проходила на высшем уровне учтивости, привычном в этом кругу. Широко известный и глубоко почитаемый труженик на ниве нашего древнего языка, мистер Джозеф Маккарти Хайнс, горячо призвал воскресить древние гэльские спортивные игры и забавы, каким предавался по утрам и вечерам Финн Мак-Кул, дабы оживить лучшие традиции мощи, силы и мужества, донесенные к нам из глубины веков. Л. Блум, который получил смешанный прием, встретив как овации, так и свист, избрал противоположную точку зрения, и председатель — вокалист, уступая многочисленным просьбам и пылким аплодисментам со всех концов переполненной залы, заключил дискуссию замечательным исполнением поистине неувядаемой песни «Да будет нация опять» на слова бессмертного Томаса Осборна Дэвиса (к счастью, слишком общеизвестные, чтобы напоминать их здесь). Не убоявшись противоречия, мы скажем, что в этом исполнении наш ветеран, патриот и чемпион превзошел самого себя. Ирландский Карузо-Гарибальди был в превосходной форме, и его громовой голос как нельзя лучше явил себя в освященном временем гимне, спетом так, как мог спеть его только наш гражданин. Великолепному пению, которое своим сверхвысоким уровнем подняло еще выше его и без того высочайшую репутацию, с жаром аплодировали массы собравшихся, среди которых можно было уви-

[20] Не стоит об этом *(ирл.)*.

деть многих видных деятелей нашего духовенства, равно как представителей прессы, судейского сословия и прочих просвещенных профессий. На этом собрание закончилось.

В числе представителей духовенства находились высокопреподобный Вильям Делани, О. И., доктор словесности; преп. Джеральд Моллой, доктор богословия; преп. П. Дж. Кавана, Общины Святого Духа; преп. Т. Уотерс, викарий; преп. Дж. М. Айверс, приходский священник; преп. П. Дж. Клири, ордена францисканцев; преп. Л. Дж. Хикки, ордена братьев-проповедников; высокопреп. брат Николас, ордена францисканцев-капуцинов; высокопреп. Б. Горман, ордена босоногих кармелитов; преп. Т. Махер, О. И.; высокопреп. Джеймс Мэрфи, О. И.; преп. Джон Лейври, викарий по назначению; высокопреп. Вильям Доэрти, доктор богословия; преп. Питер Фейган, ордена марианцев; преп. Т. Бранган, ордена августинцев; преп. Дж. Флавин, викарий; преп. М. Э. Хэккетт, викарий; преп. В. Хэрли, викарий; монсеньор Макманус, генеральный викарий; преп. Б. Р. Слэттри, ордена Непорочного Зачатия Девы Марии; высокопреп. М. Д. Скалли, приходский священник; преп. Ф. Т. Перселл, ордена братьев-проповедников; высокопреп. Тимоти Горман, каноник, приходский священник; преп. Дж. Фланаган, викарий. В числе же мирян находились П. Фэй, Т. Кверк и многие, многие другие.

— Кстати, насчет силовых упражнений,— говорит Олф,— вы не были на этом матче Кео — Беннет?

— Нет,— отвечает Джо.

— Как я слыхал, мистер Такой-то сделал на этом чистую сотню фунтов.

— А кто? Буян, небось? — Джо спрашивает.

Тут Блум влезает:

— Вот, например, в теннисе, там нужны ловкость и верный глаз.

— Буян, кто же,— говорит Олф.— Распустил слух, будто бы Майлер пьет без просыпу, чтоб на него не ставили, а тот на самом деле целыми днями потел, готовился.

— Знаем мы его,— говорит Гражданин.— Сын предателя*. Знаем, откуда у него английское золото в карманах.

— Что верно, то верно,— соглашается Джо.

Тут Блум опять влезает про лаун-теннис и про кровообращение, и спрашивает у Олфа:

— А вы так не считаете, Берген?

— Майлер его по полу растер,— гнет свое Олф.— Матч Хинен — Сейерс — это детская шутка, если сравнить. Отлупил так, что тот папу с мамой забыл. Это надо видеть, один — стручок, едва до пупа тому, а другой, каланча, знай молотит по воздуху. Эх, а под конец еще в поддых двинул. От такого выблюешь, чего и не жрал. Правила Куинсбери*, все как надо.

То был памятный и жестокий бой*, в котором Майлер и Перси оспаривали приз в пятьдесят соверенов. Любимец Дублина, будучи намного легче соперника, с лихвой возмещал эту невыгоду своим фантастическим искусством. Фейерверк финального раунда едва не стал роковым для обоих чемпионов. В предыдущем раунде артиллерист-тяжеловес для начала слегка пролил красного винца, четко обработав любимцу нос, так что Кео, Главный Получатель и с правой и с левой, выглядел как под мухой. Солдат продолжил дело мощным коротким слева, но тут ирландский гладиатор ответил молниеносным прямым, целясь Беннету в челюсть. Красный мундир сделал нырок, но наш дублинец настиг его левым хуком, отличнейшим ударом по корпусу. Противники перешли в ближний бой. Майлер, развив бурную деятельность, подавил своего соперника, и к концу раунда здоровяк висел на канатах, осыпаемый градом ударов. Англичанин, правый глаз которого совершенно заплыл, удалился в свой угол и, освежившись изрядным количеством воды, к моменту гонга был

снова бодр и полон отваги, не сомневаясь, что живо пошлет в нокаут бойца из Эбланы. Это был бой до победы, и победа ждала сильнейшего. Оба дрались как тигры. Волнение зрителей достигло предела. Судья сделал Вояке Перси два предупреждения за захваты, однако любимец был ловок, и как работали его ноги — это стоило видеть. После беглого обмена любезностями, в ходе которого у Майлера кровь полилась изо рта ручьем от элегантного солдатского апперкота, любимец вдруг резко перешел в наступление по всем фронтам и нанес Беннету ошеломляющий левый в живот. Вояка рухнул на землю как сноп. То был нокаут, чистый и мастерский. Среди напряженного молчания над портобелльским молотилой начали отсчитывать секунды. Но тут Оле Пфоттс Веттштейн, секундант Беннета, выбросил на ринг полотенце, и парень из Сентри был объявлен победителем под бешеные овации и крики зрителей, которые хлынули на ринг и в бурном восторге едва не затоптали героя.

— Уж он-то своей выгоды не упустит,— говорит Олф.— Я слышал, сейчас он устраивает концертное турне по северу.

— Я тоже слыхал,— говорит Джо.— А что, разве нет?

— Кто? — говорит Блум.— Ах, да. Совершенно верно. Нечто типа летних гастролей, понимаете. Так, отдохнуть.

— Миссис Б. будет главной и ярчайшей звездой*, не так ли? — Джо спрашивает.

— Моя жена? — говорит Блум.— Да, она будет петь. Я думаю, все должно быть успешно. Он просто отличный организатор. Отличный.

Хо-хо, так вот оно что, сказал я себе, сказал. Вот собака-то где зарыта. Буян исполняет мелодию на флейте. Концертное турне. Сынок вонючего симулянта с Айленд-бридж, старого Дэна, который тех же лошадей продавал правительству по два раза во время бурской войны. Мистер Чего-чего. Я к вам насчет налогов, водного и на бедных, мистер Бойлан. Насчет чего? Налога, водного, мистер Бойлан. Чего-чего? А этот хлыщ, уж он организует ее, это я вам ручаюсь. Все между нами, цыпочка.

Гордость скалистой Горы Кальпы, дочь Твиди*, дева с волосами черней воронова крыла. Там возрастала она, там расцветала ее краса, где мушмула и миндаль наполняют воздух своим ароматом. Сады Аламеды знали легкую ее поступь, оливковые рощи узнавали ее и кланялись, клоня ветви. То непорочная супруга Леопольда, роскошногрудая Мэрион.

И се, зрите, грядет муж из клана О'Моллоев, пригожий и белолицый, с легким румянцем, советник его величества, в законах всеведущий, и с ним принц и наследник благородного рода Лэмбертов.

— Привет, Нед.

— Привет, Олф.

— Привет, Джек.

— Привет, Джо.

— Спаси вас Бог,— говорит Гражданин.

— Спаси и вас Он по Своей доброте,— говорит Дж. Дж.— Чего вы возьмете, Нед?

— Половинку,— Нед отвечает.

Дж. Дж. заказывает им выпить.

— В суде толкались? — Джо спрашивает.

— Да,— отвечает Дж. Дж.— Он все устроит, Нед,— это он Неду.

— Будем надеяться,— говорит Нед.

Значит, какие у этой пары делишки? Дж. Дж. устраивает, чтобы того вычеркнули из списков присяжных, а тот ему помогает перебиться. Его имя-то уже у Стаббса*. Картеж да кутеж с шикарными вертопрахами при моноклях, шампанское рекой и, ясно, завяз по шею в счетах да повестках в суд. Закладывал свои золотые часы у Камминса на Фрэнсис-стрит, где никто не знает его, а я там возьми да

и окажись с Сикуном, тот как раз сапоги из заклада выкупал. Как ваша фамилия, сэр? А он отвечает: Тоув. Ага, думаю, этот уже готоув. Ей-ей, однажды он горько обо всем пожалеет, могу ручаться.

— А вы там не видели этого чокнутого, Брина? — Олф спрашивает.— К. к.: ку-ку.

— Видели,— отвечает Дж. Дж.— Искал частного детектива.

— Ага,— продолжает Нед,— и он собирался идти прямиком к судье, только Корни Келлехер его завернул, сказал, что надо сначала провести экспертизу почерка.

— Десять тысяч фунтов,— смеется Олф.— Эх, я бы дорого дал за то, чтоб полюбоваться на него перед судьей и присяжными.

— Небось, твоя это работа, Олф? — Джо спрашивает.— Говорите правду, всю правду, ничего кроме правды, и да поможет вам Джимми Джонсон *.

— Моя? — возмущается Олф.— Прошу не капать на мою кристальную репутацию.

— Любое заявление, сделанное вами,— Джо ему,— может использоваться как свидетельство против вас.

— Иск у него, конечно, должны принять,— говорит Дж. Дж.— Ведь там подразумевается, что он не compos mentis[21]. К. к.: ку-ку.

— Засунь compos себе в нос! — Олф смеется.— Ты что, не знаешь, что он чокнутый? Стоит взглянуть на его башку. Ты знаешь, что он по утрам себе помогает рожком для обуви, когда надо на нее шляпу напялить?

— Да,— возражает Дж. Дж.,— но в глазах закона истинность порочащих сведений не освобождает от судебной ответственности за их огласку.

— Ай-яй-яй, Олф,— сочувствует Джо.

— Но все-таки,— говорит Блум,— если подумать про бедную женщину, я хочу сказать, про жену его.

— Да, жаль ее,— говорит Гражданин.— И вообще всякую, у которой муж ни то ни се.

— Как это ни то ни се? — Блум спрашивает.— Вы хотите сказать...

— Я хочу сказать, ни то ни се,— Гражданин повторяет.— Такой, который ни рыба ни мясо.

— А черт знает что,— говорит Джо.

— Вот это я и хотел сказать,— говорит Гражданин.— Pishogue[22], если вам известно, что это значит.

Ну, я чую, каша заваривается. Блум все объясняет, он, мол, имел в виду, как это жестоко, когда бедная женщина всюду должна таскаться за своим тронутым заикой. А что, оно и впрямь жестокое обращение с животными, когда Брина выпускают пастись, этого нищего идиота, бородой по земле метет, от такой картинки небеса дождем прослезятся. А она-то еще нос задирала, когда вышла за него, как же, его троюродный дядюшка — прислужник в церкви при самом папе. Портрет его на стене, с закрученными усами, синьор Брини из Саммерхилла, гутальянец, папский зуав при Святейшем Отце, покинул набережную и переселился на Мосс-стрит. А кто он такой, скажите на милость? Да никто, в третьем этаже комнатенка, семь шиллингов в неделю, окна во двор, и разгуливал, навешав себе на грудь каких-то жестянок в знак вызова всему миру.

— А почтовая открытка,— продолжает Дж. Дж.,— означает огласку. В прецедентном деле Сэдгроува против Хоула это признали достаточным доказательством злого умысла. По моему мнению, иск могут принять.

Опять двадцать пять, приехали. Кому сдалось твое мнение? Дай нам спокойно пивка попить. Ей-ей, уже и этого не дадут.

---

[21] В здравом уме *(лат.)*.

[22] Порченый *(ирл.)*.

— Ваше здоровье, Джек,— говорит Нед.

— И ваше, Нед,— это Дж. Дж.

— А вот и опять он,— говорит Джо.

— Где-где? — спрашивает Олф.

И, убей бог, он снова плетется мимо дверей, томищи оба под мышкой, а рядом жена и Корни Келлехер, тот зыркнул к нам, проходя, своим оловянным глазом, а сам все время ему отечески втолковывает, пытается всучить гробик, бывший в употреблении.

— А как там дело о канадском мошенничестве? — Джо спрашивает.

— Отложено,— отвечает Дж. Дж.

Это, значит, один из крючконосой братии по имени Джеймс Воут, он же Шапиро, он же Спарк, он же Спайро, поместил в газетах, что он любому желающему обеспечивает проезд в Канаду за двадцать шиллингов. Чего? Вы что, меня за кретина считаете? Нечего говорить, это все был чистейший блеф. Как вам это? Всех околпачил, не только разных служанок да мужичье из графства Мит, но заодно уж и своих соплеменников. Дж. Дж. рассказывал, там один древний иудей, Зарецкий или как бишь его, стоит на свидетельском месте, не снявши шляпу, льет слезы и клянется святым Моисеем, что его накололи на два фунта.

— А кто вел процесс? — Джо спросил.

— Главный судья,— отвечает Нед.

— Бедный старый сэр Фредерик,— говорит Олф,— его каждый младенец обведет вокруг пальца.

— Большое сердце, больше чем у слона,— Нед за ним.— Ему расскажут страшную сказку про долги за квартиру и про больную жену и кучу детей, и, убей бог, он тут же разрыдается в своем кресле.

— Точно,— соглашается Олф.— Рувиму Дж. просто дьявольски повезло, ему как пить дать полагалась кутузка за то, что разорил Гамли, бедняга теперь булыжники стережет возле Баттского моста.

И начинает передразнивать, как этот старикан, главный судья, причитает:

— Вовеки неслыханно! Этот бедный труженик! Сколько у вас детей? Десять, вы говорите?

— Да, ваша честь. А у жены моей брюшной тиф.

— И жена лежит с брюшным тифом! Какой позор! Извольте немедленно покинуть зал, сэр. Нет, сэр, я не вынесу постановления о взыскании. И как вы посмели, сэр, явиться сюда с таким иском! Бедный усердный труженик! Я прекращаю дело.

И был день шестнадцатый* месяца волоокой богини и неделя третья по светлом празднике Троицы Единосущной и Нераздельной, дочь же небес, луна дева, пребывала в своей первой четверти, и вот, свершилось, что просвещенные судьи направились в чертоги закона. И там магистр Кортни, заседающий в своей палате, представил свое суждение, а судья, магистр Эндрюс, заседавший без присяжных в суде по наследственным делам, со вниманием рассмотрел и взвесил права первого истца на имущество, означенное в подлежащем утверждению завещании и в окончательном завещательном распоряжении касательно недвижимого и движимого имущества умершего Джекоба Холлидея, виноторговца, покойного, против прав Ливингстона, несовершеннолетнего. душевнобольного, и компаньона. И вот, под торжественные своды суда на Грин-стрит вступил сэр Фредерик, Сокольничий. И воссел он там около пятого часу, дабы вершить правосудие по законам брехонов в комиссии, поставленной для всего того округа и для прилежащих и для графства города Дублин. И восседал вкупе с ним великий синедрион двенадцати колен Иаровых, по одному мужу от каждого из колен, от колена Патрикова и от колена Хьюгова и от колена Оунова и от колена Коннова и

от колена Оскарова и от колена Ферrусова и от колена Финнова и от колена Дермотова и от колена Кормакова и от колена Кевинова и от колена Куилтова и от колена Оссианова, и всего было их двенадцать мужей, честных и праведных. И он заклинал их Умершим на кресте, дабы они судили здраво и справедливо, и высказали справедливое суждение по делу их повелителя короля против подсудимого, и вынесли бы справедливый вердикт в соответствии со всеми показаниями, в чем да поможет им Бог, и целуйте книгу. И они встали на своих местах, сии двадцать Иаровых, и поклялись именем Предвечного, что будет править Его правый суд. И тотчас блюстители закона привели из казематов замка того, кого ищейки правосудия изловили, следуя полученным сведениям. И был он скован по рукам и ногам, и они не отпускали его ни под залог, ни на поруки, но нашли нужным предать суду, ибо был он злодей.

— Милое дело получается,— говорит Гражданин.— Приезжают к нам в Ирландию всякие и клопов тут разводят.

Тут Блум делает вид, как будто ничего не слыхал, и начинает говорить Джо, что насчет той мелочи он может не беспокоиться до первого, но вот если бы он замолвил словечко мистеру Кроуфорду. А Джо ему клянется всеми святыми и на чем свет стоит, что он для него в лепешку готов разбиться.

— Потому что, видите ли,— объясняет Блум,— для рекламы необходим повтор. В этом-то весь секрет.

— Можете на меня положиться,— Джо обещает.

— Обманывают крестьян,— гнет свое Гражданин,— наживаются на ирландских бедняках. Больше мы не желаем чужаков в нашем доме.

— О, я уверен, все будет в порядке, Хайнс,— говорит Блум.— Просто уж этот Ключчи, понимаете.

— Считайте, что дело сделано,— Джо ему.

— Большая любезность с вашей стороны,— благодарит Блум.

— Чужаки,— Гражданин свое.— А виноваты мы сами. Сами пустили их. Сами сюда зазвали. Эта прелюбодейка со своим полюбовником зазвали сюда англосаксов, чтобы грабили нас.

— Условное постановление,— говорит Дж. Дж.

Теперь Блум притворяется, будто со страшным интересом разглядывает неведомо что, может, паутину в углу, Гражданин на него уставился с грозным видом, а пес у него в ногах поднял морду, глядит, пора ли уже бросаться и на кого.

— Опозоренная жена,— заявляет Гражданин,— вот где причина всех наших бедствий.

— А вот как раз и она,— говорит Олф, они с Терри все хихикали у стойки над «Полис газетт»,— во всей боевой раскраске.

— Дай-ка и нам глянуть,— говорю.

А у них там, оказывается, одна из тех похабных американских картинок, которые Терри берет у Корни Келлехера. Секрет, как увеличить ваши интимные органы. Шалости светской красавицы. Норман В. Таппер, богатый подрядчик из Чикаго, находит свою прелестную, но неверную жену в объятиях капитана Тэйлора. Красавица в панталончиках предается шалостям, кавалер ее трогает за места, а Норман В. Таппер врывается со своим пугачом как раз, когда она только что поиграла с капитаном Тэйлором в палочку и колечко.

— Ах, Дженни, милочка,— говорит Джо,— не простудись без юбочки!

— Есть за что подержаться, Джо,— я ему.— Ты был не прочь кус филея от этой телочки, а?

То да се, а тем временем заходит Джон Уайз Нолан и за ним Ленехан, у которого физиономия вытянулась до шестой пуговицы.

— Ну-с,— говорит Гражданин,— изложите вести с театра собы-

тий. Чего там эти сапожники из муниципалитета решили на своем сборище насчет ирландского языка?

О'Нолан, в сияющую броню одетый, земным поклоном воздал должные почести великому и грозному и могучему владыке Эрина и поведал ему обо всем свершившемся, как достойные старейшины смиреннейшего из градов, второго во всем том царстве, встретили их под сводами Фолсела и там, вознеся подобающие молитвы богам-небожителям, торжественный держали совет, дабы решить, надлежит ли им, буде окажется то возможным, возвеличить вновь среди смертных крылатую речь морями разъединенных кельтов.

— Дело двигается,— говорит Гражданин.— К матери этих сукиных саксов, и с их кваканьем.

Ну, тут Дж. Дж. давай строить просвещенного барина и заправляет де мол возможны разные точки зрения, и люди отворачиваются от фактов и вспомните прием Нельсона, глядеть в трубу слепым глазом *, и можно ли обвинять огульно целую нацию, а Блум ему вовсю подпевает про умеренность да похеренность да ихние колонии да ихнюю цивилизацию.

— Сифилизация, уж лучше сказать! — гремит Гражданин.— К матери их! Да разрази их всех в три слоя с покрышкой, этих тупых ублюдков! Ни в музыке, ни в литературе, ни в живописи, нигде у них ни хрена, одни жалкие потуги. Все, что у них из цивилизации,— это у нас украдено. Стадо гугнивых выродков!

— Семья европейских народов,— О'Моллой вякает...

— Они никакие не европейцы,— режет Гражданин.— Я был в Европе с Кевином Игеном Парижским. Нигде в Европе никакого следа ни их, ни ихнего языка, если только в cabinet d'aisance[23].

А Джон Уайз говорит:

— Сколь многие цветы ничей не узрит взор*.

А Ленехан, который слегка может по этой фене:

— Conspuez les Anglais! Perfide Albion![24]

Сказал он и поднял своей большой, заскорузлой и мощной дланью кубок крепкого, темного, пенистого эля и, испустив боевой клич своего клана Lamh Dearg Abu[25], осушил его за победу над врагом, над племенем могучих и отважных героев, что правят морями и восседают на алебастровых тронах, безмолвные, словно бессмертные боги.

— Чего это с тобой приключилось? — я спрашиваю у Ленехана.— У тебя вид, как будто ты ждал триста, а получил свиста.

— Золотой Кубок,— отвечает.

— Кто же выиграл, мистер Ленехан? — Терри спрашивает.

— Реклама,— тот отвечает.— Выдача двадцать к одному. Чистейший аутсайдер. А все остальные с носом.

— А Бассова кобылка? — опять Терри.

— Скоро доскачет,— говорит Ленехан.— Мы все накололись. Бойлан по моему совету поставил на Корону два фунта, за себя и за одну знакомую.

— Я и сам полкроны поставил,— говорит Терри,— на Муската, мне мистер Флинн подсказал. Лорда Хауарда де Уолдена.

— Двадцать к одному,— повторяет Ленехан.— Вот такая дерьмовая жизнь. Реклама,— повторяет.— Запудрила всем мозги и хапнула все печенье. Корона, тебе имя — вероломство.

Тут он подбирает жестянку от печенья, что Боб Дорен оставил, и смотрит, нет ли там, чем поживиться на шаромыжку, а паршивая дворняга за ним, глядит, повезет ему или нет, разинув свою поганую пасть. Стала бабушка искать, хочет кость собачке дать.

— Шиш с маслом, детка,— тот ему.

---

[23] Уборная *(франц.)*.

[24] Презирайте англичан Коварный Альбион!*(франц.)*

[25] Победа Красной Руке *(ирл.)*.

— Держи хвост морковкой,— Джо утешает.— Корона бы выиграла, если б не эта сучка.

А Дж. Дж. с Гражданином все препираются насчет истории да законов, и Блум, уж конечно, тоже суется.

— Некоторые люди,— говорит Блум,— в чужом глазу увидят соринку, а в собственном бревна не заметят.

— Raimeis[26],— отвечает Гражданин.— Не зря говорят, слепому очков не подберешь. Куда делись наши двадцать миллионов ирландцев, которых мы должны бы иметь сейчас вместо четырех, наши потерянные колена? А наши гончары, наши ткани, лучшие во всем мире? А наши сукна, их еще в Риме продавали во времена Ювенала, и наш лен, и камчатное полотно, что ткут в Антриме, и кружева из Лимерика, и наши дубленые кожи, и флинтглас из-под Баллибоха, и гугенотский поплин, который у нас еще со времен Жаккара из Лиона, и наши тканые шелка, и фоксфордский твид, и кремовый гипюр из кармелитского монастыря в Нью-Россе, ничего подобного во всем мире нет! Где греческие купцы, что проходили через Геркулесовы Столбы, ныне Гибралтар, захваченный врагом рода человеческого, и плыли в Вексфорд, на торжище в Кармен, торговать золотом и тирским пурпуром? Почитайте-ка Тацита и Птолемея или хотя бы Гиральда Камбренского *. Вино, пушнина, мрамор из Коннемары, серебро из Типперэри, совершенно непревзойденное, а лошади наши славятся и по сей день, ирландская упряжная порода, а за право ловить рыбу в наших водах король испанский Филипп готов был платить нам пошлину. Кто вычислит, сколько нам должен паршивый Джон Буль за нашу загубленную торговлю, за наши разоренные хижины? А русла Барроу и Шаннона, они не желают их углублять, они нам оставляют миллионы акров болот, чтобы мы подыхали от чахотки.

— Скоро у нас тут будет безлесье, как в Португалии,— вставляет Джон Уайз,— или на каком-нибудь Гельголанде, где торчит одно деревце. Если только не примутся за лесопосадки. Ель, лиственница, все деревья, что из семейства хвойных, на глазах исчезают. Я вот читал доклад лорда Кэслтауна...

— Их надо срочно спасать,— говорит Гражданин,— и ясень гигантский в Голуэе, и вяз святой Бригитты в Килдере, сорок футов в обхвате и крона на добрый акр. Спасать деревья Ирландии для будущих поколений ирландцев, на дивных холмах Эйре, О! *

— Европа смотрит на вас,— говорит Ленехан.

Сливки высшего общества всей Европы * собрались в этот вечер, чтобы присутствовать на бракосочетании шевалье Жана Уайза де Нолана, великого верховного главного смотрителя Ирландских Национальных Лесных Угодий, и мисс Елли Хвойн из Сосновой Долины. Леди Эктам Лесгуст, миссис Дебри Лесов, миссис Флора Полей, мадмуазель Манон Лесок, миссис Хилда Гнил-Куст, миссис Эдна Сень-Крон, неразлучные подруги Норма Дров и Порция Лоз, миссис Кора Березоу, известная писательница Джейн Осин, миссис Джулия Дубб, мисс Энн Бук, миссис Элен Клен, миссис Сильвия Платтан, миссис Тебена О'Рехи, мисс Найди Шишки, мисс Сара Соснер, мисс Полли Пихти, мисс Китти Кедрик, миссис Мона Листик, сестры мисс Лилия и мисс Виола Стеблинз, миссис Лиана Ползинс, мисс Лаура Мирт, мисс Орхидея Гор, миссис Майра Макмак, миссис Гортензия Флокс, мадемуазель О'Мимоза-сан и миссис Глория Бревноу из Дуботола украшали своим присутствием брачное торжество. Невеста, дочь достопочтенного эсквайра Мак-Хвойна из Больших Желудей, являла собой верх изящества в очаровательном туалете зеленого мерсеризованного шелка на чехле сумеречно-серых тонов, с широким изумрудно-зеленым поясом и тремя рядами оборок более темного оттенка, а также, в довершение ансамбля, бретельками и каштановыми вытачками на бедрах. Подружки невесты, мисс Пиния и мисс Туя,

[26] Болтовня *(ирл.)*.

также из семейства Хвойнов, были в необычайно идущих им к лицу туалетах тех же тонов, с изящной розовой отделкой, мотивы которой прихотливо повторялись в нефритово-зеленых токах, украшенных эгретками из бледно-коралловых перьев цапли. Сеньор Энрике Флор, восседавший за органом, явил свое прославленное искусство и, в дополнение к музыке, предписанной венчальным каноном, завершил службу исполнением песни «Лесоруб, лесоруб, не руби ты этот дуб», в замечательной новой аранжировке. Когда молодые, получив папское благословение, покидали церковь Святого Фиакра на бору, их шутливо осыпали целым градом орехов, желудей, лавровых листьев, барашков вербы, ивовых прутьев, ягод остролиста, веточек омелы и можжевеловых побегов. Мистер и миссис Уайз Хвойн Нолан уединенно проведут свой медовый месяц в Черном Лесу.

— И мы смотрим на Европу,— говорит Гражданин.— Когда еще эти дворняжки были щенками, мы уже торговали с Испанией и с французами и с голландцами, испанские суда плавали в Голуэй с грузом, от которого веселей, с винцом по винноцветному морю.

— И поплывут еще,— говорит Джо.

— И с помощью Пречистой Девы Марии еще поплывут,— повторяет Гражданин, трахая себя по ляжке.— Наши опустевшие гавани опять оживут, Куинстаун, Кинсейл, Голуэй, Блэксод-бэй, Вентри, что в графстве Керри, Киллибегс, третий по величине порт во всем мире, целые леса мачт, корабли рода Линчей из Голуэя, и Кавана О'Рейли, и дублинских О'Кеннеди, а с графом Десмондом заключал союз сам император Карл Пятый. Да, поплывут,— давит он,— люди еще увидят первый ирландский броненосец бороздящим моря с нашим собственным флагом на флагштоке, не с этой треклятой арфой Генриха Тюдора, нет уж, а с древнейшим флагом провинций Десмонд и Томонд, три золотых короны на голубом поле, трое сыновей Милезия *.

И опрокидывает свою до дна. Моуа [27]. Грозный как жук навозный. Лапшу нам на уши вешает. Рискнул бы он с этим дерьмовым трепом выйти перед народом в Шейнаголдене, туда он и нос показать не смеет, ему там Молли Магуайр * давненько уж припасла свинцовый орешек за то, что он выгнал издольщика, а добро себе заграбастал.

— Ну-ну,— говорит Джон Уайз,— вы только послушайте. Чего будешь пить?

— Чего королевские гусары принимают для храбрости,— Ленехан отвечает.

— Половинку с прицепом, Терри,— заказывает Джон Уайз.— Эй, Терри! Никак, заснул?

— Сию минуту, сэр,— отвечает Терри.— Полпорции виски и бутылочку эля. Даю, сэр.

Прилип к этой вшивой газетке с Олфом, выискивает там чего позабористей, вместо того чтоб обслуживать. Картинка матча, в котором дерутся головами, один другого старается трахнуть черепом, идет на него, пригнув голову, как бык на стенку. Еще картинка: *Так сожгли черную скотину в Омахе, Джорджия.* Орава героев в ковбойских шляпах до глаз палит в черномазого, повешенного на дереве, у того уже язык наружу, а внизу разложен костер. Ей-ей, им бы еще утопить его в море, посадить на электрический стул и распять, чтобы уж были уверены в успехе.

— А как же непобедимый флот,— спрашивает Нед,— гроза всех врагов?

— Я вам про это кое-что расскажу,— говорит Гражданин.— Это сущий ад на земле. Почитайте-ка в газетах про то, как избивают палками на учебных судах в Портсмуте. Какой-то тип пишет за подписью «Возмущенный».

И давай нам рассказывать про телесные наказания, как выстраи-

[27] Да неужели *(ирл.)*.

вается команда и офицеры, и адмирал тут же в треуголке, и пастор со своей протестантской библией, словом, все, чтоб присутствовать при наказании. Приводят беднягу, паренька, который вопит благим матом, растягивают на лафете орудия, привязывают.

— Отбивную и дюжину горячительного,— говорит Гражданин,— так это дело называл старый бандит сэр Джон Бересфорд *, ну а теперешние Кромвели это прозвали морской обычай.

Джон Уайз вставляет:

— Обычай, что достойней уничтожить, чем сохранять.

А тот дальше рассказывает, как там выходит судовой инструктор с длинной тростью, размахивается и пошел сдирать шкуру с бедного малого, пока тот не наорется до хрипоты убивают.

— Вот вам славный британский флот,— говорит Гражданин,— который властвует над землей. Эти герои, что никогда не будут рабами, у них единственная наследственная палата на всем божьем свете, а все земли в руках у дюжины надутых баронов да боровов, ни в чем не смыслящих, кроме псовой охоты. Вот она, их великая империя, которой они так бахвалятся,— империя рабов, замордованных и трудом и кнутом.

— Над которой никогда не восходит солнце,— вставляет Джо.

— И вся трагедия в том,— продолжает Гражданин,— что сами они в это верят. Несчастные йеху в это верят.

Веруют во кнута-отца *, шкуродера и творца ада на земле, и в Джека-Матроса, сына прохожего, его же зачала Мэри-шлюха с несытого брюха, рожденного для королевского флота, страдавшего под отбивною и дюжиной горячительного, бичеваного, измордованного, и завывавшего аки зверь, и восставшего с койки на третий день по предписаниям, и пришедшего в порт и воссевшего на своей драной заднице, покуда не отдадут приказ и не потрюхает он опять вкалывать ради куска хлеба.

— Но ведь разве,— ввязывается Блум,— дисциплина не везде одинакова? Я хочу сказать, разве у вас не было бы то же самое, если бы вы против силы выставили свою силу?

Ну что я вам говорил? Не пить мне этого портера, если он и до последнего издыхания не будет вам доказывать, что черное это белое.

— Мы выставим силу против силы,— говорит Гражданин.— У нас есть великая Ирландия за океаном *. Их выгнали из родного дома и родной страны в черном сорок седьмом году. Их глинобитные лачуги и придорожные хижины сровняли с землей, а в «Таймсе» радостно возвещали трусливым саксам, что скоро в Ирландии останется не больше ирландцев, чем краснокожих в Америке. Паша турецкий, и тот прислал нам какие-то пиастры. Но саксы нарочно старались задушить голодом нацию, и хоть земля уродила вдосталь, британские гиены подчистую скупали все и продавали в Рио-де-Жанейро. Крестьян наших они гнали толпами! Двадцать тысяч из них распростились с жизнью на борту плавучих гробов. Но те, что достигли земли свободных, не позабыли земли рабства. Они еще вернутся и отомстят, это вам не мокрые курицы, сыны Гануйл *, заступники Кэтлин-ни-Хулихан.

— Совершенно справедливо,— снова Блум за свое,— но я-то имел в виду...

— Да мы уж давно этого ждем, Гражданин,— Нед вставляет.— Еще с тех пор, как бедная старушка нам говорила, что французы у наших берегов, с тех пор, как они высаживались в Киллале.

— Верно,— говорит Джон Уайз.— Мы сражались за Стюартов, а они предали нас, с головой выдали вильямитам. А вспомните Лимерик и нарушение договора на камне. Наши лучшие люди проливали кровь за Францию и Испанию, дикие гуси. Одна битва при Фонтенуа чего стоит! А Сарсфилд, а О'Доннелл, герцог Тетуанский

в Испании, а Улисс Браун из Камуса, фельдмаршал в войсках Марии Терезии. Но что мы хоть когда-нибудь получили за это?

— Французы! — фыркает Гражданин.— Компашка учителей танцев! Как будто сами не знаете. Для Ирландии цена им всегда была грош ломаный. А нынче они из кожи лезут, устраивают entente cordiale [28] с коварным Альбионом, вроде обедов Тэй Пэя. Первые смутьяны Европы, и всегда ими были!

— Conspuez les Français![29] — говорит Ленехан, прибирая к рукам кружечку пива.

— А взять пруссаков и ганноверцев,— Джо поддакивает,— мало что ли у нас сидело этих бастардов-колбасников на троне, от курфюрста Георга до этого немчика и старой суки со вспученным брюхом, что околела недавно?

И, убей бог, мы все там полегли со смеху, как он изобразил нам про эту старушку Вик в розовых очках, мол, что ни вечер, она в своем королевском дворце глушит нектар и амброзию кувшинами, а как упьется до поросячьего визга, тут ее кучер загребает в охапку и плюхает как мешок в постель, а она его дергает за баки да распевает допотопные песенки про Эрен на Рейне и приди туда, где выпивка дешевле.

— Ну что ж! — говорит Дж. Дж.— Зато теперь у нас Эдуард-миротворец.

— Сказки для дураков,— ему Гражданин на это.— У этого кобеля заботы — не мир наводить, а триппер не подхватить. Эдуард Гвельф-Веттин!

— А что вы скажете,— Джо ярится,— про этих святош, ирландских попов и епископов, которые разукрасили его покои в Мэйнуте скаковыми эмблемами его Поганского то бишь Британского Величества да картинками всех лошадей, на которых его жокеи ездят? Как же, граф Дублинский.

— Туда б еще картинки всех баб, на которых он сам поездил,— предлагает малыш Олф.

На это Дж. Дж. солидно:

— Их преосвященства были вынуждены отказаться от этой идеи за недостатком места.

— Еще одну сделаешь, Гражданин? — Джо спрашивает.

— О да, сэр,— тот ему.

— Ну, а ты? — это Джо мне.

— Бесконечно признателен,— отвечаю.— И дай тебе бог всяческого прибытку.

— Все то же повторить,— Джо заказывает.

А Блум, в своем чернорыжегрязноболотном котелке на макушке, все мелет и мелет языком с Джоном Уайзом, входит в раж, глаза выкатил, что сливы.

— Преследования,— говорит,— вся мировая история полна ими. Разжигают ненависть между нациями.

— А вы знаете, что это такое, нация? — спрашивает Джон Уайз.

— Да,— отвечает Блум.

— И что же это? — тот ему снова.

— Нация? — Блум говорит.— Нация это все люди, живущие в одном месте.

— Ну, уморил,— смеется тут Нед.— Раз так, тогда нация это я, я уже целых пять лет живу в одном месте.

Тут, конечно, все Блума на смех, а он пробует выпутаться:

— Или, возможно, живущие в разных местах.

— Под это я подхожу,— говорит Джо.

— А нельзя ли спросить, какова ваша нация? — Гражданин вежливенько.

---

[28] Сердечное Согласие *(франц.)*.

[29] Презирайте французов! *(франц.)*

— Ирландская,— отвечает Блум.— Здесь я родился. Ирландия.

Гражданин на это ничего не сказал, но только выдал из пасти такой плевок, что, дай бог, добрую устрицу с Ред-бэнк отхаркнул аж в дальний угол.

— Ну как, поехали, Джо,— говорит он и вынимает платок, чтобы утереться.

— Поехали, Гражданин,— тот ему.— Возьмите это в правую руку и повторяйте за мной следующие слова.

Древняя и бесценная, покрытая хитроумной вышивкой*, ирландская лицевая пелена, которую предание связывает с именами Соломона из Дромы и Мануса Томалтаха-ог-Мак-Доноха, авторов Книги Баллимот, была с величайшими предосторожностями извлечена на свет и вызвала благоговейное восхищение. Избегнем пространных описаний прославленной красоты ее четырех углов, из коих каждый — верх совершенства; скажем лишь, что на них можно было отчетливо различить четырех евангелистов, вверяющих четырем мастерам свои евангельские символы, скипетр мореного дуба, североамериканскую пуму (заметим вскользь, что это не в пример более благородный царь зверей, нежели объект британской геральдики), тельца из Керри и золотого орла из Каррантухилла. Виды же, заполняющие сморкательное поле, изображали наши древние дуны, раты, кромлехи и гриноны [30], а также обители просвещения и каменные пирамиды, слагаемые в память о бедствиях, и были столь же прекрасны, а краски их столь же тонки, как и в те незапамятные времена, в пору Бармакидов, когда художники из Слайго отпустили поводья своего творческого воображения. Глендалох, дивные озера Килларни, развалины Клонмакноиса, аббатство Конг. Глен Ина и Двенадцать Сосен, Око Ирландии, Зеленые Холмы Галла, Крок-Патрик, пивоварня фирмы Артур Гиннесс, Сын и Компания (с огр. отв.), берега Лох-Ней, долина Овоки, башня Изольды, обелиск Мейпса, больница сэра Патрика Дуна, мыс Клир, долина Ахерлоу, замок Линча, Скотч-хаус, ночлежка Рэтдаун в Локлинстауне, тюрьма в Толламоре, пороги Каслконнел, Килбаллимакшонакилл, крест в Монастербойсе, отель Джури, Чистилище Св. Патрика, Прыжок Лосося, столовая в мэйнутском колледже, Кэрлис-хоул, три места рождения первого герцога Веллингтонского, скала Кэшел, болото Аллен, склады на Генри-стрит, Фингалова пещера,— волнующие изображения всех этих мест поныне доступны взорам. Со временем они стали еще прекрасней благодаря тем потокам, что скорбно изливались на них, а также обильным наслоениям.

— Раздай-ка нам кружки,— я прошу Джо.— Какая тут чья?

— Вот это мое,— говорит Джо,— как сказал черт мертвому полисмену.

— И еще я принадлежу к племени,— заявляет Блум,— которое ненавидят и преследуют. Причем и поныне. Вот в этот день. Вот в эту минуту.

Бог ты мой, а окурок сигары ему совсем уже пальцы жжет.

— Грабят,— говорит он.— Обирают. Оскорбляют. Преследуют. Отнимают то, что наше по праву. Вот в эту самую минуту,— говорит он и поднимает кулак,— продают с аукциона в Марокко, как рабов, как скот.

— Вы что ли говорите про новый Иерусалим? — Гражданин спрашивает.

— Я говорю про несправедливость,— отвечает Блум.

— Хорошо,— говорит Джон Уайз.— Но тогда сопротивляйтесь, проявите силу, как подобает мужчинам.

Уж это будет незабываемая картинка. Мишень для разрывной пули. Старая жирная морда перед дулами пушек. Вот швабру он бы

---

[30] Форты, крепости, дольмены, солнечные залы *(ирл.)*.

собой украсил отлично, только обряди его в фартук с завязочками. А потом вдруг, в один миг, у него душа в пятки, и он уже накручивает все другое, наоборот, жалкий слабак, тряпка.

— Но все это бесполезно,— отвечает он.— Сила, ненависть, история, все эти вещи. Оскорбления и ненависть — это не жизнь для человека. Всякий знает, что истинная жизнь — это совершенно противоположное.

— И что же? — Олф его спрашивает.

— Любовь,— отвечает Блум.— Я имею в виду, противоположное ненависти. Мне надо сейчас идти,— это он Джону Уайзу.— Тут рядом, заглянуть на минутку в суд, нет ли там Мартина. Если он придет, скажите ему, пожалуйста, что я скоро вернусь. Я на одну минуту.

Да кто тебя держит-то? И выскакивает, как жирная молния.

— Новый апостол язычников,— бурчит Гражданин.— Всеобщая любовь.

— А что,— говорит Джон Уайз,— разве это не то же, что нам твердят? Возлюби ближнего своего.

— Кто, этот гусь? — Гражданин ему.— Да его девиз — обирай ближнего своего. Любовь, тоуа! Ромео и Джульетта, чистая копия. Любовь любит любить любовь. Медсестра любит нового аптекаря. Констебль бляха 14 А любит Мэри Келли. Герти Макдауэлл любит парня с велосипедом. М. Б. любит красивого блондина. Ли Чи Хань люби целовай Ча Пу Чжо. Слон Юмбо любит слониху Алису. Старичок мистер Вершойл со слуховым рожком любит старушку миссис Вершойл со вставным глазом. Человек в коричневом макинтоше любит женщину, которая уже умерла. Его Величество Король любит Ее Величество Королеву. Миссис Норман В. Таппер любит капитана Тэйлора. Вы любите кого-то. А этот кто-то любит еще кого-то, потому что каждый любит кого-нибудь, а Бог любит всех.

— Ну ладно, Джо,— говорю,— бывай здоров и пой песни. А тебе еще больше сил, Гражданин.

— Ура! — рявкает Джо.

— Господь, Мария и Патрик да будут с вами,— говорит Гражданин.

И опрокидывает свою кружку, чтоб промочить пасть.

— Знаем мы эти басни,— говорит он.— Читает благие проповеди, а сам в карман к тебе лезет. Как там богомольный Кромвель и его Железнобокие, что вырезали всех женщин и детей в Дрогеде, а на пушках у них вокруг дул было написано из библии: «Бог есть любовь»? Библия! Не читали в сегодняшнем «Юнайтед айришмен» фельетон про визит зулусского вождя в Англию?

— Нет, а что там? — Джо спрашивает.

Гражданин вытаскивает из своего личного архива номер газеты и принимается нам читать:

— Делегация крупнейших хлопковых магнатов Манчестера была вчера представлена Его Величеству Алаки Абеакутскому дежурным Главой Протокола лордом Процедуром из Процедуры-на-Пустом-Месте, дабы выразить Его Величеству горячую благодарность английских коммерсантов за привилегии, данные им в его владениях. Члены делегации присутствовали на завтраке, в заключение которого темнокожий властитель произнес яркую речь, вольно переводившуюся британским капелланом, преподобным Ананией Богомолом Барбоном. В ней он выразил благодарность массе Процедуру и подчеркнул сердечность отношений, существующих между Абеакутой и Британской Империей, заявив, что величайшей драгоценностью для него является иллюстрированная библия, книга, в которой слово Божие и секрет могущества Англии, благосклонно подаренная ему предводительницей белых, великою скво Викторией, с личною надписью Августейшей Дарительницы. На этом владыка Алаки, провозгласив тост «Черное и Белое», осушил чашу дружбы, полную первосортного ирландского

виски, из черепа своего прямого предшественника на троне династии Какачакачаков, носившего прозвище Сорок Чирьев. Затем он осмотрел крупнейшую из фабрик Хлопкополиса и поставил свой крест в книге посетителей, исполнив при этом древний и очаровательный абеакутский военный танец, во время которого он проглотил множество ножей и вилок, поощряемый радостными рукоплесканиями юных работниц.

— Царственная вдовица,— говорит Нед,— выше всякого подозрения. Но интересно, не использовал ли он эту библию так же, как я бы на его месте.

— Так же, и даже еще лучше,— Ленехан уверяет.— Ибо потом на той плодородной земле выросло пышное манговое дерево с широкими листьями.

— А кто написал, Гриффит? — спрашивает Джон Уайз.

— Нет,— отвечает Гражданин.— Там не подписано «Шангана». Стоит только инициал: П.

— Что же, отличный инициал,— говорит Джо.

— Так вот они и действуют,— говорит Гражданин.— Торговля следует за флагом.

— Да,— замечает Дж. Дж.,— если они ведут себя не лучше бельгийцев в Конго, хорошенькая там жизнь. Вы не читали этот доклад, кто же его написал...

— Кейсмент,— подсказывает Гражданин.— Он, кстати, ирландец.

— Да-да, он самый,— продолжает Дж. Дж.— Насилуют женщин, девушек, молотят туземцев по животам, видно, чтоб выжать из них весь красный каучук, какой можно.

— Знаю, куда он пошел,— вдруг говорит Ленехан и щелкает пальцами.

— Кто? — спрашиваю.

— Блум,— отвечает он.— Это все липа насчет суда. А он ставил на Рекламу и побежал сейчас загребать сребреники.

— Чего, этот белоглазый кафр? — Гражданин не верит.— Да он в жизни на лошадь не поставит, даже со злости.

— Нет, он туда пошел,— твердит свое Ленехан.— Я тут встретил Бэнтама Лайонса он как раз на эту лошадку хотел ставить только из-за меня раздумал и он сказал мне это Блум ему подкинул намек. На что хочешь бьюсь об заклад, он сейчас загребает сто шиллингов на свои пять. Единственный во всем Дублине, кто сорвал куш. Поставил на темную лошадку.

— Сам он чертова темная лошадка,— ворчит Джо.

— Пропусти-ка, Джо,— говорю.— Где у нас тут вход на выход?

— Туда вон,— кивает Терри.

Прощай, Ирландия, я еду в Горт. Значит выхожу я на задворки отлить и убей бог (сто шиллингов на пять) пока я там выпускал свой (Реклама-то взяла двадцать к) пока выпускал свой заряд я себе говорю я ж замечал ей-ей что его (две пинты от Джо и у Слэттери одна) его так и тянет куда-то смыться (сто шиллингов это же пять фунтов) а когда они жили в (темная лошадка) сикун рассказывал как бывало сидят за картами а они представляются будто ребенок болен (ну сила не меньше галлона напрудил) и эта его вислозадая половина сообщает по внутреннему телефону мол *ей лучше* или там *ей* (ох!) весь план к тому чтоб он мог смыться в выгодную минуту с выигрышем а еще (как пузырь-то не лопнул) торгует без патента (ох!) Ирландия говорит моя нация (перр! пукпукпук!) нет уж их не переплюнешь этих чертовых (ага последний остаток) иерусалимских (уф!) рогачей.

Одним словом, я возвращаюсь, а они все долдонят, и Джон Уайз рассказывает, это, мол, Блум подал идею шиннфейнерам, чтобы Гриффит в своей газете разоблачал всяческие махинации, подтасовки состава присяжных или там жульничества с налогами, и чтобы по всем странам посылали своих представителей, продвигать торговлю ирланд-

скими товарами. Менять шило на мыло. Тут уж, я скажу вам, густой мрачок, если эта косоглазая рожа еще нам примется устраивать наши дела. Уж дайте нам по-нашему сдохнуть. Боже спаси Ирландию от этого жирного пройдохи и всех подобных ему. Мистер Блум и его шахер-махеры. А до него еще его папаша занимался мошенничеством, старый Мафусаил Блум, бизнесмен с большой дороги, отравился синильной кислотой, но только прежде всю страну завалил своим хламом, брильянтами на пенни пара. Ссуды по почте на удобных условиях. Любые суммы высылаются на основании расписки. Расстояние не ограничивается. Гарантий не требуется. Ни дать ни взять, собачка Ланти Макхейла, что каждому хвостиком виляет.

— Это истинный факт,— говорит Джон Уайз.— И вот вам человек, который про это может все рассказать, Мартин Каннингем.

И точно, подкатывает муниципальный кэб, а в нем Мартин, Джек Пауэр и еще один тип, Крофтер то ли Крофтон, оранжист, получает пенсию от таможенного ведомства и при Блэкберне состоит, где ему платят за то,— или, может, Кроуфорд? — что он шляется по всей стране за казенный счет.

Наши путники достигли постоялого двора и спешились на землю со своих скакунов.

— Гей, слуги! — вскричал один из прибывших, чья осанка тотчас показывала предводителя.— Ленивые прохвосты! Сюда!

И с этими словами он шумно принялся колотить рукояткою меча по открытой оконной решетке.

На сей призыв немедля появился хозяин, на ходу подпоясывая свой плащ.

— Добрый вам вечер, милостивые господа! — проговорил он, угодливо кланяясь.

— Живей пошевеливайся, бездельник! — вскричал ему стучавший в окно.— Вели позаботиться о наших конях. А нам подай лучшего, что только найдется в твоей дыре, ибо, клянусь, добрый ужин не повредил бы нашим желудкам.

— Увы, добрые господа! — отвечал ему на это хозяин.— В моем нищем доме и в погребе и в кладовке хоть шаром покати. Право, совсем не знаю, что и предложить вашим милостям.

— Что это ты там мелешь? — вскричал при этих словах второй из прибывших, человек с весьма приятными и живыми чертами лица.— Так-то ты принимаешь королевских гонцов, толстопузый мошенник!

Лицо хозяина изменилось во мгновение ока.

— Прошу вас, смилуйтесь, благородные рыцари! — смиренно взмолился он.— Коль скоро вы гонцы нашего короля (да оградит Бог Его Величество!), у вас не будет нужды ни в чем. Клянусь, друзьям короля (да благословит Бог Его Величество!) не придется поститься в моем доме.

— Так живо принимайся за дело! — воскликнул прежде молчавший путник, в ком вся наружность немедленно выдавала любителя хорошо поесть.— Чего там у тебя найдется для нас?

Вновь низко кланяясь, хозяин ему отвечал:

— Не окажете ли вы честь, достойнейшие рыцари, моим паштетам из молодых голубей, бифштексам из оленины, седлу теленка, утке, зажаренной с румяным беконом, кабаньей голове с фисташками, чаше сладкого заварного крема, пудингу с рябиновым соком и кувшину старого рейнского?

— Гром и молния! — вскричал вопрошавший.— Вот это по мне! Фисташки!

— Ага! — рассмеялся путник с приятными чертами лица.— Нечего сказать, нищий дом и пустая кладовка! Он славный шутник, этот негодяй.

Стало быть, входит Мартин и спрашивает, где Блум.

— Где ему быть? — отвечает Ленехан.— Обирает вдов и сирот.

— Правда это или нет,— спрашивает Джон Уайз,— то, что я рассказывал Гражданину про Блума и его связи с Шинн Фейн?

— Да, это правда,— говорит Мартин,— или, по крайней мере, так про него наушничают.

— Это кто же наушничает? — спрашивает Олф.

— Я,— отвечает Джо.— У меня шапка с наушниками.

— Но, в конце концов,— рассуждает Джон Уайз,— почему еврей не может любить свою родину точно так же, как и всякий другой?

— Отчего бы нет? — Дж. Дж. на это ему.— Если только он знает, где его родина.

— Он что, еврей или же он язычник или католик или методист или, черт дери, еще что-то? — Нед спрашивает.— Кто он такой, вообще? Я вам не в обиду, Крофтон.

— Кто такой Джуниус? — говорит Дж. Дж.

— Мы его не желаем,— говорит Крофтер, оранжист или пресвитерианец.

— Он — отпавший еврей,— объясняет Мартин,— родом откуда-то из Венгрии, и это именно он придумал все планы насчет венгерской системы. У нас в муниципалитете про это знают.

— А он не родственник дантиста Блума? — спрашивает Джек Пауэр.

— Нет, просто однофамильцы,— Мартин ему.— Его настоящая фамилия Вираг. Фамилия отца его, который отравился. Он получил разрешение сменить фамилию, то есть не он, а еще отец.

— Тоже мне новый мессия для Ирландии! — говорит Гражданин.— Остров мудрецов и святых!

— Что же, они все еще ждут своего искупителя,— говорит Мартин.— В этом смысле и мы как они.

— Верно,— продолжает Дж. Дж.,— и про каждого новорожденного мужского пола они думают, что этот, может, и есть мессия. Так что у них, надо полагать, каждый еврей себе места не находит, пока не узнает, кем стал, отцом или матерью.

— Ждет, что вот-вот ему малец придет,— добавляет Ленехан.

— Мать честная,— вспоминает тут Нед,— видели бы вы Блума перед тем, как у него сын родился, тот, что умер потом. Помню, я его встретил на южном рынке, он там покупал детское питание, а дело-то еще было за полтора месяца до родов.

— En ventre de sa mère [31],— говорит Дж. Дж.

— И это, по-вашему, мужчина? — Гражданин спрашивает.

— Интересно, он хоть разок сумел вообще задвинуть,— говорит Джо.

— Ну, как-никак, двое детей народилось,— Джек Пауэр на это.

— И кого ж он подозревает? — спрашивает Гражданин.

Ей-ей, в каждой шутке есть доля правды. Ни то ни се, сущий гермафродит, вот он кто. Сикун рассказывал в этом своем отеле он что ни месяц в постель головные боли как есть тебе баба с женским делом. Да знаете, что я скажу, если на то пошло? Было б милое дело, если б ухватить вот такого вот недоноска за шкирку, да и шарахнуть в море к едрене Фанни. Оправданная мера самозащиты. А что, скажете, это по-человечески, огрести даровых пять фунтов и смыться, не поставивши людям хоть по единой пинте. Эх, господи благослови! Да тут не хватит и блоху утопить.

— Вспомним про милосердие к ближним,— Мартин советует.— Но только где же он сам? Нам некогда дожидаться.

— Волк в овечьей шкуре, вот он кто есть,— говорит Гражданин - Вираг из Венгрии! Агасфер, я бы его назвал! Проклятый Богом.

---

[31] Во чреве матери *(франц.)*.

— А у вас найдется минутка для краткого возлияния, Мартин?— Нед спрашивает.

— Если только одну,— отвечает тот.— Мы спешим уже. Порцию Дж. Дж. и С.

— А вы, Джек? Крофтон? Значит, три половинки, Терри.

— Святому Патрику надо бы снова высадиться в Балликинларе и взяться за наше обращение,— Гражданин заявляет,— после того как мы позволили вот таким запаскудить нашу страну.

— Ну, будем,— говорит Мартин и тянется, поторапливаясь, за своей кружкой.— Всем тут присутствующим да окажет Бог свою милость.

— Аминь,— заключает Гражданин.

— Окажет, окажет, не сомневайтесь,— это Джо.

И под звуки освященного колокольчика *, во главе с несущим распятие, за коим следовали псаломщики, кадилоносцы, ковчеженосцы, чтецы, привратники, дьяконы и иподьяконы, продвигалась священная процессия митрофорных аббатов, приоров, настоятелей, монахов и братии нищенствующих орденов: монахи Венедикта Нурсийского, картузианцы и камальдулы, цистерцианцы и оливетанцы, ораторианцы и валломброзанцы, братья августинцы, бригиттинцы, премонстранцы, сервиты, тринитарии и дети св. Петра Ноланского; и шли также с горы Кармел дочери и сыны пророка Илии, ведомые Альбертом епископом и Терезой Авильской, обутые, равно как и босые; и братья бурые и серые, сыны бедняка Франциска, капуцины, кордельеры, минимы и обсерванты и дочери Клары; и сыны Доминика, братья-проповедники, и сыны Винсента; и монахи св. Волстана; и Игнатия чада; и сообщество христианских братьев, ведомых преподобным Эдмундом Игнатием Райсом. За ними же шествовали все святые и мученики, девы и исповедники: св. Кирик и св. Исидор Землепашец и св. Иаков, брат Господень, и св. Фока Синопский и св. Юлиан Странноприимец и св. Феликс Канталийский и св. Симеон Столпник и св. Стефан Первомученик и св. Иоанн Бога и св. Ферреол и св. Лигард и св. Феодот и св. Вульмар и св. Ричард и св. Винсент де Поль и св. Мартин из Тоди и св. Мартин Турский и св. Альфред и св. Иосиф и св. Дионисий и св. Корнилий и св. Леопольд и св. Бернард и св. Терентий и св. Эдуард и св. Оун Caniculus[32] и св. Аноним и св. Эпоним и св. Псевдоним и св. Омоним и св. Пароним и св. Синоним и св. Лаврентий О'Тул и св. Иаков Динглский и Компостельский и св. Колумциллий и св. Колумба и св. Целестин и св. Колман и св. Кевин и св. Брендан и св. Фригидиан и св. Сенан и св. Фахтна и св. Колумбан и св. Гэлл и св. Ферси и св. Финтан и св. Фиакр и св. Иоанн Непомук и св. Фома Аквинский и св. Ив Бретонский и св. Мичен и св. Герман-Иосиф и три святых покровителя отроков, св. Алоизий Гонзага и св. Станислав Костка и св. Иоанн Берхманс, и святые Гервасий, Сервасий и Бонифаций, и св. Брайд и св. Киран и св. Каниций Килкеннийский и св. Иарлат Туамский и св. Финбар и св. Паппин Баллимунский и брат Алоизий Миротворец и брат Людовик Ратоборец и свв. Роза Лимская и Роза Витербская и св. Марта Вифанийская и св. Мария Египетская и св. Лукия и св. Бригитта и св. Аттракта и св. Димпна и св. Ита и св. Мэрион Гибралтарская и блаженная сестра Тереза Младенца Иисуса и св. Варвара и св. Схоластика и св. Урсула с одиннадцатью тысячами дев. И шествовали все они, осененные нимбами, венцами и славами, неся пальмовые ветви, арфы, мечи и венки из оливы, в ризах, на коих вытканы были священные символы их служения, чернильницы, стрелы, хлебы, кувшины, оковы, топоры, древа, мосты, младенцы в купели, раковины, сумы, ножницы, ключи, драконы, лилии, картечь, бороды, боровы, светильники, кузнечные мехи, пчелиные ульи, суповые ложки, звезды, змеи, наковальни, баночки

[32] Собачонок *(лат.)*.

с вазелином, колокольчики, костыли, хирургические щипцы, оленьи рога, резиновые сапоги, ястребы, жернова, глаза на блюде, восковые свечи, кропила, единороги. И покуда свершали они свой путь мимо колонны Нельсона, и по Генри-стрит, Мэри-стрит, Кейпл-стрит, Малой Бритн-стрит, распевая входной антифон на Epiphania Domini[33], что начинается с Surge, illuminare[34], и затем наисладчайший антифон степенный, Omnes гласящий de Saba venient[35], творили они многоразличные чудеса, изгоняя бесов, воскрешая усопших, совершая умножение рыб, исцеляя расслабленных и слепых, обнаруживая всякого рода утерянные предметы, толкуя, а равно исполняя Писание, благословляя и пророчествуя. И заключал шествие под златотканым пологом преподобный отец О'Флинн, ему же сопутствовали Малахия и Патрик. А когда святые отцы достигли назначенного места, дома Бернарда Кирнана и К°, с огр. отв., Малая Бритн-стрит, 8, 9 и 10, оптовая торговля бакалейным товаром, винами и коньяками, с патентом на продажу пива, вина и крепких напитков распивочно, священник благословил дом и окадил окна его и переплеты окон и своды и перемычки сводов и выступы и капители и фронтоны и карнизы и зубчатые арки и шпили и купола и окропил сочленения оных святою водой и вознес молитву, дабы Господь благословил дом сей, как благословил он дом Авраама, Исаака и Иакова, и ниспослал бы ангелов света Своего, дабы обитали в нем. И, вошед, благословил яства и пития, и весь сонм блаженных вторил его молитвам.

— Adiutorium nostrum in nomine Domini.

— Qui fecit coelum et terram.

— Dominus vobiscum.

— Et cum spiritu tuo[36].

И возложил он руки на блаженных и возблагодарил и молился, и все они с ним так молились:

— Deus, cuius verbo sanctificantur omnia, benedictionem Tuam effunde super creaturas istas; et praesta ut quisquis eis secundum legem et voluntatem Tuam cum gratiarum actione usus fuerit per invocationem sanctissimi nominis Tui corporis sanitatem et animae tutelam Te auctore percipiat per Christum Dominum nostrum[37].

— Мы все такого же мнения,— говорит Джек.

— Долгих вам лет, Лэмберт,— говорит этот Крофтон или Кроуфорд.

— Дело хорошее,— отвечает Нед, поднимая стаканчик виски.— Пилось бы да елось.

Я поглядываю по сторонам, не придет ли кому-нибудь счастливая мысль, и тут, проклятье, опять он является, с таким видом, как будто спешил со всех ног.

— А я,— говорит,— только что был в суде, вас искал. Надеюсь, я не...

— Нет-нет,— отвечает Мартин.— Мы готовы.

В суде, говоришь, а ну в глаза посмотри, небось, от золота все карманы отвисли. Скупердяй хренов, недоделок. Хоть по одной-то поставил бы. Куда, черта с два тебе! Вот они вам, жиды! Один профит знают. Нюх как у крысы в нужнике. Сто на пять.

---

[33] Богоявление *(лат.)*.

[34] Восстань, светись *(лат.)*.

[35] Все... из Савы придут *(лат.)*.

[36] — Помощь наша в имени Господа.

— Сотворившего небо и землю.

— Господь с вами.

— И с духом твоим *(лат.)*.

[37] Боже, чьим словом освящается все, ниспошли благословение Твое на сие сотворенное Тобою. Даруй, дабы всякий, кто, возблагодарив Тебя, употребит его согласно закону Твоему и воле Твоей, призыванием святого Твоего имени сподобился бы с Твоею помощью телесного здравия и наставления души, через Христа Господа нашего *(лат.)*.

— Никому не рассказывай,— говорит Гражданин.

— Прошу прощения? — Блум ему.

— Пойдемте, пойдемте,— торопит Мартин, видя, что пахнет жареным.— Пора двигаться.

— Никому не рассказывай,— Гражданин повторяет и аж рычит от полноты чувства.— Держи в секрете.

Псина тут просыпается и тоже издает рык.

— Ну, мы пошли, пока,— Мартин говорит.

И поживей их выталкивает наружу, Джека Пауэра и Крофтона или как бишь его, и этого между ними посередке, а тот все прикидывается, будто ему невдомек, из-за чего сыр-бор, и все они залезают в свой хренов кэб.

— Пошел,— говорит Мартин кучеру.

Гривой своей тряхнул дельфин белоснежный, и кормчий, встав на золоченой корме, направил вздувшийся парус по ветру. Стремительно полетела ладья на всех парусах, уставив спинакер по штирборту. Прекрасные нимфы всплывали во множестве по бакборту и по штирборту и, приближаясь к благородной ладье, смыкали с нею сияющие очертанья, как делает хитроумный мастер-колесник, прилаживая вокруг оси колеса равноотстоящие лучи, братья один другому, и огибая их ободом, и быстроту сообщая стопам мужей, спешат ли они на грозную сечу или состязаются ради улыбки прекрасных дам. И так, приплывая, располагались они, нимфы благосклонные, бессмертные сестры. И смеялись, резвясь в клубах белопенных, и резво взрезала волны ладья.

Но тут, не успел я приземлить кружку на стол, как вижу, Гражданин подымается и прет, шатаясь, к дверям, сопя, раздувшись как от водянки, и изрыгает на того по-ирландски проклятие Кромвеля и большую анафему и все трехэтажные приветствия, плюется кругом как бешеный, а малыш Олф и Джо на нем повисли пиявками, пробуют удержать.

— Пустите меня,— ревет.

И я не я буду, он-таки дополз до дверей, они его с боков держат, а он вдруг как заорет во всю глотку:

— Тройное ура Израилю!

Arrah, сиди уж ты, Христа ради, на тихой стороне жопы, не делай из себя посмещище всему городу. Ей-ей, всегда найдется кретин, который из-за куриного дерьма готов лезть в пузырь. Загадят тебе всю лавочку, пива пить не захочешь.

А там у дверей уж все оборванцы и потаскухи с целого Дублина, Мартин дергает кучера, погоняй, Гражданин все орет, Джо с Олфом унимают его, а тот уже из кэба опять понес свою лекцию про евреев, зеваки его подзуживают, толкай речугу, Джек Пауэр тянет за рукав, чтобы язык придержал, один из ротозеев, кривой, на глазу повязка, горланит «Если б вдруг на луну влез жид», а какая-то шлюха вопит:

— Эй, кавалер! У тебя ширинка расстегнута! Кавалер!

А тот вещает из кэба:

— Мендельсон был евреем и Карл Маркс и Меркаданте и Спиноза. Спаситель был еврей и отец его был еврей. Ваш же Бог.

— У него не было отца,— Мартин говорит.— Все, хватит, поехали.

— Чей Бог? — Гражданин спрашивает.

— Ну так дядюшка его был еврей,— тот свое.— Ваш Бог был еврей. Христос был еврей, как я.

Гражданин при этих словах заныривает обратно в бар.

— Клянусь богом,— рычит,— я этому жидку вышибу мозги за то, что треплет святое имя. Клянусь богом, я ему устрою распятие. Где там была эта жестянка из-под печенья.

— Стой! Стой! — кричит Джо.

Широкое, представительное общество*, где были тысячи друзей и знакомых из Дублина и окрестностей, собралось, чтобы проститься с Надьяшагошем урамом Липоти Вирагом[38], бывшим сотрудником гг. Александр Том и К°, печатников Его Величества, по случаю отъезда его в дальний край, в Сажарминчборьюгуляш-Дугулаш[39] (Долина Журчащих Вод). Прощальная церемония, проходившая с большим оживлением, была отмечена теплотой и сердечностью. Свиток древнего ирландского пергамента, украшенный миниатюрами работы ирландских мастеров, был преподнесен именитому феноменологу от лица значительной части собравшихся, купно также и с другим даром, серебряным ларцом, искусные украшения которого, выполненные в стиле древних кельтских орнаментов, делают высшую честь создателям этого шедевра, гг. Джекоб agus[40] Джекоб. Отъезжавшего гостя приветствовали дружной овацией, и многие из собравшихся не могли сдержать слез, когда оркестр из наших лучших волынщиков заиграл знакомое и родное «Вернись в Эрин», за исполнением чего сразу последовал Ракоци-марш. Костры, а также бочки с дегтем были зажжены в честь события повсюду вдоль линии побережья всех четырех морей, на вершинах холма Хоут, горы Трирок и горы Шугарлоф, на мысу Брэй-Хед, на горах Морн, Галти и Окс, на пиках Донегола и Сперрина, на горах Нэгл и Богра, на холмах Коннемары, на горах Макгилликадди-Рикс, на горах Оти, горе Берна и горе Блум. Под приветственные клики, сотрясшие, казалось, сам свод небес и вызвавшие ответный хор возгласов со стороны многочисленных единомышленников, усеявших отдаленные холмы Кембрии и Каледонии, исполинский прогулочный корабль медленно отошел от пристани, и вслед ему полетели дары флоры, прощальные подношения представительниц прекрасного пола, собравшихся на берегу в большом числе. Меж тем как судно двигалось по реке в сопровождении целой флотилии барж, ему салютовали, приспустив флаги, Портовое управление и Таможня, примеру которых вскоре последовали электростанция на Голубятне и маяк Пулбег. Visszontlátásra, kedvés barátom! Visszontlátásra![41] Он уехал, похитив наши сердца.

Ей-ей, его сам черт не остановил бы, пока он не заграбастал эту треклятую жестянку и назад с ней, малыш Олф сзади виснет на нем, он орет как свинья резаная, спектакль почище чем в Королевском театре.

— А ну, где он, сейчас прикончу!

Нед и Дж. Дж. покатываются от хохота.

— Потеха,— говорю.— Дайте-ка я поспею хоть к занавесу.

Но тут, на счастье, кучер развернул, наконец, свою колымагу и давай нахлестывать.

— Эй-эй, Гражданин,— говорит Джо,— постой.

Куда там, он руку уже заносит, и со всего размаху — шарах! Спасибо, что ему солнце било в глаза, а то бы наповал уложил. Засветил так примерно до графства Лонгфорд. Кобыла со страху рванула, паршивый кабысдох кинулся за кэбом как бешеный, народ кругом хохочет, вопит, а треклятая жестянка прыгает с грохотом по мостовой.

Катастрофа была мгновенной и ужасающей* по своим последствиям. Обсерватория в Дансинке зарегистрировала общим счетом одиннадцать толчков, каждый из них силой в пять баллов по шкале Меркалли, и сейсмических потрясений подобной силы не было отмечено на нашем острове с 1534 года, даты восстания Шелкового Томаса. По всей видимости, эпицентр находился в той части столицы, которая охватывает квартал Инн-куэй и приход св. Мичена, за-

[38] Ваше высочество милостивый государь Леопольд Цветок *(венг.)*.

[39] Стотридцатьтелятпастух-Остановка *(венг.)*.

[40] Сделанный *(лат.)*.

[41] До свиданья, дорогой друг! До свиданья! *(венг.)*

нимая площадь сорок один акр, два руда и один квадратный перч. Роскошные резиденции, расположенные в окрестности Дворца Правосудия, все были разрушены, а сам благородный чертог, где в момент катастрофы происходили важные юридические дебаты, превратился буквально в груду развалин, под коими, как можно опасаться, все находившиеся в здании оказались погребены заживо. Как явствует из свидетельств очевидцев, сейсмические волны сопровождались также сильнейшими атмосферными возмущениями, носившими характер циклона. Головной убор, принадлежавший, как было позднее установлено, достопочтенному секретарю королевского и мирового суда мистеру Джорджу Фотреллу, а также шелковый зонтик с золотой рукоятью, на которой нанесены были инициалы, герб и номер дома высокоученого и глубокоуважаемого сэра Фредерика Фолкинера, главного судьи Дублина и председателя квартальных сессий, были обнаружены поисковыми отрядами в отдаленных пунктах нашего острова, а именно: первый из названных предметов — на третьей базальтовой колонне Проспекта Гигантов, второй же — погребенным на глубине одного фута и трех дюймов на прибрежной песчаной полосе бухты Хоулопен, у древних скал мыса Кинсейл. По свидетельствам других очевидцев, одновременно можно было наблюдать, как неизвестное тело необычайно крупных размеров, раскаленное добела, с невероятною скоростью пронеслось в атмосфере, описав сложную траекторию, пролегавшую в направлении запад-юго-запад. Выражения соболезнования и сочувствия поступали ежечасно со всех концов мира, и его святейшество папа милостиво и благосклонно повелел, дабы во всех кафедральных соборах всех епархий, находящихся в юрисдикции Святого Престола, была бы единовременно совершена служителями особая missa pro defunctis[42] в поминовение душ верных сынов церкви, ушедших от нас столь неожиданным образом. Спасательные работы, расчистка руин, удаление человеческих останков и проч. доверены фирме Майкл Мид и Сын, Большая Брансвик-стрит, 159, и фирме Т. и К. Мартин, Норс-Волл, 77, 78, 79 и 80, в помощь которым отряжены солдаты и офицеры полка легких пехотинцев герцога Корнуоллского под общим командованием Его королевского высочества, контр-адмирала высокочтимого сэра Геркулеса Ганнибала Хабеаса Корпуса Андерсона, К.О.П., К.О.С.П., Р.О.Х., Т.С., К.О.Б., Ч.П., М.С., Б.М., К.О.З.Б.С., П.Е.Д., М.Л.О., М.Б.И Ж., Б.П., Д.М., П.Б.О., П.Д.К.Т.Д, П.Д.К.И.У., П.Д.К К.И.В. и П.Д.К.К.И.Х.[43].

Такого вы отродясь не видали и не увидите. Ей-ей, если бы этот лотерейный билет выпал ему по кумполу, уж он бы запомнил золотой кубок, по гроб жизни запомнил, но только, убей бог, Гражданина упекли бы тогда за оскорбление действием, а Джо — за соучастие и подстрекательство. Кучер спас ему жизнь тем, что понесся вскачь, это истинный факт, как то, что Моисея бог сотворил. Скажете, нет? Убей бог, спас. И вдогонку, как из ушата, густая ругань.

— Угробил я его или как? — спрашивает.

И как заорет своему вшивому псу:

— Ату его, ату, Гарри! Ату, милок!

И что напоследок видим, это кэб заворачивает за угол, он там со своей овечьей башкой все разглагольствует да машет руками, а сукин сын несется вдогонку во всю прыть, уши назад, готов разодрать

---

[42] Заупокойная месса *(лат.)*.

[43] Кавалер Ордена Подвязки, Кавалер Ордена Св Патрика, Рыцарь Ордена Храмовников, Тайный Советник, Кавалер Ордена Бани, Член Парламента, Мировой Судья, Бакалавр Медицины, Кавалер Ордена за Безупречную Службу, Педераст, Мастер Лисьей Охоты, Ментор Братства Ирландских Журналистов (или Моя Благородная Ирландская Жопа). Бакалавр Права, Доктор Музыки, Попечитель Благотворительного Общества, Почетный Доктор Колледжа Тринити, Дублин. Почетный Доктор Королевского Ирландского Университета, Почетный Доктор Королевского Колледжа Ирландских Врачей и Почетный Доктор Королевского Колледжа Ирландских Хирургов.

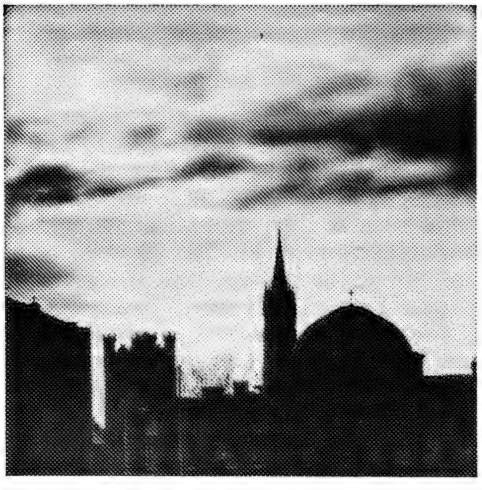
его на кусочки. Сто на пять! Но тут уж он заплатил за свое сполна, могу побожиться.

И се, низошло сияние велие на них*, и узрели они колесницу, и Он стоял в той колеснице и возносился на небо. И узрели они Его в колеснице, облаченного в сияние славы, одежды же его как солнце, прекрасного как луна и грозного, и в трепете не дерзали поднять глаза на него. И се, глас с небес, глаголящий: *Илия! Илия!* И Он отвечал воплем великим: *Авва! Адонаи!* И узрели они Его, даже и самого Его, бен Блума Илию, посреди сонмов ангельских, возносящегося к сиянию славы под углом сорок пять градусов над пивной Донохуа на Малой Грин-стрит, как ком навоза с лопаты.

(Продолжение следует)

Комментарии

XII. Циклоп



Здание суда и церковь св. Георгия в Дублине.

Это самый политически заостренный эпизод романа. Мишенью Джойса становится ирландский национализм, которым на рубеже веков и в первое десятилетие XX в. были заражены определенные слои интеллигенции, в частности близкие к Ирландскому Возрождению. Джойс воспринимал панирландизм как одну из форм ненавистного ему шовинизма, а потому обратил острие своей сатиры против собирательной фигуры Гражданина, знатока, почитателя и хранителя исконных ирландских традиций и обычаев. Прототипом Гражданина послужил Майкл Кьюсак (1847—1907), создавший в 1884 г. Гэльскую спортивную ассоциацию, ратовавший за возрождение национального духа через приобщение к национальным видам спорта.

Хотя основа размышлений и пародий Джойса сугубо ирландская (фении, Ирландское Возрождение, в целом национальная история, литература, в частности ирландский героический эпос, предания, песни, баллады и т. д.), его сатира универсальна и направлена против любых проявлений национализма, шовинизма, догматизма. Гражданин, которому по гомеровской схеме соответствует одноглазый циклоп Полифем,— это псевдогерой со всеми полагающимися такой фигуре и такому явлению атрибутами; речь Гражданина — это набор клишированных фраз, штампов, общих мест.

Техника эпизода — гигантизм. Монументально все: фигура Гражданина, его речения, его деяния, даже его собака. Монументален и стиль: фразы бесконечны, поток сравнений неостановим, изобретательность в подборе метафор подавляет. Если Джойс обращается к истории Ирландии, то, чтобы прокомментировать соответствующий отрывок, пришлось бы переписать целый биографический справочник. Если он пишет о религии, то перед читателем без преувеличения «святцы». Если Джойс начинает выдумывать «говорящие» фамилии, возникает ощущение, что он не в состоянии остановиться.

Это же относится в равной мере и к пародированию: в тексте тридцать три вставки, в которых пародируются различные литературные стили, жанры (рыцарский, героический эпос, романтический и псевдоромантический стили, древнегреческие легенды, кельтские предания, спиритические сеансы, деловая, коммерческая документация, сентиментально-сенсационный репортаж, научные статьи и т. д.). Читатель мгновенно узнает эти пародии по их стилистической окрашенности. Поэтому комментируются лишь те пародии, для понимания которых необходимо знать предмет пародирования.

Через этот монументализм читатель должен «продраться», лишь тогда он ощутит его как художественный прием.

Комический эффект возникает не только из-за этого постоянного нарастания информационной лавины, но и из-за того, что в нее Джойс вставляет «неожиданные» в данном контексте детали и фигуры: так среди ирландских исторических деятелей мелькают Данте, Клеопатра, Цезарь, Магомет, Адам и Ева, Мальчик-с-Пальчик, наз-

Дж. Джойс с сыном Джорджо.

вания шлягеров, популярных опер и всяческой другой дребедени, которой забито сознание усредненного человека. Среди ирландских святых оказываются персонажи романа, например, святая Мэрион Гибралтарская, а также святой Аноним и святой Псевдоним.

На фоне этой безудержной пародийно-комической стихии особенно пронзительно звучат простые мысли Блума о любви, сострадании, человеческом достоинстве. Блум, еврей, представитель гонимой, преследуемой нации, становится идейным противником Гражданина-Циклопа, ослепленного ненавистью ко всему неирландскому. На философском уровне противопоставление Гражданина и Блума можно расшифровать следующим образом: великану, колоссу, «мраморному человеку» противостоит человек. Существенно, что уже в начале XX столетия Джойс предвидел опасность гигантизма не только для политики, но и для сознания обычных людей. Он же предсказал издержки такой политики и такого рода мышления при тоталитарных режимах.

Словесная стихия эпизода кажется бесформенной лишь на первый взгляд. На самом деле здесь все организовано, взвешено и продумано. Как и в предыдущих эпизодах, текст насыщен гомеровскими аллюзиями. Полифем — одноглазый гигант, а потому здесь немало намеков на «одноглазие» (одноглазый адмирал Нельсон, налитый кровью один глаз собаки Гражданина и т. д.). Одиссей спасся от Полифема, скрыв свое настоящее имя. На последних страницах эпизода, формально соответствующих «спасению» Одиссея-Блума, также ни разу не упоминается имя Блума: он безымянен, он никто. Наверное, не случайно и само количество пародийных вставок — их тридцать три, что заставляет вспомнить возраст Христа, с которым, особенно в конце эпизода, сопоставляется Блум. Правда, Христос не единственный мифологический аналог Блума: в сцене своего комического «вознесения» он превращается в Илью-пророка, а также в Икара.

В заключение можно сказать, что местом действия эпизода стал бар Барни Кирнана, излюбленное место встреч дублинцев на рубеже веков. У владельца этого заведения было забавное хобби: он собирал предметы, имеющие хотя бы какое-нибудь отношение к казни: наручники, револьверы, веревки для повешения и т. д. Все эти штуки он развешивал по стенам, никогда не смахивал с них пыль, убежденный, что атмосфера запустения придает особый дух его бару.

Время действия — 5 часов дня. Орган, который символически представляет текст,— мышцы. Видимо, мышцы — это и есть в первую очередь пародии, которые приводят в движение немудрящий сюжет эпизода. Ведь если мысленно изъять все пародии из текста, то эпизод станет коротким, а стиль простым и безыскусным: дублинцы, собравшиеся в баре пропустить стаканчик, судачат, обсуждают последние новости, сплетничают. На пародийном уровне содержание по сути своей остается тем же. Разница, однако, в стилистическо-ритмическом оформлении и подаче содержания.

Как пали сильные! — ср. плач Давида о Сауле и его сыне Ионафане: «Краса твоя, о, Израиль, поражена на высотах твоих!» (Вторая книга Царств, 1, 19).

В стране прекрасной Инисфайл... — пародия на псевдоромантический стиль, бытовавший в ирландской поэзии и прозаических переложениях ирландского фольклора (саг, легенд, преданий и т. д.) в XIX в. Здесь остроумно обыгрывается стиль известного ирландского поэта-романтика, видного знатока ирландского фольклора, плодовитого переводчика Джеймса Кларенса Мэнгена (1803 — 1849). Весь пассаж — это пародийное переложение стихотворения Мэнгена «Путь Олдфрида». Комический эффект возникает из-за того, что возвышенное в стихотворении Мэнгена подано здесь в низком ключе: на земле, где в XI в. датский миссионер Мичен (впоследствии канонизированный) основал церковь, теперь находится питейное заведение Барни Кирнана; «роскошный дворец» — всего лишь дублинский рынок, а О'Коннелл Фицсаймон, хотя и носит такую звучную ирландскую фамилию, отнюдь не герой, но директор этого рынка. Для понимания пародии полезно знать, что деревья и рыба в кельт-

Эзра Паунд, Джон Куинн, Форд Мэдокс Форд, Джеймс Джойс.

ской мифологии часто выступают как символы мудрости; Эблана или Элбана, место в древней Ирландии, которое упоминается у Птолемея, и есть сам Дублин, а Слив-марги — гора в 60 милях от Дублина. Арма — религиозный и интеллектуальный центр древней Ирландии.

И туда же устремляются бесчисленные стада племенных овец... — пародия на стиль древних ирландских саг и хроник с характерными для их поэтики множественными повторами и перечислениями.

Кир — один из незаконнорожденных сыновей полулегендарной королевы Маб. Потомки Кира — жители графства Керри, земли которого, однако, никогда не были плодородными.

Гарриоун — пригород Лимерика, жители которого отличались жестоким и буйным нравом. «Гарриоун» также название бравурной застольной ирландской песни.

Рори — прозвище ирландских повстанцев во время борьбы за земельную реформу в 80-е гг. XIX в.

Войны за границей — намек на русско-японскую войну (1904 — 1905), которая иногда воспринималась на Западе как стремление России к господству.

Фигура, сидевшая на гигантском валуне... — пародия на ирландский героический эпос.

...в которых слеза и улыбка вечно оспаривали первенство... — строка из стихотворения Томаса Мура «Эрин, слеза и улыбка в твоих глазах» («Ирландские мелодии»).

Старуха с Принс-стрит — ироническое название «Фрименс джорнэл», официального органа ирландских националистов.

Маунтджой — дублинская тюрьма.

Теренций О'Райен, вняв слову его... — пародия на стиль легенд и мифов Древней Греции, а также на стиль средневековых легенд. Фамилия его преподобия Теренса О'Райена ассоциируется с легендарным О'Райеном, известным своей щедростью и добротой; О'Райена посетил сам св. Патрик, пообещавший ему место среди созвездий на небе.

Во тьме ощущалось, как вибрировали руки духа... — пародия на спиритический сеанс.

В темных краях обитают они, мстительные рыцари бритвы — пародия на средневековые предания.

Страсть господствует и в смерти... — строка из Письма I «Опытов о морали» Александра Попа (1688—1744).

Знаменитый ученый, герр профессор... — пародия на стиль статей в научно-популярных медицинских журналах.

Братья Ширс — Генри (1755 — 1798), Джон (1766 — 1798) — участники восстания 1798 г., выданные осведомителем; на казнь шли, взявшись за руки.

...невдалеке тут на Арбор-хилл... — на Арбор-хилл находилась тюрьма, в которой, как считают, Вулф Тон покончил с собой.

Сара Каррэн (ум. в 1808 г.) тайно обвенчалась с Робертом Эмметом. Перед тем как отправиться в изгнание, Эммет, несмотря на грозившую ему опасность, захотел проститься с Сарой и был схвачен.

Любимые друзья бок о бок с нами, заклятые враги — лицом к лицу — строка из стихотворения Томаса Мура «О, есть ли такой невольник» («Ирландские мелодии»).

Последнее прощание было невыразимо трогательным — пародия на стиль газетного сенсационного рассказа, который в свою очередь пародирует рассказ Вашингтона Ирвинга «Разбитое сердце». Героями пародии у Джойса являются Эммет и его невеста.

...великолепное исполнение той бесподобной мелодии, которую уроднила нам с колыбели рыдающая муза Сперанцы — Сперанца — псевдоним Джейн Франчески Элджи, леди Уайльд (1826 — 1896), члена общественно-литературной организации «Молодая Ирландия» (1848), матери Оскара Уайльда. Определение «рыдающая муза» никак не применимо к творчеству леди Уайльд, автора зажигательных и националистических по духу стихотворений.

В ночь перед тем, когда вздернули Ларри — знаменитая народная ирландская баллада.

...дата рождения святого покровителя Ирландии... — не только день рождения, но также место и год рождения св. Патрика неизвестны. «Комическое» решение проблемы с датой рождения св. Патрика предложил Сэмюэл Левер в стихотворении «Рождение св. Патрика»: он сложил цифры 8 и 9 и получил 17; 17 марта и стало национальным праздником Ирландии.

Каталани — Анжелика Каталани (1779 — 1849) — итальянская певица, обладательница удивительного сопрано, которое бывает лишь у мальчиков, подвергнутых в детстве кастрации.

...со времен революции Риенци... — Кола ди Риенцо (1313 — 1354) — вождь антифеодального восстания в Риме (1347 г.) и глава Римской республики.

Шейла — еще одно поэтически-аллегорическое название Ирландии. Имя невесты Роберта Эммета было, однако, не Шейла, а Сара.

...выпускник Оксфордского университета... — Сара Каррэн вышла замуж в 1806 г., через три года после казни Роберта Эммета, за племянника лорда Рокингема, капитана Генри Стержена (1781 — 1814), который, однако, закончил не Оксфорд, а Королевскую военную академию.

Ирландия трезва — Ирландия свободна — этот лозунг был изобретен ирландским журналистом Робертом Уилсоном (1820 — 1875), автором многих юмористических и сатирических стихотворений, писавшим под псевдонимом Барри Маглоун.

Оун (Оуэн) Гарри — полулегендарный король Лейнстера, современник и друг Финна Мак-Кула (III в.).

Энтони Рафтри (1784 — 1834) — слепой ирландский поэт, известен как «последний из бардов». Его стихи высоко ценились деятелями Ирландского Возрождения.

Донол Макконсидайн — гэльский поэт, живший в графстве Клэр, видимо, в середине XIX в.

Проклятья глухие/Я шлю судорожно... — пародия на попытки деятелей Ирландского Возрождения, пишущих по-английски, освоить забытую метрику ирландской бардической поэзии.

Иопад длинновласый — ср. Вергилий, «Энеида», Кн. I: «Золоченую взявши кифару,/Тут Иопад заиграл...» (перев. С. А. Ошерова).

Куд куд куд-куда... — пародия на стиль детских книжек.

Мистер Четвер-Ноги (Тамошант, консерватор) — пародия на парламентские дебаты.

Митчелстаунская телеграмма — в сентябре 1887 г. соратник Парнелла Джон Диллон (1851 — 1927) пытался произнести речь в Митчелстауне (графство Корк). Полиция открыла стрельбу, было убито три человека. Участники митинга послали телеграмму протеста в парламент. С тех пор эта телеграмма стала символом борьбы за конституционные права.

Вот человек, который возродил ирландский спорт... вырвавший из тюрьмы Джеймса Стивенса — речь идет о Майкле Кьюсаке, который был, по некоторым данным, фением; однако помогал ли он при побеге Стивенсу, точно неизвестно.

Да будет нация опять — название песни ирландского поэта Томаса Осборна Дейвиса (1814 — 1845), фактически ставшей национальным гимном.

В старинной зале Брайена О'Кирнона... — пародия на стиль рекламных объявлений в газетах.

Сын предателя — речь идет об Уильяме Кео, одном из защитников прав католиков в 1850 г. Однако, вступив в сговор с властями, Кео предал своих соратников. Его фамилия стала символом предательства.

Правила Куинсбери — маркиз Куинсбери (1844 — 1900) в 1867 г. настоял на проведении боксерских состязаний в перчатках.

То был памятный и жестокий бой... — пародия на газетный спортивный репортаж.

...будет главной и ярчайшей звездой... — ср. Шекспир, «Конец — делу венец», акт I, сц. 1.

Гордость скалистой Горы Кальпы, дочь Твиди... — пародия на стилизации средневековых преданий.

...у Стаббса — имеется в виду газета «Дейли пейпер», издаваемая Стаббсом.

Джимми Джонсон (1870 — 1900) — священник пресвитерианской церкви, автор популярных нравоучительных книжек, прозванный «апостолом благочестия».

И был день шестнадцатый... — пародия на «библейские» зачины ирландских легенд.

...отворачиваются от фактов и вспомните прием Нельсона, глядеть в трубу слепым глазом — эта история рассказана у Роберта Саути в «Жизни Нельсона» (1813). Во время атаки датского флота при Копенгагене 2 апреля 1801 г. Нельсон отказался подчиниться приказу об отступлении. Он якобы сказал: «У меня лишь один глаз, и я иногда могу быть слепым. Я не вижу сигнала». Его «непослушание» принесло ему очередную победу.

Сколь многие цветы ничей не узрит взор — строка из элегии «Сельское кладбище» Томаса Грея (1716 — 1771).

Презирайте англичан! Коварный Альбион! — фраза, которую иногда приписывают Наполеону, отправляющемуся в изгнание на остров Св. Елены.

Гиральд де Барри (ок. 1146 — ок. 1220) — шотландский проповедник, автор книг по истории и географии Ирландии.

...на дивных холмах Эйре, О! — строка из песни ирландского поэта Донаха Макконмарри (1738—1814?). Поэзию Макконмарри переводил на английский язык Джеймс Кларенс Мэнген.

Сливки высшего общества... — пародия на светскую хронику в газетах.

Трое сыновей Милезия — полулегендарные завоеватели Испании. По преданию, на их флаге были три короны на золотом фоне. Милезий считается родоначальником ирландских королевских династий и покровителем поэтов.

Молли Магуайр — название ирландских террористов, восходящее к событиям 1641 г., когда повстанцы, переодевшись в женское платье, жгли поместья и совершали нападения. Магуайры активно выступали и в XIX в.

...старый бандит сэр Джон Бересфорд... — видимо, Гражданин путает двух Бересфордов: ирландского адмирала Джона Бересфорда (ок. 1768 — 1844), которого нет оснований называть «бандитом», и комиссара Ирландии Джона Бересфорда (1738 — 1805), который был фактическим королем Ирландии, занимал проанглийскую позицию, отличался крутым нравом, был нетерпим к ирландским повстанцам и революционерам.

Веруют во кнута-отца... — пародия на «Символ веры».

...великая Ирландия за океаном — так называли Соединенные Штаты из-за массовой эмиграции в XIX в. ирландцев в эту страну.

Грануйл — ирландское имя Грейс О'Мэлли (ок. 1530 — 1600), которая в течение сорока лет помогала повстанцам скрываться от властей. Далее перечисляются различные эпизоды ирландской истории, в основном связанные с борьбой ирландцев за самоопределение и их многочисленными поражениями.

Древняя и бесценная, покрытая хитроумной вышивкой... — пародия на стиль газетных «новостей культурной жизни».

И под звуки освященного колокольчика... — пародия на ритуал освящения дома.

Широкое, представительное общество... — пародия на стиль газетных статей, освещающих визиты коронованных особ, государственных деятелей.

Катастрофа была мгновенной и ужасающей... — пародия на стиль газетных сообщений о катастрофах, землетрясениях и других бедствиях.

И се, низошло сияние велие на них... — пародия-контаминация библейских текстов (ср. Четвертая книга Царств, 2, 11 — 12, Евангелие от Матфея, 17, 1 — 5, Книга Песни Песней Соломона, 6, 10, Евангелие от Марка, 14, 36.).

Е. ГЕНИЕВА

◆

К нашим иллюстрациям

Искусство опускать подробности

К работе над оформлением книг Матисс обратился в 1930-е годы, будучи уже всемирно известным художником-станковистом. Созданное мастером в области книжного искусства обеспечило ему одно из первых мест среди художников книги.

В статье «Как я делал свои книги» Матисс говорит, что, хотя все его книги выглядят по-разному, «они всегда были сделаны по следующим принципам:

1. Зависимость от характера произведения; 2. Композиция, обусловленная заданными элементами, так же как и целями декоративности: черная, белая или другого цвета; род гравюры, характер печати. Эти элементы определяются в процессе работы, в поисках необходимой для данной книги гармонии. Они никогда не устанавливаются до начала работы, так что можно действовать свободно, руководствуясь вдохновением и исходя из практики... Я не вижу никакого различия между созданием книги и созданием картины; переходя все время от простого к сложному, я всегда опять готов вернуться к простому. Работая сначала с двумя элементами, я, если нужно, добавляю третий, объединяя таким образом два первоначальных элемента, и обогащаю их — их «музыкальную», я бы сказал,— гармонию».

Как правило, Матисс предпочитал оформлять и иллюстрировать книги близких ему по духу поэтов. Это давало возможность импровизировать на тему зримой красоты мира, столь близкую художнику. Он подолгу вживался в текст, делал много эскизов, вариантов. В случае с «Улиссом» все было иначе. Матисс не любил иллюстрировать прозу — в ней художнику было сложнее уйти от сюжета, а он не любил себя стеснять никакими рамками. Однако на сей раз перед ним было прозаическое произведение, с содержанием которого Матисс не был даже знаком. Арагон писал: «Самая мысль, что Матисс мог иллюстрировать подобную книгу, такую от него далекую, такую на него непохожую, мне всегда казалась странной...»

В самом конце 1933 года американский издатель Дж. Мейси предложил художнику проиллюстрировать роман Дж. Джойса «Улисс». Уже на следующий день Матисс сообщил издателю, что просмотрел французский перевод романа и берется сделать к нему иллюстрации. В своей трактовке «Улисса» художник опирался на образы Гомера и иллюстрировал скорее шесть эпизодов «Одиссеи» (Калипсо, Эол, Полифем, Навзикая, Цирцея, Итака), чем роман Джойса. Дороти Бюсси, жена художника Симона Бюсси, старого друга Матисса, указала на связь поэмы Гомера с романом Джойса, которую, конечно же, Матисс не мог уловить при беглом просмотре текста. В разговорах с Джойсом, с которым Матисс был знаком, он обсудил характер иллюстраций. Вначале Джойс настаивал на отражении в иллюстрациях ирландских реалий и потому советовал Матиссу познакомиться с ирландскими газетами, журналами, альманахами. Однако Матисс все же отдал предпочтение античному аспекту «Улисса», считая, что таким образом он предоставляет читателю большую свободу интерпретации текста.

Роман Дж. Джойса «Улисс» с введением Стюарта Гилберта, иллюстрациями Анри Матисса и художественным оформлением Дж. Мейси (макет, переплет, титульный и шмуцтитульный листы, шрифты, украшения страниц) вышел в Нью-Йорке в 1935 году тиражом 1500 нумерованных и подписанных художником экземпляров, отпечатанных для членов нью-йоркского клуба библиофилов (экземпляр № 207 в 1974 году был подарен секретарем Матисса Лидией Николаевной Делекторской Государственному Эрмитажу). Формат издания — 235×303 мм, в переплете и футляре. В тиснении по переплету использован офорт Матисса «Навзикая». Это единственная сброшюрованная книга Матисса — обычно они не брошюровались, а вкладывались в обложку или футляр.

Лаконизм и ясность рисунка, кажущаяся легкость и артистизм исполнения — в действительности результат упорной каждодневной работы художника с натуры, плод его наблюдений и размышлений. Матисс считал, что сделанных им иллюстраций недостаточно для романа, и поэтому предложил поместить перед каждым из шести офортов варианты к нему и отпечатать их на желтой и голубой бумаге.

Для иллюстраций к «Улиссу» характерен арабеск линий и сочетание белого и черного. Художник стремится сохранить звучание белого листа бумаги, отмечая органичность для книги игры белого и черного.

Эскиз иллюстрации к эпизоду «Цирцея».

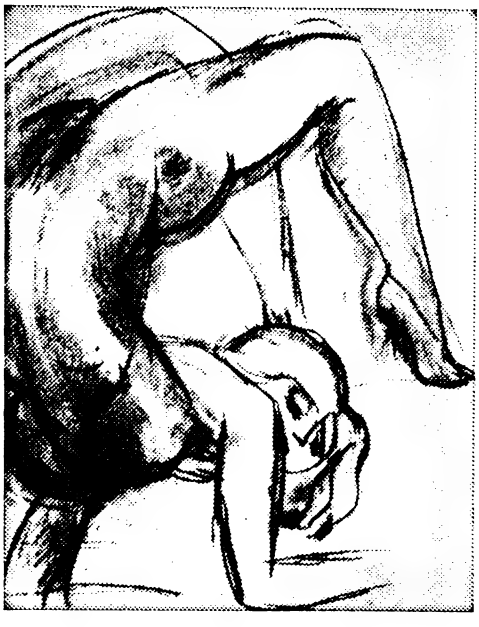


Иллюстрация к эпизоду «Калипсо».

Линия рисунка Матисса ритмична и музыкальна. По словам самого Матисса, «арабеск организуется как музыка, и он имеет свой особенный тембр». Его работа над иллюстрациями носила целенаправленный характер — от подробного рисунка углем к рисунку более лаконичному и выразительному. Разрабатывая тему античных мифов, мастер стремится придать изображению характер знака, упрощая пластические формы и в конечном счете добиваясь внутренней гармонии и композиционного единства, что сближает его с мастерами древнерусской живописи. К книжным иллюстрациям Матисса в высшей степени подходит известное определение рисунка как искусства опускать подробности.

И хотя Арагона удивляло, что Матисс решился иллюстрировать книгу Джойса, здесь нет ничего странного: Матисс интуитивно пытался вернуть современную действительность, в данном случае ирландскую, к гомеровскому мифу, поскольку античность была близка пантеистическому мировоззрению художника.

Во время работы над иллюстрациями к «Улиссу» Матисс жил на юге Франции в окружении многочисленных архитектурно-исторических памятников древней средиземноморской культуры, которая вдохновляла его. Так, например, в листе «Итака» (см. 1-ю стр. обложки) художник изобразил реальный «пейзаж Мон-Барон, где дорога к дому (его нам следует здесь рассматривать как королевский дворец Пе-

нелопы) шла лесом, извиваясь между скал, фаллические формы которых Матисс не без лукавства подчеркнул, намекая, я полагаю, на женихов»[1].

Работая над иллюстрацией к эпизоду «Цирцея», действие которого происходит в публичном доме, Матисс использовал фотографию акробатов. Первоначальный эскиз этой иллюстрации представляет собой изображение причудливо изогнутого тела гимнастки, резко сдвинутого влево и «срезанного» краем листа, что подчеркивает динамику движения. В процессе работы художник «вычищает» все лишнее и оставляет только лейтмотив изогнутого тела.

В листе «Эол» (2-я стр. обложки) ощущение разбушевавшейся стихии и сопротивление ей маленьких гребцов в лодке подчеркивается диагональной композицией. Волнообразные, спиралевидные линии резко противопоставляются прямым линиям — бесплодным усилиям гребцов.

Лист «Полифем» (3-я стр. обложки), иллюстрирующий эпизод ослепления Одиссеем циклопа-великана, дает возможность проследить, как разрабатывается художником тема насилия и боли. В линейном рисунке с легкой штриховкой, подчеркивающей форму, Матисс ограниченными средствами добивается выразительности: фигура циклопа с запрокинутой головой, угловатость линии плеча, увеличенные кисти рук Одиссея с орудием насилия — все это усиливает подлинность происходящего. «Это единственный образ боли во всем творчестве Матисса»,— писал Арагон.

Каким бы ни было содержание эпизодов, к которым обращался Матисс, его конечной целью была гармония: арабеск тонких, почти без нажима линий, формы, полные внутреннего движения, логический ритм композиции.

В книжном искусстве Матисс дал высокие образцы художественной культуры, тонкого понимания внутреннего ритма композиции, строжайшего отбора, даже самоограничения и вместе с тем удивительной широты и глубины ви́дения, характерных для большого мастера. Матисс оставил свою концепцию иллюстрирования книги, которая заключается в том, что иллюстрировать текст — не значит его дополнять. Литераторы, полагал Матисс, не нуждаются в художниках для объяснения того, что они хотят сказать, как и книга не нуждается в дополнении иллюстрацией, буквально следующей за текстом. Художник и писатель должны действовать заодно, не смешиваясь, но параллельно. Рисунок должен быть пластическим эквивалентом текста.

Р. МУСИНА
Н. АНТОНОВ

[1] Л. Арагон—Анри Матисс. М., 1978, ч. 1, с. 136.

Публицистика

РАИСА ОРЛОВА

ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ МЕДЛЕННО

Фрагменты книги

Мы — изгнанники; кто по своей воле, а кто по воле судьбы. В нас причудливо смешаны, несоединимые и неотделимые, тот мир, который мы покинули (или который нас отверг), и мир, который нас принял. Может быть, это особое сочетание не только затуманивает взгляд? Может быть, подчас и помогает разглядеть то, что было невидимо или едва видимо мне, когда я была связана с одним лишь миром?

Наружные двери во многих европейских домах заперты, что непривычно. На двери таблица — список жильцов. Ищешь нужную тебе фамилию, нажимаешь кнопку. По внутреннему телефону спрашивают, кто ты. Раздается жужжание, напоминающее звук электробритвы. Если толкнешь — дверь медленно откроется. Если мгновение пропустишь — снова заперто.

Все двери в эту страну — Германию, в этот мир, открываются передо мной медленно.

Первых немцев, которые встретились в моей жизни, звали Гретель и Ханс. Но я тогда не знала, что они немцы, так же как я не знала, что Сандрильона — француженка, что Пиноккио — итальянец, что сестрица Аленушка и братец Иванушка — русские. В детстве люди делились на добрых и злых, на красивых и уродливых, на умных и глупых, на храбрых и трусливых.

Потом мне, студентке филологического факультета, начала открываться Германия книгами Гёте и Шиллера, Гейне и Томаса Манна; в них смешивались поэзия и правда.

В реальной Германии тогда господствовал фашизм — костры из книг, преследования коммунистов и евреев, призывы к ненависти, к войне, тюрьмы, концлагеря.

Вглядываюсь сегодня в лица моих здешних сверстников и безмолвно спрашиваю: что ты делал в те годы? Был в Сопротивлении? В эмиграции? Кричал «хайль Гитлер»? Или просто жил, не зная, закрывая глаза на торжествующее рядом зло, как я жила в Москве, словно архипелага ГУЛАГ и не существовало?.

Германия напала на Советский Союз. На фронтах сражались, гибли друзья, однокашники, однокурсники. Погиб мой первый муж.

Ненависти к немцам, охватившей тогда многих моих соотечественников, я не испытала. Врагами были фашисты.

Всю войну мне часто снился один и тот же сон: на белый лист ватмана разливается коричневая тушь.

Моя пятилетняя дочка увидев военнопленных немцев, работавших на развалинах Крещатика в Киеве, удивленно сказала:

— Мам, они же как люди...

Первая не метафорическая дверь, которая настежь распахнулась перед нами в Кёльне, была в квартире Генриха Бёлля на Хюльхратерштрассе, 7. Много лет подряд писали сюда и отсюда получали письма...

...Читать «Шум и ярость» Фолкнера — это почти как мчаться в автомобиле на большой скорости, повернув голову назад,— эти слова Сартра запомнила давно. Сейчас обнаружила — именно так я ощущаю себя на Западе. Голова повернута назад, в мою Москву, к моим близким, к той жизни, что там прожита, к той, что сейчас там проживается.

Но заставляю себя и смотреть по сторонам. Мимо летят страны: Австрия, Швейцария, Италия, Франция, Америка. Вчерашние впечатления, подчас ошеломляющие, приносящие радость, исче-

© 1984 by Chalidze Publications

зают едва ли не мгновенно, вытесняемые сегодняшними, а другие оседают, задерживаются, тревожат, возвращаются вопросами.

В Германии живу.

Я побывала во многих квартирах, преимущественно у литераторов, журналистов, преподавателей; полки с пола до потолка, книги не только в кабинетах.

Смотрю, какие русские книги в немецких переводах стоят на этих полках, если хозяева дома не слависты, не вернувшиеся из Москвы корреспонденты. Собрание сочинений Достоевского. Разрозненные тома Толстого. Две-три книги Солженицына (не всегда прочитанные). А между тем в 1980 году в ФРГ издано 65 русских книг. Айтматов, Битов, Владимов, Войнович, Тендряков, Трифонов, Троепольский, Распутин, Рыбаков, Платонов...

Кто читает эти книги?

Спрашиваю едва ли не каждого, с кем сталкиваюсь:

— Что вы читали из русских книг?

В ответ слышу:

— Достоевский... Толстой... Солженицын...

Спрашиваю в Германии у друзей, знакомых и вовсе не знакомых, что они знают о нашей литературе, куда деваются переведенные книги советских писателей. Поначалу у меня создалось впечатление, которым я и поделилась, что представление о нашей литературе здесь ограничено лишь несколькими именами.

Читательские письма поправляют меня.

Из Гамбурга: «Читаю В. Распутина «Живи и помни»...».

Из Кобурга: «К классикам надо добавить Горького и Пастернака».

Из Брауншвейга: читатель цитирует строки Пушкина.

Из Ульцена: учителю географии близки стихи Ахматовой, он (по-русски) цитирует «Реквием».

Музыкантша из Висбаден-Рамбаха послала английский перевод романа Александра Солженицына «В круге первом» своему коллеге, индонезийскому музыканту, который провел десять лет в тюрьме...

Сталинская Россия была отгорожена от мировой культуры глухими стенами. Казалось, то окно, которое еще Петр Первый прорубил в Европу, забито.

В пору оттепели, после смерти Сталина, окна и двери начали открываться. Этот процесс продолжается по сей день. Медленно, с большими трудами, но белые пятна на литературных картах России заполняются.

С опозданием, подчас от двадцати до сорока лет, пришли к русскому читателю книги Альбера Камю, Германа Гессе, Уильяма Фолкнера...

В России, как и во всем мире, читают книги немецкоязычных авторов. За минувшие несколько лет изданы «Новые стихотворения Рильке» — последняя работа замечательного поэта-переводчика Константина Богатырева, сборник пьес Петера Хандке, «Краеведческий музей» Зигфрида Ленца, проза Ингеборг Бахман, избранные произведения Хаймито Додерера, «Человек появляется в эпоху голоцена» Макса Фриша — романы, драмы, стихи...

Люди, жизнь которых столь различна, тем не менее находят в книгах общезначимый опыт: любовь, рождение ребенка, разлука, разочарование, война, тюрьма, творчество, смерть.

И это внушает надежду: значит, можно попытаться понять друг друга. Ведь уже сейчас есть ученые, разрабатывающие системы знаков, которые могли бы служить для общения со внеземными цивилизациями. А на Земле все это еще очень трудно: договориться о толковании одного и того же слова даже и на одном языке. Еще труднее сравнивать, сочетать разные формы исторического опыта.

...Рассказываем об удивительных, избирательно-ненасытных советских читателях. Нам возражает бывшая соотечественница, недавняя эмигрантка.

— О ком вы говорите? Кто в России читает? Женщинам приходится часами стоять в очередях: значит, больше половины населения не может читать. Ну, вы-то жили в Москве, в вашем кругу читали. А никто здесь, наверное, и не слышал о маленьком городке на Волге, который называется Кимры. Там прежде делали хорошие сапоги. Ну кто в Кимрах читает книги?

Мы не успели ответить, как из зала, где проходила встреча, поднялся молодой человек.

— Я из Кимр. Там нет крупных филологов, нет научных институтов, живут шоферы грузовиков. Среди них — моих товарищей — поразительные читатели. Они и приучили меня читать книги.

Мы оглушены неожиданностью и нападения и защиты. Случайность, как бы придуманная беллетристом. А я вспоминаю моих дорогих подруг, старых и молодых: да, они замордованы непосильно тяжким бытом, но все они жили и живут постоянно с книгами — они читают в метро, в электричке, перед сном в постели.

Настоящее зазеркалье — как в книге Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес»! В СССР запрещено, опасно читать самиздатские рукописи, книги, изданные на Западе. Но (отчасти и потому, что запрещено) — читают. На Западе доступно — и далеко не всегда читают. Отчасти и потому, что доступно. Винить некого, да и не надо — человеческая натура. Не огорчаться — не могу.

Те самые книги, которых так страстно ждут в Москве, здесь лежат какими-то сиротливо-оскорбительными кучками, их не покупают. Издавать убыточно.

А «витамины» для сердца и души нужны не меньше, чем для тела.

В первый же месяц после приезда в Германию я стала участницей спора. Осведомленный, талантливый журналист напористо утверждал:

— У вас нет и не может быть никакой культуры, ибо тоталитаризм враждебен культуре, давил и будет давить все живое, выделяющееся, особое...

Я лучше, чем мой собеседник, знаю, как именно это происходит, этот осточертевший механизм разрушения талантов, губительные результаты давления.

Но знаю я и другое. Мы приехали из страны великой культуры, и не мертвой, а живой. Вижу лица ее творцов, известных и вовсе безвестных: писателей, режиссеров, художников, учителей, библиотекарей. Слышу их голоса, бывала в их рабочих кабинетах, в их художественных мастерских, присутствовала на их чтениях. Кое-что знаю об их сомнениях, замыслах, свершениях. И об их отчаянии. Этот удивительный мир — не только в самиздатских, но и в опубликованных книгах, выпущенных фильмах, поставленных спектаклях — известен мало. В том, что он действительно существует, надо убеждать.

Нас разделяют стены предрассудков, пропасти незнания.

Стремлюсь, выбираясь из страха перед чужим, из своих печалей, стремлюсь участвовать в строительстве мостов через пропасти. Хоть бы кирпичик положить в такой мост...

Подходишь к магазину, к больнице, к аэропорту — стеклянные двери услужливо открываются, словно ждали они именно тебя, словно сейчас стоящий за ними швейцар громогласно назовет твое имя. Нет, это просто электроника, и пустой магазин, конечно, мнимость. Хозяева выходят из задней двери. Их вызвал звонок, который звенит, когда раздвигается дверь.

Многие люди, по-моему, перестали замечать, сколь неотъемлема стала автоматизация, сколько раз на дню они пользуются всяческими автоматами, движутся или застывают на улице по световому сигналу. Уже несколько поколений европейцев нажимают кнопки и рычаги в машине, в пылесосе, в электрополотере, в посудомоечной, стиральной и еще скольких машинах!

Наивному пассажиру, впервые подходящему к аэропорту, может казаться, что двери раскрываются сами собой, как в сказках. Но все, что происходит в аэропорту — и бесшумные, скользящие движения дверей,— результат многих усилий.

Двери-то открываются.

И общество, куда меня забросила судьба, называют открытым. По сравнению с советским оно и есть открытое: тут тебе не запретят читать какую-либо книгу, смотреть «не тот» фильм, тут не запретят приезжать и уезжать в любом направлении

Но я о другом. Так ли легко и просто открывается эта жизнь постороннему взгляду? Тем более что взгляд этот искажен и давно отстоявшимися представлениями, которые складывались годами? Думаю, что нет.

С первых дней я воспринимала регламентацию, то, что мне казалось «ритуализацией» жизни в Германии, как нечто чуждое.

Ноябрь 1980 года. Мы только прилетели в Германию. Позвонил по телефону наш американский приятель, пригласил к себе и просил условиться точно о дне встречи — 31 октября 1981 года. Я пожала плечами. Ну как знать, что произойдет через год. Однако встреча состоялась именно 31 октября; в день, назначенный почти за год, мы подъезжали к дому нашего приятеля в штате Коннектикут.

«Термин-календер» — подобные в старину называли «Табель-календарь» — стал занимать все большее место. Такие календари есть и в Москве у многих деловых людей.

...Мы жили, и многие продолжают жить в ожидании Апокалипсиса. Когда время не расчленяется на часы, дни, месяцы. Оно, время, то ли еще не наступило, то ли остановилось.

Между тем ожидание Апокалипсиса совмещается плохо с «Термин-календарем». Наверное, потому так поразил меня американский приятель.

Отрывочные фразы, слышанные в разных домах здесь, в обществе стихийной, а не плановой экономики: «Машину мы купим через полгода... А дом нам удастся построить лишь в 198... году... Сейчас мы можем позволить себе провести отпуск в Италии... Нет-нет, ребенка мы еще пока не можем завести... Да вы посмотрите отдел объявлений о квартирах: в большинстве «квартира сдается только бездетным...»

«В Германии больше не рожают,— безапелляционно заявила одна молодая особа.— Да и женятся-то не очень, предпочитают почти ни к чему не обязывающую систему связей, которые могут длиться и годы. Живут то вместе, то порознь».

Гуляя, неизменно встречаем коляски. Нет, слава Богу, рожают. Да и свадеб немало. Но доля истины в словах нашей собеседницы есть.

Жизнь всячески планируется, и так, чтобы побольше в ней было удовольствий, что естественно.

Но вот если б в календаре юноши значилось: «Пойти 27 октября на свидание с Наташей», я бы усомнилась в истинности его чувства. И не хотела бы, чтобы на месте его подруги оказалась одна из знакомых мне девушек. Пример мой воображаемый, а тенденция реальная.

Конечно же, надо записывать даты намеченных встреч, свои обязательства.

Однако видела я и такие записи: «позвонить матери», «поздравить отца», «навестить родителей». Видела у людей не старых, на память не жалующихся.

Произошло уравнение: рядом с деловыми и бытовыми напоминаниями (необходимыми — повторю — хорошо бы многим моим соотечественникам освоить этот опыт) «заплатить за квартиру», «отнести костюм в чистку», стоит и... «навестить мать»[1].

[1] Когда я писала эту книгу, я совершенно забыла, что в «Новом назначении» А. Бека (читала в рукописи в 1964 г) герой Онисимов, составляя список предотъездных дел — он назначен послом — записывает: «Побыть с А.» — это его единственный сын...

Ведь невольно примеряешь к себе. Хотела бы я, чтобы мои дочери вспоминали обо мне по такой записи? Не желаю этого и моим сверстницам в Европе. Думаю, что здесь ни при чем общественное устройство. Это и есть та область человеческих связей, в которую не должна бы проникать автоматизация, но, к сожалению, проникает. Не без последствий — для родителей и для детей, для дедов и внуков.

Быть может, дело и в том, что здесь всячески охраняют частную жизнь. Здесь не принято, не полагается вмешиваться, задавать вопросы, расспрашивать о личных проблемах. А родители, вероятно, и здесь позволяют себе задавать любые вопросы. И не всегда ощущают, что дети-то незаметно стали взрослыми и надо, смиряя себя, промолчать.

Впрочем, из родительских домов здесь взрослые дети, как правило, уезжают вне зависимости от создавшихся отношений: учиться в другом городе, повидать мир. Но, бывает, и для того, чтобы, уехав из дома, отгородиться хоть расстоянием от излишних вопросов, от непрошеного вмешательства. Чтобы стать самостоятельными.

Так, если посмотреть глазами детей. А если глазами родителей· быть может, им и не хочется непременно следовать за детьми, менять место жительства? Образовалась привычная среда — и дома, и переулки, и деревья, и люди, как же важна такая среда, особенно для старых людей. Ты уже можешь быть на пенсии, но вблизи твои соседи, друзья, бывшие ученики, или бывшие пациенты, или клиенты.

...Моя восьмидесятипятилетняя мать умирала среди родных и друзей — как и жила. До ее последнего дыхания рядом были мы, ее дети с мужьями и женами, внуки и правнуки. Из ее сверстников мало кто остался в живых, но проводить ее в последний путь пришло много людей. И они пришли не ради нас, а ради нее. Она сцепляла наши несколько родственных семей, в сущности, целый клан, обросший друзьями. Сложные, как любые семьи, со своими притяжениями и отталкиваниями, своими не простыми внутренними конфликтами. Мама, почти не верующая, не церковная, щедро наделяла близких и дальних религией любви и братства. В день ее рождения и в годовщину смерти мы собирались у ее могилы, потом вместе ехали домой, долго сидели за общим столом. Быть может, этот островок, эта наша, только наша семейная традиция помогла кому-либо из нас устоять в трудном, порою страшном мире? Мне помогла и помогает.

Такая мать — редкий дар судьбы. Но и нам, матерям обыкновенным, нужны забота, любовь детей. Кажется мне, что это нужно и дочерям, для них самих. Ведь научиться давать для души гораздо «питательнее», чем научиться брать.

Никому я не пожелаю тяжкого советского опыта, когда из-за бесквартирья два-три поколения вынуждены были тесниться в одной квартире, а то и в одной комнате. Вот в таких условиях, тогда, возможно, и от насильственной совместности хотелось подчас находиться на разных материках.

Смотрю на один-два ряда одинакового размера кнопок, которые уже привыкла нажимать. А на скольких дверях у нас было (и еще есть) вереница звонков разной формы и список такой длины, что, бывало, недостаточно переписать в ряд, скажем, пять фамилий; приходилось добавлять: «Ивановым — один длинный, два коротких», «Вардману — два длинных, один короткий...» За таким списком целые романы и драмы совместимости и несовместимости многих семей с одной на всех уборной в конце коридора.

Так безусловно плохо.

Но хорошо ли, когда семью соединяет лишь один раз в год вместе проведенное Рождество, соединяют только открытки и подарки к дням рождения? Так распадается самой природой данная связь поколений. Так становится почти невозможным для старших передавать опыт младшим и еще менее возможно для старших учиться у младших.

Счастлива, что кое-чему успела научиться у своих дочерей, их мужей, их друзей. В частности, тому, чтобы не считать опыт своего поколения единственным и непогрешимым.

Видела и здесь: три поколения одной немецкой семьи хотят жить вместе. Четверть века снимали дом, теперь его купили. Родились внуки. Перестраивают дом таким образом чтобы оставалась полная возможность — когда нужно, когда захочется — отделиться. Не лучшее ли устройство? Далеко не всегда и не всем доступное, но далеко и не все к такому стремятся.

Да, любые связи, в частности и связи семейные, неизбежно ограничивают свободу. Люди выбирают между свободой и связанностью (привязанностью), причастностью и равнодушным отстранением.

А мне все же не отделаться от вопроса: почему одинокие матери и их взрослые дети так часто живут в разных городах?

В Москве слышала: «На Западе это невозможно», «Запад не допустит», «Нет, Запад и пальцем не пошевельнет»...

Здесь я убедилась, что такого единого «Запада» вообще не существует. Даже географически. Чешский изгнанник Павел Когоут говорил: «Я живу теперь в Вене, она на восток от Праги, а не на запад...»

Впрочем, и в Москве «Запад» — понятие условное: это все, что не относится к СССР и к странам восточного блока. Остальное — Япония, например, и Австралия — в таком смысле тоже Запад.

Мифологический «Запад» исчезает при поездках по Европе, при сопоставлениях. Еду из Германии в Италию. В незапамятные времена, читая лекции по зарубежной литературе, я рассказывала студентам об итальянском путешествии Гёте, о том, как он обнаружил в Риме иную душу в себе самом. Эту страницу

его биографии я в молодости любила больше, чем другие. Рассказывала о бегстве Гёте — и понятие «бегство» воспринимала вполне буквально, из порядка в беспорядок.

И теперь, когда я впервые увидела Италию, в глаза бросаются прежде всего внешние различия. После опрятности немецких городов — мусор. Я ведь ко времени той поездки почти год прожила в стране, где капля чая, пролитая на полированный стол, вызывает порой такое волнение, будто начался пожар.

Рассказ о том, как в начале пира в Грузии хозяйка нарочно проливает на белоснежную скатерть красное вино, чтобы гостям было вольготно, вызывал немалое удивление.

После тишины немецких вечеров — разноголосый южный шум, после чинной скуки — веселье.

В Риме никакого «цу» («до»...), как в Германии после 6.30. Вечерами, даже ночью, есть открытые магазины и рестораны, люди гуляют, сидят за столиками, пьют, поют, танцуют.

Радуюсь чужому веселью; мне мила эта шумная, словно и беззаботная улица. Но и быстро устаю. Хочется поскорее уйти в закрытый дом. Немецкие нравы, оказывается, тоже отвечают некоей душевной потребности.

Маленькая римская площадь, современная и старинная. Библиотека Гоголя в городе, который он назвал «родиной моей души», где он писал «Мертвые души».

Солнце, былое имперское римское величие, «memento mori» и «горе побежденным!», муки первых христиан — недалеко от этой площади Колизей, где их бросали на растерзание львам,— из всего этого в причудливом сочетании с гоголевской прошлой русской жизнью возникали Чичиков и Собакевич, коляска, Петрушка, птица-тройка...

Теперь уже ехала в сопровождении Гёте. Понемногу читала «Итальянское путешествие» в подлиннике. Гостиницу в Венеции «Королева Англии», где он жил в 1876 г., мы не нашли. Не «Лондон» ли сегодняшний? — самая близкая к площади Св. Марка.

А кофе мы пили рядом с мемориальной доской «Здесь Петр Чайковский создавал «Четвертую симфонию». Еще не нашла того дома, где прошли счастливые римские сновидения Герцена, ни того, где был написан «Идиот»,— во Флоренции еще не была.

Первую студенческую работу писала о Боккаччо. В те далекие годы я прочитала впервые у Энгельса об эпохе Возрождения, эпохе, «которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страстности и характеру, по многосторонности и учености».

Перед ними, титанами культуры, я преклоняюсь по-прежнему.

Даже чтобы воспринять сотворенную титанами культуру, нужны невероятные усилия, вовсе не всем доступные. А уж создать!

Все больше раскрывается разнообразие мира и старой Европы: богатство, многоголосие, многокрасочность.

«Марбург» — так называется одно из лучших стихотворений Пастернака. Он был студентом в Марбурге в 1912 году. Там к нему пришло жизненно важное решение: он оставил философию. Не стал композитором. Не стал ученым. Стал поэтом Марбургу посвящены и страницы «Охранной грамоты».

В стихотворении город готовился к Троицкой ярмарке. Так получилось, что и мы впервые приехали в Марбург на Троицу. Снова убеждаемся — поэтический ландшафт точен. Марбург действительно «взбежал на гору».

Тут жил Мартин Лютер. Там — братья Гримм.
Когтистые крыши. Деревья. Надгробья...

Мы поднимаемся медленно, на каждом витке дороги вплоть до замка — новая панорама. В Марбурге жила герцогиня Елизавета. Пастернак называл ее Венгерской, здесь ее зовут Тюрингской.

По легенде, она не хотела жить так, как полагалось (и ныне полагается) людям ее среды. Она приняла христианские заповеди буквально, всерьез. Помогала бедным, больным, искалеченным. Делилась хлебом и рубашкой. За что и была отлучена от власти и богатства. А потом, годы спустя, канонизирована. В городе воздвигли церковь святой Елизаветы.

Доехали до Гиссельбергерштрассе — улицы, на которой Пастернак жил 70 лет тому назад. Один из первых же встречных отвечает на наш вопрос:

— Вон дом номер пятнадцать. На нем памятная доска.

Списываю текст:

BORIS LEONIDOVIČ
PASTERNAK
1890-1960
Nobelpreis für Literatur
1958
Student
der Philipps-Universität
zu Marburg
1912
Leb wohl Philosophie
Ochrannaya Gramota 10

Кто автор текста? Кто так уместно вставил цитату из «Охранной грамоты» — «Прощай, философия!»? Кто-то, знавший книги и судьбу поэта. Долго не могу получить ответ. Марбургские слависты рассказали: проект переписывали несколько раз. Значит, не безвестный ценитель Пастернака, как я предположила вначале, а плод коллективного творчества.

На земле оказалось гораздо больше беженцев, эмигрантов, чем я себе представляла. Из разных стран, с разных континентов.

Эмиграция во все времена — несчастье; так мне казалось раньше, так кажется и теперь.

Это потом можно писать — и неутомимо пишут — исследования, скажем, о важном вкладе русских эмигрантов (не всегда достаточно оцененном) в европейское и американское искусство двадцатого века. Но присмотришься ближе к едва ли не любой судьбе, самой что ни на есть благополучной,— натолкнешься на несчастье.

Владимир Набоков, который уехал юношей, стал писателем. Сначала русским, а потом, уже в зрелости, и американским, обрел всемирную славу. И все же как полны тоской по России его американские романы! Тоской, выраженной то русскими именами, артистично обыгранными, то названиями городов и деревень, то просто в английский текст вкраплены русские фразы. Словно не писатель — сам язык горюет по родине... И в стихах (по-русски), которые он писал, мелькала, проклиналась, призывалась страна его детства. «Россия, отвяжись, я тебя умоляю...» — эта строка может служить одним из эпиграфов ко всему творчеству Набокова.

Русский поэт-изгнанник Иосиф Бродский в одном из интервью сказал, что, вероятно, писал бы стихи, подобные тем, которые пишет в Америке, в любом месте, где бы ни стоял его письменный стол. Но сколько обыкновенной тоски по своему Ленинграду и в интервью, и в автобиографической прозе, написанной по-английски, и в стихах о чем-то совсем другом — будь то шотландская королева или венецианские впечатления.

Каждый пытается преодолеть тоску по-своему Назвала писателей, наделенных даром, талантом. Их судьбы исключительны. Но эмигрируют отнюдь не только писатели.

Еще дома я читала романы Ремарка — «Люби ближнего твоего», «Триумфальную арку»; «Транзит» Анны Зегерс. Читала о том, как эмигранты бедствовали, как им было тоскливо и страшно в чужом мире; о том, как в Париже, в Праге, в Нью-Йорке, в Буэнос-Айресе эмигранты спивались, сходили с ума, кончали самоубийством. Читала о том же в книгах русских писателей-эмигрантов.

Спроси я себя тогда: «Знаешь ли ты, что такое эмиграция?» — я бы, наверное, вспомнила про эти книги. Знала, но совсем иным знанием. Не сегодняшним, когда все невольно воспринимаешь и сквозь свой опыт.

Эмигранты «третьей волны» живут в большинстве своем гораздо лучше, чем их предшественники в 20-е годы.

Я не забываю о том, что и мой опыт — тоже исключение. И потому, что мы эмигранты вынужденные, мы уезжать не собирались. И потому, что у нас было много друзей в Германии, в США и других странах. И потому, что в силу особенностей биографии моего мужа, его корневых связей с Германией, перед нами распахнулось столько дверей, что до конца жизни едва ли хватит времени во все войти...

Но так — у очень немногих.

...Молодой человек рассказывает:

— Мои родители бежали из Венгрии после 1956 года, а я родился уже здесь в Германии.

— А что делают ваши родители?

— Они умерли. От тоски по родине.

Сказал щемяще-достоверно.

От тоски никакая исключительность не спасает.

И сегодня в наш дом приходит множество вестей о тяжких эмигрантских судьбах — о венских, итальянских пансионах, немецких лагерях для беженцев, о напрасных поисках работы, об отказах в праве убежища. Конечно, в лефортовских камерах, в лагерях Потьмы хуже. Но и так не сладко.

Среди крайностей: для одних Запада как бы и вовсе не существует. Грубая сила их вытолкнула, они в Париже, Нью-Йорке, Мюнхене, но их жизнь, пусть в воспоминаниях, продолжается в Москве, Киеве, Ленинграде. Не знают и не учат иностранные языки, читают только русские книги, интересуются только русскими делами, встречаются только с земляками. Ничего и знать не хотят о чужих бедах, о чужом горе — только русское горе. И это лучшие, те, кого заботят не только их личные дела, не только их существование. Ведь даже те москвичи, которые погружены в заботы о своих терпящих бедствие соотечественниках, редко представляют себе, что три миллиона погибли в Кампучии, что миллионы людей в Индии, Африке, в нескольких странах Латинской Америки умирают от голода.

Не только от русских эмигрантов зависит — увидеть ли иной мир. Но если они сами не приложат к этому усилий, то двери уже наверняка не откроются.

Между тем некоторые из них ворчат, негодуют, ругательски ругают тот самый Запад, который дает им возможность и жить, и ругать его сколько угодно...

Другая крайность — прошлое отрезается начисто. Чем скорее и решительнее, тем лучше. Овладеть языком так, чтобы и следа русского не осталось: стать американцем, немцем, французом. Такими бывают чаще молодые, но иногда и зрелые люди. Один ученый-гуманитарий (он был в СССР в своей области известен) на Западе наложил на себя запрет: два года не читать ни строчки по-русски. И начал писать по-французски.

— С какой скоростью от вас отдаляется Москва?

Вопрос — как удар. Хотела сразу: «Нисколько не отдаляется». А вопрос-то серьезный. В чем-то и приблизилась к Москве. Не помню, когда так много, так сосредоточенно думала о ней, о своих близких.

Но Москва и отдаляется: забываю то название переулка, то имя приятеля, то дату. Да, конечно, это и возрастное. Но сейчас-то невольно все приписываешь непреодолимости этого расстояния.

На выставке советского искусства в Кёльне — лето 1982 года — спорю с многочисленными противниками («...старо... традиционно... девятнадцатый век...»). Это искусство (его называют

еще «официальным») противопоставляется нонконформистскому разве только потому, что этих художников не исключали из Союза художников, более того — некоторые ездят за границу, и картины их ездят.

Могу ли я, однако, объективно судить о живописи (оставляю в стороне, что я и вовсе не компетентна, но пишут художники не для искусствоведов), когда вижу на картине церковь. Не сокровище нашей церковной архитектуры. Мимо этой московской церкви я сотни раз ходила в Библиотеку иностранной литературы и останавливалась. Особенный синий цвет, даже в дивном Коломенском такого нет. Или пейзажи Замоскворечья — эти картины впервые увидела больше двадцати лет назад и помню «прототипы» этой крыши, этого кривого переулка. А ведь у моих собеседников нет этих ассоциаций, и они естественно судят — живопись как живопись...

Да, меня как охватила ностальгия еще в Москве, когда поездка (не о т ъ е з д) приближалась, так ностальгия и не отпускает, держит цепко. Старое слово. Теперь, наверное, надо называть по-иному.

И относятся к этому по-разному. Вот писателя Александра Зиновьева спросили на лекции, испытывает ли он тоску по России.

— России нет, есть СССР, так что проблема закрыта.

Может, он и эпатирует эту публику, с ним, в книгах такое нередко бывает. Но если это соответствует его мыслям, значит, он и впрямь там ничего не оставил, кроме изображенного им тотального царства уродов, негодяев, мошенников, рабов, выродков.

И дома, и здесь много раз встречалась с поклонниками Зиновьева. Их очень много, разных возрастов. Он бесспорно ответил некой существенной потребности, выразил ее.

Но тут различие. Снова и снова, вспоминая, читая, слушая, говорю: я, видно, жила в другой стране. Там, конечно, были и есть и те, кого изобразил Зиновьев. У него, по законам его жанров, я и не прошу «лучей света в темном царстве». Но мне-то не приснились, не привиделись и не рождены ностальгической аберрацией (жаль, не могу сослаться на те споры о Зиновьеве, которые вела в Москве) люди высокой культуры, мудрости, нравственного величия — они были тогда, есть теперь, они живут, работают вопреки всему.

Неутомимо, страстно сама приближаю к себе Москву, и она приближается книгой, письмом, журнальной статьей. Вот голоса сейчас услышать трудно, телефонная связь так затруднилась.

Нет, не отдаляется. Она — моя Москва — во мне.

Пытаюсь следовать примеру тех эмигрантов, которые стремились и стремятся объединить, связать расколотые жизни, прошлое с настоящим, начала и концы. Пусть и в самом причудливом монтаже, тем усилием сознания и подсознания, что неизбежно связано с болью.

Совершенно по-новому перечитала и «Былое и думы» Герцена. Рада, что первая моя здесь опубликованная небольшая книжечка (написанная в Москве) — «Последний год жизни Герцена». Замечаю многое похожее, что не могла заметить там. Но потом видишь и неизбежные различия.

В США необходимо было побывать в Санта-Монике, в том месте, куда в годы гитлеровщины эмигрировали многие немецкие писатели, художники, музыканты. На берегу Тихого океана, в апельсиновом раю — дом Марты Фейхтвангер.

Дивной красоты вилла. Поразительная библиотека (завещанная университету Южной Калифорнии). По соседству жили Томас и Генрих Манны, Брехт, Шёнберг. Нас встречает подвижная женщина в черном с золотом кимоно. Ей много лет — девяносто один, но старухой ее не назовешь. Водит машину, гуляет ежедневно по берегу океана, без видимого труда достает с полок уникальные тяжеленные немецкие хроники. Показывает книги Томаса Манна и других писателей с дарственными надписями.

Произведения Фейхтвангера, изданные только за последние два года на разных языках, лежат на большом столе. О нем пишут диссертации, монографии. Обращаются к вдове. Она получает по 20—30 писем в день, аккуратно отвечает, помогает, вспоминает.

Мне хотелось бы немного истории, но в музее не узнаешь, стены не выдают своих тайн, да и не спросишь же впервые увиденного человека: «А как вы жили тогда? Был тот же океан, тот же рай, веснами цвели персики и апельсины, а что происходило в это время у вас на родине?!»

Конечно, все малосопоставимо. Многие немецкие эмигранты были бедны, от окружающей среды отчуждены.

Брехту в годы маккартизма пришлось даже отвечать перед комиссией «по расследованию антиамериканской деятельности».

Но им, кто тогда бедствовал, тосковал, им пришлось ждать двенадцать лет — сравнительно недолго...

Для Фейхтвангера эмиграция была, быть может, в самом привлекательном обличье. Впрочем, кто знает, о чем он думал, о чем тосковал, глядя на океан из удивительного этого окна.

Не все немецкие писатели-эмигранты захотели вернуться на родину и после поражения фашизма.

...Пришел иностранец в дом Чуковских в Переделкино. Скольких я там видела, скольких сама приводила! Он прикоснется к жизни хозяина этого необыкновенного дома, к большому отрезку русской и советской культуры, увидит один из живых ее очагов. Но что он может узнать о наших трагедиях давнего и недавнего прошлого? О том, что было, когда погиб муж Лидии Чуковской? О том, как здесь жил Александр Солженицын еще за два дня до ареста?

Надо представить себе, осознать труд-

непереводимость, а то и непереводимость разного опыта.

Ведь все время сравниваешь, то есть пытаешься переводить, и не с одного языка на другой, а один опыт на другой, сопоставляя одну историю с другой. Опыт личный, то, что накопилось в твоей душе за десятилетия. И неизмеримо более долговременный опыт, тот, что накапливался веками в душе народа, к которому принадлежишь.

Пытаться переводить с одного опыта на другой мне приходилось и в Москве. Объяснять поступки и слова наших иностранных друзей москвичам. Поступки некоторых советских литераторов-диссидентов и не-диссидентов иностранным друзьям.

Этим приходилось заниматься и дома, между своими. В шестидесятые годы возникло нравственное, ненасильственное сопротивление, чаще всего называемое диссидентством.

Люди становились и становятся диссидентами, ибо не хотели, не могли терпеть вокруг себя зла, лжи, несправедливости. Так же как не хотели, не могли терпеть зла их далекие и близкие предшественники, становясь оппозиционерами, мятежниками, революционерами.

С того времени как диссидентство возникло, я жила на границе двух групп. Одна — широкая — либеральная интеллигенция, люди, работающие в системе. Другая — узкая, собственно диссиденты, люди из системы выброшенные либо из нее ушедшие. Разумеется, линия раздела весьма условна и подвижна.

Сколько близких мне людей перешло из первой во вторую! Сколько начало переходить, а потом вернулось...

Знаю порядочных людей, которые диссидентами не становились не только потому, что боялись репрессий. Но и потому, что многие хотели продолжать делать свое дело. В чем нуждался данный учитель, врач, писатель, священник. В чем нуждались ученики, больные, читатели, прихожане. В чем нуждалась и нуждается огромная страна.

Диссидентами не становились и потому, что ни за что не хотели уезжать, а печальный опыт показывал: выходишь из системы — тебя отбрасывает, если, к счастью для тебя, не на Восток, в лагерь, то на Запад, в эмиграцию.

Многих отделяли от активных участников движения и усталость, разочарование, неверие:

— Разве что изменишь? Разве эту стену можно прошибить?

Ощущение бесполезности жертв. Не сильнее ли оно подтачивает людей, чем самые жестокие преследования?

Опасное ощущение безнадежности ширилось. Оно подползало и ко мне, разрастаясь порою до отчаяния.

Диссидентами не становились и потому, что не хотели уже принадлежать ни к каким партиям, «стаям», сообществам. Слишком горек был опыт отрицательного коллективизма.

Конечно, диссидентство — не партия. Но и малая группа, да еще под таким давлением, порою диктует необходимость решений, если и не обязательных, то крайне желательных для всех ее членов.

Не организационно, конечно, а нравственно. Может быть, этот особый вид скованности точнее всего назвать корпоративным.

Мы никогда не делили людей на диссидентов и не-диссидентов. Само определение пришло извне, из-за границы. Мне в Москве не довелось слышать, чтобы кто-либо говорил о себе: «диссидент».

Перегородок не было, но судьбы-то складывались по-разному, и нередко возникали споры, столкновения, расхождения.

В январе 1968 года тысяча людей подписали письма протеста против несправедливого судебного процесса над Александром Гинзбургом и Юрием Галансковым. Выберу две подписи из этой тысячи, в тот момент они стояли рядом. Год, поворотный в судьбе страны, оказался поворотным и во многих биографиях.

Подписантами были в ту пору два тридцатилетних филолога, талантливых, несомненно призванных именно к писательству. Оба обладали и неким магнетизмом, привлекавшим к ним людей.

Назову одного — Сергей, другого — Валерий.

Сергей был еще и замечательным преподавателем. На его уроки в школе приезжали со всей Москвы. Было опубликовано несколько его блистательных стихотворных переводов.

Он стал деятельным диссидентом, предъявляя к себе, но и к другим требования максималистские. Участвовал в издании «Хроники» преследований, арестов, обысков (самом опасном деле в те, да и в эти годы), опубликовал в США книгу, с точки зрения цензуры «преступную». Его многократно вызывали на допросы. Было ясно: он у самого порога психушки или тюрьмы. Он эмигрировал. Эмиграция стала для него трагедией.

Валерия прорабатывали, но на работе оставили без всякого покаяния. Несколько лет не публиковали. От диссидентства он отошел. Сегодня он — один из крупнейших специалистов в своей области, один из лучших знатоков истории отечественной поэзии. Выходят его статьи и книги, он читает лекции.

Думаю, что такому, как он, нелегко было промолчать, когда, например, сослали Сахарова. Более того, его молчание какими-то своими не прямыми путями сказывается и в его творчестве. Но все же он — просветитель у себя на родине, пробуждает добрые чувства у своих читателей и почитателей.

Оба по-разному воплощают самые привлекательные черты российской интеллигенции.

Мне показалось закономерным сопоставить их еще и потому, что облик Сергея запечатлел один из лучших наших поэтов, облик Валерия — один из лучших наших художников. Необычайный

«свидетель» — искусство — подтвердил закономерность сопоставления этих людей.

Две судьбы. Какие-то витки обстоятельств, непредвиденные, непостижимые только рационально, определили, при явной общности вначале, такое резкое расхождение потом.

Могли бы они обменяться местами? Не знаю...

Те, кто пошел по дороге Сергея, образовали первый ряд. Загородили собою других. Самопожертвование одних, вероятно, отодвинуло, хотя бы в данной области, границы дозволенного.

Если бы не было тогда (и теперь) той первой линии, удары пришлись бы по тому слою либеральной интеллигенции, к которому принадлежит Валерий. Удары, подобные тем, что уничтожили лучшую часть нашей интеллигенции в 20-е, 30-е, 40-е годы.

Компромисс калечит души. Страшно и стыдно жить с кляпом во рту. Каждый день ставит честного российского интеллигента перед трудно разрешимыми либо вовсе не разрешимыми проблемами.

Снова обращусь к нашему недавнему прошлому.

Полтора десятилетия журнал «Новый мир» выражал дух, чаяния либеральной интеллигенции России. Возник даже термин «новомирское сознание». Я тоже к этому принадлежала, была постоянной читательницей журнала.

Есть в книге А. Солженицына «Бодался теленок с дубом» места, противоречащие и ее основному течению, и большинству его выступлений последних лет,— прямо связанные с «Новым миром», с его главным редактором Александром Твардовским:

> «И хотя сердце рвется к чему-то большему, к чему-то решающему, но историю меняют все-таки постепеновцы, у кого ткань событий не разрывается. Если б можно плавно менять ситуацию у нас, надо с этим примириться, надо б и делать. И это было бы куда важней, чем ехать о б ъ я с н я т ь Западу».

Говорит Солженицын и о «примирительных возможностях» Твардовского. Именно эти примирительные возможности и представляют собой ту готовность к диалогу, который сегодня определяет, будет ли вообще продолжаться жизнь на Земле. Можно ли договориться хоть о чем-то.

Из небольших московских комнат, где мы без конца спорили на эти темы, меня вытолкнуло на просторы большого мира, а проблемы эти, пусть и по-иному формулирующиеся, оказались важными и здесь. И не только для России.

Быть может, самая главная потеря для литератора-эмигранта — отдаляются, а то и вовсе отрезаются удивительные русские читатели.

Стоит каждому из нас, эмигрантов, почаще вспоминать гордые слова, выстраданные Анной Ахматовой:

> Нет, и не под чуждым небосводом
> И не под защитой чуждых крыл
> Я была тогда с моим народом
> Там, где мой народ, к несчастью, был...

Вижу две основные, при бесконечном множестве вариантов, возможности для честного российского интеллигента: делать свое дело внутри системы и вне ее. И та и другая имеют нравственное обоснование. И та и другая сопряжены с нравственными издержками: внутри системы, где честно работать становится все труднее, подобного рода издержек несравненно больше, и они страшнее.

Мой безвременно погибший друг, работавший до последнего дня в системе и бесконечно за это себя корivший, сказал однажды:

— А я считаю, что мы вправе ставить людей перед нравственным выбором, разумеется, ничего никому не навязывая, не заставляя. Я не делаю этого только по щепетильности...

Делал он бесконечно много. А эта самая щепетильность — она тоже неотъемлемое качество истинного интеллигента. И как же ее не хватает и дома, и в эмиграции...

Много и часто говорю здесь о переводе в переносном смысле. А есть еще и первый, буквальный. Живу в стране, язык которой обязана понимать, да и говорить на нем. Иначе что же увижу, услышу, что смогу понять? Да, поздно, да, трудно. Но какой же иной выход? Еще дома мой муж сказал однажды сурово:

— Если ты ешь хлеб, выращенный этими людьми (мы были в Эстонии), ты, как минимум, обязана уметь произнести слова «хлеб» и «спасибо» по-эстонски.

И стояли у нас на книжных полках в Москве множество разговорников — языки народов СССР.

Поступила на курсы немецкого языка сначала в Гёттингене, потом в Кёльне. На столах словари: турецко-немецкий, франко-немецкий, китайско-немецкий, корейско-немецкий, греческо-немецкий... В нашей группе учащиеся из девятнадцати стран.

Через язык прикоснулась к людям того самого «третьего мира», увидеть который не надеюсь. А тут увидела малую часть в повседневности.

Радуюсь, когда понимаю слова. И очень скоро оказывается, что учусь не только языку. Дома я нередко слышала о нашем «европоцентризме». Опять же — одно дело просто слышать, знать теоретически. А тут — некоторые студенты спрашивают, что такое «ассоциация», «монтаж», «фигуративно», «индивид», «министр»...

— Так ведь это же латинские корни.

— А мой язык — греческий, древнее латыни.

Не могу объяснить своему сокурснику значение слова «бэби-ситтер»; соединяю отдельные немецкие слова, отдельные английские, а главное — жесты; качаю воображаемого ребенка. Все тщетно. Вежливый, внимательный молодой кореец не понимает;

— Если она хочет ухаживать за ребенком, почему бы ей не завести своего? А если мать не может сидеть со своим, зачем она рожала?

Тут уж не слова — целый жизненный уклад.

— А как по-русски «беби-ситтер»?

— Так же — «беби-ситтер»...

Пример на будущее время — Futurum — из учебника: «Через десять лет начнется третья мировая война». Мгновение ужаса, но именно мгновение,— и продолжаю учить немецкие глаголы.

— Какие представления вызывает у вас слово «лето»? — вопрос преподавательницы к нам ко всем.

— У нас в Малайзии нет ни зимы, ни лета.

— Я ненавижу лето, мне шум мешает работать,— другой студент.

Ответ озадачивает, и я пытаюсь его перевести и так:

— Летом жизнь перебирается на улицу, комната перестает быть защитой, не отгораживает, как зимой...

— Что вы,— возражает мне мексиканка,— именно летом у нас на улице быть невозможно, только комната и защищает...

Учебное задание (несколько фраз, больше мы еще не можем) на тему «Национальный герой». Первое сочинение:

> «Кемаль Ататюрк считается национальным героем. Но когда он пришел к власти, он обещал моему народу независимость. И обманул — у курдов нет ни своего государства, ни свободы...»

Чтение прерывается громкими криками:

— Ложь! Ложь! Ложь!

Немолодой турок яростно обличает, немецких слов не хватает, оба переходят на турецкий. Преподавательница очень тактично пытается призвать к порядку, убеждает вернуться к немецкому, да и перестать так неистово кричать. Она хочет продолжить урок. Но тщетно. Пишет на доске крупными буквами «TOLERANZ» — «ТЕРПИМОСТЬ».

Многое я увидела и услышала в мире иностранцев, которые изучают немецкий язык. Опыт этот был незаменимым. Менее всего встретила я терпимости Остродефицитное качество на всех континентах, у всех народов.

Как легко, как тянет большинство жить в черно-белом мире: «друг — враг», «свой — чужой», «русский — немец», «коммунист — антикоммунист», «израильтянин — палестинец»... Но на самом деле все сложнее. И как ни трудно — эти оттенки необходимо стараться различать.

Да, мир может погибнуть не только от ракет, но и от ненависти тоже.

...Смотрю на мирные тома Энциклопедии Дидро — той единственной, где и карты схемы, сведения, уровень тогдашней науки, но еще и глубокая вера: вот только грамотные люди прочитают, поймут, и мир станет пригодным для нормальной жизни, прекратится угнетение, прекратятся войны...

С тех далеких пор издано множество энциклопедий, сведения в них наиновейшие, но вера в прогресс как в залог мира давно потускнела, едва ли не исчезла.

Крах просветительских иллюзий сказался с особой силой в России и в Германии XX века, отчасти и потому, что безмерность злодейств, свершенных обычными людьми, невозможно воспринять лишь на уровне разума.

К сожалению, и я уже не могу разделять наивные верования просветителей: стоит ввести всеобщее образование — и не останется больше темных пятен, придет конец всякому насилию и в личных отношениях, и в отношениях между странами.

Но мне чужд и всемирный, все растущий скепсис, подозрительность, даже ненависть к разуму как к орудию Сатаны. Я все еще верю в то, что слово могущественно, что познание мира плодотворно и бесконечно, верю, что можно передать хотя бы часть опыта.

Галилей в драме Брехта просил ученых коллег посмотреть в недавно изобретенный телескоп, чтобы они могли убедиться в верности открытой им теории. Они отказались, ибо не хотели видеть никаких доказательств, противоречащих их догмам.

А. Сахаров предложил правительствам, и своему и чужим, предложил народам, своему и чужим, осмотреться, взглянуть на окружающий мир даже не в телескоп, просто взглянуть глазами, не затуманенными корыстными политическими расчетами и предрассудками.

«Мир накануне гибели»,— это заявил и доказал ученый. «Но мир может и должен быть спасен»,— надеялся просветитель.

Всех нас может спасти только взаимопонимание.

Защищаясь от наступающей стандартизации, люди замыкаются в свою церковь, в свою партию, в свою нацию, хотят сбиться в стаю, отличающуюся от других. Поиски корней, возрождение национальных диалектов, старых ремесел, просто погружение в прошлое, чтобы понять, кто ты, чтобы ощутить настоящее,— все это нормальное развитие. Если оно не сопровождается правами на превосходство: «мы лучше», «мы старше», «мы раньше вас приняли христианство», «мы одни имеем право на эти территории»...

Людям, замкнувшимся в своей скорлупе, легче воспринять других как иностранцев, как инородцев, как врагов. В чужого легче стрелять.

Когда просветители уверенно глядели в будущее без войн, без несправедливостей, страны были отделены бесконечными, трудно преодолимыми расстояниями. О том, что происходило во Франции, даже в соседней Германии, узнавали не сразу. Сегодня же о землетрясении, о государственных переворотах, об убийствах узнают одновременно сотни миллионов людей в ту же секунду, когда совершается событие.

Но я не убеждена в том, что из-за это-

го люди стали лучше, глубже, легче понимать друг друга.

А от того, услышим ли, поймем ли, зависит и судьба ныне живущих, и судьба тех, кто будет жить завтра.

Всюду нас сопровождает колокольный звон. В первой квартире в Германии мы жили между двумя церквами. Жизнь невольно подчиняется определенному ритму. Основной тон — печальный, под стать моему душевному. Колокола разные, я научилась различать их «голоса». Мой мир стал более анонимно «озвученным» — несравненно меньше разговоров со своими.

Много, несравненно чаще, чем дома, слушаю музыку. Выпало редкое счастье — концерт Менухина, чудо доброго могущества, позволяющего еще и верить, и надеяться. В замечательной речи Менухин сказал: «Нужна бы Декларация наподобие американской, где провозглашались бы права человека на жизнь, на свободу и на стремление к недостижимому!»

Он играл Баха, и вспоминалось ахматовское:

Полно мне леденеть от страха,
Лучше кликну «Чакону» Баха,—

и вовсе не как иллюстрация, просто в тон дивной музыке звучали любимые стихи... Он и не родился в России, бывал с концертами. Его дом везде, его школа в Англии; мы услышали его в Бонне.

Великое искусство, музыка, в переводе не нуждается, а людей объединяет. Слушаю Мстислава Ростроповича: в Вашингтоне, в Дюссельдорфе, в Бонне. Дважды как дирижера, в Бонне — виолончель. С Москвы не слышала. Бах и Ростропович. Шквал аплодисментов, как везде и всегда.

«Консерваторские лица» — особая порода людей. По дороге в московскую консерваторию по улице Герцена безошибочно узнавала: идут туда. У нас дома однажды встретились два незнакомых между собою человека, долго вглядывались — и оба вспомнили:

— Да ведь мы же постоянно встречались на концертах!

Особый орден. Международный. Так же, как неизменен тип музейного работника, влюбленного в свое дело: познакомились с Гюнтером Махад, директором «фаустовского» музея в городке Книтлинген; неизменны и влюбленные в книги библиотекарши.

Бетховенский зал в Бонне. «Консерваторские лица». Какое счастье, что они могут слушать Ростроповича! Какое несчастье, что ни в московской, ни в ленинградской консерваториях его уже не могут слушать мои.

Раздавая автографы, маэстро к землякам особенно, щедро нежен.

...Начало 70-х годов. Ростропович едет с гастролями по Волге. Оркестр на пароходе. Концерты. Те же аплодисменты, те же дивные «консерваторские» лица.

На борт поступает телеграмма: «Концерт в Саратове запрещен обкомом партии».

Ростропович мгновенно находит решение: просит капитана — мимо Саратова — самый тихий ход.

На палубе начинается концерт. Набережная Волги. Высокий берег. Как они узнали? По тому же «беспроволочному» телеграфу, что и о похоронах Пастернака. Высыпали к реке. Летний вечер, свет и сумерки; великая, проплывающая медленно музыка, и тысячи людей. Их несравненно больше, чем мог бы вместить любой зал.

С каким восторгом рассказывали нам саратовские друзья об этом поистине необыкновенном концерте. Сейчас они могут слушать Ростроповича разве лишь по радио, в записях, но это не то же самое.

Цирка не люблю, уже и с внуками не ходила. Зверей бывало жаль, а за клоунов, глупо и пошло острящих, было стыдно — так осталось с далекого детства. И вот нечто совсем иное. Цирк «Ронкалли». Музыка, цвет, звук, движения, некое струение. Огромный голубой шар раскрывается, печальный клоун выдувает мыльные пузыри, разноцветные; они лопаются, не долетают до публики... И мы — каждый о своем, вот и проходящее мгновение (не останавливается!), и любовь, и творчество, и сама жизнь. Каждый о своем, но и магическая объединяющая сила подлинного искусства.

Именно таким представляю я себе Ханса Шнира, героя романа Бёлля «Глазами клоуна», сидящего на ступеньках, печального, раненого, влюбленного, отвергнутого и обществом, и любимой женщиной...

Двери пусть открываются сами собой. Так легче.

В искренних заботах об опасностях конвейера для души смешно сейчас призывать человечество назад, к тому времени, когда все делалось руками. Хотя не случайно множатся выступления за охрану природной среды, разрушающейся едва ли не с космической скоростью. Люди стремятся отбросить издержки прогресса, а если нельзя одни издержки, то и сам научно-технический прогресс тоже. Эти стремления рождают мощные общественные движения, как движение «зеленых» в Германии, ставшее и политической силой и пронизывающее частную жизнь. Многие люди едят только пищу, которая выращена без химических удобрений, продается в особых магазинах; употребляют только естественные, не химические лекарства, только биологическую косметику.

Я не за возвращение к «доавтоматному» столетию, и не только потому, что это просто невозможно, но и потому, что все эти кнопки облегчают жизнь. Их надо продолжать нажимать (разумеется, мирные). Но не в человеческой душе.

Однозначного решения тут нет. Есть необходимость это осознать, воспитывая человека с младенчества как единственного. Это дано безо всяких теорий чуткими матерям.

Так же как на самом деле единственна и неповторима душа у каждого, так и неповторим процесс восприятия и познания мира, чужого тем более.

Двери здесь открываются сами собой в аэропортах, в больницах, в магазинах. В духовном пространстве — по-иному. Ни одна дверь от души к душе, от страны к стране не открывается сама собой. Только усилием. Болевым. И двусторонним.

Старательно учить знаки чужой жизни, как учишь слова чужого языка. Некоторые двери могут приоткрыться. А другие останутся закрытыми.

В октябре 1962 года Анна Ахматова получила письмо из-за границы с просьбой прислать последнее издание «Поэмы без героя». Между тем тогда эта поэма еще не была издана на родине поэта, только за границей. Лидия Чуковская записала в дневник:

> «...Доживем ли мы до такого времени, когда на Западе будут иметь хоть малое, хоть приблизительное представление о нашей стране, о судьбе наших людей и нашей литературы? Быть может, и мы так же мало знаем о них, как они о нас?..»

За двадцать лет изменений не столь уж много.

В Германии и в Швейцарии, во Франции и в США — везде есть блистательные знатоки русской истории, русской литературы. А это труднее, чем быть, скажем, выдающимся специалистом по литературе французской. Ведь у немецкого профессора, занимающегося французской литературой, и возникнуть не может та проблема, которая сплошь да рядом возникает у слависта: «Если я т а к напишу, мне в следующий раз могут и не дать визы...»

Лучшие из славистов принимают участие в наших редких радостях, разделяют наши многочисленные беды.

Познакомилась в Москве с английским славистом. Джеффри Хоскинг приезжал часто, в первый раз еще студентом. В Кёльне он год преподавал в университете. Прочитала его работы о «деревенской прозе», о книгах Александра Зиновьева, Юрия Трифонова, о националистическом течении, так называемых русистах. Подивилась их глубине, тонкости, истинному пониманию, Джеффри говорил:

— Вот уже пять лет, как погиб мой русский друг Константин Богатырев, а я думаю о нем, советуюсь, спрашиваю, делюсь, подчас спорю

И я подчас спорю с Джеффри. Вовсе не все его характеристики разделяю. Но убеждена, что любая его оценка продиктована тем, что он сейчас думает, и никакие посторонние соображения не примешиваются.

Он любит Россию, и это прекрасно сочетается с любовью к Англии, с гордостью за все лучшее, что там есть.

Французский славист Жорж Нива заведует кафедрой в университете Женевы. Он создал там атмосферу истинного научного сотрудничества, доброжелательства, которая далеко не всегда бывает в академических учреждениях.

Книги же его о русской литературе — из самых глубоких и талантливых; особенно поразителен анализ языка. Как ни отлично владеет он русским, все же это для него иностранный, а об особенностях языка Александра Солженицына ему удалось написать так тонко и проникновенно, как мне пока не пришлось прочитать у русского исследователя.

Нива живет нормальной жизнью западного интеллигента, часто путешествует, не знает лишений, ценит свободу, любит и умеет напряженно работать и весело отдыхать. Очень много читает.

Для него нет «туманной» России. Он знает русских людей и русские книги, неотделимые от европейской и мировой культуры. Он знает и пороки системы, знает человеческие слабости, и подлость, и святость. Моя родина для него — не ад и не рай. Да, он профессионал высокого класса Но Россию он еще и любит.

Хорошо, важно, что в разных странах открывают и публикуют все новые и новые документы по русской истории Спасибо тем, кто издал собрания сочинений опальных писателей. На полках нашей московской квартиры стояли изданные на Западе сочинения Ахматовой, Гумилева, Мандельштама, Клюева. Начаты собрания сочинений Вяч. Иванова, Цветаевой, Хлебникова, Булгакова, Замятина, Ходасевича. К качеству этих изданий есть претензии, но само их появление — неоценимо важно. Важно, в частности, и тем, что «подталкивает» издания советские.

Сделано много. Но необходимо, чтобы было сделано гораздо больше За пределами России все еще не знают многих замечательных писателей.

Необходимо и гораздо более глубокое понимание тех сложных процессов, которые идут в советской литературе Это нужно не только для «академической полноты», но и потому, что сегодня от верного понимания России во многом зависят судьбы людей на Западе.

В аудитории одного американского университета слушаю доклад. Докладчик прочитал множество книг, знает множество фактов, неизмеримо больше, чем я в данной области,— речь идет о гражданской войне в России. Слушаю со все возрастающим раздражением Позже узнала — не я одна так воспринимала доклад, и некоторые американские коллеги тоже.

Почему же? Докладчик добросовестен и действительно знает предмет.

Вероятно, дело в том что наша боль, беда, грязь, трагедия — все это для ученого лишь возня неких странных существ, которых он равнодушно рассматривает под своим микроскопом как естествоиспытатель «Мы, нормальные западные люди, такого снести не могли бы, так жить не могли бы а русские сами заслужили все то, что им на долю выпало...»

Знаю, что настоящие русские патриоты смотрели на родину трезво. Любя ее,

обличали сурово ее грехи, ее пороки. И Чаадаев, и западник Герцен, и славянофил Киреевский. Но нелегко слушать внешне словно и похожее и, разумеется, с соответствующими ссылками на сочинения русских, но высказанное свысока, категорически. И тут же возражаю себе: почему я (внутренне) требую от других непременно разделять наш опыт? Хорошо, что есть в мире относительно нормальные страны, где люди могут спокойно жить и радоваться, заниматься своей профессией, играть на скрипке, возделывать свои сады,— сколько я их видела, милых, ухоженных домиков с садиками! Подчас вспоминала слова Стефана Цвейга: у Диккенса романы кончаются свадьбами и герои поселяются в домике с садиком. Кому из героев Достоевского нужно все это? Да, различия между мирами возникли давно и долго, страшно углублялись. Да ведь и суждение Цвейга вовсе не универсально: и моим соотечественникам очень нужны дома с садами.

...Смотрим по телевизору бурные дебаты в бундестаге. Нет, это вовсе не «говорильня», как нас учили школы, университеты, газеты много лет подряд.

В большинстве домов в Германии люди смотрят, слушают, взвешивают. Коль, Штраус, Фогель, Келли. Разные люди, разные программы. Сегодняшние зрители, завтрашние избиратели раздумывают, сопоставляют со своим опытом.

Конечно, нельзя не знать про закулисные интриги, про подкуп, просто про то, что все крупные политики — отнюдь не ангелы. В большой политике, кажется, нигде и никогда ангелов не было.

И все же человеку здесь предоставлена возможность, свидетельствующая об уважении к нему. Пусть не единственная, пусть не главная, но возможность принимать участие в решении: как жить дальше твоей стране и, стало быть, твоим детям.

Слышала дома, много раз читала в эмигрантской литературе: России это не нужно. В России это невозможно.

Уверена, что нужно. Надеюсь, что возможно.

Моим землякам нужны нормальные условия жизни, как и французам, и немцам, и англичанам. В том числе и возможности выбора, выборов.

Разумеется, в России, в соответствии с ее историей, с ее характером эти условия будут по-иному воплощаться в действительность. Что тоже естественно.

Не знаю когда, не знаю как, но и в России это возможно.

Не могу не признать право каждого научного работника заниматься русской историей, русской литературой просто как специальностью — обычный «филд» с восьми утра до пяти вечера.

И все же как тянет меня к тем иностранцам, кого моя подруга называла «почетными русскими», к тем, кто, побывав у нас, испытал глубокое потрясение. Для кого пребывание в СССР означало переворот в их собственных жизнях, изменение привычной системы ценностей. Им бывало стыдно потом смотреть на свое изобилие. Им бывало скучно на приемах в чинных гостиных. Им недоставало некоего «московина», они испытывали и ностальгию. Радостно общаюсь с ними здесь и снова убеждаюсь в том, как значителен был и для них наш опыт.

Что знает о Советском Союзе то большинство людей на Западе, которое никак с нами не связано? Что они знают, что хотят и чего не хотят знать? Ведь для большинства населения Германии время войны — это время даже уже не отцов, а дедов.

Радиопередача для школьников старших классов. Комментатор возмущен тем лживым образом России, который создается немецкими масс-медиа («коммунист с ножом в зубах», готовый напасть на Германию, сменился «коммунистом с атомной бомбой»). Комментатор говорит простодушно:

> «Я не знаю ни одной книги, написанной их писателями, у меня нет о них никаких представлений; не знаю, что смотрят они по своему телевидению, как относятся к внутренней политике своего правительства... Ничего я о них не знаю...»

Честное признание. Однако, прежде чем приступить к работе, можно было бы и узнать кое-что. Хотя бы прочитать несколько переводов современных книг. И среди советских журналистов, пишущих о Германии, можно найти таких, кто не прочел ни одной книги немецких писателей. Впрочем, мне не довелось встретить русского интеллигента, который не читал ни одного романа Бёлля.

В январе 1982 года узнала о смерти Варлама Шаламова. Услышала об этом от здешних приятелей, давно любящих русскую культуру. Каждый из наших тогдашних собеседников по нескольку лет прожил в СССР. Однако никто не знал даже имени Шаламова, хотя его «Колымские рассказы» (под названием «Пятьдесят восьмая статья») изданы по-немецки, по-французски, по-английски... Одна из самых трагических русских судеб. Шаламов провел семнадцать лет на колымских золотых приисках, не в первом, а в девятом кругу ГУЛАГовского ада. После смерти Сталина, после реабилитации стихи Шаламова появились в самиздате, а потом вышло несколько сборников. Об издании колымских рассказов не могло быть и речи даже в самые либеральные времена. И автор, не без страха и сомнений, решился публиковать за рубежом. А там его просто не заметили, не услышали.

Он пришел в отчаяние, проникся гневом и отвращением к Западу, проклял Запад и не только в частных разговорах: он опубликовал исступленную статью в «Литературной газете», где обличал тех писателей, кто печатался за границей, в том числе и Александра Солженицына (Солженицын сказал мне еще в 1964 году о Шаламове: «Вот у кого вся правда о лагерях. Я-то написал с ч а с т л и в ы й день Ивана Денисовича»).

Шаламов прожил десять лет в доме для престарелых. Тюрьмы, лагеря, разрушительно надломив здоровье, не смогли сломить его могучего дарования.

Но мира после лагеря он не одолел.

Надеюсь, что и немецкие читатели попытаются прочитать Шаламова, хотя душе каждого, и русского читателя тоже, вместить столько ужасов неимоверно трудно.

Я огорчаюсь, что здесь не знают Шаламова. А сколько книг, близких моим немецким приятелям, не знаю я? Слышала, как трое «запойных» читателей обменивались впечатлениями, вспоминали свои любимые книги и с радостью, едва ли не со страстью, называли и немецких авторов, и старых японских, и старых китайских. Любимые книги — знак принадлежности к единой духовной родине. А для меня, к стыду моему, даже имена были неизвестны.

Не знала Элиаса Канетти, награжденного Нобелевской премией за 1982 год. Не знала интереснейших книг Манеса Шпербера.

Незнание взаимно.

Если бы процесс обмена мог совершаться как дыхание, в естественном ритме! Без политических сенсаций, без коммерческих расчетов.

...Смотрю, как пароход на Рейне проходит шлюзы, вспоминаю Волгу: перед носом пустое пространство заполняется водой, уровни сравниваются. Вот так бы и обмен духовными ценностями, обмен книгами...

В доме-музее Фрейда в Вене есть стеллаж — книги на иностранных языках. Показатели международной известности. На полке с надписью «Славянские языки» — четыре томика, изданные в Лондоне по-русски в 1969 году. А где же советское собрание сочинений (1923—1927 годы)? С той поры эти книги претерпели немало: их запрятали в так называемое «спецхранилище»; после смерти Сталина их «реабилитировали» вместе с сотнями тысяч бывших заключенных. Их возвратили читателям.

Полвека спустя, в 1978 году, в Тбилиси прошел международный симпозиум «О бессознательном» с участием советских и зарубежных ученых. Три тома трудов симпозиума были изданы с краткими резюме на иностранных языках. Там всесторонне рассмотрены идеи Фрейда. Этих книг нет в музее.

На вопрос, почему нет, сотрудник музея ответил:

— У нас бывает много американцев, но почти не бывают русские.

Подобным же образом продавец объясняет, почему на фотоаппарате «Полароид» или на французском креме среди надписей на 6—8 языках нет русского: законы рынка, нет покупателей, зачем же переводить? Но музей все же не рынок. Фрейдизм в России — необходимая часть не только русской, но и европейской истории культуры. И в притяжении и в отталкивании.

Двери в другой мир остаются закрытыми и для тех, кто уверен, будто уже достаточно знает, что́ за ними. Полузнание бывает менее заметно, чем откровенное невежество. Поэтому оно более опасно, труднее преодолимо.

Когда принимаешься изучать незнакомый прежде предмет, новый язык, то поначалу радуешься, услыхав понятное слово, его выхватываешь, «выклевываешь», пытаясь угадать, сконструировать остальное. Угадываешь, зная латинские корни либо немецкие обрусевшие слова. Так я удивленно радовалась «ярмарке», «галстуку», «маляру», а прежде считала их исконно русскими.

Но после преждевременной радости — остановка. Сомнения. И становится все труднее. Нет, ты решительно ничего не знаешь. Того, что понятно, ничтожно мало в океане непонятного тебе. И как же легко, как соблазнительно задержаться на предшествующем этапе, когда кажется, что знаешь почти все, а то и все, что нужно.

> «Прекрасные люди крестьяне, и прекрасные люди ученые. Вся беда от полуобразованности»,— писал Монтень.

Именно среди полузнаек возникают и закрепляются клише: «все немцы педантичны», «все французы легкомысленны», «все иностранные слависты безграмотны», «все американцы бездуховны», у всех русских — «широкая славянская душа» и прочая и прочая...

Хуже всего — самодовольство. Знать, хотя бы подозревать, что ты не знаешь,— тогда есть хоть надежда: в будущем узнаешь.

Каждому преподавателю знаком тот тип ученика или студента, который приходит не для того, чтобы воспринимать новое, неизвестное ему, а чтобы щегольнуть своими знаниями. А заодно в чем-либо поймать, сконфузить лектора.

Встречаю некоторых земляков в Париже, в Нью-Йорке, в Мюнхене. По эмигрантскому стажу они старше. Слушаю, удивляюсь: десятилетия словно и не прошло, и мы не в 1981—1982 годах за границей, а в 1972—1973 годах на улице Воровского в клубе писателей или во дворе писательских домов на Красноармейской. Неужели их новый опыт ничего, совсем ничего не изменил в той картине мира, которую некоторые построили еще дома?

Полузнание рождает самые нелепые ошибки. Вот уж не думала, что мне придется когда-либо хвалить цензуру; но по воле советских идеологических ведомств, калечивших и сегодня калечащих и книги, и жизнь писателей, возникли отделы проверки при любом журнале, издательстве. Только на Западе я поняла, как важно, чтобы, обратившись к справочникам, проверялись бы факты: написание имен, географические названия, даты. Чтобы этой кропотливой, незаметной работой занимались,— как это необходимо для культуры любого издания.

Вышла первая большая монография о Пастернаке. Известный американский славист, ее автор, среди прочего сообщает, что

«...Хрущев в 1957 году кричал на Эренбурга, Евтушенко и Зиновия Рождественского».

Пишу красным карандашом на полях (для кого?!); в 1957 году Хрущев кричал на Маргариту Алигер. На Эренбурга он кричал в 1962 году. В 1963 году на Евтушенко кричал не Хрущев, а Юрий Жуков и другие. Озадачил несуществующий «Зиновий Рождественский». Можно лишь предположить, что этот мифический образ возник так:

1) На Андрея Вознесенского Хрущев кричал;

2) Вознесенье — праздник, и Рождество — праздник;

3) Есть поэт Роберт Рождественский;

4) Есть писатель Зиновий Паперный, исключенный из партии за сатиры на официальных литераторов.

Вот так и выражает себя полузнание, даже при наилучших намерениях автора, но при отсутствии собственной и редакционной проверки. «Мы еще живы!» — говорил в таких случаях мой московский друг.

«Гроб Эренбурга некому было вынести из Дома литераторов»,— заявляет ничтоже сумняшеся очередной автор-эмигрант, разоблачающий всех и вся, Эренбурга — среди десятков других. Но ведь нас еще много осталось, кто видел огромную очередь по Садовому кольцу: читатели пришли прощаться с Эренбургом. Одни помнили книги 20-х годов, прежде всего «Хулио Хуренито». Другие (таких большинство) помнили войну. «Эренбурга не раскуривали», то есть из его статей не крутили самодельных сигарет на фронте, как из других газет; третьи ценили память. Сотни тысяч людей прочитали впервые в жизни строки Цветаевой и Мандельштама именно в мемуарах Эренбурга «Люди, годы, жизнь».

Можно как угодно относиться к жизни и творчеству Эренбурга и выражать это в печати. Но не надо создавать новой лжи взамен старой.

Полузнание — одно из неизбежных следствий полуфабрикатного мира. Огромное удобство для хозяйки: возможность за полчаса все купить, приготовить обед. Все начищенное, нарезанное, кидай в кастрюлю или на сковороду — и готово! Прекрасна возможность без особого труда устроить комфортабельный быт и в палатке, и на байдарке.

Но и в массовом, иллюстрированном журнале, и в телевизионной программе тоже все нарезано, начищено, разжевано; раскрой рот, все тебе туда положат.

После пяти месяцев в Германии в городке Бад Мюнстерайфель к нам за столик подсаживаются несколько человек.

— Мы вас где-то видели... Ах, конечно, по телевидению... Понятно, вы здесь родились, тут недавно отмечали ваш юбилей...

Я возмущенно леплю несколько фраз из едва доступных мне слов:

— Мой муж не молод, но ему еще нет 200 лет. Тут родился доктор Гааз.

Телекрошево — несколько обрывков вместе: Гааз, Копелев, 200 лет, Германия, немецкий доктор, Москва, русский литератор...

Одно из интервью — голландскому телевидению. Непосредственных связей с голландской культурой не так уж много, но одну историю вспоминаем: 1955 год, Лев только вышел из тюрьмы. Из первых работ для Литературного музея (предложение Бонч-Бруевича) — перевод анонимной антииезуитской книги XVII века.

Переводить с голландского было трудно, конечно, со словарями, но работу сдал, хотя ее и не опубликовали.

Корреспондент слушает без всякого интереса и повторяет:

— А что вы думаете о перспективах отношений Востока и Запада?

Вопрос в сотый раз — и ответ в сотый раз. И сейчас мне продолжает казаться, что голландским телезрителям интереснее своеобразные русские судьбы, прихотливые пути истории культуры: вчерашний заключенный сидит в музее редкой книги, в Ленинской библиотеке, погруженный в страсти трехвековой давности, но весьма своевременные и сегодня — вера и разум, просвещение и церковь, стремление понять и стремление запретить понимание.

Москва, ранняя оттепель, перевод с голландского на русский, рассказ об этом четверть века спустя.

Или впрямь важнее любое двухцветное клише?

Нет, я не пополню многочисленные ряды обличителей телевидения — и не только из-за бесполезности этого. И не только потому, что прекрасно делаются новости и существуют превосходные телепрограммы. Но что масс-медиа в известном смысле способствуют и массовому полузнанию — это давно доказано.

Незнание, полузнание, самоограничение — чтобы немногое узнать по-настоящему — все это грани одной и той же проблемы: могут ли люди с непохожим и тем более противоположным опытом понять друг друга? Могут ли страны, где люди живут столь разно, проникнуться не враждебно-плакатно-односторонним, а сочувственно-глубоко-дифференцированным отношением друг к другу?

Можно ли передать опыт, всегда неповторимый? Передать сквозь время иным поколениям, сквозь пространство — иным краям? Или между поколениями и между странами герметически непроницаемые перегородки?

Польский писатель Тадеуш Конвицкий говорил:

«Я — та личность, которую не понимают собратья по человечеству, живущие на берегах Тибра, Сены, Гудзона. Мои фразы — более или менее важные — можно перевести точно, можно уловить смысл моих метафор, моих колеблющихся настроений. Но они (западные читатели.— *Р. О.*) не могут отождествить свои судьбы с моей, не могут ощутить бессмысленность моих смыслов. Им это покажется нереалистическим, чуждым, ли-

шенным мотивировок и потому совершенно непонятным».

Сколько раз испытывала я нечто подобное! И в серьезном и в мелочах.

Мы собираемся в Италию. Время пасхальное. Мы не знали, что надо заранее заказать отель и места в поезде. В туристических бюро уже все продано. Обращаемся за помощью. И нам звонит милая женщина:

— У меня для вас очень дурные новости.

(Сердце падает, что-то случилось в Москве! Не соображаю в этот момент, что она о Москве и знать ничего не может.) Она продолжает:

— Во Флоренции уже нельзя получить комнату, все занято; только в Венеции...

Флоренция, Венеция — слова из книг, картин, из сказок...

А понятие «очень дурные новости» в переводе с немецкого на русский, с западного на советский означают: «потеря любимой работы, тяжелая болезнь, предательство, измена, арест, смерть...»

Неужели отсутствие отеля в некоем городе можно и впрямь считать «очень дурной новостью»?!

Разные шкалы ценностей. Пример далеко не единственный.

В такие минуты кажется: нет, ничего не передать, ничего не перевести.

В одном из университетов Германии рассказывала славистам о новых русских книгах.

В апреле 1982 года опубликована повесть Бориса Можаева «Полтора квадратных метра». В квартире живут четыре семьи. Герой выйти утром из своей комнаты не может: дверь плотно закрывает тяжелым телом мертвецки пьяный сосед. Для того чтобы перенести свою дверь на тридцать сантиметров в общий коридор, герою приходится преодолевать трудности непередаваемые, испытать унижения, преследования.

Как же довести до слушателей эту повесть, смешную, и горькую, и гневную? Спрашиваю:

— Кто знает, что такое коммунальная квартира, кто в такой был?

Две руки из пятидесяти. Но ведь не представляя себе основы этой фабулы, нельзя понять и иных заложенных в ней символов, и конкретно советских, и вполне общезначимых. Такого, например как понять друг друга людям, живущим в одной стране, воспитанным одной историей, в одном городе, в одной квартире — и бесконечно далеким друг от друга...

Отчаяние невыразимости побеждается и талантом. Приведенные выше слова Конвицкого принадлежат замечательному писателю, у него множество доказательств того, что его понимали и люди, живущие не на Висле и не на Неве.

Понимают же Гомера, Данте, Шекспира в разных странах, в иные эпохи. Понимают сегодня Грина и Бёлля, Сэлинджера и Камю, Булгакова и Солженицына читатели, выросшие в совершенно иных условиях, чем эти писатели.

Не могу согласиться с Конвицким: «собратья по человечеству», и живущие на берегах Сены, Тибра, Гудзона могут понять. Если и когда фраза «собратья по человечеству» перестанет быть метафорой.

Профессор университета в Австрии услышал стихи московского поэта Владимира Корнилова «Вечера на сахаровской кухне»:

Вечера на сахаровской кухне
Продолжались и среди зимы,
И еще надежды не потухли,
И плечом к плечу сидели мы.

Все, кто был на сахаровской кухне,
Некогда, хотя бы на заре,

Все, кто в лагеря еще не заперт,
Все, кто в ссылке, вполузаперти,
Все, кто учит мир с нью-йоркских кафедр
Или слепнет в БУРе у Перми,

Как слова в одно стихотворенье,
Все бесповоротно включены
В сахаровским названное время,
Славное в истории страны.

И благополучный гражданин свободной страны сказал:

— А я завидую тем, кто сидел на сахаровской кухне. Знаю, что они платили высокую цену (ох боюсь, что не понимает он все же, сколь высокую!), но их жизнь была исполнена истинного смысла...

Он сравнивает, и я сравниваю.

Нельзя позволить себе замыкаться в своих, и только своих, бедах. Надо попытаться услышать и чужое горе, и чужую боль.

Все то, что выражено понятиями International, Solidarnosc, Religere,— едва ли не самое важное сегодня.

Хотя и нелегко искать и еще труднее найти, обрести общую меру.

Между тем в разных краях развиваются прямо противоположные тенденции — самоутвердиться, обособиться. Возникают и усиливаются жестокие противоречия между басками и испанцами, ирландцами и англичанами, абхазцами и грузинами.

Утверждение и восхваление тех своих особенностей, которые сопровождаются враждой к соседям, опасно.

Так двери закрываются не только извне, но и изнутри.

Двери закрыты в тоталитарных государствах, где человек заперт границами, запретами, надзором. Двери закрываются и в Западной Европе, где можно без виз проехать несколько стран, где есть и Европейское экономическое сообщество, и Европейский парламент.

Наверное, и человеку и нации нужно ощутить и отдельность, обособленность, и связанность с другими людьми, с другими народами.

Каждая нация, каждая личность неповторимы. Потому и нужна возможность обособиться: в своем народе, в своем прошлом, в себе самом, но речь идет о таком обособлении, которое человека не коверкает, которое не становится угрожающим для других людей.

Каждая нация, каждая личность — часть человечества. Потому естественно и стремление — противоположное — слиться с другими. И не только с людь-

ми, с природой тоже. Осознать себя частью Вселенной.

Кому это дано, кроме великих поэтов и великих ученых?

Узнаем, что в Москве зимой 1982 года был прочитан цикл лекций «Кантианские вариации». На лекции, сложнейшие по мыслям, по языку, сбегались слушатели со всего города, как на необычайный концерт. Кант говорил о двух великих чудесах: звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас.

Мне лишь краткими мгновениями бывает дано ощутить связь со звездным небом. Разве что думаю: на эти звезды, на это солнце смотрят в Москве мои дочери, внуки, друзья...

А без нравственного закона не обойтись никому: ни человеку, ни человечеству. Иначе и впрямь конец всему и всем...

С юности я поверила в интернационализм. После десятилетий горьких разочарований продолжаю верить, что у человечества больше общего, чем различий...

Множество людей полагает: в мире есть одно Зло — коммунизм. И значит, каждый литератор, студент, политический деятель, кто осмеливается замечать иные формы зла, исходящие от Запада, от другой сверхдержавы, каждый, кто хочет бороться против «своего зла», либо дурак, либо платный агент КГБ.

Молодым людям негде жить — в Западном Берлине, в Гёттингене, в Нюрнберге. И своя бездомность им важнее, чем те беды, что за берлинской стеной. Они захватывают большие дома, в которых никто не живет, и отстанвают захваты в драках с полицией.

Фред Богнер, герой старого романа Бёлля «И не сказал ни единого слова», заходит в дом, где комната для собаки больше, чем жилье его распадающейся семьи. Как хотелось поселить Богнеров в большом доме! Наверное, легче желать справедливости литературным героям, чем реальным людям.

Мне пишет молодая участница пацифистского движения:

> «...Я начала читать (мою статью.— *Р. О.*), настроенная скептически, заранее зная про вас. Как часто нам тыкали вас в пример: «Вот что происходит с инакомыслящими в СССР...» Их мужеством здесь восхищаются, а нас, с нашей критикой нашей страны, нас считают детьми хаоса, нас не хотят принимать... А почему, собственно, существование ГДР, Советского Союза, Архипелага ГУЛАГ, Солженицына — почему существование всего этого дает кому-то право отвергать нас, когда мы критикуем нашу систему, нашу страну?..»

Серьезные вопросы. Она пишет это письмо с пляжа на Корсике. Как — не просто сообщить ей,— как сделать, чтобы в ее душу и в души, сознание таких, как она, людей, принимающих ответственность за судьбы мира, чтобы в их души проникло простое понимание: ее московскую сверстницу, участницу любой демонстрации, не одобренной заранее властями, могло ожидать исключение из университета, увольнение с работы, а то и психиатрическая больница и тюрьма.

И уж она не могла бы уехать на приморские пляжи, да еще в другую страну.

С тех пор как Нина Берберова, одна из писательниц-эмигранток первой послереволюционной волны, сказала: «Мы не в изгнании, мы в послании», прошло почти шесть десятилетий. Ощущать себя в послании — это дело самооценки.

Я в изгнании. С внутренним обязательством свидетельствовать, рассказывать о моей родине, искать двери, связывающие разделенные миры.

Разноголосица свидетельств страшнейшая. От цифр и фактов до обобщений. Иной раз с негодованием отбрасываю очередной номер эмигрантского журнала или газеты (читаю выборочно) с мыслью: «Это не о той стране, где я жила». Не сомневаюсь, что именно так говорят и обо мне. Каждый из нас унес свою Россию, свой круг близких и дальних, свое представление о стране и людях. У людей — и у моих бывших (как и теперешних) сограждан — разная оптика.

Один здешний дружественный читатель моих работ сказал мне:

— Нам это понять трудно. Вероятно, вам теперь надо писать два варианта: один для России, другой для нас.

Фраза застряла болезненной занозой. И сомнением: а вдруг он прав? Может быть, эта задача — сделать так, чтобы поняли и там и тут,— мне не под силу? Может быть, она и вообще невыполнима?

Но, спорю я с ним и с собой, ведь если нет общей меры для оценки поступков, мыслей, чувств человека, в каком бы пункте земного шара он ни жил, тогда вообще нет надежды ни услышать, ни понять друг друга.

Если же общая точка отсчета при всех различиях существует, если это не относительная величина (как «лето» для моего сокурсника из Малайзии), если мы все действительно принадлежим к роду человеческому, значит, перевести, передать опыт можно, хотя и необыкновенно трудно.

«Мы не врачи, мы — боль»,— сказал о литераторах в прошлом веке Александр Герцен. Никогда не ощущала острее, чем сегодня, мудрость и общезначимость этих слов.

Та боль, которую я могу передать, и то, как я могу передать ее, существует лишь в одном варианте.

Как лечить безумный мир, я не знаю. Продолжаю пытаться открывать хотя бы некоторые двери, уже печально зная, что многие так и останутся закрытыми.

Разгадаю ли я когда-нибудь знаки этой таинственной страны, из которой пришли в мое детство Ханс и Гретель, знаки таинственного мира, где мне, возможно, придется жить до могилы?

Сумею ли я рассказать здешним людям о другой таинственной великой стране, которая навсегда останется моей родиной?

1981—1982, Кёльн

Вместо послесловия

Что я увидела, что вспомнила, что ощутила, оказавшись в Москве после разлуки, длившейся почти восемь лет?

Моя поездка — частная: повидать дочерей, внуков, друзей, побывать на могилах родителей. Об «итогах» такой поездки расскажешь разве что в личном письме. Но поездка — неожиданно для меня — оказалась не только частной: меня пригласили быть гостьей четырех журналов, участвовать в двух литературных вечерах. Дала три интервью, работала с редакторами.

Тридцать два дня пролетели как мгновение и как вечность — так много эти дни вместили. Как я этого ждала! Ведь это — моя шестая попытка.

Мои московские впечатления счастливой эйфорией окрашены.

Но я не только радовалась встрече с родным городом, с моими близкими. Я разделяла и разделяю их страхи, сомнения, тревоги, боли.

Сначала — радости.

О потоке опубликованных рукописей я знала и в Кёльне. Наши приятели шутили: «Вы гласность получаете по почте». Нет, это несравнимо. Одно дело — гласностью вдалеке наслаждаться. Другое дело — ощущать едва ли не ежедневные колебания гласности. Тем более — в ее создании, в ее укреплении участвовать. Изменения в этой области огромны и — думается — необратимы: книги, напечатанные миллионными тиражами, уж безусловно не горят...

Когда слышала и слышу голоса скептиков — их немало, и существуют серьезные основания для скептицизма,— невольно вспоминаю: писательское собрание, итоги прошедшего — 1965 года. Выступаю и я, не зная, что это в последний раз. Перечисляю рукописи, не ставшие книгами: «Реквием» Анны Ахматовой, «Софья Петровна» Лидии Чуковской, «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, «Новое назначение» Александра Бека, роман Василия Гроссмана,— его названия «Жизнь и судьба» ни я, ни окружающие тогда не знали.

Сегодня все эти рукописи книгами стали.

Еще в Кёльне пыталась представить себе, как звучит в сегодняшнем литературном и жизненном окружении «Доктор Живаго» — рукопись читала в 1956 году, или «Реквием» — Анна Ахматова до конца 1961 года не разрешала записывать, так что вначале слушала. Как воспринимаются эти книги сегодня? В Москве одни говорят: «Да мы же давно это прочитали», у самиздата, видимо, было больше читателей, чем мне тогда казалось. Многие признают, что воздействие этих книг глубокое, хотя, разумеется, не сиюминутное. С противниками публикаций лично встретиться мне не пришлось, о них знаю из прессы. Подготовка нынешней гласности началась тридцать лет назад, во время оттепели. Эти времена нередко сопоставляют. Именно тогда, среди других новых изданий, родилась «Иностранная литература»; я работала в редакции.

Но глубинных различий гораздо больше, чем сходства,— в состоянии общества, в уровнях его культуры, в его недавнем прошлом.

В 1957 году один из иностранных журналистов, который был на Всемирном фестивале молодежи, писал: «...в тот вечер в Москве, когда мне разъяснили, в чем смысл сталинской системы, я не обнаружил в ней ни одной детали, не описанной ранее в романах Кафки... Он и мог бы стать лучшим биографом Сталина...» Этого журналиста звали Габриэль Гарсиа Маркес. Сейчас мы можем обсуждать: Кафка ли, сам Гарсиа Маркес или кто из советских писателей. Но что мы могли понять из этой фразы, прочти мы ее тогда, если до первых русских публикаций Кафки оставалось еще семь лет?

Тогдашние читатели — и те, кто работали в редакциях, в издательствах, были совершенно другими, чем сегодня. Мы в большинстве не знали шедевров русской прозы, не читали главных книг М. Булгакова, А. Платонова, А. Белого. Стихи Ахматовой и Пастернака существовали в крайне урезанном виде. Имена Цветаевой, Мандельштама для нас только начинали возникать. Других писателей серебряного века как бы и вовсе не существовало. Занавес и впрямь был железным, за ним были скрыты Гессе, Бёлль, Сэлинджер, Сартр, Камю...

Как мы гордились, что удалось опубликовать (не с первой попытки) роман Хемингуэя «Старик и море». Как радовались, напечатав чуть позже роман Г. Грина «Тихий американец»!

Оттепель — понятие точное: робкое таяние снегов. Реальны возможности нового похолодания. После страшных морозов приходят в себя иначе, чем выбираясь из болота.

Тридцать лет назад было больше людей невежественных, слепо верующих, одураченных, чем теперь. Сейчас же — больше все читавших, все понимающих, но и больше развращенных лицемерием, ни во что не верящих циников, больше и отчаявшихся. Да, надежд тогда вокруг меня было больше.

Поездка за границу в том кругу, где я прожила жизнь, была прежде событием чрезвычайным, редчайшим. В течение моего московского месяца один приятель вернулся из Польши, другой отправился в США, третий приехал из Перу. Сейчас, когда пишу эти заметки, одна дочь гостит у нас в Кёльне, другая с мужем в Йельском университете. Понемногу начинает открываться мир. И это тоже из существенных изменений.

Не стану перечислять новые советские романы, статьи, стихи, оказавшиеся важными для меня: я отвечала на анкету «Иностранной литературы». Труднее передать изменившуюся атмосферу. То, о чем и как мы говорили в конце 60-х — в 70-х годах на наших кухнях, да и то шепотом, сейчас выплеснулось в большие залы, на городские площади.

Я была в Москве, когда кипели страсти вокруг лимита на подписку. Меня вполне серьезно просили — если протесты не окажут действия, присылать из Кёльна в Москву наши экземпляры «Знамени», «Огонька».

Еще раз убеждалась: не хлебом единым...

Ну, а хлеб?

Я и раньше знала, сколь изнуряюще тя-

жел московский быт по сравнению с западным (а есть еще и другое сравнение — насколько тяжелее в Свердловске, в Рязани...). Но одно дело — знать издали, другое — смотреть на длиннющие очереди (стоять в них мне не позволяли дочери). И на кадры этого изнуряющего быта, отпечатавшиеся на сетчатке, теперь, по возвращении, наплывают немецкие витрины в любом, самом маленьком городке. Лотки с фруктами, сапоги, стиральные порошки, все то, чего нет или мало в моей Москве. Опять поражает то, что поражает едва ли не каждого приезжающего москвича, что мешает жить, мучает: ну почему же!

«Ножницы» между жизнью духовной и повседневностью все растут. А ведь быт — в отличие от замечательных публикаций, как бы они нас ни радовали,— касается каждого человека.

Среди бесчисленных видов дефицита меня особо стал тревожить один: дефицит личностей, способных объединять — на фоне бурнейшего роста разных клубов, ассоциаций, групп,— редко услышала я о людях, объединение излучающих, способных сплотить разномыслящих.

Девиз одного из сообществ 70-х годов: «Добиться понимания важнее, чем найти истину». Между тем мало знала я людей, так страстно искавших истину, как покойный ленинградский математик, автор этого девиза Сергей Маслов.

На вопрос, нередко задаваемый на Западе: «На что же вы надеетесь?» — отвечала: «На таких людей».

На таких, как Фрида Вигдорова (1915—1965), которая стремилась сделать жизнь вокруг лучше и в сталинские времена, а уж в пору оттепели развернулась в полную силу... Учительница, писательница, журналистка отважно сражалась с несправедливостями — в школах, в судах, в институтах. Еще и потому, что была неисправимой оптимисткой. Честертон в книге о Диккенсе писал, что оптимист — лучший реформатор, чем пессимист. Тот, кто видит вещи в розовом свете, вносит в жизнь движение вместо застоя. Это звучит как парадокс, но объясняется крайне просто. У пессимиста зло вызывает чувство возмущения, у оптимиста оно вызывает только изумление. Реформатору недостаточно признать какой-либо факт несправедливым и возмутительным, надо, чтобы он, кроме того, считал его еще нелепым отступлением от нормы.

Сама Ф. Вигдорова — редчайшее воплощение нормы — считала любое зло уродством. Ей, депутату райсовета, удалось добиться того, чтобы сто семей переселили из подвалов, устроили людей по-человечески.

Когда в 1987 году Иосифу Бродскому присудили Нобелевскую премию, то стали говорить, что его из ссылки в 1965 году вытащил то ли Жан-Поль Сартр, то ли Николай Грибачев. Свидетельствую, что решающую роль в судьбе Бродского сыграла запись судилища, которую сделала Фрида Вигдорова. 7 августа 1965 года она умерла. Нас, тех, кто собирался говорить на гражданской панихиде, вызывали в Правление СП, строго предупреждали: «О деле Бродского — ни слова...»

Она была предтечей. Жаль, что ей не пришлось встретиться с А. Сахаровым — они сразу услышали бы друг друга.

Летом 1968 года появился первый меморандум Сахарова. Двадцать лет спустя читаю его статью «Неизбежность перестройки»[1]. Кто как не он выстрадал право — требовать возмездия (хотя бы как минимум — извинения), обличать, ненавидеть?! Вместо этого он продолжает едва ли не так же спокойно размышлять о стране и мире. Ояицетворение человеческой нормы.

Вероятно, у таких «объединителей» — Маслов, Вигдорова, Сахаров, — редко встречающееся сочетание доброты, внимания, направленного на других за счет себя, твердости, терпимости (впрочем, такое сочетание — вид таланта, а талант — всегда редкость). Зная, что в каждом человеке смешано и добро и зло, смешано в непредставимых, постоянно меняющихся пропорциях — они учатся и учат видеть в окружающих прежде всего доброе, творческое.

Некий, еще мало изученный тип нравственного излучения, малая «ноосфера», не закрепленная словом, она умирает, как умирают для будущих поколений великие актеры или великие ораторы. Дело не только в том, что и даже как говорит человек, но и в том, кто, какой он, как поступает, как относится к близким и к дальним.

И чем дальше от источника подобного излучения, тем труднее его себе представить, подчас — даже поверить в его существование.

Мне посчастливилось: людей, о которых пытаюсь рассказать, я видела вблизи, их излучение испытывала непосредственно.

Если меня чему-нибудь научила долгая жизнь, то тому, что протянутая в минуту несчастья рука запоминается не только тем, кому она протянута. А из ненависти ничего, кроме ненависти, не растет.

Еще одно из важных изменений — прежде об этом читала, сейчас сама испытала, прикоснулась: рушится образ врага, который укреплялся долгие годы. И не только «американские империалисты» были, а сегодня перестают быть такими врагами, но и «бывшие советские граждане», как нас еще подчас называют.

Вечер памяти Виктора Некрасова в Литературном музее. Первый. Ведет Вячеслав Кондратьев (его повесть «Сашка» прислал нам В. Некрасов из Парижа с требованием: «Читайте немедленно!»). В зале душно, слишком много народу (разве бывает в таких случаях «слишком»?), телевидение, но какое же это счастье — видеть столько близких людей вместе, говорить с ними, слышать русскую речь. О замечательном писателе, об ушедшем друге говорят М. Пархомов, В. Кондратьев, А. Берзер, Е. Ржевская, Л. Лазарев, А. Парнис. Рассказываю, как Виктор Некрасов и Генрих Бёлль провели у нас в Кёльне в 1983 году длинный вечер, после которого Некрасов сказал: «Хорошо бы издать под одной обложкой «Где ты был, Адам?» и «В окопах Сталинграда». Русский и немец, вражеские окопы, два писателя, рожденные войной...

[1] «Иного не дано. Перестройка. Гласность. Демократия. Социализм». «Прогресс», 1988. Книга поразительная по разнообразному, не вчера родившемуся движению свободной мысли.

Что общего у этих книг, в чем их различия? Хотела бы, чтобы эта мечта воплотилась и в России и в Германии. Радость — этот первый вечер состоялся — неотделима от горечи: В. Некрасов не дожил, а как ему было необходимо, жизненно необходимо признание на родине.

Повидала за эти годы на Западе дом в Риме, где были написаны «Мертвые души», дом во Флоренции, где был закончен «Идиот», была в тех немецких городах, где писал многие романы Тургенев. Всегда была убеждена, что русская литература — единое целое, а где живет писатель — дело второстепенное. И относится это не только к классике...

Сложный процесс воссоединения насильственно разорванной литературы начался. Только бы и это продолжилось...

И все же, не только по анкете была я «в частной поездке». Еще и еще раз ощутила, что друзья, которые поддерживали меня в самые тяжелые годы, остались друзьями, наша связь не разорвана, их мучительно не хватало и не хватает в изгнании, они были и остались первыми адресатами каждой написанной строки.

Все мы постарели, все чаще — болезни, двое из тех, кого надеялась увидеть, не дожили. Но мой круг остался. Эти двери распахнулись передо мною, вошла так свободно, словно и не уезжала. Круг жизни. Даже в почетном карауле у гроба умершего друга постояла...

Внуки — свои и у близких,— которых оставила маленькими, стали неузнаваемыми. Гложет сомнение: а удастся ли передать им, как это бесценно: возможность опереться на близкого человека?

Мой круг — не только родные и ближайшие друзья. И участники наших семинаров, кружков — сейчас они вынесены в клубы, на публичные форумы.

Осталась высокая требовательность друг к другу, воспитанная долгими глухими годами, стремление помочь, подхватить слово, продолжить стихотворную строку. Этим я в Москве буквально дышала.

Трудно, подчас бесконечно трудно очеловечить малую среду, но без этого совершенно утопичными останутся надежды на торжество нравственных законов в большом мире.

И в Германии создалась у нас в доме малая среда. Между нами велики различия: возраст — минимум на поколение моложе,— история, характеры. Все эти годы спрашиваю: возможно ли все же истинное понимание? Не часто, но убеждаюсь в том, что возможно. Да и спасти нас всех от пропасти может только понимание, связь.

К этому призван журнал, в который пишу эти строки. «Самый быстрый путь в Россию — через ваш книжный магазин» — так рекламирует одно немецкое издательство новую серию русской классики. Это двухколейный путь. Радуюсь публикации романа Умберто Эко «Имя розы», но и огорчаюсь: ведь книга вышла восемь лет назад, дискуссии на многих языках отзвучали, и уже новый роман Эко «Маятник Фуко» появился в октябре.

Знаю, что настоящие книги не стареют, именно последние годы снова в этом убеждают, и все же мне хотелось бы, чтобы русские читатели могли включаться во всемирные духовные диалоги без длительных опозданий.

Застряла в голове фраза, не дает покоя: «Пушки вместо масла — это народы уже пробовали. А свобода вместо масла — это очень опасно».

Как выдержать человеку с его отмеренными сроками жизни водопад страшной, правдивой информации в сочетании с тем, что изменения в экономике, в повседневной жизни так медленны. Сколько написано о терпении, как одной из главных добродетелей русского народа! Наверно, слишком долго испытывалась добродетель. Сегодня в московском воздухе разлито лихорадочное нетерпение: успеть. Успеть сегодня высказаться, опубликоваться, поехать за границу. Кто знает, что будет завтра?

Вернулась в Германию, когда заканчивалась книжная ярмарка во Франкфурте. Премия мира Книжной палаты на этот раз вручалась Зигфриду Ленцу. Успела передать ему привет от одного из советских поклонников его книг — заместителя редактора «Дружбы народов» Тер-Акопяна. Порадовалась тому, что у книги А. Приставкина «Ночевала тучка золотая...» сейчас уже много благодарных немецких читателей.

В Кёльне был вечер Фазиля Искандера, потом сидели у нас дома, как прежде часто сидели на Красноармейской. На следующий день Искандер выступал во Франкфурте. И там и в Кёльне немецкие слушатели смеялись, слушая отрывки из «Сандро», смеялись в тех же местах, где и мы. Вместе смеемся, укрепляется надежда — можно понять друг друга.

...Прокручиваются отрывочные картинки: прилавок, где можно свободно купить сахар... Лозунги на стене — в зале идет дискуссия о правовом государстве: «Социализму — да! Сталинизму — нет!». Вся власть Советам!»... Трехэтажная комиссионка, где одинаково трудно купить то, что тебе нужно, и продать то, что тебе не нужно... Улицы моего детства — старое название осталось только у Столешникова переулка... Родные московские кухни...

Рассказываю немецким друзьям о том, что видела, что испытала дома. Продолжаю жить между двумя мирами, что приносило и приносит боль, но и радость тоже.

...5 сентября 1988 года. Все пассажиры с рейса Франкфурт — Москва уже прошли, встречавшие меня не могут понять, почему я застряла. Почти час простояла в очереди к тому окошку, над которым большая надпись по-русски и по-английски. «Для советских граждан». Почему я стояла в той очереди? Ошалела от того, что действительно прилетела? Фрейд? Не знаю.

12 ноября 1980 года мы улетали в Германию по приглашению Генриха Бёлля. И вовне и внутри царило черное затмение — хоть и на год, хоть и с обратными билетами. «В последний раз» — так стучало, когда глядела на родные лица.

Расставаться было и на этот раз печально. Но расставалась с надеждой на новые встречи. Хватило бы жизни.

Ноябрь 1988 года

Антирубрика

ГРЮШИ

и другие безнитратные предлагает

натуральные продукты фирма

Спайк Миллиган и К°

От переводчика

Читать предисловие к юмористическим стихам — все равно что есть бланманже с вареной репой. Однако, учитывая любознательность нынешнего читателя, некоторые Основополагающие Сведения я сообщить должен. Спайк Миллиган (тогда еще не Спайк, а просто Теренс Алан) родился в 1918 году в Индии, в семье военнослужащего, учился в монастырских школах (вот откуда смирение!) в Пуне и Рангуне, а затем в Лондонском политехническом институте. Был на войне артиллеристом, воевал в Алжире и в Тунисе (вот откуда меткость!). Написал множество радио, теле- и киносценариев, пьес, юмористических книг для детей и взрослых, а также замечательную трилогию воспоминаний об армейской службе — откровенную и уморительно смешную.

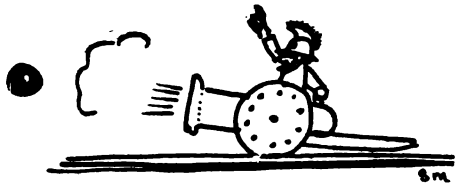
Миллиган — большой любитель «немного пошалить», изобретательность его неистощима, она выплескивается даже на обложки книг: он всё — пародист, эксцентрик, анархист, мистификатор. Но мы-то смотрим со своей колокольни. У нас чудак — бунтарь, потрясатель основ, а в Англии наоборот — консерватор, поддерживатель старой доброй традиции чудачества, идущей чуть ли не от Великой хартии вольностей — Magna Charta Libertatum.

И притом британец свято верит, что юмор укрепляет в человеке жизнестойкость и здравый смысл. «Если бы они были живы сегодня,— пишет Миллиган о своих друзьях, погибших в Африке,— они первые бы расхохотались, и эта смешливость, я уверен, была залогом победы».

Миллиган и в своих стихах — отставной пушкарь. Удачная шутка — снаряд, летящий в цель; но если корявая острота заклинит ствол, снаряд разорвется внутри пушки, и тут уж автору не поздоровится.

Стихи, основанные на каламбуре, на игре, переводить «в лоб» невозможно. Я воспринял фантазии Миллигана, как приглашение к барьеру, точнее (учитывая расстояние между языками и культурами) — к артиллерийской дуэли. Он в меня треуголкой, я в него ушанкой, он в меня Блейком, я в него Пушкиным... Победить, конечно, не удалось, но отстреливался я до последнего.

Г. КРУЖКОВ



Чашка по-английски

— Как вы зоветесь
По-английски? —
Спросил у Чашки
Мудрый Краб.
В ответ,
Поклон отвесив низкий,
Сказала Чашка:
— Кап,
кап,
кап!

Рифмы

ЯЙЦО рифмуется с ЛИЦОМ,
И это неспроста:
В них много, много общего,
К примеру, круглота.

И если курочка горда
Сияющим яйцом,
Она взлетает на крыльцо
С сияющим лицом.

Рифмуются КОМПОТ и КОТ,
И ЭТО НЕ СЛУЧАЙНО:
В компоте спрятан сухофрукт,
В котах сокрыта тайна.

Но все же очень вас прошу,
Чтоб избежать промашки,
В КАСТРЮЛЯХ НЕ ДЕРЖАТЬ КОТОВ,
НЕ РАЗЛИВАТЬ ИХ В ЧАШКИ!

Да, кстати, надо уделить
Внимание и КОШКАМ:
Хотя они на первый взгляд
Рифмуются с ОКОШКОМ,

НЕ НАДО КОШКУ ПРОТИРАТЬ
ДО БЛЕСКА МОКРОЙ ТРЯПКОЙ!
Она умоется сама
Язычком и лапкой.

Грюши

Вы когда-нибудь
Ели грюши?
Нет, не груши,
А именно грюши?
Это истинный деликатес!
Грюши с виду
Длиннее и уже,
Но не хуже,
Чем груши дюшес.
Тот, кто кюшал когда-нибудь
Грюши,
Никогда не забудет -
Их вкюс.
Я поставлю пятерку им
С плюсом
И добавлю
Еще один плюс!
Эти грюши
Выращивать трюдно,
Нужен тонкий
И тщательный
Трюд.
Но зато
Удивительно людно
На базарах,
Где их продают.

Плохой табель — зато хорошие манеры

«Твой табель плох,— сказал отец.—
Он очень плох, сынок!» —
«О, не брани меня, отец,
Я сделал все, что мог».

«Но ты — последний ученик,
Ты кончил хуже всех!» —
«Я пропускал других вперед,
А вежливость — не грех».

Геройские стихи у двери в зубной кабинет

Отмщенье, отмщенье — зубным докторам!
И нет им прощения в мире!
Их длинным иголкам, их гнутым щипцам,
Их гнусным «откройте пошире»!

Их пыточным креслам, их жутким речам
О кариесе и пульпите!
Отмщенье, отмщенье — зубным палачам
С их подлым «чуть-чуть потерпите»!

Их сверлам, жужжащим, как злая оса,
От бешеного вращенья,
Их ваткам, их лампам, слепящим глаза,—
Отмщенье, отмщенье, отмщенье!

© Spike Milligan Productions, 1981

В ней что-то есть!

Сестре Лауре — восемь лет,
А мне пока что пять.
Ей ничего не стоит
Шутя меня поднять.
А я пытался столько раз —
И раз, и два, и три!
Но в ней, наверно, что-то есть
Тяжелое внутри.

Лебедь

Вот лебедь скользит, под мостом проплывая:
Так много дешевле, чем ехать в трамвае.
Приятно
Бесплатно
Скользить по теченью;
Но вот неприятно
Одно, к сожаленью:
Ногам его — мокро,
Животику — тоже.
Нет! Лучше — трамваем,
Хотя и дороже.

Мульмуля

Я вышел прогуляться,
  Но
У входа в магазин
Мне встретился Мульмуля
  И
Доверчиво спросил:

— Сниддл-ти и сниддл-ту,
Ники-наки-э,
Тили-пули-уруру,
Дики-даки-де?

Я ничего не понял,
  Но
Чтоб не попасть впросак,
Я стал на четвереньки
  И
Ему ответил так:

— Куиддл-иддл-иддл,
Гуав-гав-гав, ку-ку!
Биддл-иддл, твяк! твяк!
Гика-мика-у!

Он улыбнулся кротко,
  Но
Слегка позеленел,
Ушами пораскинул
  И
Тихонечко пропел:

— Сниддл-ти и сниддл-ту,
Ники-наки-тям,
Мяка-умарака-фу!
Били-сили-сям.

Тогда-то я все понял,
  Но,
Признаться, не вполне.
Быть может, вы поймете
  И
Переведете мне,
Что это значит — сниддл-ту
И ники-наки-тям,
Что значит умарака-фу
И били-сили-сям?

Сниддл-ти и сниддл-ту,
Ники-наки-тям,
Мяка-умарака-фу!
Били-сили-сям!

Молодец, собачка!

У моих соседей — собачонка,
За стеной все время гав-гав-гав,
Говорят, французская болонка,
Стало быть, мадам де Гав-гав-гав.

Было время, я любил собачек,
Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав,
А теперь люблю я слушать скрипку
Вперемешку с гав-гав-гав-гав-гав.

Заведу пластинку Паганини
Вечерком, устав от гав-гав-гав,
Лягу на диван, глаза закрою —
За стеною гав-гав-гав-гав-гав.

Восемь тактов — скрипки и габои,
Восемь тактов — гав-гав-гав-гав-гав,
Десять тактов — арфы, остальное —
Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав.

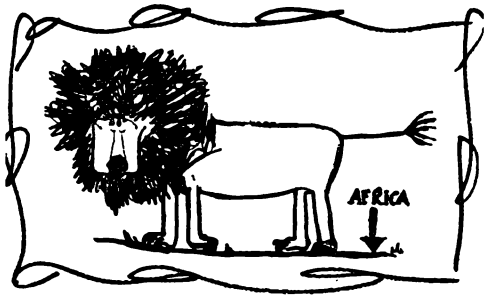
Ничего! Куплю я сенбернара,
Рослого и мощного, как шкаф,
Он такое РРЯВ соседям скажет,
Что замолкнет сразу гав-гав-гав.

Ошибка

В пустыне, чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Лев, проходя на водопой,
Съел по ошибке почтальона.

И что же? Он теперь грустит,
Грустит несчастный и скучает:
Хотя он очень, очень сыт,
Но писем он не получает.

Рисунки автора



Бой при Ватерлоо

Наполеон простужен был
В бою при Ватерлоо:
Вот почему в последний час
Ему не повезлоо.

Он мог бы въехать на коне
Под Триумфальну Арку!
Но насморк подкузьмил его,
И все пошло насмарку.

Мог победить Наполеон,
Когда бы не форсил
И вместо треуголки
Ушанку бы носил.

Не пил бы он воды сырой,
Оделся бы теплоо —
И никогда б не проиграл
Тот бой при Ватерлоо!

Старичок и червячок

— О, сколь ты счастлив,
Червячок! —
Сказал печальный
Старичок.—
Я мерзну,
Несмотря на лето,
Хоть семь рубах
На мне надето.
А ты гуляешь
Без галош
И ни разочка
Не чихнешь.
Весь день копаясь
В мокрой глине,
Ты и не слышал
Об ангине,
С ветеринаром
Не знаком;
Все ползаешь себе
Ползком;
Захочешь —
В луже искупался,
Захочешь —
В землю закопался
И выкопался
Через час...
Сколь судьбы разные
У нас!

Старая сказка

Садитесь в кружок, ребятишки!
До ужина есть полчаса.
Сейчас расскажу я вам сказку
Про рыцарей и чудеса.
Начну помаленьку сначала
И так доведу до конца.
Прекрасная старая сказка!
Я слышал ее от отца.
А может быть, даже от тети —
От тетушки Полли... Ах, нет!
От тетушкиного соседа
По имени, кажется, Фред.
Ну, Фред или Майкл — не важно,
Но помню, любил он собак
И трубку курил за обедом.
Как жаль, что он умер... Итак,
Послушайте, что мне когда-то
Рассказывал дядюшка Ник,
Владелец красавца бульдога
По прозвищу Джой Баловник —
Большого такого бульдога:
Во — пасть! А губа! А клыки!
И жили они в Нотинг-Хиле...
Нет, в Челси, у самой реки.
Еще у него была дочка,
Учившаяся рисовать.
Бедняжка, она утонула!..
Так что я хотел рассказать?
Ах, да! Расскажу я вам сказку,
Которую в детстве... Ах, нет!
Я вспомнил, как звали соседа:
Ручаюсь, что именно Тэд.
И вовсе не дочка тонула,
А сын у него, но как раз
Река от жары обмелела,
И мельник несчастного спас.
Так вот, этот дядюшка Джонин
Когда-то рассказывал мне
Чудесную старую сказку:
Жил некогда в дальней стране...
Так как же она начиналась,
Та старая сказка? Ах, да!
Такой замечательной сказки
Не слышали вы никогда.
Ее можно слушать и слушать,
Хоть десять, хоть сто раз подряд.
Жил-был в стародавнее время...
О боже! Они уже спят.

■

Критика

СОВЕТСКАЯ ПРОЗА В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

Глазами писателей Запада

Составление и послесловие М. ЛАНДОРА

ГАБРИЭЛА МИСТРАЛЬ

Из статьи памяти Горького (1936) *

Рассказы Горького отличаются столь же быстрым темпом, в каком проходила его жизнь в молодые годы, и сжатостью сюжетов, напоминающей фольклор. Они так насыщены, что каждый рассказ кажется зародышем большого романа, и в большинстве своем это именно тот тип рассказов, который нравится народу, не имеющему времени вникать в долгие и нудные рассуждения. Вспоминаю, какой успех мне приносило их чтение мексиканским крестьянам.

Литература эта, чуждая проповедничества и каких-либо прямых выпадов, обрела, однако, в старой России революционное значение. Но не следует думать, будто Горький умышленно и хитро старался разжечь негодование масс, этого инертного материала. Нет, он просто рассказывал о том, как живет большинство русских людей. Снова и снова потайной фонарь искусства шарил по темным норам, проникал в подвалы домов, в трюмы пароходов, в грязные мастерские, высвечивал то одно, то другое, чтобы лучше разглядеть и по возвращении из ночного похода представить пеструю панораму ужасающей действительности [...]

С именем Горького для людей нашего поколения — не правда ли, Мануэль Рохас? — связана наша молодость и, возможно, все самое благородное, что было в наших юных сердцах. Мы по праву можем назвать его одним из «творцов нашей души», ибо он отдал нам лучшее, что было в нем, дабы подкрепить лучшее, что было в нас.

Он подарил нам выжженную солнцем и скованную морозом степь, он погрузил нас в бездны русской души, расширив пределы нашей души потрясающим «Фомой Гордеевым»; он представил нам громаду Революции, воплощенную в светлом образе Матери, женщины из народа, так похожей на нашу, креольскую, мать; он обнажил перед нами зловонную нищету мира, чтобы мы возненавидели ее на всю жизнь, и научил нас отвращению к сладкой жизни благоденствующих, которые не способны в свежем ночном воздухе различать запахи больниц, тюрем и вертепов, где мы с сатанинским лицемерием «избавляясь от грехов», содержим плоть от плоти своей; вспоминая себя самого, он рассказал нам о детях из народа, чтобы обжечь нашу душу бурлящим кипятком сострадания, которое будет нас терзать, будет причинять нам боль и муки, пока мы не решим проблему детства. И в каждой из своих историй, пронизанных лиризмом, он питал нас поэзией земли, моря, вольного воздуха. Язык его поражал новизною, рука — щедростью; так много он поведал нам, так много роздал, так много сердец согрел во времена, когда требовалось накормить и напоить тех, у кого на столе не было и крошки.

Вот почему его кончина потрясла нас, как смерть истинно родного человека, и монгольское его лицо на страницах иллюстрированных журналов... приковывает наш взгляд, как если бы то был портрет кубинца Марти или аргентинца Сармьенто.

Перевод с испанского Е. ЛЫСЕНКО

АЛЬБЕР КАМЮ

Литература и труд

Письмо главному редактору рабочего журнала (1954) *

Должен с самого начала сказать, что я не думаю, будто существует какая-то особая рабочая литература. Может существовать литература, созданная рабочими, но если это хорошая литература, она от большой литературы не отличается. Зато я думаю, что трудящиеся могут вернуть нынешней литературе нечто такое, что она, как мне кажется, в значительной мере утратила. Поясню свою мысль. Можно, к примеру, считать Горького одним из самых замечательных представителей рабочей литературы. Но для меня нет существенной разницы между его книгами и книгами крупного помещика Толстого. Напро-

* Albert Camus. Essais. Paris, 1965.

* Перевод сделан по тексту, приведенному в книге: V. Teitelboim. El corazón escrito Moscú, 1986.

тив, я люблю их обоих — и главным образом по одной и той же причине: языком простым и в то же время прекрасным они говорят о самом главном в человеческом сердце, о его радости и страдании. И есть, напротив, огромная разница между Толстым и таким большим мастером, как Жид, писателем буржуазного происхождения. Из них двоих крупный помещик, именно он-то и пишет — в присущей ему манере — для народа и живет жизнью народа.

Оба, Толстой и Горький, довольно точно определяют то, что я понимаю под литературой; вы можете, если хотите, называть ее рабочей литературой, я же, за неимением более подходящего слова, назову литературой настоящей. В этом искусстве могут слиться воедино самое простодушное сердце и самый изысканный вкус. И, честно говоря, если чего-то не хватает, все равновесие рушится [...]

Рискуя в свой черед быть назойливым, все же еще раз повторю свою мысль. Я ратую не за журнал, наводящий на читателя скуку, и не за то, чтобы ваши сотрудники в своих писаниях отставляли манерно мизинчик. Положительные примеры, на которые я сошлюсь,— не Жид, не Клодель, не Жуандо. Нет, я говорю о литературе, вершины которой отмечены рассказами Толстого и которая является тем скрещеньем путей, где художники и трудящиеся предстают перед нами в едином лице,— Валлес, Даби, Пуляйль, Гийу (вы читали его «Товарищей», этот бесспорный шедевр?). Истрати, Горький, Роже Мартен дю Гар пишут без того, чтобы манерно отставлять в сторону мизинчик, и говорят, обращаясь ко всем — и с той правдивостью, которую почти полностью утратила буржуазная литература и которую, на мой взгляд, мир трудящихся сохранил почти нетронутой.

Перевод с французского МОРИСА ВАКСМАХЕРА

ИТАЛО КАЛЬВИНО

Из предисловия к книге «Тропа паучьих гнезд» * (1964)

Литературные впечатления и жизненный опыт — это не два разных мира, а один. Чтобы истолковать какой бы то ни было опыт жизни, нужно прочесть определенные книги, и прочитанное сливается воедино с пережитым. Книги всегда рождаются из других книг: эта истина лишь с первого взгляда противоречит другой: что литературу порождает повседневная жизнь и отношения между людьми. Как только кончилось наше партизанское житье, мы прочли (сначала в отрывках, опубликованных в разных журналах, потом целиком) роман о войне в Испании, написанный Хемингуэем за шесть-семь лет до этого: «По ком звонит колокол». Это была первая книга, в которой мы узнали самих себя, именно тогда мы начали превращать в сюжетные ходы и во фразы то, что увидели, почувствовали, пережили, отряд Пабло и Пилар был нашим отрядом. (Теперь эта вещь у Хемингуэя нравится мне даже меньше остальных: ведь и в то время я уже постигал по другим его книгам, особенно по ранним рассказам, подлинное мастерство стилиста, и Хемингуэй с тех пор стал нашим любимым автором.)

Тогда нас интересовала литература, которая могла передать впечатления от бурлящих людских масс, жестокости, первозданной природы. Русских писателей времен гражданской войны, когда советская литература еще не успела стать приглаженной и лубочной, мы воспринимали как наших современников. Особенно Бабеля: мы прочли его «Конармию», переведенную в Италии еще до войны, одну из первых по реализму книг нашего столетия, показавшую отношение интеллигента к революционному насилию.

Это также сумел показать, хоть и на менее высоком уровне, Фадеев (до того, как стать чиновником при официальной советской литературе): свою первую книгу «Разгром» он написал с большой искренностью и силой (не помню, читал ли я ее до того, как написал свой роман, и не хочу проверять, суть не в этом, сходные ситуации порождают книги, сходные по композиции и по духу). Фадеев сумел кончить так же хорошо, как начал, ведь он был единственным сталинским писателем, сумевшим в 1956 году показать, что он осознает всю глубину трагедии, соучастником которой был (трагедии, стоившей жизни Бабелю и многим другим подлинно революционным писателям), и, не прибегая к лицемерным ответным нападкам, принять более суровое решение: пустить себе пулю в лоб.

Эта литература стоит у истоков «Тропы паучьих гнезд».

Перевод с итальянского Н. КУЛИШ

ВИКТОР СОДЕН ПРИТЧЕТТ

В ожидании будущего (1971)

«Белая гвардия» Михаила Булгакова. Перевод Майкла Гленни *

Булгаков принадлежит к плеяде выдающихся и несчастливых писателей — в нее входят еще Олеша, Ильф и Петров, Зощенко,— которые сатирически изображали новое советское общество и в итоге почти все исчезли в 30-е годы. Рожденный в 1891 году, он ослеп и умер в 1940-м. Его сборник рассказов и роман «Белая гвардия» пользовались определенным успехом; в 1929 году его звезда изменила ему. Он работал в Московском Художественном театре, но со Станиславским отношения не сложились. Ему разрешили сделать инсценировки «Дон Кихота» и «Мертвых душ» — я полагаюсь на монографию Элен Мучник «Русские писатели»,— но его имя связано с «Мастером и Маргаритой» и «Собачьим сердцем», которые он вынужден

* Italo Calvino. Il sentiero dei nidi di ragno. Nuova edizione con una prefazione dell'autore. Torino, 1964.

* New Statesman, 5 Febr., 1971.

был писать в стол. Они появились в английском переводе в 1967 и 1968 годах. Он оставил массу неопубликованных рукописей. Его постигла обычная по тому времени судьба: политиканы нового государства не могли стерпеть сатирической или юмористической критики; фантазия Булгакова им не нравилась, и у них оказалось достаточно власти, чтобы удушить его опасные мысли.

«Белая гвардия» уцелела, так как Булгаков написал по роману полюбившуюся зрителю пьесу, посвященную Киеву накануне революции,— «Дни Турбиных». В романе немцы готовятся бежать из Киева, обстановка на Украине непростая: тут орудуют банды Петлюры; город переполнен беженцами-богачами из Москвы, которые делают ставку на то, чтобы свергнуть большевиков, но на одной из станций неподалеку от города первый бронепоезд большевиков ждет своего часа. Молодые Турбины, люди состоятельные, живущие размеренной жизнью, с милыми, трогательными привычками, сразу же испытывают на себе результаты революционного хаоса. Самое сильное в романе — живая, убедительная картина города, охваченного слухами и страхом, образ города — он предстает перед нами точно одушевленное существо, он подлинный герой романа. Булгаков, начинавший как журналист, был мятущимся, мучающимся художником и поэтом. Он знал о городах один секрет: это места знакомых улиц, коротких путешествий — каждая страница романа с особым русским даром повествует одновременно о том, что на этих улицах случилось, и о том, что испытал каждый. Тут и ощущение безвременности — дни и ночи проплывают сквозь жизнь героев, как река,— и напирающего, неотложного часа: смысл жизни в том, чтобы оттадать свою тропу средь драм, которые и сами по себе загадка. Способность отступить от писательского драматического времени и войти в совсем другое время, не подвластное логике, в котором мы постигаем, что же такое жизнь,— сердцевина таланта Булгакова. Этой способностью обладали и кое-кто еще из его современников, покуда не вступила в свои права идеология и не установила свой регламент.

Герои Булгакова всегда так живы оттого, что предстают перед нами непременно в действии. Каждый тут — накладывает ли он жгут на рану, спасается ли от преследования, похрапывает на диване, готовится вместе со всеми к обороне города, покупает у крестьянки молоко втридорога — чем-то занят. Молодой человек, преследуемый ночью, как он думает, убийцами, и не подозревает, что он выстрелом уложил одного из своих преследователей: сколь великолепно эта сцена создает цепенящее чувство ужаса! Булгаков обладает, как и многие нынче, особым талантом; в его прозе изящный скупой реализм внезапно оборачивается кипучей фантазией — в «Мастере и Маргарите», поднимающейся до философских высот, но выберите наугад любую деталь, и вы убедитесь, что фантастическое как говорится, укоренено в быте. Русаков, кающийся сифилитик, пьяный бредет по улице и убеждает умницу Шполянского, которого вечно обвиняют в сходстве с Евгением Онегиным, что он самый сильный человек в этом городе:

«— В тебе нет благородной червоточины, которая могла бы сделать тебя действительно выдающимся человеком наших дней... Ты слишком здоров, но ты силен, как винт, поэтому винтись туда!.. Винтись ввысь!.. Вот так...

И сифилитик показал, как нужно это делать. Обхватив фонарь, он действительно винтился возле него, став каким-то образом длинным и тонким, как уж. Проходили проститутки мимо, в зеленых, красных, черных и белых шапочках, красивые, как куклы, и весело бормотали винту:

— Занюхался, т-твою мать?

Очень далеко стреляли пушки, и Михаил Семеныч действительно походил на Онегина под снегом, летящим в электрическом свете.

— Иди спать,— говорил он винту-сифилитику, немного отворачивая лицо, чтобы тот не кашлянул на него.— Иди.— Он толкал концами пальцев козье пальто в грудь».

Старый Киев в романе — чарующий, продажный и тревожный. Общее впечатление от произведения — несмотря на уродства, боль и ужас — перед нами образ мечты. Что станется с Турбиными? Несколько дней мы не расстаемся с ними, мы узнаем, чем они живут, а потом, когда они исчезнут из нашего поля зрения, мы с неизменным теплом будем вспоминать об этих днях. Это впечатление вызвано всей образной системой Булгакова и усилено последней главой, торжественно завершающей лейтмотив романа. Это роман об ожидании — ожидании, когда история, будущее о себе объявят: для того тут и бронепоезд на подходах к городу с разведенными парами, обещающий подлинную революцию. Если Булгаков не просто репортер событий, как пишет Элен Мучник, так это оттого, что его больше интересует человек мечты, чем человек дела, и если Турбины для нас подлинно существуют, это оттого, что писатель без дидактики и излишней драматизации, показывает нам, ради чего они жили — хорошо ли, плохо ли, как уж умели. Я говорю «мечта», ибо тут причина его конфликта с властями: вера в превосходство видения художника. Вероятно, этот принцип подачи материала в чисто репортерском духе в «Белой гвардии» и сделанной по роману пьесе его в данном случае и спас.

Подход хирурга (1975)

«Записки юного врача» Михаила Булгакова. Перевод Майкла Гленни *

Врачебная практика в юности для многих писателей послужила импульсом к творчеству; это очень легко понять. Они были свободны от давления литературной традиции, подобный род занятий приучил их к объективности. «Материал» ждет их каждый день в кабинете врача; люди предстают перед ними без одежд, нагими и беззащитными, испуганными или притворяющимися больными, потерявшими стыд или сломленными судьбой. Что же происходит, когда врач делается рассказчиком?

* New Statesman, 20 June, 1975.

Большинство становятся обычными повествователями анекдотических случаев, не многие достигают уровня Чехова. Врачебная практика стала для него ключом к куда более серьезным исследованиям, чем случаи физического недомогания; он отличается от других великих писателей своими взглядами на искусство и общество, независимостью от дидактической традиции русской литературы. Он не раздвоился, как иные врачи-писатели, когда взялся за перо.

М. Булгаков (1891—1940), напротив, судя по всему, изменился. Он стал известен в период нэпа как автор фантастических произведений, мастер гротеска и сатиры в той обстановке волнения и брожения, которая недолго царила после гражданской войны. Описывая это дикое время, он был одним из нескольких выдающихся, пишущих без прикрас реалистов, поднявшихся в своем творчестве до эпической высоты. Но между 1925 и 1926 годами он писал о своей молодости, когда был доктором на Смоленщине, куда его послали в 1916 году. Записки эти публиковались в журналах, а отдельной книжкой были изданы лишь недавно. Они повествуют о мрачном, нервном юноше, который обнаруживает, что русского крестьянина от интеллигенции отделяет пятивековой водораздел. Керосиновые лампы в его маленькой уездной больнице кажутся ему одиноким маяком, символизирующим борьбу света с темнотой. Нельзя сказать, что в больницах не было медицинского оборудования: место, куда его направили по получении диплома — хотя у него не было никакой врачебной практики,— оказалось довольно сносным, но края были глухие, никудышные дороги делали их почти недосягаемыми.

Нагрузка, которая ложилась на плечи неопытного юного врача, работавшего по существу в одиночку, месяцами находившегося в нервном напряжении, была любому не под силу. Многие оказывались сломленными, о такой судьбе мы читаем в одном из самых ярких рассказов. Это дневник доктора, пристрастившегося к морфию, он с горькой педантичностью ведет запись истории своей болезни. Писатель-литератор с легкостью впал бы в дешевый, эффектный драматизм, но Булгаков просто сделал жертву наблюдателем своей истории болезни и тем самым психологическая истина предстает в двойном фокусе. Мне никогда не доводилось читать столь убедительного описания наркомании, талант Булгакова придал этому случаю жизненную достоверность. Интересно, что поздний, причудливый, не знающий границ Булгаков умел быть столь точным и лаконичным.

Булгаков — и его пациенты — выстояли в мрачные времена 1918 года в своей глухомани благодаря мужеству юноши, преодолевшему силой воли свои страхи. Он приехал туда, вооруженный лишь знаниями, почерпнутыми из учебника, боялся, что выглядит из-за своей молодости смешным. Почти сразу же по приезде ему пришлось ампутировать ногу покалеченной девочке. Должно быть, он действительно был хорошим учеником, потому что он спас девочке жизнь с помощью учебника. Но главное, что спасало его самого,— сознание, что его воля направит его, будто в нем живет еще кто-то другой, направит по нужному пути, когда ужас и отвращение ко всему наваливались на него. Суровая природа — бури, метели, бураны, оторванность от мира в распутицу (однажды, когда он возвращался от умирающего больного, за ним гналась волчья стая, лошадей будто сковал страх) — делает борьбу за существование еще более трудной. Таким образом, эти неприхотливые, но чрезвычайно талантливые записки выигрывают еще оттого, что составляют повествование о мужании юноши. Читатель убеждается, что Булгаков стал романистом не оттого, что располагает материалом, а оттого, что накопил в душе недюжинные силы. Записки помогают понять, как сатирические романы, гротески и фантазии Булгакова стали протестом против меланхолии и утраты индивидуальности советскими гражданами. Что сталось с Булгаковым, когда краткий миг свободы творчества кончился, не знаю: в те годы расцвели сатира и воображение, гоголевские свойства таланта. Времен, подобных тем, когда Союз советских писателей еще не показал зубы, с тех пор, в сущности, и не бывало. Предисловие к «Запискам юного врача» мистера Гленни и его перевод — дело прекрасное, но хотелось бы продолжить знакомство с писателем.

Перевод с английского А. НИКОЛАЕВСКОЙ

АЛЬБЕРТО МОРАВИА

Встреча с Пастернаком: седой юноша (1958) *

Несколько месяцев назад миланским издательством «Фельтринелли» в Италии опубликован «Доктор Живаго». Пастернак работал над романом много лет. На семистах страницах рассказывает он долгую историю жизни главного героя, именем которого названа книга,— от начала века примерно до 1929 года, когда тот умирает. Итак, это произведение охватывает роковое тридцатилетие важнейших событий в истории России: неудавшуюся революцию 1905-го, первую мировую войну, революцию 1917 года, гражданскую войну, голод, нэп, укрепление коммунистической диктатуры.

«Доктор Живаго» — роман исторический в той же мере, что «Война и мир»; повествуя о жизни героя, Пастернак описывает не частные факты, сдобренные историческими привязками, а впрямую и без конца противопоставляет его неуклонному развитию истории. Разумеется, у доктора Живаго свои чаяния, надежды, любовные муки, привязанности, но перипетии его собственной судьбы возникают и обрываются в прямой зависимости от хода истории. Кроме того (так же было с «Войной и миром»), многие невзгоды, пережитые героями Пастернака, большинство русских людей действительно пережили между 1900 и 1930 годами.

Кто же он, доктор Живаго? Образ автобиографичен, это своего рода персонифи-

* Preuves, Juin, 1958, № 88.

цированная попытка осознания обстоятельств однако характер героя, которому Пастернак придал лучшие из своих черт, обрисован не слишком четко. Врач, поэт и мыслитель, Живаго — человек незаурядный, он отнюдь не частица толпы, но человек в высшей степени исключительный, с огромным интеллектуальным и нравственным потенциалом. Таким образом, роман оказывается историей отношений интеллигента к революции, или, если угодно, личности — в лучшем, верховном смысле слова — к общественным событиям, вовлекающим ее в свое русло и переламывающим ей хребет. Правда, следует отметить, что в «Докторе Живаго» История дана с жестокой реалистичностью (в этом откровенно признавался и сам автор), наперекор бурному течению и бессмыслице отдельных происшествий, тогда как главный герой олицетворяет, вопреки всей ясности и силе его ума, неотъемлемую — и на свой лад позитивную — иррациональность человеческих чувств, противостоящую бесчеловечной рациональности Истории. Здесь мы приходим к определенному пересмотру иррациональности, которая с этой точки зрения воплощает уже не инстинкт, не грубую, примитивную силу, как раньше, а собственное мнение независимой личности.

Впрочем, весь роман построен на противопоставлении Истории — Природе, Истории — Человеку; центральные (и прекраснейшие) главы книги, завершающие повествование, рассказывают о любви Живаго и Лары, любви, оборванной и уничтоженной именно Историей, иначе говоря — революцией. Признаюсь, что, читая роман, я не раз вспоминал свою беседу с автором. Живаго — поэт, подобно Есенину и Маяковскому; его жизнь, полная превратностей и страшной невнятицы, тоже кончается чем-то вроде самоубийства: Живаго оставляет медицину и поэзию, погружается в растительное существование и совершенно опускается. Причины этого самоубийства неясны — как и у Есенина, у Маяковского. Но дело, видимо, в предельной косности общества сталинских времен: доктор Живаго не может принять ее сердцем и не в силах отвергнуть ее разумом. Что бы там ни было, автор не захотел придавать смерти своего героя символическое значение. Живаго — человек, действительно облеченный плотью и кровью, и в его злоключениях нет ничего ирреального. Может быть, это и подчеркивает всеобщность такой судьбы.

В тот вечер, когда я был у Пастернака, мы говорили о литературе, и я не без удивления обнаружил, что он не читал ни Кафки ни Пруста [1], ни других авторов, в последние сорок лет изменивших облик европейской литературы. Поразмыслив, я решил, что подобное неведение вполне объяснимо; ведь это всего одна, и не самая значительная, примета абсолютного разрыва марксистской России с «загнивающим» Западом. Вот почему в Советском Союзе в области искусства и культуры все замерло где-то на уровне 1913 года; если даже поступательное движение имело место, оно лишь исчерпало до дна эстетические течения, возникшие до первой мировой войны.

Мы не собираемся высказывать сейчас о «Докторе Живаго» суждений, основанных на упомянутом факте разделения России и Запада; хотелось бы только уточнить следующее. Нам кажется, что роман почти целиком вписывается в традицию русской прозы, ибо создан без малейшей оглядки или опоры на современную западную литературу.

В России, по собственному признанию советских критиков, большую прозу образуют два главных течения: первое, классическое по существу, с объективной оценкой событий, берет начало в творчестве Пушкина и через Толстого выходит к Чехову; родоначальник второго — романтического и экспрессионистского,— Гоголь, на смену которому приходит Достоевский и прочие писатели этого склада. Роман Пастернака скорее относится к первому течению, хотя бы по манере повествования. Крайняя непринужденность и даже ирония при введении старых добрых приемов узнавания и Deus ex machina, когда в нужный момент герои являются по воле провидения или происходят самые невероятные встречи, весьма напоминают метод Пушкина, близкий еще канонам XVIII века. Напротив, изящные силуэты второстепенных персонажей (видимых словно бы в окуляр перевернутой подзорной трубы на широком историческом фоне), отрешенная и тихая безмятежность рассказчика, грандиозное изображение народной души (с явственно проступающими там и тут всплесками людских чувств), естественность большинства образов (прежде других — самого Живаго и особенно его возлюбленной), типичных для среднего класса России накануне революции и во время нее,— все это вызывает в памяти атмосферу чеховских рассказов и пьес. Влияние же западной прозы, как мы уже заметили, практически равно нулю, возможностей знакомства с ней почти не было; исключение составляют, вероятно, книги Томаса Манна которые Пастернак читал (и не без пользы для себя), но извлеченные им уроки во всяком случае подтверждают относительную традиционность романа.

Пастернак — величайший из ныне живущих русских поэтов; в его поэзии — сколько можно судить по переводам — поиск собственного языка, характерный для европейского и русского авангарда до 1914 года, сочетается с небывало свежей и обновленной манерой восприятия действительности. Помимо того, Пастернак — мыслитель, в показе любой, пусть самой банальной действительности затрагивающий крупные темы культурного и идеологического порядка.

Своеобразие романа заключается в том, что поэт и носитель культуры незримо, но въяве присутствуют на его страницах, поочередно беря верх над романистом, даже когда тот рассказывает о современности. Поэту мы обязаны лиричностью и вместе с тем прерывистым, рубленым ритмом повествования, состоящего из коротких главок и похожего на разметку мизансцен

[1] Руге, посетивший Пастернака через несколько месяцев после Альберто Моравиа, узнал, что русский поэт погружен в чтение Пруста и собирается приняться за Кафку. *(Примечание редакции «Прёв».)*

спектакля, смутной символичностью множества деталей и особенно описаниями природы, пейзажами, равно как и аллюзиями на исторические факты, всегда изображаемые косвенно, через призму человеческих поступков, уклончиво и поэтично. Носитель культуры в свой черед открывает нам иной пласт романа, аналитический и идеологический, никогда не выпячиваемый на первый план, но, без сомнения, реальный; нередко автор устами своих персонажей открыто говорит о проблемах историко-религиозных, размышляет над ними.

Нравоучение, проистекающее из поэтичной биографии интеллектуала в революционную эпоху, как нам кажется, резюмировано трагизмом и иронией судьбы подкидыша — дочери Живаго и его возлюбленной. Лара, родившаяся в культурной и обеспеченной семье с прочным положением в обществе, ввергнута в хаос тех страшных лет и доведена до предела, до животного состояния существа, сползшего на последнюю ступеньку социальной лестницы. О доле Таньки Безочередевой («безотчей») — сироты, беспризорной, а потом бельевщицы — один из героев книги думает вот что: «Так было уже несколько раз в истории. Задуманное идеально, возвышенно — грубело, овеществлялось. Так Греция стала Римом, так русское просвещение стало русской революцией. Возьми ты это блоковское «Мы, дети страшных лет России» и сразу увидишь различие эпох. Когда Блок говорил это, это надо было понимать в переносном смысле, фигурально. И дети были не дети, а сыны, детища, интеллигенция, и страхи были не страшны, а провиденциальны, апокалиптичны, а это разные вещи. А теперь все переносное стало буквальным, и дети — дети, и страхи страшны, вот в чем разница». Вероятно, это и есть скрытая оценка следствия любых революций и вообще больших социальных бурь: они способны уничтожить или мгновенно упразднить всякую возможность жизни метафоры, иными словами — цивилизации, и сообщить бытию человеческому неотвратимость и фатальность природного бытия.

Перевод с французского И. ИСТРАТОВОЙ

ФРАНСУА МОРИАК

Из «Нового блокнота» (20 сентября 1958 года) *

Я с большими усилиями одолеваю великолепного «Доктора Живаго» Пастернака; в былое время он очаровал бы меня, но теперь постиженье Истории дается мне только впрямую. Нашему молодому собрату Роб-Грийе следовало бы признать: выходит, толстовская техника позволяет и ныне создавать жизнеспособные произведения в жанре романа. Доказательство налицо — если у нас вообще могли быть в этом какие-то сомнения. Так же как «Война и мир», «Доктор Живаго» воссоздает не только частные судьбы, но и политическую историю, которая из них рождается и которая в свою очередь изменяет их и дает им значение. Несмотря на нарастающий прилив марксизма, через всю книгу проходит глухой настойчивый ропот, возвещая людям в России, что Бог не умер.

Перевод с французского МОРИСА ВАКСМАХЕРА

ФЛАННЕРИ О'КОННОР

Из письма доктору Т. Р. Спайви *

16.XI.1958

Читаю книгу Пастернака: в ней есть то, что вы ищете. Я с подозрением относилась ко всем отпускаемым ей похвалам; думала, они вызваны только тем, что Пастернак — «хороший» русский. Не в этом дело. Это великая книга. В одном месте автор приводит доктора Живаго к таким мыслям: «Сейчас, как никогда, ему было ясно, что искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь. Большое, истинное искусство, то, которое называется Откровением Иоанна, и то, которое его дописывает». Быть может, справедливо, что эти слова должны были вырваться у писателя в России. Не могу себе вообразить, чтобы они вырвались у кого-то в сегодняшней Америке.

Перевод с английского М. ЛАНДОРА

ПЬЕР ПАОЛО ПАЗОЛИНИ

«Чевенгур» Платонова: путешествие в Россию двадцатых годов (1973) **

И снова я слышу про этот город — Воронеж, одно из мест ссылки Мандельштама, и при упоминании этого города, сам не знаю отчего, то ли от гнева, то ли от жалости, начинаю писать наобум, не глядя,— как дети пишут стихи. Воронеж — город, где родился Платонов, Андрей Платонов, еще один великий писатель, равный Мандельштаму, равный Булгакову, а может быть, и выше его, писатель, которого Сталин приговорил к небытию, написав однажды на полях одного из его рассказов: «подонок». Это был последний, сокрушительный удар для Платонова, уже много лет, с 1929 года, когда он написал «Чевенгур», приговоренного к молчанию и влачившего жалкое существование при тайной поддержке и участии немногочисленных друзей. Он работал вахтером в библиотеке. Его сын в пятнадцатилетнем возрасте был сослан в Сибирь и вернулся, только чтобы умереть. Не знаю, как и когда советские писатели смоют позор за все

* François Mauriac. Le nouveau bloc-notes. 1958-1960. Paris, 1961.

* Flannery O'Connor. The Habit of Being. Letters edited and with an Introduction by Sally Fitzgerald. N. Y., 1979.

** Tempo, Anno XXXV, N 6/7, 1973.

то, чему многие из них в свое время были равнодушными свидетелями и в чем теперь весьма сдержанно признаются: право, не знаю — возможно, никак и никогда.

Как я хотел бы быть похожим на Платонова, который в бездне немилости, нищеты, несчастья, лишенный права творить и существовать, писал: «Для большого нужно немного... Краткая, обычная человеческая жизнь вполне достаточна для свершения всех мыслимых дел и для полного наслаждения всеми страстями. А кто не успевает, тот не успеет никогда, даже если станет бессмертным» («Литературный критик», 1937, № 1) [1].

«Чевенгур» (в итальянском переводе «Деревня новой жизни») состоит из двух частей. Первая насчитывает 79 страниц и принадлежит к прекраснейшим явлениям русской литературы. Вторая — это весь остальной роман, огромный эскиз, не выверенный, а лишь слегка подправленный автором, и потому в нем имеются прекрасные страницы, не уступающие первой части, но в композиционном отношении он слаб, часто встречаются неясности, повторы и просто темные места: эти изъяны оттолкнули бы среднего читателя (но не критика-филолога), однако у Платонова они искупаются такой восхитительной и утонченной «нищетой духа», что страницы эти читаются во всяком случае с удовольствием.

Стиль большого писателя

Первая глава «Происхождение мастера» — это, если хотите, рассказ о детстве самого Платонова и его ученичестве, хоть и ведется от лица других персонажей, разумеется похожих на Платонова-подростка. Но это отнюдь не автобиография. Если начать читать эту книгу без всяких пояснений, никому не придет в голову, что она хоть в чем-то автобиографична. В ней совершенно отсутствует атмосфера воспоминаний детства. Незадолго до «Происхождения мастера» я прочел книгу неизвестного русского паломника, где описывались его странствия по степи и русские деревни прошлого века. Взявшись за Платонова, я словно продолжал читать все ту же книгу: только стиль, вначале бедный и примитивный, воплощение народной невинности, наполняющий весь мир своей ограниченностью, которая, однако, нисколько не умаляет всей бесконечной, непознаваемой необъятности этого мира,— стиль вдруг стал отработанным и изысканным. Ибо Платонов прежде всего — великий стилист. Положим, у него есть дар выражаться исчерпывающе, любая его фраза кажется единственно возможной в данном случае; положим, «манера двадцатых годов», в известной мере им усвоенная, помогает ему добиться редкой завершенности образов, слить их в единое целое, волнующее и простое. Но к природному дару и к безусловно удачному выбору литературного направления у Платонова еще добавляется тщательность стилиста, который ничего не оставляет недосказанным или приблизительным, но все доводит до конца, до предельной отшлифованности. Однако это не следует понимать как изобразительно точное, четкое и яркое воспроизведение реальности. Нет, Платонов не ставит свое мастерство на службу очевидности, не растрачивает его на терпеливое накладывание красок, на безупречно выписанный фон; напротив, ему по душе неясность, туманная неопределенность, размытые тона. Это последователь Чехова, но он не изображает свои «впечатления» на пленэре, как импрессионисты, хотя происхождение от Чехова и сближает его с ними. Этот художник всегда работает в мастерской, ведь высший признак его искусства — тончайшая пыль, рассеянная по поверхности предметов, этот легкий покров, серый или золотистый, который встречается только у величайших мастеров, и невозможно угадать, какой техникой это достигается.

Платоновская деревня вся целиком неизменно погружена в эту таинственную пыль, скрывающую всю видимую действительность — дома, степь, реку, людей. Полная противоположность стилю народной литературы, хотя, повторяю, «манера двадцатых годов» заставляет порой вспомнить даже Бабеля с его чистыми, словно положенными на стекло красками. Напомню: деревня Платонова — та же деревня, что описал неизвестный странник XIX века как раз наивными чистыми красками, положенными на стекло. Приземленный житейский опыт, приобретенный Платоновым и этим крестьянином (упоминаю его лишь как одного из многих) в степной деревне, оказывается идентичным; но происходит чудо — Андрей Платонов как бы смотрит на деревню с высоты, уже обладая всеми преимуществами культуры и предельно строгого стиля.

Вот почему в его повествовании нет ничего автобиографического: его подлинный приземленный житейский опыт (будем и дальше называть его так) до самых корней был преображен опытом постороннего, который превращает отстраненность в радостное приобщение. У этой деревни два определяющих свойства: стабильность и непрочность. Она вечна и неизменна, но в то же время (как только случится неурожай, как только возникнет желание «двинуть свои стопы» к беспредельному миру степи) деревню можно покинуть без всякого сожаления, как что-то исчерпавшее себя, пришедшее в упадок, потерявшее всякое значение. Эта двойственность родной деревни приводит к тому, что время в ней становится ненадежным, произвольным, превращается в сон. И самое прекрасное в повествовании Платонова, которое мы сейчас назвали бы ансамблевым,— это неритмичная и совершенно фантастическая последовательность времени. Рассказывая что-то об одном персонаже, затем что-то о другом, Платонов отказывается от логики в повествовании, а следовательно, и от времени. Целый год укладывается в единственное неразвернутое замечание, а одна краткая «сцена из жизни» порой требует долгого, тщательного описания, впрочем, всегда ясного и прозрачного. Это не случайное несоответствие: здесь мы встречаемся с принципом свободного изложения, с приемами монтажа, который казался нам столь недавним изобретением. Повествование Платонова разворачивается подобно то-

[1] Пазолини цитирует статью Платонова «Пушкин — наш товарищ».

му, как плывет вереница облаков на летнем небе — медленно, тихо, с частыми нешироkими разрывами.

Приключение в духе Дон Кихота

Первая книга внезапно превращается во вторую, то есть в сатирический роман, оставаясь, однако,— к нашему неудовольствию, как неодобрительно заметил Горький,— повествованием лирическим, похожим на плывущие облака... Все начинается после того, как Саша, возвращаясь из дома приемного отца, встречает Соню — эта сцена словно из фильма Пудовкина. До сих пор мы оставались в рамках берущего за душу реалистического повествования, порожденного жизненным опытом самого Платонова и погруженного в тончайшую, изумительную, сероватую пыль, от которой на глаза наворачиваются слезы. Итак, внезапно, когда отношения Саши и Сони, казалось бы, уже направлены в извечное русло истории любви, Саша, словно во сне, словно лунатик, покидает Соню в деревне, где она работает учительницей.

Так начинаются его сатирические донкихотские приключения.

Он встречает рыцаря Копенкина, верхом на упряжной лошади Пролетарская Сила, который странствует по степи, как новый Дон Кихот, с целью основать коммунизм; и Саша присоединяется к нему, но не как Санчо Панса, а как приятель-интеллигент.

Именно отсюда начинается неудавшаяся книга, состоящая из повторяющих друг друга эскизов, где ничто не доведено до конца: ни донкихотская деятельность Копенкина, ни роль Саши как идеолога-ленинца, ни роли каждого из символических персонажей, встречи с которыми образуют цепь приключений. Уже эффектная сцена бегства Саши от Сони сделана слабо и нечетко, а все дальнейшие события следуют одно за другим согласно логике, исключающей из повествования именно те эпизоды, где причины порождают следствия. Всякое событие едва обозначено или дано как свершившееся. Правда, продолжается замедленный, однообразный монтаж, как в первой части книги, но тут он применен к повествованию сатирическому и символическому, которому был бы необходим контрастный монтаж, с резкими скачками, а не плавными переходами.

А действие по-прежнему развертывается медленно и тихо, как расползающееся облако: события следуют за событиями, как одна форма облака сменяется другой по прихоти ветра, который гонит ее вперед и растрепывает, разумеется, следуя точному рисунку, который, однако, все время остается невыполненным. Эта манера вести рассказ, нанизывая незначительные подробности, выводя вяло очерченных персонажей и передавая каждому новому персонажу роль выразителя мыслей автора, с неизбежным при этом лиризмом (всегда высочайшей пробы), делает «Чевенгур» предшественником некоторых явлений неореализма, например, у Росселини массовой сцены в дельте По[1], или, скорее даже, сюрреализма добродушного и иронического, как в «Чуде в Милане». Двойственный финал книги, в котором Саша, словно ведомый своими снами, после причудливо и сатирически изображенного коммунистического эксперимента в сюрреалистском городе Чевенгур, возвращается в родную деревню и исчезает в озере, где когда-то утонул его отец,— по законченности и красоте равен первым страницам романа. Вся вторая часть книги Платонова выстраивается в нашей памяти и, по сути, пишется заново, с большими купюрами. Но многое в ней запоминается сразу, связанное воедино незабываемыми по поэтичности эпизодами. Нет такой страницы, где не звучал бы живой и близкий голос рассказчика — в кратких замечаниях, в изобилии рассыпанных по книге,— а это лучшее, что в ней есть: голос восхитительного писателя, Андрея Платонова.

Перевод с итальянского Н. КУЛИШ

[1] Имеется ввиду последнй эпизод фильма Росселини «Пайза».

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Фолкнер выражал не только свое мнение, повторяя, что традиция русской классики не могла прерваться в нашем веке. Она продолжается: он говорил это и в Маниле в 1955-м, и в Виргинском университете в 1957-м; «наследники Достоевского, Гоголя, Толстого» пишут книги, которые не дают напечатать, но «однажды они увидят свет...». Вскоре это подтвердилось: неведомые до того наши романы появились на Западе. В словах Фолкнера было и ощущение, что продолжающаяся русская традиция — по-прежнему нечто насущное для живой западной прозы.

Заново были прочитаны в последние десятилетия те наши книги, что давно уже относили к современной классике. Начиная со зрелой прозы Горького — его автобиографической трилогии, литературных портретов, миниатюр и рассказов 20-х годов, страстной публицистики «Несвоевременных мыслей» (повсюду переведенных и горячо обсуждаемых). Журнал «Экспресс» вспоминал слова Андре Жида. сказанные им в Москве в 1936 году, на похоронах Горького: «Самый русский из русских писателей». В современный литературный контекст входят отзывы о нем и двух других Нобелевских лауреатов из нашей подборки — Габриэлы Мистраль и Альбера Камю.

Заново была прочитана и «Конармия» Бабеля, поразившая некогда самых разных западных писателей. О своей первой встрече с нею вспомнили и кубинец Алехо Карпентьер, и ирландец Фрэнк О'Коннор, и англичанин Энгус Уилсон. Строки одного из мастеров итальянского неореализма, Итало Кальвино, тут особенно важны: «Конармия» была для него образцом, и это чувствуется в его новеллистическом романе-дебюте «Тропа паучьих гнезд», не так давно у нас переведенном. Кальвино помнил о неприглаженных героях Бабеля, существующих и в будущем и в прошлом, избирая весьма неортодоксальные фигуры для своей книги о партизанах Лигурии.

Самый непосредственный отклик вызвали наши романы, пришедшие на Запад уже в

другую эпоху. Сначала «Доктор Живаго», изданный в ноябре 1957-го на итальянском и вскоре на других языках. (Книга была в библиотеке Фолкнера, вместе с автобиографическим очерком Пастернака «Люди и положения».) Потом «Мастер и Маргарита», роман, ставший известным по обе стороны океана в 1967-м. И «Чевенгур», переведенный на французский и итальянский в 1972-м. Все эти живо принятые книги вошли в споры о романе, не прекращающиеся на Западе.

Быть может, книга Булгакова всего неожиданнее свидетельствовала о жизнеспособности жанра. Ее резонанс давали почувствовать слова Гарсиа Маркеса: он клялся с юмористическим пылом, что не знал еще «Мастера», работая над книгой «Сто лет одиночества»,— конечно, так и было, их романы прогремели в одно время, поддержав престиж векового жанра. Наша подборка представляет известного английского новеллиста и критика Виктора Содена Притчетта как завзятого «булгаковца»: его интересует прежде всего становление романиста. Это сказывается и в его отклике на «Белую гвардию», героем которой он считает Город, и в его восприятии «Записок юного врача» как цикла с чертами воспитательного романа: на наших глазах крепнет характер вчерашнего студиозуса, рассказывающего о себе с обязательной автоиронией.

В «Докторе Живаго» западные писатели увидели явление духа, отвергая любые попытки использовать роман для пропаганды. Для Фланнери О'Коннор, новеллистки из Джорджии, это «великая книга», принадлежащая трагическому современному искусству, осознающему в ней себя. Для нее, как и для Франсуа Мориака, это слово, сказанное сегодня живой русской традицией.

Книга Пастернака поразила и как роман — традиционный и совершенно необычный. Его своеобразие постарался осветить в острой статье Альберто Моравиа, говоря о вечном присутствии поэта и носителя культуры в этом романе толстовской линии. Но кажется, он обеднил художественную почву «Живаго», принятого на Западе как антитеза натуралистического романа. Ведь у автора была ориентация на Диккенса, о котором он упоминал в письме к отцу, и на Гюго — автора «Отверженных», о котором говорил с Мальро; их разговор касался и Достоевского. За неожиданными встречами и узнаваниями в «Живаго» куда больше чувствуются эти три мастера социального романа XIX века, чем век XVIII, с его архаичной литературной техникой. К Достоевскому «Живаго» возвращает постоянно. Вовсе не отгораживался поэт-романист и от современной западной прозы: он нашел близкое себе искусство и в романе Фолкнера «Свет в августе», и в повести Камю «Посторонний».

Отклики на платоновский «Чевенгур» были на Западе весьма разноречивы. В чуткой статье Пьера Паоло Пазолини замечателен уже творческий контакт двух мастеров современного искусства. На протяжении всей книги Пазолини слышит голос подлинного поэта; и его, человека кино, останавливает не одна сцена (одна из них — «словно из фильма Пудовкина»). Причем художник, написавший страждущую деревню в начале книги, для него под стать старым мастерам и их калибра; а это начало — повесть «Происхождение мастера» — из высших достижений русской прозы.

Но целое книги — и тут Пазолини не одинок среди рецензентов — скорее серия эскизов, чем свободный роман XX века. Хотя режиссер фильма «Евангелие от Матфея» ничуть не проходит мимо сердцевины произведения — «причудливо и сатирически изображенного коммунистического эксперимента в сюрреалистском городе Чевенгур». И тут с Пазолини, при всей щедрости его отклика, хочется спорить.

Условное литературное время книги, которым он восхищается, и придает ей единство. За ним время историческое: последний год «военного коммунизма», в который переносил роман перед самым годом «великого перелома». В этом остановившемся, алогичном времени и живет Чевенгур, вводящий под музыку насилия социализм на голом месте, круто и разом. Платоновский роман-путешествие — это и роман-предупреждение.

Его структура чувствуется и в эпизодах скитаний по степи: сцены в лесничестве или в образцовой коммуне «Дружба бедняка» существуют еще до Чевенгура, во времени Чевенгура и даны с лаконизмом киноромана. Достаточно завершены для романа в эпизодах, каким эта книга, конечно, остается, и основные причудливые ее характеры. В особенности Копенкин, странствующий рыцарь из крестьян, с его святыней — Розой Люксембург. Этот герой, названный и у Пазолини, раскрыт изнутри— в его грезах и снах Роза входит в круг его жизни. Образ утопии, пришедшей в это суровое время в крестьянскую избу. А гибель героя, бросившегося на своей Пролетарской Силе защищать Чевенгур, освещена Платоновым как конец эпического мира.

Этот роман-предупреждение не был тогда у нас издан, а путешествие было по-своему продолжено в повести «Впрок», где тот же сюрреализм дома был написан уже с натуры в деревне сталинских лет. Тревоживший Платонова в «Чевенгуре» сон об остановившемся годе стал явью. Повесть, в которой продолжал жить невышедший роман, Платонову не забыли и годы спустя. Что ж, и не напечатанный «Чевенгур» стал романом, который вторгается в историю.

Американский критик Саймон Карлинский высказал мысль, что проза Платонова будет еще расти в своем значении — она может занять одно из центральных мест в прозе XX века. Не сомневаемся: те, кто будет вчитываться на Западе в «Чевенгур», будут все глубже понимать уникальное место романа в нашей культуре — то, чем он стал для своих сегодняшних читателей на родине.

◆

Новые имена, новые книги

ОТКРЫТИЕ 80-х: ИСАБЕЛЬ АЛЬЕНДЕ

Представляет Н. Богомолова

80-е годы клонятся к закату, наступает время подведения итогов. Но насколько полно мы представляем, что произошло за этот период, скажем, в латиноамериканской литературе? Какие новые имена появились, какие направления? Что пришло на смену «буму»?[1]

Сегодня журнал знакомит читателя с автором, чьи произведения еще не печатались на русском языке. Чилийская писательница Исабель Альенде — открытие 80-х. «Наконец-то среди творцов нового латиноамериканского романа достойное место заняла представительница слабого пола!» Так или примерно так комментировала пресса ее шумный литературный дебют. Если составить таблицу рекордов литературной популярности уходящего десятилетия, Альенде окажется мировым лидером по многим позициям. Но броские рекламные определения и многозначительные цифры ничего не говорят о главном. Творчество Альенде — заметное явление в богатой яркими дарованиями литературе континента. И еще: в ее книгах на разных уровнях и очень своеобразно отразились острые проблемы сегодняшней культуры.

Немного биографии

Она родилась в Чили в 1942 году (писательница не скрывает своего возраста). Ее отчим был дипломатом, и семья подолгу жила за границей. С 17 лет Исабель занимается журналистикой, на этом поприще добивается заметного успеха: популярный телекомментатор, затем редактор журнала «Паула», директор детского еженедельника «Мампато»... Но пусть с этих страниц зазвучит голос самой писательницы. В последние годы ее выступления, статьи, интервью привлекали такое же внимание, как и ее книги.

Часто писательницу спрашивают: кем приходился ей президент Чили Сальвадор Альенде?

— Он двоюродный брат моего отца. Однако мы поддерживали очень тесные отношения. Мои родители разошлись, когда мы, дети, были совсем маленькими, и Сальвадор — единственный из семьи Альенде — оставался рядом с нами. Летом мы обычно виделись каждое воскресенье. Он стал посаженым отцом на моей свадьбе. Его гибель 11 сентября явилась для меня большим ударом.

Вопрос: Каким он остался в вашей памяти?

Ответ: У меня сохранились исключительно семейные воспоминания. Я никогда не принадлежала ни к одной политической партии, не сотрудничала с его правительством. Только после гибели Альенде, покинув Чили, я поняла, что он был исторической фигурой. Оглядываясь назад, я могла бы сказать: его отличали, во-первых, большое мужество, во-вторых, чрезвычайная одаренность. Он мог словом воздействовать на толпу, умел в частной беседе произвести на человека такое впечатление, что тот становился его сторонником. Случилось, что в день военного переворота генералы-путчисты собирались послать кого-нибудь на переговоры с ним, чтобы убедить его уехать из страны. Но никто не отважился пойти во дворец, боялись, что Альенде переубедит любого из них. Это был человек большого личного обаяния, его дар убеждения шел, вероятно, от твердой веры в свои идеалы...

Вопрос: Как лично вы отнеслись к военному перевороту?

[1] Подробнее об этом явлении и о литературной ситуации в Латинской Америке 70-х годов см. беседу в редакции «ИЛ», 1981, № 5.

Ответ: Как тысячи чилийцев. Мы ожидали переворота, об этом говорилось постоянно. В последние месяцы оппозиция развернула грубую подрывную кампанию, пытаясь спровоцировать мятеж в армии. Вероятность переворота была очень велика, и кто лучше самого Альенде знал об этом?! За несколько дней до случившегося я обедала у него. Оппозиционные газеты пестрели лозунгами: пусть Альенде убирается из страны. Тут же, за столом, он сказал мне, что не подаст в отставку. Его избрал народ, и он покинет Ла Монеду либо мертвым, либо по окончании конституционного срока полномочий. Фраза показалась мне слишком торжественной для семейного обеда: она как бы предназначалась для истории. Несколько дней спустя его вынесли из Ла Монеды мертвым. Думаю, он верно оценивал возможности противника, но — только он один; остальные жили в каком-то тумане, в совершенной растерянности, питаясь слухами. Те времена были очень трудными, но и очень яркими. В день военного переворота я, как обычно, отправилась на работу рано, улицы были пустынны, я увидела военные грузовики, танкетки, это мне показалось странным, я зашла к подруге и застала ее плачущей в дверях. Именно она рассказала мне обо всем и попросила пойти в колледж, где работал ее муж (он ушел в пять утра и не вернулся). Окружными путями, буквально чудом, я добралась до центра города, где располагался колледж. И оттуда смогла увидеть, как бомбили Ла Монеду и все остальное. О смерти президента мне сообщили позднее...

Вопрос: Пережить подобное — след на всю жизнь?

Ответ: Это зависит от человека. Мою жизнь эти события переменили полностью. Я поняла, что вокруг царят насилие, страдания и что надо действовать. Политика стала частью моей жизни; надо было помогать многим людям, защищать преследуемых и еще столько всего, что жизнь превратилась в сплошной водоворот.

В день путча мексиканское посольство предоставило в распоряжение семьи Альенде самолет: улетели жена, дочери и другие близкие президенту люди. «А мне в тот момент это казалось ужасной ошибкой»,— рассказывает писательница. Она осталась в Чили, втянулась в деятельность оппозиции, с каждым днем все более опасную. Над ее головой сгущались тучи: звучали телефонные звонки с угрозами, приходили анонимные письма. Жить стало страшно. Исабель с мужем и двумя детьми, как и десятки тысяч других чилийцев, покидает родину. Ее семья находит приют в Венесуэле.

Вопрос: Как бы вы оценили опыт эмиграции?

Ответ: Изгнание всколыхнуло во мне силы, о существовании которых я раньше и не подозревала. Необходимость адаптироваться, выжить без поддержки родственников, без всякой внешней опоры в незнакомой стране заставляет действовать активно. Не знаю, как в Европе, но в Латинской Америке, покинув родину, человек теряет все, его предыдущая биография перечеркнута, надо начинать с нуля. На этом континенте имеют значение только личные связи...

Не существует единого, универсального рецепта вхождения в литературу. Каждый случай по-своему интересен и задним числом представляется закономерным и единственно возможным. О начале творческого пути Альенде рассказывала не однажды. Это случилось в Венесуэле 8 января 1981 года. Она вставила в машинку чистый лист бумаги и написала первую фразу «Дома призраков»: «Барраба́с вернулся в дом предков морем...» Так начинался роман, где в зеркале истории нескольких поколений одной семьи виделась трагическая история целой страны.

— Клянусь, тогда я не думала ни о каком романе. Это было началом письма к деду. Он был замечательным стариком, но, дожив до ста лет, решил, что хватит: уселся в кресло-качалку, положил на колени серебряную трость и перестал есть и пить. Он ждал смерти.

А я жила в это время в Каракасе. Мне хотелось проститься с ним, сказать, что он может покинуть этот мир спокойно: я ничего не забыла, все его истории живут во мне. Думаю, начала это письмо еще и потому, что меня душили невысказанные слова, долгое молчание превращало душу в камень. Нужно было открыть шлюзы и дать потоку невоизнесенных слов выплеснуться наружу.

Целый год я писала по ночам — захлебываясь, без передышки, без определенного плана. В результате передо мной лежало пятьсот страниц; я увидела, что для письма это слишком много: скорее, это походило на роман. Я перевязала стопку листов бечевкой и с облегчением вздохнула. И почувствовала себя гораздо лучше.

На этих страницах оказались собранными воедино случаи из прошлого, яркие воспоминания и какая-то часть истории моей страны. Жизнь стала для меня понятнее, а мир приемлемее. Я обрела корни. Ежедневная кропотливая работа над листом бумаги помогла мне найти себя. Не было больше мятущейся, терявшей равновесие женщины. Я снова была человеком.

Альенде предложила рукопись латиноамериканским издателям, но никто не захотел ее даже прочесть. «Потому что в ней было пятьсот страниц, потому что никто меня не знал, потому что я была женщиной»,— объясняет Исабель. И тогда она по почте отправила роман в Испанию. Шесть месяцев спустя он был напечатан. И стал сенсацией. Мало кому известная журналистка-эмигрантка в короткий срок превратилась в писательницу с мировой славой. Подобного латиноамериканская литература не знала со времен триумфального шествия «Ста лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса. Достаточно сказать, что за шесть лет книга выдержала десятки изданий, переведена на 27 языков.

— Хороший прием, оказанный «Дому призраков» в Испании и других странах, стал неожиданностью прежде всего для меня самой. Это потрясало — знать, что герои твоей книги гуляют по свету и рассказывают свою историю стольким благожелательным слушателям! И было больно сознавать, что им закрыт путь на мою родину. С этим приходилось смиряться. И кто мог вообразить, что многие чилийцы бросят вызов полиции и все-таки провезут в страну несколько экземпляров романа. Смелые путешественники прятали его в своем багаже; несколько штук было отправлено по почте: без обложек или даже разделенными на две-три части, чтобы при вскрытии пакета книгу нельзя было узнать. Я знакома с одной молодой женщиной, которая пронесла несколько книг через таможню, спрятав их в свертке с пеленками своего младенца. Не думаю, что нелегально через границу проникло много книг. Но внутри страны с них делали фотокопии, они переходили из рук в руки. Как мне рассказывали, составлялись списки ждущих очереди прочитать «Дом призраков». Говорят, кое-кто пускал книгу по читателям за плату.

В конце концов под давлением международной общественности, чтобы как-то обелить свое лицо, военное правительство посчитало необходимым отменить цензуру на книги. Новый закон открыл доступ в страну текстам, пребывавшим под запретом на протяжении десяти лет. Некоторые книготорговцы завезли в Чили «Дом призраков». Он был с любовью встречен моими соотечественниками.

Критики единодушно указывали, что в романе очень сильно ощущается влияние Гарсиа Маркеса. (В Италии книга вышла с красной полосой на обложке, на ней значилось: «Гарсиа Маркес в юбке».) Сама Альенде считает, что колумбийский писатель кардинальным образом изменил направление развития всей латиноамериканской прозы, после «Ста лет одиночества» вся проза континента стала иной. Кроме того, сравнение с Маркесом она воспринимает как высшую похвалу для себя: «Ну, скажем, если бы я была балериной и мне сказали, что я танцую, как Павлова». Действительно, Альенде разделила судьбу многих сегодняшних авторов, оказавшихся в тени этого писателя. Иначе и быть не могло. Однако уже в первой ее книге заложена попытка преодолеть силу притяжения Маркеса, начать самостоятельное движение. Работая над «Домом призраков», она не думала о роде Буэндиа, она вспоминала собственную семью.

— Больше всего в работе над этой книгой мне помогло то, что я — из семьи безумцев, неукротимых чудаков. (Речь идет, разумеется, о семье матери.) Среди моих родственников по этой линии немало совершенно фантастических персонажей.

Дядя героини моего романа поднимается на изобретенной им машине в воздух и улетает за горный хребет, другой танцует фламенко на столе в гостиной и умеет увидеть будущее в стеклянном шаре... Такими были мои родные дяди. А моя бабушка? Совершенно умопомрачительная женщина! В романе я назвала ее Кларой дель Валье. Конечно, кое-что в этом образе преувеличено. Но это — моя бабушка!

С такой семьей нетрудно было написать книгу, о которой в Европе сказали, что это «фантастический реализм». Журналисты не верят, когда я им твержу: «Люди, подобные моим героям, существуют в жизни».

О ненависти и страхе, о любви и солидарности

Два следующих романа Исабель Альенде — «О любви и мраке» (1984) и «Эва Луна» (1987) — упрочили ее славу. При этом нельзя не отметить, что каждый новый роман являлся неожиданностью для поклонников ее творчества, каждый решительно не походил на предыдущий. Шел и продолжает идти поиск своего места в литературе, вырабатывается и шлифуется собственная художническая позиция.

Вопрос: За каждой из книг стоит определенный этап вашей жизни. «Дом призраков» вобрал в себя опыт отчуждения, ностальгии по потерянному миру. А «О любви и мраке»?

Ответ: «О любви и мраке»? За этим романом стоят ярость, ненависть, бессилие перед лицом того, чем стали для Латинской Америки репрессии, пытки, смерти, грязная война и особенно пропавшие без вести. Роман основан на подлинных фактах: в Чили в 1973 году кто-то на исповеди рассказал священнику о заброшенной шахте — месте тайного захоронения пятнадцати человек. Католическая церковь вскрыла шахту раньше, чем полиция смогла воспрепятствовать. Это был первый публичный скандал, связанный с массовыми убийствами. Было известно, что они совершались, но доказательств до тех пор не находилось. Я начала писать эту книгу, испытывая гнев и злость. Но по мере того, как роман продвигался вперед, становилось ясно: получилась не история о ненависти, страхе и смерти, а история любви и солидарности. Ведь на каждого замученного, каждого убитого приходилась тысяча тех, кто рисковал жизнью, помогая другим, во имя истины, во имя свободы и справедливости. Отрицательные эмоции, что переполняли меня, тяжким грузом лежали на сердце, уступили место светлым чувствам: любви и доброте по отношению к жизни...

Героиня последнего романа писательницы, Эва Луна, рассказывает на страницах книги историю своей жизни. Это череда почти фантастических событий и приключений. Альенде использует сюжетную схему классического испанского плутовского романа: в семь лет оставшись круглой сиротой, Эва начинает самостоятельную борьбу за существование, в поисках сносных условий она меняет хозяев, переходит из дома в дом и таким образом впрямую сталкивается с тяжелой, враждебной к людям ее класса действительностью.

Альенде, как и авторы плутовских романов, стремится к созданию обобщенного портрета эпохи. Но ее отношение к реальности весьма своеобразно. Персонажи «Эвы Луны» подобраны, как правило, по признаку их исключительности, порой даже неправдоподобности. Так, первый хозяин Эвы — французский профессор — всю жизнь отдал усовершенствованию бальзама, способного предохранить тела умерших от тления. Его «пациенты» могут навечно стать памятниками самим себе, могут украшать парки и аллеи. Другая хозяйка героини изобрела Универсальный Материал, и ее дом, наполненный вылепленными из него предметами, стал похож на сказочную страну.

Сама Эва Луна от бога наделена чудесным даром — умением рассказывать истории. И то, что повествование ведется от ее имени,— не условный прием. Именно воображение героини становится зеркалом, в котором не столько отражается, сколько преображается реальность, обретая облик «реальности чудесной». Не случайно эпиграфом к роману взяты строки из «Тысячи и одной ночи». Эва Луна — новая Шахерезада, ее призвание — дарить людям свои сказки и волшебными вымыслами вырывать их из рутины повседневности, учить мечтать. И придумывание историй в конце концов превращается в профессию Эвы, она начинает писать сценарии для телероманов. И первый же ее телероман — история собственной жизни.

Но есть в «Эве Луне» еще одна тема, очень важная для творческой и жизненной позиции Исабель Альенде. (Не случайно в романе так подробно описана судьба Мими. Это мужчина, почувствовавший в себе женщину. Он сделал все, чтобы изменить свой пол, и в результате стал знаменитой актрисой.)

«Магический феминизм»

— ...написать эту книгу значило для меня примириться наконец с тем, что я — женщина. Я всегда хотела быть мужчиной, ведь это гораздо легче. Но теперь не чувствую такой потребности, наверняка потому, что мне удалось совершить то, что делают они. Лишь после сорока лет я научилась ценить то хорошее, чем владеет только женщина, и теперь думаю, что не имеет смысла меняться местом с мужчинами, несмотря на все их огромные преимущества. У женщин богатый мир чувств, у мужчин они ампутируются в младенчестве,— есть материнство, мы воспринимаем жизнь чувствами, а не только разумом; у нас сильнее развиты интуиция и воображение. Думаю, мы, женщины, можем сделать жизнь красочнее...

Меня воспитывали так, чтобы я была лишь женщиной, и именно это мне сегодня мешает. Девочек моего поколения готовили на второстепенные жизненные роли, учили быть помощницами мужчин: медсестрой при враче, секретаршей при шефе, ассистенткой при профессоре, спутницей мужа... У нас отняли всякую возможность реализовать собственные способности: нам было суждено стать супругами и матерями, в крайнем случае выполнять какую-нибудь несложную работу, но выделиться из ряда — никогда.

И только прожив сорок лет и испытав множество горестей, я узнала, что и мои слова кому-то интересны. Мне всегда казалось, что это невозможно, и не оттого, что я — женщина, а оттого, что с детства мне это внушали.

Сейчас меня часто спрашивают, имеет ли литература пол? Когда женщина-хирург оперирует, никто не скажет, что это — женская хирургия, когда в зале суда появляется женщина-адвокат, также никто не скажет, что она занимается женской юриспруденцией... Но вот речь заходит о женской литературе, и это — как сегрегация. Знаете почему? Потому что писательница, работая с идеями, залезает в чужие владения, в земли, принадлежащие мужчинам. В женщине признают и восхваляют ее восприимчивость, эмоциональность, чувства — лишь бы она оставалась на должном расстоянии от сферы интеллекта и логики. Политика, история, экономика, война... Пусть эти темы жизненно важны для нее, выстраданы — на них лежит запрет.

Вопрос: Значит, вы не согласны с критиками, которые в разговоре о вашем творчестве употребляют термин «магический феминизм»?

Ответ: Это красивое выражение, и ничего плохого не нахожу в том, что критики и литературоведы занимаются классификацией, это их работа. Мне не нравится, когда окончательные определения получает все мое творчество: я стремилась к тому, чтобы каждый из моих романов замыкался на самом себе.

Вокруг творчества Исабель Альенде сегодня ведутся горячие споры. Ведь миллионные тиражи, немедленные переводы, читательский ажиотаж не всегда свидетельствуют о высоком художественном уровне того или иного произведения. Все эти внешние атрибуты порой лишь отражают закономерности или парадоксы определенной литературной ситуации, не более. У чилийской писательницы есть четкая и осознанная творческая программа: суметь донести свое слово до самой широкой аудитории. Массовый читатель для нее — не абстрактное понятие, не безликая толпа, она пишет не для Человечества, а для каждого отдельного человека, ищет контакта, живой связи с людьми, хочет «тронуть их сердца».

— Литература — акт солидарности, желание сблизиться с другими и разделить с ними и мучительный крик, и радостную песнь. Честный писатель несет в руке лампу — чтобы осветить темные закоулки. Только это: совсем немного осветить. Он не Бог, он не может изменить мир, но у него есть надежда, что, показывая реальность, он помогает разгадать и понять ее, сеет сомнение в сознании некоторых читателей. И это уже что-то, это уже вклад во всеобщую борьбу.

...писать, чтобы события не растаяли в тумане, чтобы память не была унесена ветром. Писать, чтобы запечатлеть происходящее и всему дать имя. Писать о том, что не должно быть забыто.

Но почему все-таки я пишу романы? Наверное, главная причина в том, что я — из Латинской Америки, континента безумцев, ясновидящих, земли природных и политических катаклизмов. Земли столь обширной и непонятной, столь прекрасной и жестокой, что только роман может посягнуть на всю ее восхитительную сложность.

Роман — окно, распахнутое в бесконечное и неизвестное. В нем можно двигаться совершенно свободно, путешествовать во времени, совершать причудливые прыжки и с головой погружаться в самое что ни на есть обманчивое, мерзкое, невероятное или прекрасное...

Там можно в хаосе увидеть стройность, подобрать ключи к лабиринту истории, отправиться в прошлое, чтобы попытаться понять настоящее и помечтать о будущем. Роман — это воспоминания, эссе, репортаж, романтика, вымысел, легенда, магия, поэзия и все, что помогает расшифровать загадки нашего мира, выразить нашу коллективную сущность.

Для писателя, если его творчество вскормлено реальностью, родиться на этом сказочном континенте — привилегия.

В Европе и Соединенных Штатах литературные критики с удивлением спрашивают, откуда у латиноамериканских писателей бьющая через край фантазия, как рождаются эти потрясающие вымыслы: девушки, возносящиеся в небо на простынях, императоры, строящие города из цемента пополам с бычьей кровью, авантюристы, что умирают от голода в сельве с мешком алмазов за спиной, тираны былых времен, способные исполосовать бичами свою обнаженную мать перед строем солдат, тираны сегодняшние, способные пытать детей на глазах у родителей. Ураганы и землетрясения, революции, совершенные с помощью мачете, пуль, стихов и поцелуев. Сводящая с ума природа.

Очень трудно объяснить благоразумным исследователям, что это — не плод нашего больного воображения. Это наша история, это можно прочесть на страницах сегодняшних газет, услышать на улицах, а порой мы чувствуем это собственной кожей. Грандиозные контрасты и безудержное насилие — два поразительных мотива для литературы. Правда, каждый из нас, граждан этой действительности, знает, что жизнь его всегда висит на волоске.

Нельзя не сказать что в художественной позиции Исабель Альенде много противоречивого и уязвимого Она сделала смелый и рискованный шаг. решив захватить «ничейные» территории, разделяющие массовую беллетристику и серьезную литературу. У первой взять ее доступность, доходчивость, прицельность и эффективность воздействия на читателя: больше того, использовать ее язык, выработанный ею код общения с аудиторией. У второй — высокую нравственность и чистоту идеалов. Несомненно, удержать равновесие на зыбкой, подвижной границе двух противоположных друг другу культурных систем — задача трудная.

— Как книга может противостоять огромной силе влияния средств массовой информации? Бесспорно, борьба идет неравная. Доступность и действенность книги сравнительно невелики. Именно поэтому мы должны искать новые формы выражения.

И здесь все средства хороши: не только утонченный язык Королевской Академии, но и прямой язык прессы, массовый язык радиороманов, телевидения и кино, поэтический язык народных песен и страстный язык наших встреч лицом к лицу с публикой. И все это — литература. Будем же хитроумными. Не стоит отказываться от возможности внедриться в средства массовой информации и взорвать их изнутри.

В Венесуэле Хосе Игнасио Кабрухас — один из самых блестящих интеллектуалов страны, драматург и писатель — не гнушается писанием сценариев для телеромановых...

Почти все крупные латиноамериканские писатели приходят в литературу из журналистики. И при каждой возможности вновь к ней обращаются, сознавая, что их слово в газете или по радио дойдет до самой широкой публики. Гарсиа Маркес, Карлос Фуэнтес, Октавио Пас и Марио Варгас Льоса постоянно сотрудничают в прессе. Другие писатели с той же целью работают для кино, как Мануэль Пуиг, или для театра, как Антонио Скармета и Луис Рафаэль Санчес, или пишут песни, как Марио Бенедетти. Любое средство годится, если цель — установить связь с людьми и если у писателя нет комплекса, что литература — священнодействие, нечто утонченное, предназначенное для просвещенной элиты и литературных конкурсов.

В Латинской Америке книга — роскошь, почти что отличительный знак. В парикмахерской меня называют «доктор Альенде» только потому, что всегда видят с книгой под мышкой и думают, будто я адвокат или нечто в этом же роде. Роман в триста страниц в Чили стоит столько, сколько получает в месяц низкооплачиваемый рабочий.

Нет, путь писателя на нашем континенте не усыпан розами, но не стоит отчаиваться, происходят и процессы, радующие душу.

Литература двигалась вперед и в худших обстоятельствах: в тюрьмах политические заключенные писали рассказы на папиросной бумаге, в Центральной Америке на войне четырнадцатилетние солдатики складывали стихи в школьных тетрадях, индейцы киароа с Амазонки — выжившие, несмотря на геноцид, развернутый против коренного населения этого района,— напечатали легенды на своем родном языке.

В Никарагуа после победы революции за шесть месяцев число неграмотных уменьшилось с 50 до 12 процентов, а на Кубе, где любая книга стоит меньше одного песо, тысячи людей целый день стояли в очереди, чтобы купить «Любовь во время чумы» Гарсиа Маркеса. Очень напоминает фантазии Хулио Кортасара: очередь хронопов за книгами.

Если правда, что на нашем континенте книги доступны лишь меньшинству, правда и то, что здесь писателей уважают гораздо больше, чем в любой другой части света. В глазах соотечественников писатели — что-то вроде шаманов, колдунов или пророков, их считают носителями абсолютной истины, озаренными светом мудрости.

С писателями консультируются по вопросам, ничего общего с литературой не имеющим. Так, Варгаса Льосу призвали расследовать убийство восьми журналистов в поселке Учураккау в Перу, Гарсиа Маркес являлся посредником между президентами центральноамериканских стран, у Артуро Услара Пьетри просили совета по проблемам внешней задолженности и коррупции в Венесуэле. Это возлагает на плечи наших писателей и писательниц большую ответственность.

Латиноамериканские авторы смогли выразить душу своих народов, дали возможность их коллективному голосу, богатому оттенками, сложному и многообразному, прозвучать на весь мир. Сегодня наш роман не пришел в упадок, наша литература не впала в летаргический сон, наши писатели не забыли о славном времени «бума».

Есть новое поколение, которое продолжает писать с той же силой, что и предшествовавшее. Молодые прекрасно сознают, что процесс творчества — процесс индивидуальный, но литература идет вперед и развивается лишь в той мере, в какой выражает общее, коллективное.

Пафос творчества Исабель Альенде — протест. Она восстает против псевдокультуры с ее бездуховностью, отупляющей пустотой, глубокой безнравственностью и — против элитарного искусства, стремящегося закрыть глаза на окружающую действительность. Она протестует против несовершенства сегодняшнего мира, против несправедливости существующих установлений, против насилия, нищеты, бесправного положения женщин... Она обращается к «среднему» читателю, но по-своему протестует против штампов «среднего» вкуса. Обыденности, серости она противопоставляет чудесный мир воображения, фантазии, эмоциональную раскрепощенность. Альенде своим творчеством прежде всего хочет утвердить нравственные ценности, утрачиваемые сегодня.

— Я верю в определенные принципы и ценности: названные здесь мимоходом, они смогут показаться ужасно тривиальными. Но я верю в них так твердо, что готова стерпеть снисходительные и насмешливые улыбки. Они выражаются словами, от долгого употребления утратившими первоначальный смысл. Но других, чтобы заменить их, нет: любовь, доброта, справедливость...

В наш век оптимизм выглядит наивностью. Вместе с тем уверена, мы можем построить мир, более достойный любви. Думаю, сделать это — наш единственный выход, ведь мы пришли в состояние крайне ненадежного равновесия: стоит раз чихнуть, и все разлетится вдребезги.

Я не рву на себе одежды, не посыпаю голову пеплом, не сгибаюсь под тяжестью черных предчувствий, не принадлежу к числу поддавшихся отчаянию интеллигентов. Отчаяние парализует волю и идет на пользу нашим врагам.

Меня не раз предупреждали, что в литературе иллюзии опасны, не скатиться бы до банальности, не дойти до памфлетов и розовых романчиков. Но я готова бросить вызов литературной позиции мужчин, которые боятся даже крохи сентиментальности — как бомбы — в священном порядке разума и хорошего вкуса. А я не боюсь рисковать...

Я буду писать о двух любовниках, которые обнимаются под луной у места тайного захоронения пятнадцати крестьян, убитых военными. Я буду писать об изнасилованных женщинах, о прошедших через пытки мужчинах, о семьях, из-за голода продающих себя в рабство, и также — пусть уж критики как-нибудь это переварят — о золотистых сумерках, самоотверженных маменьках и умирающих от любви поэтах.

* * *

— Моя профессия — литература. Единственный материал, который мне нужен,— слова. Слова... слова... слова нежного и звучного испанского языка. Ими насыщен воздух, их рассеивает и вновь приносит ветер, я могу взять любое, совершенно бесплатно: слова короткие, длинные, белые, черные. Веселые — к о л о к о л, д р у г, п о ц е л у й. Или грозные — в д о в а, к р о в ь, т ю р ь м а. Несметное количество слов, можно комбинировать их по своему капризу, можно издеваться над ними или относиться к ним с уважением, можно использовать их тысячу раз и не бояться, что они износятся. Вот они — стоит протянуть руку. Я могу накинуть на них аркан, схватить, приручить. И главное, я могу написать их... [1]

[1] Использованы отрывки из интервью и выступлений И. Альенде, опубликованные в журналах «Ой», 1984, № 385; «Ревиста ибероамерикана», 1985, № 132, 133; «Куба», 1987, ноябрь; «Араукариа де Чиле», 1988, № 41; «Вентана», 1988, № 341, 349.

Два слова

Рассказ

У нее было дивное имя — Белиса Крепускуларио. Священнику в своих книгах такого не найти и матери не придумать. Откуда оно взялось? Она сама искала его по свету, пока не нашла и не примерила на себя. А жила Белиса Крепускуларио тем, что продавала слова. Бродила с ярмарки на ярмарку, из деревни в деревню, ставила свой маленький навес — четыре палки с натянутым на них куском мешковины, чтобы укрыться от дождя и солнца, и принималась за дело. Ей не было нужды расхваливать свой товар. Столько раз побывала она и тут и там, что все ее знали и, едва завидев на краю деревни с узелком под мышкой, спешили на площадь, к ее привычному месту. Ведь случалось, ждали они Белису по году и больше со своей нуждой. Лишнего с них она не брала. За пять сентаво раздавала стихи для памяти, за шесть делала сны счастливее, за девять писала письма влюбленным, за двенадцать обучала самым новым и самым обидным словам тех, у кого были заклятые враги. Кто брал товара на пятьдесят сентаво, получал в подарок тайное слово — то, что могло уводить тоску. И надо ли говорить, что каждому доставалось свое, особое, без обмана. Всякий знал наверняка: во всем огромном мире никому другому оно служить не станет.

А родилась Белиса Крепускуларио в большой семье. Такой бедной, что даже имени для детей в ней не находилось. Было это в самой засушливой из всех земель. Росла она и знала одну заботу, одно счастье — пережить вечный голод, не умереть от вековой жажды. Исполнилось ей двенадцать лет, когда пришла засуха, какой никогда здесь не видывали. Похоронила Белиса четверых своих братьев и сестер, а когда стал приближаться ее конец, решила: лучше отправиться в путь, в сторону моря, авось по дороге удастся перехитрить смерть. Смерть-то она обманула, да еще кое-что и нашла. На краю какой-то деревушки, застывшей на морском берегу, бросил ей ветер под ноги газетный лист, а на нем — значки. Подняла она желтый расползающийся лоскут и долго разглядывала, не понимая, какая в нем польза. Любопытство оказалось сильнее робости. Подошла Белиса к мужчине, что купал поблизости свою лошадь. В той самой воде, что такой сладкой показалась Белисе чуть раньше.

— Это спортивная страница местной газеты,— объяснил мужчина. Он ничуть не удивился вопросу. Ведь в тех краях грамотных людей было совсем немного.

Ответ смутил Белису, но побоялась она показаться назойливой и лишь осведомилась, что означают маленькие мушиные лапки, нарисованные на бумаге.

— Это слова, девочка. Здесь говорится, что Фульхенсио Барба нокаутировал в третьем рауиде Негро Риснао.

Вот тогда-то и узнала она, что слова похожи на птиц: летают себе на воле как хотят, безо всякого порядка и согласия. И каждый, немного наловчившись, может насобирать их и начать продавать. Поразмыслила Белиса о своей судьбе. Куда ей податься? Что ждало ее в жизни? Выбор невелик: стать проституткой или кухаркой-рабыней у богатых людей. Вот, пожалуй, и все. Продавать слова — разве лучше придумаешь? И принялась Белиса усердно их собирать, приручать и предлагать людям. Те сначала удивлялись, но потом попривыкли, научились обращаться с ее товаром и остались довольны. Так и жила она и иного не искала. Много лет торговала Белиса словами, прежде чем открылось ей, что можно их еще самой и писать. И поняла, сколько пользы сулит это ее делу. Потому и заплатила священнику двести песо звонкой монетой за то, что научил ее грамоте. На оставшиеся от сбережений десять песо купила она словарь. Прочла его весь, от А до Я, и выбросила вон: не хотела мошенничать и подсовывать людям, то, что уже побывало в фабричной упаковке.

И вот однажды, дело было в августе, сидела Белиса под навесом. Пришел к ней старик со своим горем: десять лет ждет он пенсии и никак не дождется. Где взять слова, чтобы добиться справедливости? Но не успела Белиса ему помочь. Ворвались на площадь люди Полковника. Главным у них был Мулат, он прославился в тех землях верностью хозяину и скорым на расправу ножом. Мчался Мулат, как ураган, а за ним вихрилась пустота: женщины с детьми разбегались, куры разлетались, даже собаки пулей уносились прочь. Ни одной живой души не осталось на площади. Только Белиса Крепускуларио. Она-то никогда не видела Мулата и очень удивилась, что он направился прямо к ней.

— Так это ты продаешь слова? — спросил он и ткнул в ее сторону скрученным хлыстом.

— К вашим услугам,— ответила она.

Не успела она это сказать, как накинулись на нее приехавшие с ним люди: и навес опрокинули, и чернильницу разбили. Кто-то взвалил ее себе на плечо, словно солдатскую скатку, и бросил поперек лошадиного крупа за спину Мулату. И пустился отряд галопом на юг.

Белиса Крепускуларио уж совсем сознание от тряски теряла, когда остановились всадники, и четыре сильных руки опустили ее на землю. Попыталась она было встать на ноги и с достоинством поднять голову, да силы оставили ее, со вздохом рухнула прямо на траву и погрузилась в счастливый сон. Долго спала и пробудилась от шепота ночного поля. Были в нем звуки ее слуху незнакомые, таинственные. Сразу подумала Белиса, что хорошо бы разгадать эти шорохи, отыскать в них слова туземных языков и пополнить ими свои запасы. Только ничего она сделать не успела. Едва открыв глаза, увидела перед собой Мулата, с нетерпением на нее поглядывавшего.

© Araucaria de Chile, 1983, № 33.

— Наконец-то ты проснулась, женщина,— сказал он и протянул ей фляжку, чтобы отхлебнула глоток виноградной водки, настоянной на порохе, и поскорее пришла в себя.

Захотела Белиса узнать, за что так плохо с ней обошлись. И Мулат объяснил: понадобилась ее помощь Полковнику. Позволил Мулат Белисе ополоснуть лицо водой и сейчас же повел на другой конец лагеря. А там, в гамаке, подвешенном между двумя деревьями, отдыхал самый страшный в тех краях человек. Не смогла она разглядеть его лица, оно было скрыто тенью листвы и тенью долгих лет разбойничьей жизни. Должно быть, оно ужасно, подумала Белиса, раз даже Мулат сразу стал смирным, как ягненок. Поэтому она вздрогнула от неожиданности, услышав его голос — мягкий и чистый, как у учителя.

— Это ты продаешь слова?

— К вашим услугам,— прошептала Белиса и попыталась что-нибудь разглядеть во тьме.

И тогда он поднялся, и свет от факела, который держал в руке Мулат, упал ему на лицо. Женщина увидела темную кожу и глаза как у пумы, цвета яшмы. В тот же миг поняла Белиса, что стоит перед ней самый одинокий в этом мире человек. То, что он сказал, подтвердило ее догадку: Полковник захотел стать президентом, устал от бесконечных войн, от поражений, никак не желавших превращаться в победы. Уж много лет спал он под открытым небом, ел яйца игуаны и суп из ужей, а в дождливые дни хромал на одну ногу, потому что в бедре у него засела пуля и от сырости начинала ворочаться. Все это, конечно, были мелочи, из-за них не стал бы он менять свою жизнь. Причина была в ином. До отвращения надоело Полковнику видеть ужас в чужих глазах. Хотелось, чтобы ждали его в городах и деревнях триумфальные арки, яркие флаги и только что срезанные цветы. Чтобы при виде его не прятались люди, не выкидывали беременные женщины, не плакали младенцы. Вот почему решил он стать президентом. Хорошо, сказал ему Мулат, отправимся скорее в столицу, ворвемся на всем скаку в президентский дворец и возьмем власть, как до сих пор брали все, что нам было нужно, ни у кого не спрашивая позволения. Но Полковник не собирался становиться тираном. Он мечтал о народной любви. Он хотел, чтобы люди за него отдали свои голоса — в декабре, на президентских выборах.

— Для этого я должен произносить какие-то там речи. Можешь ли ты продать мне нужные слова? — спросил Полковник.

Много разных просьб доводилось слышать Белисе, такой — никогда. Но отказаться не посмела — побоялась, что тут же пустит ей пулю в лоб Мулат. А еще страшнее было для нее другое: увидеть, как плачет Полковник. Да что скрывать, Белисе и самой захотелось помочь, потому что первый раз в жизни ощутила она трепетный жар своей кожи, первый раз испытала желание дотронуться до мужчины, провести руками по его телу, обнять его. В тот же миг поняла Белиса, что пришла к ней любовь.

Всю ночь и добрую половину следующего дня ворошила Белиса свои запасы, искала самые подходящие слова. И все время рядом стоял Мулат и глаз не отводил от ее крепких ног и нежной груди. Отбрасывала Белиса слова суровые и жесткие, слишком красивые и пышные. Откладывала в сторону те, что выцвели и истрепались, и те, что сулили несбыточные надежды, и те, в которых не осталось правды. А брала она лишь те, что мужчин могли заставить задуматься, а женщинам запали бы в сердце. Пригодилась и наука, за двести песо купленная у священника. Белиса записала свои слова на листе бумаги и подала знак Мулату, пусть развяжет веревку, которой привязал ее за ногу к дереву. И снова пошли они к Полковнику. Увидела его Белиса и, как и при первой встрече, услышала в себе крик любви. Отдала она Полковнику бумагу и долго молча смотрела на него.

— Что здесь написано? — спросил наконец Полковник.

— Вы не умеете читать?

— Я умею воевать.

Тогда она громко прочла написанное, прочла три раза, чтобы каждое слово врезалось ему в память. И увидела, как плакали стоявшие вокруг мужчины, и почувствовала, как желтые глаза Полковника загорелись восторгом. Он был теперь уверен, что с такой речью станет президентом.

— Эта дребедень чего-нибудь да стоит, раз наши парни три раза принимались реветь,— сказал Мулат.

— Сколько я должен тебе, женщина? — спросил Полковник.

— Один песо или сто сентаво, Полковник.

— Не дорого же ты просишь,— сказал тот, открывая висящую на груди сумку с остатками последней добычи.

— Да к тому же есть у вас право на два тайных слова,— добавила Белиса.

— Какие еще два слова?

Она объяснила, что за каждые пятьдесят сентаво, что платит покупатель, дарит одно волшебное слово, заговаривающее тоску. Пожал плечами Полковник, не увидел проку в таком подарке. Но не хотел платить неучтивостью за добрую услугу. Медленно подошла Белиса к сидевшему на крепком табурете Полковнику и наклонилась, чтобы прошептать ему на ухо заветные слова. Тогда мужчина ощутил вдруг запах дикого животного, исходивший от этой женщины, жар пламени, что излучали ее бедра, почувствовал чудное прикосновение ее волос и дыхание мяты.

— Вот они, ваши слова, Полковник,— сказала она и отошла. — Можете пользоваться ими сколько хотите.

Мулат проводил ее до дороги и все так же глядел на нее глазами заблудившейся собаки. Он хотел протянуть к ней руку, но у Белисы были готовы нужные слова, они вырвались из ее груди бурным потоком и заставили отшатнуться Мулата. Почудилось ему, что слышит он страшное проклятие.

В сентябре, октябре и ноябре столько раз произнес Полковник свою речь, что, не будь она сделана из самых прекрасных и прочных слов, давно превратилась бы в

пыль. Объехал он страну из конца в конец. Побывал в самых диких местах, самых глухих деревнях, где лишь по кучам отбросов можно было узнать, что жили там люди. И пока, взобравшись на дощатый помост, произносил он свою речь, Мулат и его ребята чинили колокольни, раздавали детям анисовую карамель и писали на стенах золотистой краской имя Полковника. А потом зажигали пестрые петарды. Когда же они наконец уезжали, еще много дней в воздухе, как след кометы, кружился вихрь надежды. Очень скоро Полковник стал самым известным из всех кандидатов. И было в этом что-то колдовское: откуда взялся такой человек? Никто сказать не мог. Но его непонятная власть теплым дождем упала на страну и смутила сердца людей. О нем заговорили газеты. Ехали к нему издалека журналисты. Много появилось и врагов. А уж это ли не признак силы?

— Мы идем отлично, Полковник! — воскликнул Мулат, когда подошла к концу восьмая неделя их триумфа.

Но кандидат его не слышал. Он все повторял два своих тайных слова и с каждым днем делал это все чаще. Он произносил их, когда ему становилось грустно, шептал во сне, брал с собой, садясь на коня, думал о них, готовясь произнести знаменитую речь, и сам ловил себя на том, что наслаждался ими в часы отдыха. И всякий раз, когда приходили ему на ум подаренные слова, снова чувствовал он запах зверя, жар пламени, чудное прикосновение и аромат мяты. Он начал грезить наяву, и люди Полковника поняли, что жизнь уйдет из него раньше, чем он займет президентское кресло.

— Какой черт тебя крутит, Полковник? — много раз спрашивал Мулат, пока хозяин однажды не сказал ему, что виной всему два слова, что намертво засели у него в груди.

— Скажи их мне, может, тогда они потеряют свою силу,— попросил Мулат.

— Нет, я никому их не скажу, они принадлежат только мне,— возразил Полковник.

Надоело Мулату глядеть, как день ото дня все муторнее становилось Полковнику. Закинул он за спину винтовку и отправился на поиски той, что продавала слова. Долго он шел по ее следам, пока не увидел — все под тем же навесом, окруженную людьми. Встал Мулат перед ней, широко расставив ноги и подняв винтовку.

— Ты поедешь со мной,— приказал он.

А Белиса ждала его. Взяла чернильницу, свернула мешковину с навеса, набросила на плечи шаль и молча залезла на круп коня. Всю дорогу они ехали, не проронив ни слова, и через два дня прибыли в лагерь. На глазах у всего отряда подвел Мулат Белису к Полковнику.

— Отдай ей ее слова, Полковник. Пусть вернет тебе мужество, пусть опять сделает тебя настоящим мужчиной,— сказал он и приставил дуло винтовки к затылку пленницы.

А Полковник и Белиса Крепускулярно долго смотрели друг на друга, как бы меряясь силой. И тогда люди поняли: поздно что-то делать с проклятыми словами. Белиса шагнула вперед, взяла Полковника за руку, и все увидели, как стали совсем кроткими глаза кровожадной пумы.

Перевод с испанского Н. БОГОМОЛОВОЙ

◆

Вне жанра

АЛЕКСАНДР НИЛИН

АПЕЛЛЯЦИЯ ТАЛАНТА К ТАЛАНТУ

Довериться собственному косноязычию — единственный, показалось, приемлемый для меня выход, единственно возможный сейчас прорыв в откровенность.

Я попробую здесь не роман оценить, а лишь вообразить (на личном, разумеется, опыте основываясь) некий вариант *вмешательства* его в читательскую судьбу. Задуматься под его воздействием о природе читательского таланта, о чем мы так редко вспоминаем, еще реже, пожалуй, чем о подлинности писательского таланта, которая, впрочем, все меньше нас волнует. А ведь связь между этими талантами не может не существовать, они не могут не зависеть друг от друга.

Не удивлюсь (и вы не удивляйтесь), если в заметках моих возникнут трудности с выстраиванием сюжета — и в самом романе, о котором пойдет речь, сюжет в общепринятом смысле вряд ли обнаруживается, вернее, он выстраивается по своим, особым законам.

Что-то подсказывает мне: выразительность этой прозы рождена не от обольщения красноречием. К ней автор приходит от немоты, выстраданной почти до галлюцинаций и потом просто «запротоколированной» словами. И косноязычие, сохраняющее память о молчании и энергию непосредственного отклика не растратившее, раскрепощает нас в разговоре: о достоинствах ли романа мы судим или узнаем в подробностях открывшейся нам жизни то, о чем подозревали, но не спешили узнавать точно, находить неоспоримые подтверждения.

К тому же и раздражает непригодность *готовых* слов, столько раз выручавших, обещавших кураж категоричности, в праве своем на которую я сейчас вдруг сильно засомневался.

И в словах ли талант читателя? Не в том ли, кстати, преимущество его, скажем, перед критиком, что его талант — не в словах, а в иной форме отклика? Мы здесь, между прочим, и пытаемся — с большими ли, малыми ли шансами на успех — уяснить себе: *в какой?*

Мое намерение — не критиков задеть, а лишь убедить себя *не скрывать больше отчаяния от своих читательских несовершенств.* И рискнуть именно от отчаяния вести теперь отсчет новизны ощущений, которых так не хватает мне сейчас для понимания того, что хочу, что надеюсь еще понять. И возникновение новых надежд — тему своих заметок — впрямую связываю с чтением романа Вирджинии Вулф «На маяк»[1], к разговору о котором никак не подступлюсь — не решусь никак отказаться от подпорок в виде раздражающих меня своей «готовностью» слов...

Можно ли, однако, вовсе обойтись без читательского самоутверждения?

Ревностный, усердный читатель, как почти всякий ощущающий в себе особый талант человек, самолюбив. И легкораним в своем самолюбии еще и потому, что годы и годы ему внушалось, втолковывалось, что роль его в отношениях с литературой — наиглавнейшая. От него, на-

[1] Роман опубликован в журнале «Новый мир», 1988, № 9, 10. *(Прим. ред.)*

пример, зависит, быть или не быть автору знаменитым.

Но как, скажите, признавая существование этой зависимости, не принять во внимание парадокс: всеобщая грамотность, которой обязаны мы неимоверно увеличившейся читательской аудиторией (правда, и писателей стало больше), вряд ли создала читателя более влиятельного (а если и создала, в ту ли сторону он влияет?), чем тот, что был в России времен Пушкина? Всякое сравнение с Пушкиным, согласен, не совсем корректно, но откуда взять пример выразительнее? Кто, как не тот, немногочисленный, элитарный, представляющий привилегированный класс, читатель XIX века ввел поэта в наивысшую степень признания и, что самое главное, вооружил нас критерием, предъявленным ему пушкинским гением? А мы предпочитаем сосредоточиваться на кажущейся недооценке Пушкина современниками. Но они-то в масштабе Первого Писателя не обманулись — и в историю Александр Сергеевич вошел вместе со своим (тоже первым по значению) читателем, сумевшим и сохранить его в неграмотной стране неумирающей легендой. И определить характер славы поэта на столетия вперед — одновременность ее существования в полярных ипостасях, когда в представлении нашем столь органично сопряжены анекдоты с фундаментальными исследованиями, лишь узкому кругу доступными.

О том, что эталон читателя остался в достаточно далеких от нас временах, я напоминаю из читательского круга, расширившегося настолько, что вот-вот, не спохватимся, разомкнется. И уж тогда кичись не кичись своей грамотностью, но на влияние особенно не претендуй: и так ведь может произойти, что самая громкая писательская известность никакого, в сущности, отношения к литературе иметь не будет — *одно окажется популярным, но настоящим-то совсем другое...*

И вопрос, основной вопрос моих заметок тогда, выходит, таков: а каким ты сам-то должен оставаться или стать — если сможешь, конечно,— чтобы судить о подлинном, настоящем, чтобы отличить это настоящее и от того, в частности, что бывает похоже на настоящее больше, чем само настоящее? И смущает — не праздным ли вопросом задаюсь? Праздным, причем только из-за своей неразрешимости — какие же могу я сразу обещать решения и ответы?

А что, если отличие духовной жизни от ее имитации (которая, не исключаю, может принести обществу ущерб посерьезнее, чем безоговорочно им осужденная, но от реальности быта пока вряд ли отторжимая бездуховность) — одно из самых существенных, и заключается оно в неодолимой тяге именно к вопросам неразрешимым, от которых любые супермены имитации освобождены, защищены, если позволено будет выразиться так, о б р а т н о й э к о л о г и е й?

И я, поверьте, свой личный опыт до общего сведения не доносил бы, если бы не *усталость от имитации.* Отрекаюсь от нее — надеюсь, что отрекаюсь не бескорыстно. От имитации, почувствовал, не подзарядиться необходимой сейчас — и мне ли единственному? — энергией. *Энергию, как выясняется, реально приобрести лишь в соприкосновении с настоящим, в котором остается нечто неразрешимое.*

Не надо сейчас особой прозорливости, чтобы представить: не в фанаберии заказчика и не в бесцеремонности клиента тайна влияния читателя на литературу. Если она существует, то уж скорее в тонкости, чуткости восприятия, в беспредельности, может быть, проявленного при чтении терпения.

Но откуда набраться терпения?

Как запастись терпением в нынешнем цейтноте?

Как отказаться от вынужденных ходов — проиграть партию, но замысел игры и жизни своей сохранить? И не торопиться с реваншем. Жить проигравшим, однако чувствовать, как накапливается в тебе терпение — энергия, необходимая для полноты ощущения жизни.

Возможно ли подобное?

Способны ли мы окажемся сегодня к самоутверждению, как бы н а о б о р о т — за счет сомнений?

Андрей Битов считает, что подлинный писатель никогда не умеет писать. У него только может еще раз получиться.

Почему же читательский талант мы видим не иначе как величиной неизменной — он-то почему должен проявляться легче, без мучений, без потери веры в себя и обретения ее вновь? Почему так редко любопытствуем мы, как сказывается на читателе психологический фон, время, в какое читает он книгу? Писатель ведь указывает для чего-то и год, и место, где книга писалась?

Виктор Конецкий позавидовал физикам, что у них результат наблюдений всегда сопровождается указанием у с л о в и й, в

которых они производились, состоянием приборов и состоянием самого наблюдателя в данный момент. Он считает, что и в литературном произведении должно существовать и описание его созидания, что на ученом языке называется «включенное наблюдение», «включенный наблюдатель».

Необходимость дополнительного авторского присутствия в произведении? Да, возрастающий интерес к личности автора — иногда больший, чем к художественной стороне произведения,— должен расширить сегодняшние жанровые границы. *Но кто поручится, что жанр не видоизменяется еще и оттого, что у читателя возрастает, во всяком случае должен возрастать, интерес к себе.*

Роман Вирджинии Вулф из тех редких, к сожалению, в теперешнем читательском обиходе произведений, которые способны, как показалось мне, *«реанимировать» интерес к себе у читателя, утратившего в значительной степени индивидуальность.* И не исключено, что произойти это может под воздействием писателей достаточно известных и широко читаемых, но на сохранении своей индивидуальности ни в себе, ни в других не настаивающих.

Авторское присутствие в романе — угадываемо (на наш нынешний трезвый взгляд), но «состояние самого наблюдателя» в художественном качестве романа растворено и истинной художественностью проявлено. А воздействие непривычно незамутненной художественности настолько неожиданно велико, что, зарекшись сосредоточиваться здесь на оценке произведения (не чувствую себя достаточно искушенным ценителем и не располагаю должной информацией о всем «фронте работ» Вирджинии Вулф), не могу скрыть, рискуя вызвать упрек в нескромности: *и я себя чувствовал по ходу чтения натурой художественной.* И еще чувствовал себя в незнакомом или хорошо позабытом жанре.

Сопоставляя сожаления-пожелания Конецкого с прежде высказанной Твардовским мыслью, что «все сколько-нибудь стоящее в искусстве является в нарушение привычных жанровых представлений» и что «...форма только и возможна при нарушении «форм», я не мог не задуматься и о «сколько-нибудь стоящем в искусстве» чтения.

Кафка признавался в дневниках, что *пишет для самосохранения.* И читатель — не важно, признается он в этом или нет,— *читает в итоге для самосохранения.* Случается, конечно, что как раз для самосохранения человек не читает вовсе или избегает серьезного чтения. Но и такому человеку я бы не отказывал в природном читательском таланте — интуиция же подсказывает ему возможное воздействие настоящей книги, непрошеное в его случае вмешательство в судьбу. И он таланта своего тайного страшится — страшится осложненной им жизни. А не бывает разве такого и с писателем?

Талант — редкость. Однако еще большая редкость — мужество оставаться талантливым, когда в интересах каких-то писательских, а то и читательских кругов идет активнейшая игра на понижение — нарочно занижаются требования, и за образец художественного выдается едва ли не противоположное ему. Когда эстетическую значимость произведения трактуют как преграду восприятию. И выгоднее делать ставку на бездарного читателя, читателя-шарлатана — и, соответственно, на такого же писателя.

Вспоминают, как Ильф, обративший внимание на двух слабых литераторов, спорящих за ресторанным столиком писательского клуба, предположил, что спорят они о том, кто хуже пишет: Гёте или Байрон? «У них же — обратный отсчет»...

Страх быть талантливым — идти и дальше в неизвестное — в одинаковой степени мешает и писателю, и читателю, хотя и по-разному проявляется. Но это, пожалуй, другой разговор. А нас-то свел счастливый случай, когда талант писателя апеллирует к таланту читателя. Не в этой ли апелляции самая суть художественности?

Я медленно приближаюсь — и наверняка уже раздражаю кого-то своими отклонениями — к роману Вирджинии Вулф. Но как знать, уводят ли — именно меня — в сторону эти отклонения?

Уверен, что обстоятельства обращения к нему сейчас нельзя не соотнести *с читательской биографией моего поколения — поколения людей, многим из которых книга, которая должна была бы стать для них настольной, давалась чаще всего на одну ночь.* И резь в глазах от бледной машинописи или некачественной ксерокопии казалась чем-то соединяющим с судьбой автора — взамен невозможности воздать ему должное вслух. А разве ничего не добавляет к психологическому фону нынешнего чтения мысль о тех, кто при той «погоде» о книгах, дозарезу необхо-

димых в лучшем для восприятия возрасте, и не слыхал даже?

Существует выражение (как похвала за тягу к просвещению) — «набросился на книги». Но на книги той же Вирджинии Вулф разве набрасываются? Нужен иной глагол — какой? Движение ведь в непривычное.

Еще бытуют выражения (и тоже как похвала) — «следить за новинками», «не пропустить»... Сейчас многие следят, боятся пропустить. И все бы хорошо, не чувствуйся за этим суеты — при видимом благородстве мотивов...

Ничего не предлагаю и не советую ничего.

Все очевидно. И — необратимо. И как бы не в той же суете только и остается искать утешения — не так ли? Но найдешь ли?

Глупо уговаривать: не торопись, повремени с чтением каких-то важных в твоей судьбе книг — дотянись до них, душевно успокоившись, изменив в чем-то главном жизнь свою. Потому что, изменив, разве удлинишь? *Хватит ли ее для чтения в необходимом для понимания сути явлений объеме?*

И все же отчаяние от вынужденных читательских несовершенств обостряет интуицию — вот в этом уверен, на своем опыте убедился (кстати, в случае с Вирджинией Вулф). *И выбираешь книгу, как кошка лекарственную траву.* Помимо моды на чтение — на книги, «о которых говорят», которые «неудобно» (перед кем?) не прочесть.

«На маяк» Вирджинии Вулф не входит в перечень книг, что у всех сегодня на слуху. И я вполне мог не прочесть этот роман, не поколебав мнения о себе, как о человеке «следящем», «не пропускающем». А уж в крайнем случае мог для поддержания реноме прибегнуть к простительному при теперешнем информационном, как говорится, буме шарлатанству — ограничиться журнальным предисловием, согласившись на опять же расхожее сейчас условие: произносить имена иностранных знаменитостей, не прочитанных в большинстве и большинством, как пароль в увлекательной игре в причастность к вращению в литературном мире, где некогда сейчас никому никого перепроверять, не до того...

Вкус течения — определив для себя немедленно, сразу ощущение от романа этим самого же и покоробившим сначала сочетанием слов-понятий, вряд ли соединимых в ином контексте, я далеко не сразу, изрядно помедлив, как видите, решился все же остановиться на нем: вслух произнести, опубликовать. И лишь осознав в открывшемся мне для безусловно личного, казалось бы, пользования термине «код» (без которого я и вовсе чувствовал себя беспомощным, пытаясь выразить хоть как-то отношение к роману), осознав, что в хождениях по непривычному мне без него не обойтись и что готовые формулировки угнетают гораздо больше, чем пользование «самоделкой»,— решаюсь я в плохо поддающемся логической расшифровке сочетании в к у с т е ч е н и я видеть драматургию своего пребывания в романе. То самое единство существования в содержании и в стилистике. Ощущение от романа было прежде всего ощущением себя в романе. В его форме, как в живой среде. В н у т р и я ощутил себя уже со второго абзаца. Понял — на поверхность чтения мне уже не вынырнуть: форма сомкнулась, поглотила, она направляла меня теперь...

Форма и была течением, сублимирующим не только течение жизни, но и — главное — непрерывность авторской мысли о жизни вообще.

Той жизни, что границами книги не очерчена окончательно, не отчеркнута от всей прочей, прошедшей или длящейся в необозримое вроде бы из романа, но каким-то чудом предугаданное автором будущее, в дни и ночи завершающегося на наших глазах века. Не отделена, а выведена в русло нескончаемого продолжения.

В дни и ночи завершающегося века (такие, кстати, романы, как у Вирджинии Вулф, лучше всего дочитывать, засидевшись допоздна, когда и с миром, и с автором можно остаться наедине — ничто от них не отвлекает, а вся прожитая тобою жизнь словно именно в этой ночи накопилась, сосредоточилась) доносятся *голоса людей*, заставших его начало. *И самое удивительное, что их различаешь сквозь раскалывающееся от крика шестидесятилетие, вместившее столько невыразимого тихим словом, но — оказывается — только тихим словом и выразившегося.*

Самое удивительное, что интимная жизнь людей не перестает быть интимной, даже пропустив через себя все трагические события века, всю оглушающую громкость его и безмолвие согласия и несогласия.

Здесь можно многое сказать о пламени домашнего очага, по-особому освещающе-

го женские лица на протяжении всей истории, о психологическом созвучии женских судеб, вопреки суровости времен, не востребовавших по-настоящему их главного таланта — милосердия, но и не обошедшихся без него, вознаградив все же по-своему носительниц этого дара, о натиске окружающего мира на мир семьи, о катастрофе разрушения семей как катастрофе общечеловеческой, о героизме терпения ради сохранения близости, о потерях в духовной жизни, не оправдавших приобретений в той, что казалась единственно реальной. Можно сказать, что мужество быть верным теме — в случае с Вирджинией Вулф это тема дома, женщины, мужчины, творчества — рано или поздно передается серьезным писателем читателю (чуть не сказал — человечеству). А прилив читательского интереса к этим темам — первый признак здоровья в отношениях наших с литературой, залог долгого взаимопонимания.

И тем не менее современность романа «На маяк» вижу не в одной предугаданности поворота читателя к вечным темам, а в той, и только той, высоте художественности, которая, говоря нынешним деловым языком, обеспечила допуск к подробностям характера и бытия, открывающим мне неизвестное во мне же самом. И как после этого не поверить, что нет пути вернее эстетического? Как не поверить, не понадеяться, что в эстетической емкости — единственная возможность передать емкость жизненных ощущений?

...Семья собирается поехать на остров, где маяк,— и вот все никак не соберется, поездка все откладывается, отсрочивается до тревожащей читателя неопределенности, определяющей, однако, форму романа, в котором преобладают образы состояния, непрерывность жизни передана через непостоянность внутреннего мира человека (каким же разным бывает он в разные, пусть и соседствующие, минуты пребывания им на людях и с собою наедине...)

Не сюжет? А если в этих давних и не существовавших в действительности сборах (хотя как же не существовавших, когда существует роман и мы прочли его?) — сюжет особого предназначения? Сюжет для расщепления того, что Пушкин назвал «частицами бытия», которые «каждый миг уносит».

Не настолько я наивен, к сожалению, чтобы сюжет осуществившегося расщепления этих «частиц» рекламировать как захватывающий, но почему бы не вообразить и на миг (тот, «уносящий частицу»), не поверить, что освободившаяся при расщеплении энергия — это та самая энергия, коей и недостает стольким из нас для жизни в мире, стремительность которого не спасает от страшных мыслей о его конце.

Можно бесконечно говорить (оперируя магией классических примеров и практикой выдающихся современников) о загадке первой фразы; в которой вдруг запульсировала для автора интонация всей вещи. Читатель тем не менее вправе и не заметить ее, торопясь за сюжетом. Но рано или поздно при серьезном чтении неизбежен момент, когда проникаешься (осознанно или неосознанно) чувством эстетического родства с автором, завороженный наконец в какой-либо из строчек самим сочтением слов, их притяжением друг к другу — и смысл происходящего в книге постигаешь теперь с предельной биологической очевидностью, с усилившейся до максимума способностью соотнести фокус чужого видения с тем, что клубилось в твоем сознании...

Фрагмент фразы из второго абзаца предопределил образ моего пребывания в романе «На маяк»: «...для кого настоящее сызмальства тронуто тенью нависшего будущего и с первых дней каждый миг задержан и выделен, озарен или отуманен внезапным поворотом чувства...»

«...Для кого...» Для меня — и в усечении фразы, вроде бы делающей смысл менее понятным,— заключалось здесь главное, для чего стоило читать этот роман, отложив иное, представлявшееся увлекательным или полезным чтением, работу, неотложность которой еще мгновение назад не вызывала сомнений, изменив казавшийся неподвластным никаким изменениям режим жизни и общения с окружающими, медленное чтение предпочтя той жизни, за которой не успевал.

P. S. И еще я порадовался незаданности честолюбия, свободе от тщеславия — порадовался, что читателю не требуется общего признания, что, в отличие от писателя, ему вполне хватает для счастья одного ощущения своей талантливости. А если оно и покинет его, то временно — и вернется непременно в случае новой к этому таланту апелляции...

◆

Резонанс

БОРИС АСОЯН

ЗЕРКАЛА ИЛИ ОКНА

Сообщение главного картографа нашей страны о том, что с 1989 года географические карты будут показывать то, что есть на самом деле, и при этом не будут иметь грифа секретности, было воспринято нами довольно спокойно. За последние год-два разрушилось столько нелепостей, к которым мы совсем недавно относились с почтением, что мы уже почти привыкли к подобным объявлениям.

И вроде уже невероятно далеким кажется еще недавно существовавший фальшивый мир с краплеными географическими картами, лживыми идеалами, выдуманными врагами и героями. Мир, выстроенный из железобетонных иллюзий, запертый на тысячи замков, за которыми в периоды, когда нам разрешалось не страдать, мы все вместе читали одну и ту же книгу, обсуждали один и тот же фильм, в одно и то же время собирались у голубого экрана, с которого скучная физиономия вещала нам о новых успехах в экономике и крупных достижениях в культуре.

Мы бежим от всего этого изо всех сил, и кажется, что мы уже довольно далеко. Но стоит оглянуться — и каким обидно близким оказывается прошлое, как несоразмерна потраченная энергия пройденному расстоянию!

Перестройка заставила всех трезво посмотреть на плоды своего труда — в том числе и тех, чья работа связана с международными делами, внешней политикой. Это на нас — журналистах, ученых, дипломатах, пропагандистах — лежит большая доля ответственности за то, что сознание советских людей в течение долгих лет было заполнено враждебными образами остального мира. Сочиняя несуществующую советскую действительность в газетах и книгах, мы придумывали столь же несуществующую действительность заграничную.

Вместо окон в крепких и высоких стенах нашего дома были вставлены зеркала. Из них на нас смотрели точно такие же существа, и мы удивлялись до чего же мы похожи! Подумаешь, говорили мы друг другу после очередной программы «Время», в чем разница-то? Ну, там чуть больше одного, зато у нас побольше другого.

И даже самые умудренные, самые осведомленные из нас, кто объездил полсвета, а то и весь свет, возвращаясь домой, громко жалели бездомных Нью-Йорка, клошаров Парижа, негров Лондона. И стыдили, пригвождали к позорному столбу несправедливые правительства: как же можно так, с живыми-то людьми?!

Себя мы никогда не жалели: чувство жалости недостойно тех, у кого жизнь — вечная борьба.

Мы дышали безнадежностью; она удушливым смогом повисла над всей страной и, как выяснялось, над всем миром. Всегда хорошо было только у тех, кто с нами дружил, но это не вселяло надежды.

Мы были так закормлены идеологическими мифами, что еще чуть-чуть, и могла наступить соответствующая неприятная реакция.

В тоталитарных системах мифы отличаются своей архитектурной стройностью и непоколебимостью; они обязательны для всех и каждого. Отказ от «правильного» восприятия грозит гражданину не просто неприятностями, но часто лишением свободы или даже жизни. И чем фальшивее миф, тем сильнее он вбивается в сознание, тем сильнее наказание отступников. Наш уголовный кодекс, который во многом являлся мифом законности, пока еще медленно освобождается от статей, определяющих, кому что положено за «противомифовое» поведение.

Сталинский период административно-командной системы продемонстрировал, как тотальным террором можно довести общество до серого единообразия, на поколения вперед запрограммировать страх и беспомощность перед государственной машиной.

Брежневский период доказал, что можно успешно культивировать посредственность дозированным и целенаправленным распределением информации и других «благ».

Можно ли было в тех условиях ожидать правды от журналистики? В целом, безусловно, нет поскольку она считалась придатком идеологического аппарата, хотя отдельные голоса время от времени пытались разбудить нашу совесть. Привычным состоянием журналиста-международника в те годы был страх и ощущение собственной неполноценности. В тех редких случаях, когда правда все-таки прорывалась через этот страх, она попадала под мощный про-

жектор редактора и цензора. Редактор мог сделать все, что хотел: впрыснуть положенный на сегодня набор цитат, разбавить текст убивающими мысль штампами, вырезать все «вольности», переписать начало и концовку в духе последних указаний. То, что упускал редактор, добивал цензор. И вы ничего не могли поделать. Во-первых, вас чаще всего не извещали об этих переделках. А во-вторых, вам всегда могли доказать, что они необходимы, что без них статья не может пойти. И она действительно не шла, если вы настаивали на своем.

Жизнь среди мифов, которые создавались годами, привела к дефициту даже на уровне терминологии. Принципиально новые явления современного мира, стремительные повороты в социальной и экономической жизни мы пытались, да и сейчас еще пытаемся объяснять языком далекого прошлого. Наш словарь тоже был изолирован, закрыт для обновления. В результате смысл новых процессов в мире оказывался искаженным, искривленным до неузнаваемости. Искусственно созданная жестокая информационная засуха привела к массовому голоду, который выжигал интерес к профессиональному отношению к работе. Цензура — внешняя и внутренняя — возвела столько заборов на пути любых ветров, что еще немного, и мы стали бы верить, что земля — плоская, а заграница — это просто буржуазная пропаганда, поскольку все начинается и кончается в наших пределах.

К примеру, мы только недавно выяснили, что в Азии существуют такая Южная Корея и такой Тайвань, которые по экономическим показателям входят в число ведущих стран мира. Мы обнаружили, что на Ближнем Востоке не везде непрерывный конфликт, который по уик-эндам нам живописал на фоне всегда вчерашних развалин корреспондент ТВ в отглаженном костюме и модном галстуке, но и бурно развиваются небольшие стабильные страны, где уровень жизни населения сопоставим с самыми процветающими государствами планеты. Оказалось, кстати, что слово «процветающий» можно отнести к несоциалистическим странам.

Зная, что нас не так уж любят в остальном мире, мы очень обижались и винили во всем коварных врагов из-за океана. Сейчас мы понимаем, что такой образ Советского Союза сложился не без нашей помощи.

Восемь лет подряд у нас создавалось впечатление, что «интернациональный долг» нашего «ограниченного контингента» (об этих замечательных словосочетаниях еще пойдет речь) в Афганистане похож на что-то вроде караульной службы с редкими боевыми учениями. Сегодня мы узнали, что там шла настоящая война, которая по неполным, наверное, данным обошлась нам в 50 тысяч убитыми и ранеными и 50 миллиардов рублей.

Искаженная информация не только приводила к формированию неверного образа той или иной страны, но и создавала реальную опасность выбора неточных или ошибочных решений на государственном уровне. Каждый такой «виток» неизбежно заводил в тупик, выход из которого всякий раз был болезненным и сложным.

Мы хорошо знаем — по крайней мере нам так кажется,— кто виноват в разжигании тех или иных конфликтов в мире. Ну, а какова степень нашей ответственности? Пока, видимо, на этот вопрос без достаточно глубокого исследования ответить трудно. Но уже сегодня можно сказать, что решения о нашей вовлеченности в ту или иную внешнеполитическую ситуацию, которая приводила к внутреннему или региональному конфликту, не всегда принимались с достаточным основанием.

Сегодня мы пожинаем горькие плоды прежнего механизма выработки внешнеполитических решений, который не только отвергал научный, фундаментальный подход к сложнейшим проблемам современности, в частности развивающегося мира, но порой противоречил элементарному здравому смыслу. Некоторые активные шаги предпринимались даже тогда, когда буквально на поверхности лежала тревожная, предупреждающая информация об опасности чрезмерной деятельности в том или ином районе.

Самым показательным примером в этом отношении является, конечно же, Афганистан. Сегодня, когда советское руководство пришло к трудному, мужественному, но единственно правильному решению вывести наших солдат из этой страны, мы начинаем по-новому оценивать наши действия с 1979 по 1987 год.

Видимо, специалисты по этому региону еще расскажут нам, какие условия на самом деле существовали в Афганистане и вокруг него к моменту ввода войск, как они учитывались при разработке этой акции, проводилась ли оценка ее последствий для международных позиций СССР и возможной реакции советского народа. Назревает необходимость получить ответ и на вопросы о том, были ли альтернативные точки зрения по этой проблеме, кто именно настоял на военном решении и с помощью каких аргументов. Нам нужно знать все это, в частности потому, что эти девять лет будут еще очень долго напоминать о себе как во внешней, так и во внутренней политике.

Ждет своего анализа наша вовлеченность и в другие конфликты далеко за пределами нашей страны.

Такой анализ необходим не только потому, что мы провозгласили курс на их политическое урегулирование, но и для того, чтобы не повторялись прежние ошибки, чтобы не возвращалось время, когда идеология подменяла собой политику.

К сожалению, провести глубокий и всесторонний анализ даже сегодня было бы очень трудно. И одна из причин — продолжающаяся нехватка правдивой информации о том, что происходит за пределами наших границ.

Владимир Тендряков в повести «Охота» вспоминает время, когда мы «любили далеких негров и испанцев, пренебрегали соседом, а чаще кипуче его ненавидели». В детстве над его кроватью висел плакат — «три человека, объятые красным знаменем, шагают плечо в плечо. Негр, китаец и европеец, черный, желтый и белый — три братские расы планеты, знаменующие собой Третий Интернационал».

Я тоже помню эти три фигуры, шагающие по земному шару,— улыбающиеся ги-

ганты, уверенные в своей победе в борьбе за мир. И еще помню, всегда завораживала, делала сообщником замечательная двусмысленность лозунга: «борьба за мир», внешне невинного, но приобретающего грозный смысл в русском языке. И в моем детстве, когда я вглядывался в как бы высеченные из камня улыбки черно-желто-белой троицы, я казался себе участником огромной тайны, о которой, конечно же, на той стороне никто не догадывался. А мы, так ловко зашифровав в одном слове истинную цель, могли улыбаться вместе с нашими классовыми и расовыми союзниками и идти цепью на врагов.

Этот лозунг сопровождал несколько поколений от рождения до смерти. Каждое из них надеялось все меньше, вера как бы угасала, таяла, но все же оставалась. Вот победим в борьбе за мир, и тогда — тут уже вступал другой лозунг — в этом, нашем, мире установится мир. Вся планета станет лагерем социализма. («Лагерь» — сколько лет мы жили с этим тюремным символом нашего существования?) С домов, с неба, с полотнищ знамен нам кричали огненные, опасные, секретные слова: «борьба за мир».

Вот победим в борьбе за мир... вот победим в борьбе за мир... вот победим...

«Далеких негров и испанцев» мы сегодня любим меньше, а соседом пренебрегаем так же, хотя и без прежних жестокостей. Но мы еще помним этот плакат и помним те лозунги, которые сопровождали нас на протяжении всей жизни. Массовые убийства людей сопровождались массовым убийством языка, которое должно было облегчить задачу создания всеобщего скудоумия как идеальной среды для административно-приказной системы. Неудивительно, что именно в «застойные» годы так буйно размножилось чиновничье племя, которое плодило коротенькие слова-символы, понятия с двойным дном. В скорлупу эвфемизмов прятали истинное значение слов. Долгие годы нас заставляли принять этот язык в качестве основного. Даже улицы закаркали чиновничьими мыслями, начертанными на громадных, непременно кумачовых полотнищах. Помните знаменитые «экономика должна быть экономной», «пятилетке качества — ударный труд»?

Вместо «убиты» мы стали говорить «имеются человеческие жертвы». Вопиющую бесхозяйственность, беззаконие и торжество посредственности смягчили неясным термином «застой». Вы утверждаете, что в 30-е годы был разгул террора? А мы считаем, что всего-навсего «имели место нарушения социалистической законности». И этот товарищ ничего не крал, не брал взяток и не разваливал производства. У него просто «наблюдались отдельные недостатки в работе», за что он и ушел на пенсию «по состоянию здоровья».

Внутри самого чиновничьего племени, разбухшего до невероятности, язык еще более дик и непонятен. Непосвященному лучше туда и не соваться: его опутают причастными оборотами, намертво схватят по рукам и ногам деепричастиями, забьют нос и уши вводными словами, будут бить склизкими бревнами «бюрократизмов». И огромное количество воды прольется на беднягу. Долго потом ему не просушиться, не перелопатить спрятавшихся в складках одежды кусачих мелких словечек...

— Василий Кириллыч, разве с таким циркуляром войдешь?

— А почему же не войдешь, Юрий Александрович? Вот выйдем на Виктора Михайловича, а потом и войдем.

— Но куратор-то уже ориентировал точку.

— А мы задействуем аппарат и пропустим бумагу через Анатолия Николаевича. Выбейте из него установку, да и положите ее на проект!

Одно из любимых чиновничьих выражений: «Будем думать». Обязательно в будущем времени. Сейчас, сию минуту, это невозможно. «Я уже сказал, товарищ, будем думать».

Чиновники навязывали нам сталинскую терминологию спора, включающую знакомые всем выражения «не случайно» и «хорошо известно, что». Эти обширнейшие по объему, потрясающие по гибкости, мощнейшие по непобиваемости словосочетания употреблялись совсем недавно очень часто. Если заметка в газете начиналась с «как известно», то все знали: речь пойдет о провокациях классового врага, очередных его происках и клеветнических выпадах. Доказательством его вражеских действий выступало многозначительное «не случайно». Мы твердо верили, что у врага ничего не случайно, все взаимосвязано, даже если никакой связи и не видно.

Точно такими же способами мы сглаживали углы и прятали правду в информации об остальном мире. Набившее оскомину клише «развивающиеся страны переживают определенные трудности на пути строительства нового общества» скрывало порой не только катастрофическое положение в экономике того или иного государства, но и полное незнание автором предмета, нежелание его редактора публиковать честную информацию, указание цензора не трогать «острых проблем» — и полное безразличие тех и других к интересам своего и чужого народа.

Причем за годы перестройки пропагандистские штампы о развивающемся мире практически не изменились. Здесь по-прежнему преобладает превосходная степень оптимизма. И чуть только пытаемся сказать даже не то что правду, а просто малозатасканное слово, как срабатывает внутри какой-то рычажок, и рука послушно чертит до оскомины надоевшие слова о патриотах, сражающихся против сил империализма и неоколониализма, и о тех же патриотах, строящих «новую жизнь».

Ах, эта пресловутая «новая жизнь»! До чего же она хороша на страницах нашей печати! В этой «жизни» все, что ни делают наши друзья,— замечательно! Все, что делаем мы,— прекрасно! И мы так много помогаем — с газетных страниц наша помощь выглядит намного внушительнее, чем чья бы то ни было. Примеров — не счесть. Я остановлюсь лишь на нескольких, связанных с развивающимися странами, которые знакомы мне больше. Это, конечно, не означает, что наши «окна», повернутые к Западу, прозрачнее восточных. Помните: «Нелегкая судьба журналиста-международника в который раз забросила меня в Па-

риж»? Или: «Новый год пришел на улицы Нью-Йорка, но невесело простым американцам»?

Чтобы не складывалось впечатление, что автор в основном питается богатыми залежами прошлого, приведу сравнительно свежий пример из «Правды», которая 7 ноября 1988 года поместила на первой полосе заметку под заголовком «Страна за партой».

Здесь позвольте сделать небольшое отступление, потому что один этот заголовок, как говорится, дорогого стоит.

В принципе заметку дальше можно и не читать, потому что наше привыкшее к немногим стереотипам воображение мгновенно нарисует небогатую школу обязательно в развивающейся и обязательно прогрессивной стране (ведь страна же за партой!). Почему так? Да потому что, по неписаным законам нашей международной журналистики, в развитых странах все либо давно уже выучились, либо безнадежно невежественны и ничего с этим уже никогда не поделают. Так вот, в развивающейся стране с прогрессивным режимом, в небогатой школе стоят тесные ряды парт. Школьники, сложив руки перед собой, жадно слушают молодую учительницу, которая указкой водит по доске. Иногда за парты усаживают усатых мужчин и кормящих матерей — это будет школа для взрослых. Но учительница все равно останется молодой. Так принято.

Сама заметка, к счастью, короткая. «Вечерами,— говорится там,— по улицам города, на которых расположены школы, не протолкнуться. Лучи фар выхватывают из темноты (в 19 часов уже не видно ни зги) заполонивших всю проезжую часть молодых и не очень молодых людей со стопками тетрадей под мышкой...» И дальше: «Освобождение из плена неграмотности, а значит, и векового невежества, в котором старался держать трудящихся сметенный революцией феодально-монархический режим,— одна из важнейших задач, которую ставит перед собой правительство республики».

Что мы узнаем о жизни и проблемах народа этой страны (в данном случае — Эфиопии) из такой заметки? Да и видим ли мы народ в этих анекдотических молодых людях якобы со стопками тетрадей под мышкой? Да и разве в условиях экономического, политического, экологического кризиса, который переживает Африка, ликвидация неграмотности — самая главная проблема?

К сожалению, это все еще типичный пример. В прошлом году группа социологов проанализировала годичную продукцию другой центральной газеты по африканской тематике. Картина получилась нерадостная. Меньше всего сведений читатели получили о культуре, да и то это была в основном короткая информация из раздела «хроника» о гастролях, визитах и вечерах дружбы, причем всего из 15—17 африканских стран (а их более 50-ти). Об экономике — из 20 стран (стихийные бедствия, наша помощь). Бóльшая часть сообщений на политические темы касалась приемов и переговоров. Практически не было аналитических статей на ключевые темы современной жизни. И самое печальное, что язык этих публикаций сохранился с прежних времен в неизменности — наивное умиление по поводу достижений в «странах, идущих по пути прогресса» и столь же наивное негодование по поводу различных коварных врагов.

И сплошь — клише и эвфемизмы «застойных» лет.

«Ограниченный контингент» — этот эвфемизм занял в жизни моего поколения девять долгих лет. Это, можно сказать, классический пример умышленного сокрытия смысла не пользовавшейся популярностью акции правительства.

Тайна составляющих его слов была подобна платью короля из сказки Андерсена. И всякая попытка разгадать ее была равносильна признанию в политической неблагонадежности.

Вопросы возникли, конечно, сразу же после появления первого официального сообщения о нашем вторжении в Афганистан. Почему «ограниченный»? Чем ограниченный — численностью? законами? сроком действия? И что такое «контингент»? Сколько это солдат и есть ли при них танки и пушки?

Оказалось, что и солдат много, и пушек. Потом появились даже и ракеты. А в самом конце, уже за несколько месяцев до установленного срока вывода,— и довольно мощные. И наш корреспондент ТВ — человек, несомненно, мужественный, и повидавший, и настрадавшийся за долгие годы репортерства об этой войне — стоял перед камерой на фоне устремленных в небо тупоголовых носителей смерти, с привычным пафосом сообщая, что вот сейчас, буквально через несколько минут командир даст сигнал и эти мощные ракеты уйдут в небо, чтобы нанести карающий удар по врагам революции, по тем, кто не хочет соблюдать соглашения,— а потом телеглаз фиксировал старт, и вскоре корреспондент тем же срывающимся от торжественности момента голосом говорил, что ракеты достигли цели, враги наказаны, и т. д.

Почему был избран «контингент»? Возможно, в силу многозначности этого эвфемизма в нашей бюрократической системе. Так называют, например, больных в поликлиниках. И клиентов в привилегированных заведениях. Ну и, конечно, обитателей ГУИДа — Главного управления по исправительным делам МВД СССР, то есть осужденных.

Странное, недоброе слово, отдающее затхлым духом кровавых времен, пробралось и к нам, продолжает спокойно жить в условиях демократизации...

Затем к «ограниченному контингенту» добавили еще одно определение, которое звучало как название новой воинской специальности: «воин-интернационалист». Так стали именовать не только наших солдат в Афганистане, но и кубинских — в Анголе и вьетнамских — в Кампучии. Этот эвфемизм, отдающий романтикой далекого мифического прошлого, также был призван затуманить, исказить суть происходящего в Афганистане, сыграть на созвучии с интернациональными бригадами, сражавшимися в 30-х годах в Испании.

Наши словари и энциклопедические справочники не могут объяснить суть этого слова. Если исходить из того, что оно является производным от «интернационализм», то сочетание со словом «воин» выглядит странно. Ведь, если верить справочникам, интер-

национализм «проявляется в политике, идеологии и психологии».

Но может ли «интернационалист» стрелять и убивать?

Даже если, как говорится в Советском Энциклопедическом Словаре, интернационализм — это «важнейшее условие развития мирового революционного процесса, успехов в строительстве социализма и коммунизма, борьбы против военной опасности»?

В общем-то обидно и стыдно, что и сегодня мы опасаемся называть вещи своими именами, хотя и с высоких трибун звучат честные, трезвые слова. Мы никак не можем избавиться от синдрома Крошки Цахеса.

Как иначе можно объяснить тот факт, что наши средства информации по-прежнему сбиваются на язык серого прошлого?

Газета «Московская правда» 7 февраля 1989 года напечатала сообщение корреспондента ТАСС о выводе последних советских подразделений из Афганистана, которое начиналось такими словами: «В Термезе зацвел миндаль, но если бы природа и не преподнесла бы такого подарка, эти февральские дни все равно бы остались в памяти жителей старинного города как самые торжественные и радостные». При чем здесь миндаль? Который, кстати, мгновенно вызывает в памяти пособие Остапа Бендера для начинающих журналистов: «Цветет урюк под грохот дней...» И разве так уж важно, что Термез «старинный» город? И разве торжественность и радость — главное, а не печаль и скорбь?

А на митинге... «Грянул оркестр», «Родина приветствует возвращение своих сыновей».

По словам майора, выступившего на митинге, выходило, что эти девять лет наши солдаты в Афганистане главным образом мирно трудились: «Они за эти годы отремонтировали, восстановили и построили сотни школ, лицеев (?), училищ, три десятка больниц и столько же детских садов, около 400 жилых домов, 35 мечетей, многие десятки колодцев, около 150 километров арыков и каналов». Кроме этого, они занимались «охраной военных и мирных объектов в Кабуле». Неужто и не воевали? Нет, «участвовали в боевых операциях в провинции Кандагар».

В Термезе были и иностранные журналисты. «Их здесь несколько сотен из многих стран мира»,— сообщает корреспондент и по старой привычке внушает нам сомнение в их объективности: «Трудно сказать, о чем они поведают своим читателям и зрителям».

Продолжает: «Для нас же, советских людей, ясно главное: наши парни возвращаются, выполнив свой интернациональный долг». (А днем раньше по программе «Время»:«Они выполнили свой сыновний долг».)

И это — сегодня! Полное смещение понятий. Снова делается попытка говорить от имени всего народа. Так ли уж всем нам ясно, что «наши парни» выполнили, или, лучше сказать, выполняли, в Афганистане «интернациональный» или «сыновний» долг? Не делается ли вновь попытка скрыть за этими эвфемизмами деформации брежневской системы?

А вот «Правда» (11 января 1989 г.) пишет о выводе вьетнамских войск из Кампучии. Тот же восторженный тон, те же «воины-интернационалисты»... Озаглавлено по-домашнему: «Проводы добровольцев». А в тексте — все те же образы нашего старого «зеркального» мира. В Кампучию, не пишет, а буквально поет корреспондент, «движимые братским чувством интернационализма, вступили отряды вьетнамских добровольцев, которые вместе с верными революции сынами кампучийского народа изгнали из страны клику Пол Пота — Иенг Саари». Что делали вьетнамские добровольцы в течение десяти лет пребывания в Кампучии, прямо не говорится, однако из статьи можно понять, что и они в основном занимались восстановлением экономики. И провожают их в лучших традициях нашей международной журналистики: «Первые лучи солнца осветили бесчисленное множество красных флажков... в алых флагах, транспарантах, в красочных панно улицы Пномпеня. По радио звучат здравицы...»

Через десять дней «Правда» теми же словами описывает проводы кубинских «интернационалистов»: «Кажется, что вся Луанда собралась с утра на исторической площади Первого Мая...»

Грустно все это, очень грустно. Вспомним «Слепящую тьму» Артура Кёстлера: «Почему, когда мы говорим правду, она неизменно звучит, как ложь?.. Почему, провозглашая новую жизнь, мы усеиваем землю трупами? Почему разговоры о светлом будущем мы всегда перемежаем угрозами?»

Все те же «проклятые» вопросы...

Изгнание мифов из сфер, связанных с международной жизнью, с внешней политикой, происходит трудно. Утверждение принципа гласности сдерживается сохраняющейся невозможностью, а часто и нежеланием высказываться по целому ряду важнейших проблем. Еще силен традиционный страх перед заграничным общественным мнением. Многим мешает говорить своим голосом отсутствие глубоких знаний соответствующих проблем. А некоторым, выражаясь словами А. Герцена, по-прежнему «насильственное бремя рабства» милее «излишнего дара свободы».

У других не проходит боязнь возможных последствий честного обсуждения внешнеполитических проблем. Всякий раз очень резко срабатывает воспитанный десятилетиями у кого сталинской, у кого брежневской селекции инстинкт самозащиты, самосохранения. Им так и мнится, что сидит где-нибудь этакий незаметный ватный старичок Варфоломеич и, сгорбившись, кропает списки по ведомствам: такой-то такого-то числа статейку тиснул да такие-то слова употребил. А тот выступление учинил, покусившись на основы. И — по алфавиту, в ящички укладывает. Хотя, возможно, это вовсе и не ватный старичок, а целая команда, и не в ящички, а в компьютеры...

Вы заметили, что за годы перестройки у писателей, что ни день, так выяснение отношений, а у журналистов-международников — тихо. Почему?

Мне кажется, главная причина в том, что просто не о чем спорить — среди всей многотысячной армии журналистов, пожалуй,

один лишь Александр Бовин не боялся говорить правду в самые глухие годы застоя.

Увы, отвыкнуть от одной из наших застарелых привычек — всеми способами обходить правду, подменяя ее различными эрзацами,— наверное, не проще, чем отучить от неумеренного пьянства. Эта привычка — как очень сильный наркотик, к которому легко и надолго привыкаешь.

Но дело не только во внутреннем механизме торможения. Существует в нашем обществе и иной механизм, как мы все знаем, вполне реальный, и его сопротивление перестройке становится все ощутимее. Это люди крепкого закала. Они ждут, когда перестройка начнет терять в глубине, силе и авторитете, чтобы в удобный момент выступить и положить конец «гнилому либерализму».

Нынешний чиновник снисходителен к происходящим в стране процессам: пусть поиграют в демократию, пусть поговорят.

Никто из них уже и не помнит о первом шоке, который вызвала перестройка. Чиновники выстояли и, перегруппировавшись, переняв и успев уже опошлить новую терминологию, пошли в контрнаступление, нередко под теми же знаменами гласности.

Недавно у меня произошел любопытный разговор с одним из этого племени.

После дежурных фраз о работе и погоде он поспешил к делу:

— Ты видишь, старичок, к чему нас привели? По всем фронтам отступление. В экономике откатываемся к капитализму. В идеологии и не пахнет коммунизмом. Отдаем американцам все, о чем они ни попросят! Афганистан отдали. Никарагуа отдаем. Анголу отдаем. А что делается в соцстранах!

— Что? — поинтересовался я.

— Полный раздрай! Как мы теперь будем на них воздействовать? Мы контроль теряем! Полное отступление! Империалисты и мечтать не могли о такой победе!

Я не перебивал его, а он все больше возбуждался, просвещая меня о вреде перестройки, о тех безднах несчастий, которые открылись перед советским человеком.

— Старичок! — убеждал он.— Ведь если так и дальше пойдет, мы попадем в полную зависимость от империализма!

И такая звенела в его плаче ностальгия по старому доброму времени, когда социальный апартеид был всевластным и всепроникающим, что и впрямь слеза навернулась на его ясные глаза. Ему было по-настоящему обидно, что все нажитое, все «положенное» может пропасть.

Но он быстро справился с эмоциями и строгим голосом произнес, что вот, мол, старичок, такие дела, надо что-то делать.

— А что делать? — наивно спросил я.

Он метнул на меня острый взгляд, замолк, а потом без всякого перехода заговорил о другом. Чем-то я ему не понравился.

Невидимые солдаты всех прошлых эпох собираются сегодня в одну армию, соглашаясь забыть свои разногласия во имя общей цели. Пока это еще разрозненные отряды. Но опасность того, что они превратятся в серьезный фактор давления справа, весьма реальна. Они уже сейчас используют любую неудачу, любой промах, стремясь вызвать ярость неудовлетворенных масс и направить их против перестройки. И между прочим, в их руках сохраняются мощные рычаги влияния, в частности у тех, кто занимается международными делами.

Они пишут статьи на международную тему со всеми атрибутами прошлой эпохи. И их печатает сочувствующий редактор. И у вас, читатель, они вызывают так же отвращение, как и раньше. И вы говорите: ничего не меняется, все одни слова...

Они шлют депеши о положении в чужих странах и приписывают, что, с одной стороны, все просто задыхаются от счастья при одном слове «перестройка», но с другой, предупреждают «по-товарищески», что завоевания социализма в СССР ставятся под угрозу. И такая бумага попадает на чей-то руководящий стол. И чья-то рука отчеркивает синим карандашом последние строки. И в своем докладе еще кому-нибудь повыше можно прибавить: правду говорят, надо бы не спешить.

Сегодня мы с сожалением признаем, что для палачей Сталина скорее всего истек срок давности и они могут доживать свой век в тиши московских дворов, ожидая Страшного суда. Но как быть с теми, кто продолжал духовно увечить людей после смерти тирана? Кто вливал в наши уши яд злобной пропаганды, разжигал в наших душах ненависть, губил редкие ростки добра и совести, сочинял маленькие статьи и огромные книги, заставляя читать их всех нас, чтобы из каждого сделать «нового человека», лишенного милосердия, доброты, фантазии, собственного мышления? Как быть с ними? Нет у нас, к сожалению, такого закона, который карал бы за массовое оболванивание людей. Хотя, может быть, стоит применить к ним те же самые статьи уголовного кодекса, которыми они давили мыслящих, непокорных соотечественников?

Нет, не получится у нас. Мы просто не сможем их найти — они растворились в новой атмосфере, перекрасились быстрее других — у них фантастические способности к мимикрии. Таких людей Генрих Гейне предлагал «бить палками при жизни: ведь после смерти их нельзя наказать, нельзя опозорить их имена, заклеймить, обесчестить,— ибо от них не остается даже имен».

В их статьях, на их лицах — снова полное совпадение с господствующей линией. Вот что пугает: они нас снова учат!

Под видом перестройки они уже сейчас начинают применять отработанный в прошлом способ полуправды. В прежнее блюдо добавляют несколько капель достоверной информации. Без этой добавки по крайней мере все было ясно, теперь разбирает любопытство: неужели? а вдруг все же? Но снова — разочарование, которое в наше время надежд и возрождающегося доверия ранит особенно сильно.

И вновь появляется страх: а что, если нынешний период — это только ненадолго, просто передышка в том же великом эксперименте, в котором, выражаясь словами героя А. Кёстлера, мы гнали «хрипящие от усталости массы — под дулами винтовок — к счастливой жизни, которой никто, кроме нас, не видит»?

◆

На анкету «ИЛ» отвечают зарубежные русисты

1. Как Вы оцениваете перемены, происходящие в общественной жизни нашей страны, и воздействие гласности на культурную ситуацию в Советском Союзе? Происходят ли в этой связи какие-либо изменения Вашей концепции развития советской литературы?

2. Удовлетворены ли Вы развитием культурно-политического диалога между Вашей страной и СССР?

3. Остались ли еще, на Ваш взгляд, сейчас, в эпоху гласности, белые пятна в нашей истории и литературе?

4. Что Вы думаете о преобладании публицистического начала в современной советской литературе? Каково, с Вашей точки зрения, значение полемики, развернувшейся в нашем обществе вокруг личности и исторической роли Сталина?

5. Как Вы оцениваете феномен русскоязычного литературного зарубежья и место этого явления в русской и мировой культуре?

6. Над какой темой Вы работаете в настоящее время?

ДЕМИНГ БРАУН (США). Родился в 1919 году. Профессор русской литературы Мичиганского университета. Автор книг: «Американская литература в СССР» (1962), «Советская русская литература после Сталина» (1978).

1. У меня сложилось самое благоприятное впечатление от происходящих перемен, которые, надеюсь, будут продолжаться. Влияние гласности на культурную ситуацию в целом очевидно. Особенно оно чувствуется, когда я читаю ваши журналы и газеты и смотрю программы телевидения.

Мне кажется, еще слишком рано говорить о существенных стилистических изменениях в советской литературе. Наиболее значительные произведения, публикуемые сегодня, были написаны десятилетие назад (а то и больше) и выдержаны в основном в духе традиционного реализма. И хотя их темы отчасти новы для советского читателя, по манере повествования они остались на уровне прошлых лет.

Однако есть свежие и, на мой взгляд, интересные начинания — взять хотя бы рассказы Вячеслава Пьецуха и Татьяны Толстой или последние повести Владимира Маканина Думаю, со временем скажется влияние и публикаций писателей-эмигрантов, таких как Набоков, Бродский, Соколов.

2. Я рад этому диалогу и очень надеюсь, что со временем его развитие примет более интенсивный и всесторонний характер. Испытываю огромное удовольствие от откровенных и свободных дискуссий с советскими литераторами.

3. Действительно, белые пятна остались. Более тщательного и глубокого исследования заслуживают годы Октябрьской революции и гражданской войны. Надеюсь, вы сможете окончательно развеять все «мифы». Вы уже добились больших успехов в этом отношении, но, полагаю, вам непременно следует напечатать «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус» и «В круге первом» Солженицына. Лично я не согласен с некоторыми его идеями, но тем не менее считаю: с вашей стороны было бы и справедливо и мудро опубликовать эти книги.

Уверен также, что советскому народу крайне необходима правдивая, подробная и общедоступная историческая проза. Отмена цензуры в этой области была бы полезна во всех отношениях.

4. Преобладание в современной советской литературе публицистики вполне естественно. И это, возможно, даже необходимо в период социальных преобразований и глубокого анализа прошлого страны. Видимо, неизбежно. что вопросы эстетики временно отступили на второй план. Однако это не означает, что все писатели обязаны стать публицистами. Очень важно, чтобы каждый из них имел возможность развивать свой талант в наилучшем для себя направлении, даже когда общество сильно обеспокоено политическими проблемами. Мне приятно сегодня читать произведения таких «аполитичных» авторов, как Тол-

стая, Маканин и Каледин. Интересно отметить, что если в 50-х и 60-х годах ведущую воспитательную, «гражданскую», роль играла поэзия, то сегодня она стоит на довольно умеренных позициях.

С сожалением отмечаю, как некоторые писатели, чьи прежние работы были отмечены высокой художественностью, сегодня считают для себя возможным снизить собственные критерии подчас до журналистского уровня, выступая с нравоучениями и безапелляционными суждениями.

Полемика вокруг личности и исторической роли Сталина кажется мне очень важной: лишь ясное и глубокое понимание феномена сталинизма позволит советскому народу избежать повторения подобного явления в будущем. В то же время я считаю, что объяснять все ужасы сталинского периода личными качествами одного исторического деятеля было бы вредной ошибкой. Следует рассматривать сталинизм во всей его сложности, а не искать козла отпущения, хотя Сталин был, безусловно, чудовищным злодеем. Прежде чем браться за лечение психологических и нравственных ран прошлого, их надо сначала полностью обнажить.

5. За рубежом живет немало талантливых литераторов из России. И это, наконец, признали в Советском Союзе: были опубликованы произведения таких мастеров, как Набоков и Бродский. Но остались и другие писатели, которым следует воздать должное и напечатать их книги на родине.

Конечно, советская литература отличается от той, что была создана эмигрантами. И все же это, безусловно, две ветви единой современной русской словесности. Необходимо сделать все возможное, чтобы между ними установились более тесные связи.

Пока же общение затруднено: ведь советские писатели, в отличие от своих коллег, ныне живущих за рубежом, не имеют свободного доступа к новинкам эмигрантской литературы, не говоря уже о цензуре, которой подвергаются их книги. И хотя цензура литературных произведений в Советском Союзе, безусловно, стала более снисходительной, я считаю, что этого недостаточно — ее следует отменить вообще.

Свободный обмен идеями, литературными и критическими работами значительно обогатил бы представителей обеих групп русских литераторов.

6. Сейчас я работаю над продолжением своей книги «Советская русская литература после Сталина», изданной 11 лет назад. Это будет обзор советской русской литературы за последние 15 лет. Я хотел бы написать книгу о современной русской литературе в целом, но боюсь, жизнь слишком коротка для осуществления такого грандиозного замысла.

ВИТТОРИО СТРАДА (Италия). Родился в 1929 году в Милане. Окончил философский факультет Миланского университета и аспирантуру филологического факультета МГУ. Профессор Венецианского университета, заведующий кафедрой русской литературы, директор Института русской литературы.
Автор книг: «Традиция и революция в русской литературе» (1980); «СССР — Россия» (1985); «Сон разума. Мифы и образы русской литературы от Достоевского до Пастернака» (1986); «Символ и история. Аспекты и проблемы русской литературы 20 века» (1988). В книге, вышедшей под редакцией Франсуа Фюре «Наследие французской революции» (1989), опубликован его очерк «Франция и Россия: аналогия в революциях». Подготовил итальянские издания книг М. Бахтина и Ю. Лотмана. Основатель журнала «Руссия». Сотрудничает в итальянской и иностранной печати (в основном в газете «Коррьере делла сера»).

1. Ясно, что перемены, происходящие в советской общественной и культурной жизни в последние два года, я оцениваю положительно, поскольку они часто способствовали преодолению крайне обскурантистской ситуации. Но при этом я не могу не смотреть на эти перемены критически и вижу в них лишь зачатки истинной демократии, которая должна возвратить культуре и литературе России и других наций Советского Союза, а значит, и обществу в целом, ту полную свободу, о которой свидетельствует дореволюционная литература и культура. Конечно, историческая ситуация теперь иная, чем в начале века, но свобода мысли, совести, слова, инициативы, ассоциаций имеет вечную, непреходящую ценность.

Мои взгляды на советскую литературу не претерпели существенных изменений; я уже несколько десятилетий говорю о том, что только сейчас начинают признавать в Советском Союзе. Если что и изменилось в моих представлениях, то это вполне естественно и нормально для любого не догматически мыслящего человека, который постоянно эволюционирует в своих поисках исторической истины.

2. Состояние культурного и политического диалога между Италией и СССР и вообще между западными демократиями и СССР в настоящее время улучшилось. Однако диалог этот не такой свободный и прямой, как между отдельными западными демократиями, и к тому же он по-прежнему подмят политико-бюрократическими инстанциями по очевидным соображениям структурного порядка. Скажем, специалиста по Франции, как бы критически он ни относился к сегодняшней французской политике, никогда не обвинят в том, что он «антифранцуз», и не будут дискриминировать на этом основании. В отношениях же с СССР «советофильски» настроенный, пусть и посредственный, русист встретит поддержку советских органов, ведающих культурой, не в пример стоящему на «антисоветских» позициях, то есть независимо и критически мыслящему, хотя, надо сказать, такая дискриминация в последнее время стала значительно слабее. В общем, до демократической нормы еще далеко.

3. Так называемые белые пятна были грубейшим, какое только можно представить, отрицанием истины, поскольку суть

их состоит в сокрытии и фальсификации исторических документов первостепенной важности. Сейчас с этой точки зрения налицо прогресс, хотя можно назвать ряд других важнейших текстов, которые следовало бы вернуть советскому читателю, например, сборник «Из глубины», имеющий большое значение для понимания большевистской революции, или статью Брюсова «Свобода слова» (журнал «Весы», 11, 1905), являющуюся провидческим «прочтением» ленинской статьи «Партийная организация и партийная литература». Сюда следует прибавить и то, что было опубликовано на Западе последней волной русской эмиграции — «диссидентами». Но остается еще одно — самое большое — незачеркнутое «белое пятно». Речь идет о свободной от схем государственно-партийной идеологии интерпретации всей русской литературы советского периода. Конечно, поиски в этой области должны вестись в разных направлениях и с разными результатами, и в общем-то в СССР они еще не начались.

4. Преобладание публицистики в советской литературе последнего времени можно бы считать вполне нормальным явлением в условиях, когда тотальная цензура уступила место частичной. Ненормально, однако, что второразрядные произведения, имеющие документально-публицистический характер, к тому же с сомнительной и лицемерной идеологией, превозносятся как шедевры, свидетельствуя тем самым о существовании псевдолиберальной «мафии». Мне кажется, что на этом уровне растет и ширится своего рода парадоксальный «социалистический реализм» антисталинистского толка. Что касается официального антисталинизма, то он, конечно же, предпочтительнее сталинизма или его замалчивания, но это далеко не полная историческая правда, которая должна высветить корни явления, то есть дойти до Ленина и 1917 года и вылиться в свободный, широкозахватный анализ всей русской и европейской истории нашего столетия. Таких исследований в СССР нет, и официальный антисталинизм рискует стать чем-то вроде бесплодного и и одурманивающего антимифа.

5. Литература двух великих русских эмиграций нашего столетия (послереволюционной и 60—70-х годов) — явление слишком значительное по масштабам и слишком богатое крупнейшими фигурами (Бунин и Набоков в первой эмиграции, Солженицын и Бродский во второй), чтобы не составить важнейшую главу мировой литературы. Русская литература — единственная литература последнего столетия, познавшая разрывы такой тяжести и длительности, и это еще одно свидетельство исторической трагедии, пережитой русским народом. Все это еще ждет критического исследования, одновременно анализа и синтеза, несмотря на то что на Западе уже появились некоторые значительные работы на эту тему.

6. Я продолжаю работу над семитомной «Историей русской литературы», которая выходит во Франции в издательстве «Файяр» и в Италии у «Эйнауди» под редакцией Ж. Нива, И. З. Сермана, Е. Г. Эткинда и моей, с участием специалистов из разных стран. В частности, для седьмого тома, посвященного узловым проблемам развития русской литературы, я работаю над главой об интеллигенции и литературе. Продолжаю публиковать, совместно с моей женой Кларой Страда-Янович, международный ежегодник «Руссия», посвященный проблемам истории русской культуры и литературы. Готовлю ряд работ по историко-художественной мысли Пушкина (первая статья под названием «Пушкин, Шенье, Радищев и французская революция» вышла недавно по-русски в Израиле, в сборнике, посвященном Илье Захаровичу Серману). Собираюсь писать книгу историко-теоретического характера о русском романе на фоне западноевропейского. Постоянно выступаю на страницах итальянской и иностранной печати со статьями на актуальные темы советской культурной, литературной и политической жизни.

ТАКУЯ ХАРА (Япония). Родился в 1930 году. Профессор Токийского государственного института иностранных языков, специалист по русской и советской литературе, переводчик. Автор книг: «Преодоление последствий культа личности Сталина и советская литература» (1971); «Героини русской литературы» (1981); «Достоевский» (1981). Перевел на японский язык романы Л. Н. Толстого «Война и мир», «Анна Каренина» и «Воскресение», роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», пьесы А. П. Чехова «Чайка» и «Вишневый сад».

1. Я всецело поддерживаю курс на перестройку, проводимый в Советском Союзе с 1985 года. Высоко я оцениваю и гласность, благодаря которой стали возможны свободные и оживленные дискуссии по разного рода острым проблемам. В моей книге «Преодоление последствий культа личности Сталина и советская литература», опубликованной в 1971 году, я писал о своем разочаровании в «застойной» литературе того периода и своем неприятии ее. Сегодня у меня вновь с советской литературой связываются определенные надежды. Если нынешняя перестройка (не дай бог, конечно) захлебнется, не сумев преодолеть возникающие на ее пути препятствия, как это произошло с антисталинской кампанией Хрущева, тогда, я полагаю, на советской литературе можно будет окончательно поставить крест.

2. В последнее время японо-советский диалог в культуре и политике становится все более содержательным. В сфере политических отношений первоочередной задачей, безусловно, является заключение Мирного договора между Японией и СССР. Предпосылкой для этого акта должно стать разрешение проблемы Северных территорий. Если говорить о культурных контактах, то весьма отрадным событием явилась ратификация в минувшем году японо-советского соглашения о культурном обмене и сотрудничестве. Хотелось бы верить, что отныне культурный диалог между нашими странами еще более активизируется. Однако нужно, чтобы этот диалог

был не поверхностным и формальным, а искренним и плодотворным. Такой подход предусматривает временами и критику недостатков, ошибок партнера. Подлинный диалог возможен лишь на основе полного взаимопонимания.

3. В начале 1989 года в журнале «Новый мир» должны были напечатать роман А. Солженицына, однако публикация сорвалась. Это весьма прискорбное событие, не верится, что такое возможно в эпоху гласности. Я понимаю, что сейчас было бы сложно издать в Советском Союзе все книги этого писателя, но, по крайней мере, следовало бы дать сегодняшнему читателю возможность прочитать те произведения, которые уже появлялись на страницах литературных журналов и в свое время получили высокую оценку критики: «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор» и т. д.

Пока белых пятен еще хватает и в советской литературе, и в советской истории. Молодежь должна прочесть многие произведения писателей и философов еще дореволюционной поры, в особенности касающиеся проблем взаимоотношения личности и государства, власти и свободы. Это религиозные и философские труды Льва Толстого, наследие Бердяева, Струве, Шестова и многих других.

4. Преобладание публицистического начала в литературе страны, осуществляющей перестройку, представляется мне вполне закономерным. После XX съезда партии, во времена так называемой «оттепели», когда еще не было серьезных теоретических исследований и дискуссий относительно положения в КПСС и особенностей общественной системы, сделавших возможным культ личности, уже появлялись произведения примерно той же тональности.

Что касается исторической роли Сталина, то, на мой взгляд, необходимо исследовать эту тему более последовательно. Сталин — личность преступная; за тридцать лет пребывания у власти он превратил Советский Союз в страну тяжело больную и внушил всему миру недоверие к понятиям «революция» и «социализм». В ходе подобного исследования неминуемо произойдет переоценка роли и целого ряда исторических деятелей, в частности Троцкого.

5. То, что в годы застоя И. Бродский, В. Аксенов, А. Синявский, А. Солженицын и многие другие родившиеся в России писатели были вынуждены эмигрировать и создали русскоязычную литературу зарубежья,— факт для страны трагический; это огромная потеря для советской культуры. Многие из литераторов первой волны эмиграции, когда корни, связывавшие их с отечеством были обрублены, как писатели просто зачахли. Однако эмиграция семидесятых годов оказалась покрепче и за рубежом литературной деятельности не прекратила. Это, несомненно, вызывает уважение. В качестве одного из примеров такой стойкости я бы назвал журнал «Континент» который издается без перерыва с 1974 года.

Я очень надеюсь, что настанет день, когда эти писатели смогут свободно, ничего не опасаясь, вернуться к себе на родину.

6. В настоящее время я занят редактированием русского раздела «Собрания сочинений мировой литературы», которое выйдет в свет в 1989 году. Только что закончил работу над русским разделом «Энциклопедического словаря мировой литературы». В последнее время я несколько отошел от изучения литературы и увлекся изучением раскола русской церкви.

ВОЛЬФГАНГ КАЗАК (ФРГ). Родился в 1937 году в Потсдаме, сын писателя Германа Казака. Директор Института славистики Кёльнского университета, профессор, доктор филологических наук. Переводчик русской литературы. Автор книг о Гоголе, Паустовском, Линденберге-Челищеве. Его «Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 года» вышел по-немецки (1976, 1986), по-русски (1988), по-английски в США (1988).

1. В тех изменениях, которые имеют место в общественной жизни СССР в настоящее время, я вижу начало самой большой с 1917 года перестройки в положительном направлении. Успех зависит главным образом от того, сделает ли гласность возможной непрерывную духовную перестройку. Культура в Советском Союзе стала шире, грубое разделение на друзей и врагов частично отменено, но новые группировки и недостаточная терпимость вызывают опасения. Моя концепция развития советской литературы не изменилась, но расширилась: с 1986 года начинается новый период, так же как в 1934 и 1953 годах.

2. Культурный и политический диалог между разными странами ведется как правительствами, так и теми людьми, которые работают в одной и той же области культуры. Сегодняшнее положение в СССР гораздо лучше, чем при Сталине, который отрезал Советский Союз от культурных международных контактов. Новая ситуация до известной степени радостна, так как число контактов значительно умножается. Она, однако, еще не вполне удовлетворяет, так как между нашими странами до сих пор пролегает политическая граница, которая исключает естественный контакт, само собой разумеющийся между гражданами западных стран. Советские граждане нуждаются в отличие от граждан Федеративной Республики Германии в выездных визах и специальных разрешениях их учреждений для культурной деятельности за границей. Нам нужно гораздо больше диалогов между людьми, которые работают в одной и той же области, ведь диалог укрепляет мир, которого желают все люди здесь и там

3. Число белых пятен в русской истории и русской литературе и сейчас, в эпоху гласности весьма велико. За последние годы несколько особенно заметных белых пятен заполнены, но то белое полотно, которое еще осталось, гораздо больше, чем исчезнувшие пятна. В годы застоя развивалась в Москве, Ленинграде и во многих

других городах вторая культура, вытесненная в самиздат. Эти авторы писали без внутреннего цензора, они полностью подчинились принципу гласности и искренности, отрицали всякий компромисс, на который шли почти все и в том числе весьма почтенные члены Союза писателей. Сейчас появляются в журналах только первые публикации таких поэтов, как Г. Айги и Г. Сапгир. Еще не хватает Е. Кропивницкого, Вс. Некрасова, И. Холина, Яна Сатуновского или тех, которые только входят в литературу, как-то: И. Жданова, В. Лёна, О. Седаковой, А. Еременко и многих, многих других. Не хватает всего ленинградского круга Давида Дара, как, например, О. Охапкина, В. Кривулина, С. Стратановского, Б. Куприянова и еще многих других. Не хватает почти всего драматического и повествовательного творчества Нины Садур.

Включение русской заграничной литературы только начинается. В моем выборочном списке из 75 эмигрировавших писателей первой волны (1917—23) много авторов, произведения которых еще вообще не публиковались в Советском Союзе, а у других не хватает весьма важных произведений. Например, Г. Газданов, Б. Поплавский, В. Смоленский и Екатерина Таубер.

Из второй эмиграции напечатаны лишь первые стихотворения И. Елагина и Д. Кленовского. Не только их творчество надо сделать доступным советскому читателю, но и творчество О. Анстей, Н. Моршена, Н. Нарокова, Б. Ширяева и многих других. Антологию «Встречи» (издатель Вал. Синкевич) можно и нужно просто перепечатать.

Из третьей эмиграции — вследствие недостаточной гласности во время застоя — современный советский читатель только сейчас получил доступ к произведениям И. Бродского, В. Войновича, А. Галича, Н. Коржавина и В. Некрасова. Напечатаны только первые стихи Юза Алешковского и Ю. Кублановского. Творчество А. Солженицына представляет собой огромное белое пятно, как и творчество В. Аксенова. Но и Ф. Горенштейн, С. Довлатов, Л. Друскин, Ф. Кандель, Л. Лосев, В. Максимов, В. Рыбаков, С. Соколов, Е. Терновский и С. Юрьенен должны сейчас публиковаться в Советском Союзе, и когда я называю эти фамилии, мне стыдно, что я не назвал В. Бетаки, З. Зиника, Д. Маркиша и еще от двадцати до пятидесяти других. Любой знаток русской зарубежной литературы легко может расширить этот список. К тому же, надо помнить, что нет ни одного по-настоящему крупного в Советском Союзе писателя с действительно «полным» собранием сочинений. Что касается белых пятен, то не хватит целого десятилетия, чтобы заполнить их.

4. Естественным последствием долго отсутствовавшей гласности является то, что в настоящее время в советской литературе преобладает публицистический подход, хотя информация, которая там дается, большинству населения известна. Качество литературы от этого страдает. Преимуществом так называемой деревенской прозы было то, что она отчасти из-за недостаточной гласности серьезно поставила этические и религиозные вопросы. Такие вопросы в традиции русской литературы, постепенно они вновь приобретут прежнее значение.

Полемика вокруг Сталина обоснованна, ведь объем его преступлений слишком велик. Они должны взбудоражить весь русский народ. Однако недостаточно, чтобы гласность касалась только личности Сталина. Надо еще больше говорить о центральной проблеме, которая стоит за Сталиным: какие обстоятельства сделали возможными действия Сталина? До какой степени сама система отвечает за это, в какой мере можно предотвратить опасность появления нового Сталина, видоизменяя систему (конституцию, законодательство)?

5. Феномен русскоязычного литературного зарубежья в контексте всей русской литературы должен быть оценен весьма высоко. Эмигранты сделали очень много, чтобы развить и сохранить запрещенную в Советском Союзе десятилетиями литературу. Их собственное литературное творчество всегда было свободно от цензора и — независимо от высоты эстетического уровня — является частью единой русской литературы. Они развивали литературу, литературоведение и литературную критику, которые соответствуют сегодняшним принципам гласности в Советском Союзе.

6. Мой «Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 года», который в 1988-м вышел в русском переводе в Лондоне, сейчас переводится на китайский язык. Я дополняю 706 словарных статей сведениями, полученными благодаря перестройке. Пишу новые статьи об авторах, живущих в Советском Союзе и за границей, которые до сих пор не попали в поле моего зрения. Сейчас собираю материал для книги «Образ Христа в русской литературе XX века». Читателям, которые обратят мое внимание на менее известные Его литературные изображения, я буду весьма признателен.

ПАЛ Э. ФЕХЕР (Венгрия). **Родился в 1936 году. Член редколлегии газеты «Непсабадшаг», заместитель главного редактора венгерского издания «Советская литература». Автор монографии об Алексее Толстом. Издал двухтомную антологию «Русские поэты-классики» на венгерском языке. В 1987 году под его редакцией вышел сборник статей «Гласность».**

Зарубежный наблюдатель советской литературно-духовной жизни находится как бы в двойной зависимости. Особенно если он, как и автор этих строк, занимается не только литературой, а имеет еще профессию журналиста и, значит, интересуется и изменениями в политике — у себя на родине, в Венгрии, и вообще в мире. По сути дела этот хроникер должен давать о движении в области советской духовной жизни такую информацию, которая была бы «проходима» у него на родине и в то же время учитывала бы интерес к этим проблемам в обществе.

Само собой разумеется, все это не дает ему права каким-то образом искажать

действительность — очернять ее или приукрашивать. Еще свежи в памяти времена, когда мы могли упоминать Советский Союз только в качестве образца, а второразрядным и третьеразрядным произведениям советской литературы оказывали почести, приличествующие классике. После 1956 года нам пришлось осознать, что такими методами, которые, кстати, одинаково повелительно предписывались как советской и международной практикой сталинизма, так и нашим собственным догматизмом, мы причиняли огромный вред Советскому Союзу и советской литературе. Да и как не вспомнить слова Дюлы Ийеша. Еще в 1936 году, редактируя первую антологию советской прозы на венгерском языке, он написал, что при чтении советской литературы нас, венгров, подстегивает не только интерес к искусству, но и страсть к познанию действительности. Мы хотим познакомиться с литературой, ищем в ней информацию, которой не найдем в ежедневных газетах с их политической ориентацией. Нам интересны внутренний облик советского человека, духовное состояние общества. (Не перекликается ли это замечание Ийеша с толкованием партийности, изложенным Александром Твардовским на XXI съезде КПСС: литература только тогда может помочь партии и обществу, когда стремится к полной правде, невзирая на то, приятна эта правда или неприятна. Разумеется, прямой связи между двумя этими утверждениями нет но параллельность мыслей не случайна.)

За прошедшие три десятилетия мы дважды могли убедиться в возросшем интересе венгерского читателя к советской литературе.

Первый раз — после 1956 года. Тогда духовное обновление, вызванное к жизни XX съездом, политически совпало с процессом консолидации в Венгрии после контрреволюционных событий. Нам стало ясно, что возвращение в нашу политическую и культурную жизнь сталинизма в любой форме обернулось бы трагедией не только потому, что задушило бы всякую инициативу, здоровое мышление, но и потому, что помешало бы укорениться на нашей почве истинным принципам марксизма. Процессы, которые тогда открылись в советской литературе — появление реабилитированных имен, полемический задор молодого поколения, кроме того, поляризация литературной жизни, обнаружившаяся в результате острых дебатов,— по сути дела, параллельно развивались и в венгерской литературе. Не могло быть и речи, конечно, о каком-то подражании. Это было совпадение образа мыслей и чувств. Ведь, скажем, Йожеф Лендел, испытавший на себе трагедию сталинских лагерей, стал известен венгерскому читателю на 5—6 лет раньше, чем увидел свет «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына. Русскому читателю пора бы, наконец, получить представление обо всем творчестве Йожефа Лендела, прочесть, например, его вещи «Сердитый маленький профессор», «От начала и до конца» или небольшую повесть, напечатанную только сейчас, под названием «Очная ставка», которая, на мой взгляд, представляет особый интерес для советского читателя, действие ее происходит в Москве.

Такое параллельное развитие нарушилось во второй половине 60-х — начале 70-х годов. Смена тенденций произошла не вдруг, не неожиданно, но она была во всех отношениях болезненной. Венгерская литература и впоследствии стремилась к сохранению и развитию духа XX съезда. Вместе с тем даже простое упоминание XX съезда могло возбудить неудовольствие, подозрения. Мы ощущали возрождение опасной практики патернализма, вовсе не только в мире литературы, но, может быть, еще в большей степени — в политике. После событий в Чехословакии в литературе социалистических стран утвердилась доктрина Брежнева. Несмотря на тенденции, противоположные этой доктрине, регресс не прошел бесследно в сфере советско-венгерских литературных связей, не говоря уже об идеологической ситуации в Венгрии.

Слова «перестройка» и «гласность» органично вошли в венгерский язык, как и повсюду на земном шаре, они понятны без перевода. Благотворные изменения произошли в советской литературе. Их суть, по-моему,— это стремление к реальному самопознанию. Мы пришли к пониманию того, что основа любого дальнейшего развития и даже — рискну сформулировать еще жестче — условия просто выживания — это реальный взгляд на вещи. Нужно принять в расчет все ценности, расстаться со всеми иллюзиями, даже если они связаны с идеологическими, эстетическими, историческими догмами и былыми кумирами. В условиях гласности в советской духовной жизни становится все яснее, что понятия социализма приобрели какой-то религиозно-мистический смысл и, следовательно, чуть было не утратили своей важности. Этакий тибетский молитвенный речитатив, где слова и понятия монотонно повторяются либо вообще безо всякого смысла, либо этот смысл зависит от чьих-то вкусов и давления.

Многие склонны расценивать как слабость, как отступление то, что в литературу вовлекаются старые, но вечно новые ценности. Полный отказ от бесполезных догм им представляется отступлением. Нелегкое дело — освободиться от привычных представлений, господствовавших не одно десятилетие. Это трудная и ответственная задача. Но является ли отрицание или, что еще ужасней, запрещение с позиции этих догм фактов, литературных произведений и литературных течений? Или мы убаюкиваем себя тем, что «рукописи не горят»? Рукописи действительно не горят, но их не так-то просто восстановить и оценить по достоинству. Ведь публикация запрещенных, забытых, оттесненных на задворки произведений — только первая и, возможно, самая легкая часть дела.

Лишь тогда белые пятна на карте советской литературы приобретут реальные очертания, когда не печатавшиеся прежде произведения будут включены в исторический и историко-литературный процесс. То есть начнется их переоценка, определение их исторического значения и места. Когда я думаю о том, что мы считали 60-е годы от-

носительно удачным периодом в литературе, не зная «Жизни и судьбы» Василия Гроссмана, у меня возникают очень серьезные сомнения. Ведь роман Гроссмана и в Париже увидел свет лишь в 1980 году, в результате самоотверженной работы С. Маркиша и Е. Эткинда. И если нам случайно и удалось бы тогда достать эту книгу, мы все равно не нашли бы сколько-нибудь серьезного упоминания о ней в критике. А ведь этот роман — одно из основополагающих произведений во всей советской литературе и может быть признан важнейшим в русской литературной жизни, советской истории. (Характерный и грустный факт, что даже в одной из лучших иностранных энциклопедий — «Энциклопедическом словаре русской литературы с 1917 года» Вольфганга Казака — роман «Жизнь и судьба» упоминается лишь вскользь.) Само собой разумеется, что историю русской литературы XX века, историю советской литературы надо писать заново, и Василий Гроссман займет в ней одно из центральных мест... Самый важный урок для меня после XX съезда — нельзя успешно бороться с теорией и практикой сталинизма сталинскими методами. Ни в литературе, ни в политике.

Сегодня общественное мнение склонно считать трагичной судьбу поколений, переживших десятилетия, называемые годами культа личности. Однако не менее драматичной представляется судьба поколения, вступившего в жизнь под знаком XX съезда, но не сумевшего отстоять обретенную правду; это поколение вынуждено было удовлетворяться полуправдой и таинственными недомолвками, эзоповской символикой. Все это было естественным следствием того, что разоблачение Сталина и сталинской эпохи производилось такими же волюнтаристскими методами, какими создавалась сама эта система. И это вместо планомерного изучения всех фактов, вместо марксистской исторической оценки. Горькая судьба поколения второй половины 60-х годов напоминает судьбу декабристов, по словам Юрия Тынянова, «умерших раньше своего века». Но, в отличие от поколения Грибоедова, мы получили от истории еще один шанс. С огромным опозданием мы все же принялись за предназначенную нашему поколению работу. Победы и поражения, страсти, сопровождающие эту работу, по-моему, неизбежны. Тревожит другое: мне доводилось убеждаться на опыте, что и в Советском Союзе, и у нас, в Венгрии, именно это поколение, а также более молодое, стремится обойти нерешенные задачи. Я имею в виду не тех, кто встал на сторону реакции и более или менее открыто призывает к защите сталинизма, и не тех, кто за крушением сталинизма видит крушение социализма и отвергает революцию и социализм марксистского толка. Я говорю о тех, кто видит задачу только в реабилитации старых и новых имен. Они ограничились бы собиранием фактов, в то время как на этом работа не кончается. Отсутствие подлинно демократического, диалектического мышления, «добровольная близорукость» — вот подлинное «белое пятно» в нашем прошлом и в нашем настоящем. Странно было бы, если бы журналист считал публицистику «близоруким жанром», и я далек от такого намерения. Советская публицистика решает важные задачи в общественной и литературной жизни. Но удовлетворяться исключительно достижениями публицистики вряд ли следует. Публицистика должна и впредь побуждать к полному самосознанию, к тому, чтобы мы реально представляли нашу историю — советскую, венгерскую и шире — восточноевропейскую. И литературу — как очевидца этой истории, включающую не только правдивые, но и ложные, фальшивые свидетельства.

Путь еще долог, и нас ожидает немало преград. Однако иного пути нет. Нынешнее поколение и поколение, идущее нам вслед, должны избежать повторения трагедии.

(Продолжение в следующем номере)

◆

Великобритания

«...ВДОЛЬ ТЕЧЕНИЯ РЕКИ»

Незадолго до смерти известный литературовед и критик Ричард Элман сказал, что ему хотелось бы собрать в единое издание свои статьи, эссе и лекции, разбросанные по периодике или опубликованные отдельными брошюрами. И вот сейчас книга «...Вдоль течения реки: избранные очерки» увидела свет, сообщает еженедельник «Таймс литерари сапплмент».

«Сборник включает двадцать ярчайших работ Р. Элмана, свидетельствующих о необычайной широте его интересов и пристрастий»,— отмечает рецензент Карл Бексон. Внушителен перечень литературных имен, фигурирующих на страницах очерков: У.-Б. Йейтс, Дж. Джойс, О. Уайльд, Дж. Элиот, У. Стивенс, Д. Г. Лоуренс, Г. Джеймс, Э. Паунд, Т. С. Элиот, Э. Хемингуэй... Впервые публикуется эссе «Становясь изгнанниками» — «мастерский анализ автобиографического материала, включенного Джойсом в его единственную пьесу «Изгнанники». Роли психоанализа в понимании творческого процесса и восприятии художественного произведения посвящен очерк «Фрейд и литературная биография». О «необъяснимой тайне творчества» Р. Элман размышляет и в других эссе: «Уникальность Йейтса» (1964), «Генри Джеймс среди эстетов» (1983).

Последней книгой литературоведа, напоминает рецензент, стала вышедшая в конце 1987 года биография Уайльда (см. «ИЛ», 1988, № 7). «Уайльд практически в одиночку сделал для английской литературы то, что во Франции десятилетиями пытались сделать многие и многие писатели,— пишет Р. Элман в очерке «Употребления декаданса» (1983), вошедшем в сборник.— Он раздвинул рамки литературы, тонко и умно критикуя в своих произведениях моральные табу».

Подлинными декадентами для Элмана являются не Уайльд и не эстеты конца XIX — начала XX века, «бросавшие вызов нравственным и эстетическим устоям современности», а «закоренелые викторианцы», цеплявшиеся за свой мир, «лишенный эмоций и фантазии».

Название сборника составлено из последнего слова романа Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану» («...вдоль») и его начала («течения реки...»), поясняет К. Бексон. «Оно отражает впечатление от чтения работ Элмана — перевернув последнюю страницу, хочется вернуться к первой, чтобы вновь дойти до конца».

СКРЫТАЯ ТРАГИКОМЕДИЯ ЖИЗНИ

«О знаменитостях обычно бытует некое устоявшееся представление. Не избежал стереотипной оценки и Бернард Шоу. Однако многие и не подозревают, насколько трагична была на самом деле судьба этого талантливого человека, умевшего даже из плохого извлекать хорошее. Я решил рассказать о Шоу по-новому, хотя знаю, что биографические исследования далеко не сразу переубеждают читателей»,— так объясняет свой замысел Майкл Холройд, автор солидного труда об англо-ирландском мастере слова. Анализу первого тома под названием «В поисках любви», выпущенного издательством «Чатто энд Уиндус», посвятил свою статью рецензент журнала «Лиснер» Питер Кемп.

Первый том, охватывающий период с 1858 по 1898 год,— это, по выражению рецензента, «повесть о разгуле с шутовством пополам», причем в последнем «родители Шоу превзошли самих себя». Лишенный ласки и тепла («норма жизни для этой семьи») маленький Бернард жаждет человеческого внимания, и эта мучительная жажда останется в его душе на всю жизнь. «Обстановка в семье душила чувства, но возбуждала мысль»,— пишет П. Кемп. И мальчик спасался от одиночества в царстве книг: в десятилетнем возрасте он почти полностью прочел Библию, знал наизусть пьесы Шекспира, «проглотил» романы Диккенса. Не без труда, но самостоятельно овладел и нотной грамотой, научился играть на фортепьяно.

Дж. Б. Шоу в молодости.
(Журнал «Лиснер»)

Но мир книг все же не заменял желанного общения с людьми, стремления к творческой активности. Мечта о такой жизни стала реальностью с переездом семьи в Лондон по совету Джорджа Ли — музыканта, друга дома Шоу. «Можно сказать, что именно ему обязан будущий писатель началом своей карьеры»,— считает П. Кемп. Биограф великолепно показывает

«превращение робкого и угловатого провинциала в «светского льва», которому нет равных в искусстве полемики». Но, напоминает М. Холройд, «под маской щегольства и фиглярства кроются «старые шрамы» судьбы, и даже пышная рыжая бородка была отпущена только для того, чтобы скрыть следы перенесенной оспы». Парадоксальность мышления писателя, ощутимая и в первых шести романах того периода (их, кстати, подробно анализирует М. Холройд), и в критических очерках,— тот же «шрам», усвоенный с ранних лет «универсальный способ защиты от среды, где все вверх дном».

Язвительный тон, хлесткость замечаний и особенно уверенность, с которой Шоу-журналист «изводил» бездарей от искусства, сразу же принесли ему известность. Однако, напоминает М. Холройд, беспощадный критик умел смеяться и над собой. Вот, например, рассказ Шоу о женитьбе на Шарлотте Пейн-Таунсенд — «совсем в стиле его будущих комедий»: «После долгой «осады» с козырянием своей свободой она вытянула-таки из меня «да», когда я не мог ни ходить, ни говорить, ни соображать, еще одурманенный хлороформом после операции».

«Этот эпизод,— пишет «Лиснер»,— есть юмористическое завершение лишь одной темы из многих, изящно и ловко извлеченной из богатейшего запасника автором этой чудесной книги».

ГДР

ХРОНИКА ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ

Телевидение Германской Демократической Республики показало многосерийный фильм «Бранденбургская хроника». Это — продолжение созданной несколько лет назад экранизации популярного романа Бернгарда Зеегера «Пути человеческие» (см. о нем: «ИЛ», 1963, № 3—5; 1962, № 11, 1973, № 7; 1981, № 8).

Телесериал повествует об истории двух бранденбургских деревень, о судьбах их жителей. Действие охватывает период с 1946 до 1960 года (предыдущий фильм о 1939—1945 годах).

...Позади война. Людям предстоит мирная жизнь, которую надо строить заново. Бывший почтальон становится ландратом, бывший батрак — бургомистром. Сложные жизненные ситуации, конфликты, проблемы — иногда трагические, иногда и комические,— создают картину человеческого бытия.

«Это история о нас, про нас»,— отмечает газета «Берлинер цайтунг».

«Многосерийный фильм «Бранденбургская хроника» можно назвать семейной хроникой, хотя рассказ в нем идет и не об одной семье»,— пишет в газете «Нойес Дойчланд» критик Петер Хофф. По его мнению, фильм продолжает традиции народного сельского театра XIX века, его «веселых, остроумных представлений, тем не менее заставлявших зрителей серьезно размышлять». Отмечая удачную работу режиссера Хуберта Хёльцке и игру актеров, рецензент подчеркивает: «Бранденбургскую хронику» с интересом встретят как люди старшего поколения, так и молодежь».

Кадр из фильма «Бранденбургская хроника».

(Газета «Нойес Дойчланд»)

Западный Берлин

ИМЕТЬ СОБСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ВЕЩИ

«Пятая немецкоязычная литература» — такое определение у европейской критики получили произведения авторов, пишущих на немецком языке и живущих за пределами ФРГ, ГДР, Швейцарии и Австрии. Одним из ярких представителей этого направления вполне справедливо считается тридцатишестилетняя Герта Мюллер — немка из Румынии, живущая ныне в Западном Берлине.

Первая ее книга «Упадок», повествующая о нелегкой жизни немецкой общины и отличающаяся сжатым, четким слогом, получила несколько литературных премий в ФРГ, напоминает журнал «Нувель обсерватёр». Тот же «живой, удивительно сильный стиль» характерен и для нового ее романа «Человек — большой фазан на земле». Такое необычное название связано с румынской поговоркой и отражает «двойную культуру» писательницы — в Германии с образом фазана ассоциируются гордость и высокомерие, в Румынии же, напротив, это трусливая и глупая птица, не способная летать...

В центре повествования находится семья мельника Виндиша, которая, как и тысячи других семей, ожидает визы для выезда в Германию. Переживаемые ими злоключения и унижения представлены необыкновенно реалистично, однако, как пишет журнал «Кензен литтерер», «книгу нельзя назвать обвинением режиму, ибо это прежде всего сказание, это краткие и волнующие истории людских судеб, история исчезающей общины». Рецензент отмечает любопытный парадокс: герои Герты Мюллер, желающие выехать, стремятся лишь к «физической» эмиграции, поскольку духовно они давно уже отдалились от культуры Румынии.

Г. Мюллер весьма критично относится к немецкоязычной румынской литературе, считая ее «провинциальной и консервативной». По признанию писательницы, она хотела бы иметь собственный взгляд на вещи и судьбы, на историю — как А. Клюге и П. Хандке в своих первых произведениях. Западный Берлин, «город жесткий и одновременно поэтичный», дает пищу для размышлений Герте Мюллер — «горожанке с чемоданом в руке». Именно так она собирается назвать свою новую книгу, над которой сейчас работает.

Индия

«НЕОРЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ОДА ДЕТЯМ УЛИЦЫ»

Так отозвалась рецензент еженедельника «Ньюсуик» Джоан Вестрайх о художественном фильме «Салаам, Бомбей!», который сняла тридцатидвухлетняя уроженка Индии Мира Наир, автор четырех документальных лент об этой стране.

«Салаам, Бомбей!» — волнующий и горький кинорассказ о брошенных на произвол судьбы детях, среди которых и главный герой —

Кадр из фильма «Салаам, Бомбей!».

(Еженедельник «Ньюсуик»)

десятилетний деревенский парнишка Кришна (Шафик Саид). Мать выгнала его из дому за какой-то проступок, и мальчик после многих злоключений и скитаний по Бомбею нанимается в лавчонку разносчиком чая. Попавший на «дно жизни» и рано познавший ее неприглядные стороны, Кришна тем не менее остался отзывчивым и чистым душою. Он делит ночлег с таким же бродягой, находит друзей, становится опорой названому старшему брату, переживает первую влюбленность. «Несмотря на беды, выпавшие на долю героев,— отмечает рецензент,— назвать фильм унылым было бы неверно: в нем столько тепла, юмора, а ребята умудряются радоваться даже крохам счастья...»

В съемках картины участвовали настоящие уличные дети, жизнь которых ненамного отличается от экранной. По окончании совместной работы Мира Наир и съемочная группа позаботились о своих маленьких артистах: устроили их в школу, на службу или помогли вернуться в родные места. На средства от премьерных показов фильма в Индии решено создать специальный фонд финансирования учебных центров для бездомных детей в Бомбее и Нью-Дели.

На Каннском фестивале (1988) фильм получил приз «Золотая камера» за лучший режиссерский дебют в художественном кино, восторженные зрители устроили Мире Наир бурную двадцатиминутную овацию. Однако вначале ее замысел (натурные съемки на хинди с участием непрофессиональных артистов) все сочли «просто немыслимым», и потенциальные спонсоры простодушно спрашивали: «Хинди — это, кажется, язык такой?»

«Салаам, Бомбей!» уже покорил публику и критиков во Франции, Канаде и США. На очереди и другие страны,— пишет в заключение «Ньюсуик».— Но Мира Наир с волнением ждет премьеры в самом Бомбее: как встретят ее фильм те, кому он посвящен?»

Испания

МАРИЯ САМБРАНО — ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ИМЕНИ СЕРВАНТЕСА

Испанская газета «Паис» представила своим читателям лауреата премии имени Сервантеса 1988 года — писателя, эссеиста, философа Марию Самбрано. Впервые самая престижная литературная премия испаноязычного мира присуждена женщине. Впервые премией отмечен жанр литературно-философского эссе.

«Если бы в литературе не звучал голос Марии Самбрано,— сказал журналистам мексиканский писатель Карлос Фуэнтес,— все мы были бы лишены чего-то очень важного, внутренне нам необходимого». «Мария Самбрано стоит во главе интеллигенции нашего времени»,— писал поэт Рафаэль Альберти.

М. Самбрано родилась в 1904 году. Закончила Мадридский университет. Была ученицей Ортеги-и-Гассета. Участвовала в гражданской войне (Мадрид, Валенсия, Барселона). В феврале 1939 года вместе с тысячами испанцев покинула родину, жила во Франции, США, Мексике, Пуэрто-Рико, на Кубе, в Швейцарии — и лишь в 1984 году смогла вернуться в Испанию.

Больше шести десятилетий отдала Мария Самбрано творческой деятельности. Широко известны ее работы, посвященные проблемам политики, такие, как «Горизонт либерализма» или «Интеллигенция в драме Испании». Но главной темой для Самбрано всегда оставалась литература — от Гомера до Марселя Пруста, от Сан Хуана де ла Крус до Переса Гальдоса. О литературе размышляет она в своих главных произведениях: «Философия и поэзия». «Поляны», «Об утренней заре», «Созидающая мечта».

Книги Марии Самбрано издавались в разных странах мира. В последние годы пришли они и в Испанию. В минувшем году, например, здесь почти одновременно увидели свет и одна из ее первых работ — «Личность и демократия», и последняя — «Исповедь как литературный жанр».

Решение жюри, считает «Паис», во многом символично. В лице Марии Самбрано отмечены заслуги тех испанских писателей, что вынуждены были творить в условиях эмиграции, ведь она — «ее самый громкий и авторитетный голос». Кроме того, сам факт присуждения премии имени Сервантеса писателю-эссеисту повысит пошатнувшийся в последнее время престиж жанра эссе, который всегда играл важную роль в испанской культуре.

Италия

ЛЕОНАРДО ШАША — ВОЗВРАЩЕНИЕ К ВЫМЫСЛУ

После длинного ряда произведений, созданных на основе фактов, которые были почерпнуты из архивных документов или газетной хроники, Леонардо Шаша совершил решительный поворот к художественному вымыслу, отмечает итальянская критика. Название книги «Рыцарь и смерть» писатель сопроводил жанровым определением «сотй» (так назывались сатиринные французские сатирико-аллегорические пьесы, лжебезумные персонажи которых отличались прозорливостью в постижении истины). Новая книга Шаши, действие которой разворачивается в январе 1989 года (хотя повествуется о происшедшем годы спустя),— «фантаполитическая аллегория», по традиции, облеченная автором в форму детектива.

Главный герой, неподкупный вице-комиссар полиции, именуемый просто Вице и наделенный некоторыми авторскими чертами, участвует в допросе президента могущественного концерна Чезаре Ауриспы. Убит адвокат Сандос, которого связывали с Ауриспой противоречивые отношения; в кармане убитого найдена компрометирующая промышленника записка. Сопоставив ряд данных, Вице заключает: Сандос был устранен экстремистами из группировки «Дети 89 года», решившей спустя 200 лет «возродить принципы Великой французской революции», однако в этом случае инициатива принадлежала властям. Он укрепляется в своих догадках после разговора со старым другом Риети. Разговор стоит обоим жизни: Риети, а затем Вице «убирают» все те же «Дети 89 года»...

Книга начинается с описания висящей в кабинете Вице гравюры Альбрехта Дюрера «Рыцарь, смерть и

дьявола» — ей суждено сыграть в этой истории символическую роль. «Имя третьего персонажа в названии книги отсутствует не случайно. Шаша как бы хочет сказать: современный мир вполне может обойтись без дьявола — люди справятся с его миссией ничуть не хуже, — пишет в журнале «Панорама» Роберто Барболини. — Возможно, новому этапу творчества Шаши могла бы «соответствовать» другая гравюра Дюрера — «Меланхолия»: муза разочарования и сожаления действительно нашла бы в образе Вице своего победившего-побежденного героя».

Доменико Порцио в газете «Коррьере делла сера» называет «Рыцаря и смерть» одним из лучших произведений Л. Шаши: редко когда писателю удавалось с такой силой рассказать об одиночестве человека и о бессилии разума и культуры перед насилием и произволом. Отмечая совершенство фабулы и стиля, Д. Порцио пишет: «Роман не всегда есть сугубо литературный жанр. Сочетая повествование и поэзию, автобиографическое описание и обличительную речь, исторический очерк и морализирование, сатиру и драму, он может стать Литературой».

Мексика

«ОРХИДЕИ В ЛУННОМ СВЕТЕ»

Газета «Паис» рассказывает читателям о состоявшейся в мадридском театре имени Марии Герреро премьере спектакля по новой пьесе известного мексиканского писателя Карлоса Фуэнтеса «Орхидеи в лунном свете».

Сценическая судьба двух предыдущих пьес Фуэнтеса — «Все кошки серы» и «Одноглазый стал королем» — не была удачной. Они, по мнению рецензента, представляли интерес не столько с театральной, сколько с литературной точки зрения. Возможно, именно поэтому автор с таким нетерпением ожидал премьеры «Орхидей», заявив журналистам, что не станет ничего писать для театра, пока не увидит эту пьесу на сцене.

«Мне доводилось испытать всякое, — говорит Фуэнтос в одном из интервью, — я вручал верительные грамоты президентам, читал лекции, писал романы, участвовал в дуэлях, любил женщин, но только на премьерах своих пьес я теряю уверенность в себе, превращаюсь в комок нервов».

Новая пьеса К. Фуэнтеса построена в форме диалога двух пожилых актрис, вспоминающих давно ушедшие годы своей молодости и славы. Порой им кажется, что именно они были известнейшими звездами мексиканского кино — Долорес дель Рио и Марией Феликс. Но к концу действия иллюзии

Сцена из спектакля по пьесе Карлоса Фуэнтеса «Орхидеи в лунном свете».

(Газета «Паис»)

рассеиваются, у героинь «Орхидей» — иная судьба. «Всем нам сегодня не хочется быть самими собой — лучше быть кем-то другим. Это основная идея нашего спектакля», — говорят режиссеры Мария Руис и Гильермо Эрас.

Пьеса Фуэнтеса, отмечает газета, сложна для восприятия. В ней все держится на намеках, полутонах, на игре символов. В центре внимания автора — мифы нашего времени, он хочет ухватить и запечатлеть их изменчивые и ускользающие образы, раскрыть их «зыбкую суть».

На вопрос о том, почему он, признанный романист, все-таки время от времени обращается к театру, Фуэнтес ответил: «Театр — поистине бездна. Он — смешение ангельского и дьявольского начала. Это искусство, в котором не избежать мазохизма, самобичевания. Я чувствую, что мой путь — путь рассказчика, романиста. Но в театре есть особая чистота, особая обнаженность, этим-то он и притягивает меня...»

США

В ГОСТЯХ У АВТОРА «НАСТОЯЩИХ ЧУДОВИЩ»

К 60-летию американского художника Мориса Сендака в свет вышло двадцать пятое издание красочной книжки для малышей «В гостях у Настоящих Чудовищ». Имя автора недавно стало известно и в нашей стране: с забавными и совсем не страшными «чудищами»» из этой сказки познакомил советских ребят журнал «Веселые картинки» (1988, № 12).

О творчестве Мориса Сендака подробно рассказывает

Морис Сендак в компании своих сказочных друзей.

(Еженедельник «Ньюсуик»)

на страницах еженедельника «Ньюсуик» Уолтер Клемонс. Начинал Сендак как карикатурист, затем иллюстрировал книги разных писателей, но лишь придуманная им самим «Страна Настоящих Чудовищ» получила всеобщее признание, став «детской классикой». Секрет очарования рисунков этого художника, по мнению У. Клемонса, в том, что он «не следует распространенному мнению о том, что годится, а что не годится для детей», и при всей изощренности своего мастерства не теряет связи с детством: в нем живы, кажется, все детские страхи и фантазии. Сказочные существа в его книгах очень эмоциональны — и дети, и звери, и чудища.

Высоко оценили читатели и одну из последних работ М. Сендака — роскошные иллюстрации к книге Вильгельма Гримма «Дорогая Мили», над которыми художник трудился три года. В этом письме (одном из многочисленных писем) к маленькой девочке знаменитый сказочник рассказывает ей истории, желая, по-видимому, утешить малышку в каком-то горе. Героиню сказки мать отправляет в лес, чтобы спасти от ужасов войны. В странствиях ребенка сопровождает невидимый ангел-хранитель, а приют дает святой-отшельник. Но конец сказки омрачен смертью. Отвечая на вопрос, можно ли считать эту книгу «вполне безопасной для детей», иллюстратор объясняет: «Мы все боимся смерти, но напрасно считаем, что... умалчивая о ней, мы оберегаем детей от волнений. Они смелее, чем мы думаем». «Дорогая Мили» — не первый опыт «сотрудничества» современного художника с немецкими романтиками прошлого столетия: большим успехом пользовался и сборник сказок братьев Гримм с черно-белыми иллюстрациями Мориса Сендака.

В последние годы художник увлеченно работает над оформлением театральных спектаклей, среди них — «Волшебная флейта» Моцарта, «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева, «Щелкунчик» Чайковского (по последнему снят видеофильм). Через год Сендак надеется поразить зрителей нетрадиционной постановкой известной детской пьесы «Питер Пэн». Поклонник творчества Сендака У. Клемонс надеется, что взрослые и дети с нетерпением будут ждать его ярких фантазий в любой области искусства.

Франция

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА С ГОГЕНОМ

«Французские любители и знатоки живописи наконец получили возможность полюбоваться великолепными полотнами Поля Гогена в парижской галерее «Гран Пале», где впервые после сорокалетнего перерыва была развернута такая экспозиция»,— сообщает журнал «Ви». По мнению инициатора проведения выставки, автора книги о Гогене, искусствоведа Франсуазы Кашен, это культурное событие призвано еще раз отдать должное таланту человека, который вместо прижизненного успеха обрел лишь дурную славу бунтаря и бродяги. «Широкая публика сможет вновь убедиться, что П. Гоген был не только «искателем приключений», но и великим мастером кисти»,— высказывается на страницах журнала «Ви» Ф. Кашен.

Одиннадцать картин из числа экспонировавшихся предоставили советские музеи, коллекция которых насчитывает двадцать девять работ «островного художника», отмечает журнал «Эвенман». Среди них — мировые шедевры: «А, ты ревнуешь?» («Сколь необычайно умение Гогена найти и

Поль Гоген. «Овири». Керамическая статуэтка (1894).

(Журнал «Лир»)

Поль Гоген. Автопортрет в виде керамического кувшина (1889).

(Журнал «Эвенман»)

выразить загадочное в обыденном!» — восхищенно отозвался о картине С. Малларме), «Жена короля» («Черная Олимпия», по словам Э. Мане), «Пейзаж с павлинами».

В сохранении наследия «отца авангардизма» — двухсот пятидесяти произведений (как известно, часть работ была варварски уничтожена колониальными чиновниками Таити, а часть, распроданная за бесценок, попала в случайные руки и утеряна) — важную роль сыграли не только французские меценаты, но и русские коллекционеры И. Морозов и С. Щукин, напоминает «Эвенман», называя их «самыми дерзкими из всех ценителей Гогена». «Надо было обладать настоящим художественным чутьем, смелым и независимым характером, чтобы отважиться на приобретение еще никем не признанных полотен и привезти их в отсталую, консервативную Россию начала XX века, как это сделал С. Щукин»,— пишет журнал.

«Возможно, однажды, когда мои картины, всеми оплеванные и затоптанные, будут валяться в грязи, найдется хоть один поклонник, который вытащит их оттуда». Это высказывание художника, утверждавшего в искусстве «право сметь всё», подчеркивает «Эвенман», оказалось пророческим.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НАГРАДЫ

«Нам давно твердят о возвращении в литературу семейной саги, и вот, наконец, перед нами замечательный образец этого жанра, охватывающий события целого столетия». — пишет газета «Монд» о романе Эрика Орсенна «Колониальная выставка», удостоенного Гонкуровской премии (1988). Расцвет и крушение французской колониальной империи автор прослеживает через судьбу Маргерит, одержимой мечтой о дальних странах, ее сына Луи, и внука Габриэля, предприимчивого дельца, специалиста по кау-

чуковым плантациям. Тема каучука в романе, по замечанию журнала «Пуэн»,— не только «примета индустриальной эры», но и «метафора «поистине резинового» растяжения колониальных владений Франции в XIX веке». «Фашодский кризис, поражение при Дьенбьенфу, наши ребячьи мечты о господстве, которым суждено было разбиться вдребезги, неистребимое прожектерство, мелкое тщеславие, страстное увлечение автомобильными и велосипедными гонками, модные песенки и симпатичные ресторанчики — в романе Орсенна отразилась целая эпоха», — отмечает «Монд».

В отличие от широкомасштабной эпопеи Эрика Орсенна книга Кристиан Рошфор «Дверь в дальнюю комнату» — произведение камерное. Премия «Медичи» — дань уважения маститой писательнице, которой недавно исполнился 71 год. К. Рошфор хорошо известна читателю, ибо смело и нелицеприятно пишет о больных проблемах общества. И сегодня Рошфор верна себе: в новой книге она поднимает еще одну «табуированную» тему — кровосмешение. Автор, подчеркивает газета «Юманите», избегает как мелодраматичной, надрывной интонации, так и скабрезности. Повествуя о противоестественной связи, навязанной отцом своей девятилетней дочери, К. Рошфор с болью и гневом пишет о поруганном детстве, о глубокой безнравственности героя, скрывающейся под внешней его благопристойностью.

Лауреатом премии «Фемина» стал 23-летний Александр Жарден. Его роман «Зебра» — комическая история провинциального нотариуса, задумавшего после пятнадцати лет совместной жизни покорить явно поостывшее сердце своей законной супруги. Надо сказать, что ряд литературных критиков выразил несогласие с присуждением премии А. Жардену. «У этого автора бесподобный нюх на то, что должно нравиться публике, однако это вовсе не означает, что и мы должны им восхищаться», — ядовито замечает рецензент «Монд». По его мнению, «молодому, многообещающему писателю следует знать: качественная проза требует немалого труда и времени».

В последнее время во французскую литературу все чаще входят произведения франкофонных авторов из других стран мира. Поэтому неудивителен, подчеркивает парижская печать, успех гаитянского писателя Рене Депестра. Жюри премии «Ренодо» пришлась по вкусу его «музыкальная, образная проза, пронизанная тонким ароматом креольской речи» («Юманите»). В основу небольшой повести Р. Депестра «Адриана во всех моих снах» легли распространенные среди жителей Антильских островов легенды о призраках-зомби.

А. Введенский с женой в Харькове (1936).

(Еженедельник «Цайт»)

ФРГ

«В ПОЛУСВЕТЕ ВЕЧНЫХ СУМЕРЕК»

«Судьбы Даниила Хармса (1905—1942) и Александра Введенского (1904—1941) во многом схожи,— начинает рассказ на страницах еженедельника «Цайт» литературовед Бенедикт Эренц.— Они родились в начале века в городе Петра, пережили революцию, гражданскую войну, расцвет нового, раскрепощенного «футуристического» искусства и его жестокий конец. Оба трагически погибли, когда им не исполнилось еще и сорока, так и не издав ничего из написанного, если не считать детских книжек, которые были для них единственным источником средств к существованию».

Наследие двух обэриутов удалось сохранить. Немало сделал для этого ленинградский литературовед Михаил Мейлах, который подготовил и составил первое полное собрание сочинений А. Введенского, вышедшее в 1980—1984 гг. в Соединенных Штатах. Еще раньше — в 1974 году — известный славист из ФРГ Вольфганг Казак издал однотомник произведений Введенского.

Несколько лет назад в ФРГ была осуществлена радиопостановка пьесы А. Введенского «Елка у Ивановых», затем последовала публикация драматического этюда «Куприянов и Наташа». Оба перевода сделал Петер Урбан, открывший в свое время для немецких читателей и Даниила Хармса. Двухтомник произведений А. Введенского на немецком языке, выпущенный недавно издательством «Фриденауэр прессе», подвел итог многолетней работы П. Урбана над творчеством советского писателя-авангардиста.

«Мы наконец получили возможность, — продолжает Бенедикт Эренц,— заглянуть в этот в высшей степени удивительный, фантастический мир, спасенный из пламени террора и войны. Здесь все очень ясно и просто, язык нарочито «беден», и тем не менее возникает чувство, что тексты окутаны тусклым, странным полусветом, не таинственным, а скорее обманчивым и бесконечно печальным, рождающим причудливые, сюрреалистические тени. Это полусвет вечных сумерек, окутывающий столь многих больших и малых «героев» русской литературы — от пушкинского гробовщика Прохорова до призрачных образов Булгакова».

Обэриуты, по мнению Б. Эренца, стали естественными продолжателями хлебниковской традиции в поэзии и прозе, однако их интересовала уже не морфологическая структура языка, не слог и буква, не звук — они стремились создать свою, «новую» реальность, лирико - фантастическую реальность искусства.

А. Введенский оставался обэриутом до конца, тема его поздних диалогов из цикла «Некоторое количество разговоров» — размышление о времени и насилии, природе и смерти, начале и конце всех вещей. «Его можно было бы назвать предтечей Беккета и Табори,— пишет Б. Эренц,— но это было бы неверно. Его «абсурд» реален, просто он разрезает реальность на части, делает из нее коллажи и варьирует ее до тех пор, пока от нее ровным счетом ничего не остается. «Разговоры» А. Введенского — это игра, безутешно-веселая, шутовская, опасная игра с реальностью тридцатых годов, вобравшая в себя весь ужас и все безумие эпохи показательных процессов и торжества бессмысленицы».

Авторы этого номера

ИСМАИЛЬ КАДАРЭ (ISMAIL KADARE; род. в 1936 г.) — албанский поэт и прозаик. Автор поэтических сборников «Юношеские мечты» («Ëndërrimet djaloshare», 1957), «Мой век» («Shekulli im», 1961), романов «Свадьба» («Dasma», 1968), «Крепость» («Kështjella», 1970), «Великая зима» («Dimri i madh», 1972).
Перевод романа «Генерал армии мертвых» выполнен по изданию I. Kadare. «Gjenerali i ushtrisë së vdekur». Prishtinë Rilindja. 1977.

В подборке «Из румынской поэзии» представлены поэты:

НИКОЛАЕ ПРЕЛИПЧАНУ (NICOLAE PRELIPCEANU; род. в 1942 г.) — автор книг стихов «Накрененная башня» («Turnul înclinat», 1966), «13 иллюзий» («13 iluzii», 1971), «Спросите дым» («Intrebaţi fumul», 1975), «Анатомическое оружие» («Arma anatomică», 1985) и др.
Публикуемые стихи взяты из книги «Ледяной палец» («Deget de gheaţă». Bucureşti, Cartea Românească, 1984).

ИОАН АЛЕКСАНДРУ (IOAN ALEXANDRU; род. в 1941 г.) — автор многих сборников стихов, среди них «Как вам сказать?» («Cum să vă spun?», 1964), «Сомнительный ад» («Infernul discutabil», 1966), «Гимны Радости» («Imnele Bucuriei», 1973), «Гимны Молдове» («Imnele Moldovei», 1980).
Публикуемые стихи взяты из книги избранного «Преображенная земля» («Pământ transfigurat». Bucureşti, Editura Minerva, 1982).

ЛУЧИАН АВРАМЕСКУ (LUCIAN AVRAMESCU; род. в 1950 г.) — автор поэтических сборников «Звезды на холмах» («Stele pe dealuri», 1976), «Свободный альбатрос» («Un liber albatros», 1978), «Я не прошу прощения» («Nu cer iertare», 1981).
Предлагаемые стихи взяты из сборника «Добрый вечер, любимая» («Buna seara, iubito», Editura Eminescu, 1987).

ДАН ЛАУРЕНЦИУ (DAN LAURENŢIU; род. в 1937 г.) — автор книг «Гимны закату» («Imnuri către amurg», 1970), «Созвездие Льва» («Zodia Leului», 1978) и др.
Публикуемые стихи взяты из книги избранного «Расположение звезд» («Poziţia aştrelor». Cartea Românească, 1980).

МИРЧА ФЛОРИН ШАНДРУ (MIRCEA FLORIN ŞANDRU; род. в 1948 г.) — автор книг «Элегия о власти города» («Elegie pentru puterea oraşului», 1974), «Огни города» («Luminile oraşului», 1975), «Грусть» («Melancolia», 1977), «Факел магнезии» («Flacăra de magneziu». Editura Eminescu, 1980), откуда взяты публикуемые стихи.

МИРЧА ДИНЕСКУ (MIRCEA DINESCU; род. в 1950 г.). Первую книгу стихов «Обращение к никому» («Invocaţie nimănui») опубликовал в 1971 году. Затем вышли сборники «Элегии той поры, когда я был помоложе» («Ellegii de cînd eram mai tînăr», 1973), «Владелец мостов» («Proprietarul de poduri», 1976), «К вашим услугам» («La dispoziţia dumneavoastră», 1979), «Демократия природы» («Democraţia naturii», 1980), «Рембо-торговец», («Rimbaud negustorul», 1985). Публикуемые стихи взяты из указанных книг.

ЗИГФРИД ЛЕНЦ (SIEGFRIED LENZ; род. в 1926 г.) — немецкий писатель (ФРГ). Автор романов «Коршуны в небе» («Es waren Habichte in der Luft», 1951), «Городские толки» («Stadtgespräch», 1963), «Утрата» («Der Verlust», 1981), «Полигон» («Exerzierplatz», 1985), сборников рассказов «Нежная Зюлейка» («So zärtlich war Suleyken», 1955), «Такой вот конец войны» («Ein Kriegsende», 1984). Широкую известность принес автору роман «Урок немецкого» (опубликован в «ИЛ», 1971, № 5—7). На русский язык переведены также романы «Хлеба и зрелищ» (М., 1975), «Живой пример» (М., 1977), «Краеведческий музей» (М., 1982), сборники рассказов «Запах мирабели» («ИЛ», 1977, № 1), «Эйнштейн пересекает

Эльбу близ Гамбурга» (М., 1982), притча «Время невиновных» (М., 1982) и др.
Творчество З. Ленца отмечено несколькими литературными премиями, в 1988 г. он награжден Премией мира, присуждаемой Союзом германской книготорговли.
Публикуемые рассказы взяты из сборника З. Ленца «Сербиянка» («Das serbische Mädchen». Hamburg, Hoffman und Campe, 1987).

СПАЙК МИЛЛИГАН (SPIKE MLLIGAN; род. в 1918 г.) — английский писатель. Автор многих книг юмористических стихов и прозы, среди них: «Мусорный ящик» («Dustbin of Milligan», 1961), «Книжка из кусочков» («A Book of Bits», 1965), «Читайте меня перед сном» («A Bedside Milligan», 1968), «Адольф Гитлер и моя роль в его разгроме» («Adolf Hitler, my Part in His Downfall», 1971), «Ковчег Миллигана» («Milligan's Ark», 1971) и др. Публикуемые стихи взяты из сборников: «Глупые стихи для детей» («Silly Verse for Kids», 1963), «Миллиганские зверята» («Milliganimals», 1968) и «Неотжатые носочки из цыплячьей постирушки» («Unspun Socks from a Chicken's Laundry», London, Puffin Books, 1981).

ОРЛОВА РАИСА ДАВЫДОВНА (род. в 1918 г. в Москве) — литературовед, критик. Окончила филологический факультет Московского Института истории, философии и литературы; кандидат филологических наук (1951). С 1980 г. живет в ФРГ. Автор книг и многих статей, посвященных преимущественно американской литературе. В Москве изданы книги: «Внуки дяди Тома борются» (1962), «Очерки современного американского романа» (1964), «Мартин Иден» Джека Лондона», «Гарриет Бичер-Стоу. Очерк жизни и творчества» (1971). В зарубежных издательствах вышли книги: «Последний год жизни Герцена» (1982), «Воспоминания о непрошедшем времени» (на нем. и англ. яз., 1982), «Хемингуэй в России» (1985), «Мы жили в Москве» (совместно с Л. Копелевым, на русском и немецком яз., 1988). Книга «Двери открываются медленно» вышла в США в 1984 г. (Benson, Chalidze Publications, 1984).

БОГОМОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА — советский литературный критик, переводчик. Автор статей по истории испанской и латиноамериканской литератур, публиковавшихся в периодических изданиях.

АСОЯН БОРИС РУБЕНОВИЧ (род. в 1945 г.) — советский журналист, кандидат исторических наук. Автор семи книг о политике и культуре Африки — «ЮАР: каким будет завтрашний день» (1985), «Загадка проекта «U-209» (1986) и др., и многих статей в советской и зарубежной прессе.

Переводчики

ТЮХИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. в 1963 г.) — советский переводчик с албанского и английского языков. Перевод романа «Генерал армии мертвых» — его первая большая переводческая работа.

◆

Цена 1 р. 80 к.

Индекс 70394

ия литература № 6, 1989, 1 — 256